



Александр *Малышевский*

собрание сочинений  
том V



собрание  
сочинений

V

Колки мои и перелесья  
Красносамарские родники  
В плену светоносном





**Александр Малиновский**

**Собрание  
сочинений  
в 7-ми томах**

**Том пятый**

Российский писатель

2019

**Малиновский А.С.**

**М19** Собрание сочинений. В 7-ми т. Т. 5. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2019. — 512 с.

**ISBN 978-5-91642-194-1**

**ISBN 978-5-91642-199-6 (5 том)**

Настоящее собрание сочинений является наиболее полным изданием замечательного русского писателя, известного учёного, крупного производственного руководителя Александра Станиславовича Малиновского.

Александр Станиславович Малиновский родился в 1944 году в с. Утёвка Нефтегорского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности «Инженер химик-технолог» и прошёл путь от рабочего до генерального директора крупных нефтехимических заводов.

Доктор технических наук. Заслуженный изобретатель России. Член Союза писателей России. Автор более тридцати книг прозы и поэзии.

Награждён медалями Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского. Лауреат всероссийских литературных премий «Русская повесть», имени А. Толстого, имени П. Ершова, имени И. Шмелёва, имени Э. Володина. Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства. Награждён Почётным знаком «За труд во благо земли Самарской».

ISBN 978-5-91642-194-1

ISBN 978-5-91642-199-6 (5 том)

© Малиновская Л.П., 2019.

**Колки мои  
и перелесья**

## Миражи

В детстве так часто бывало: едешь степной дорогой в телеге или рыдване на сенокосный стан либо с дальнего кордона домой — и одолевает жара. Запас воды в баклажке давно иссяк. Сухота и духота вокруг. Дорога высохшая и твердая как камень. Стучат копыта преследуемого слепнями и мухами меринка Карего... Ты один из людей в этом пространстве зноя и июльской истомы. И как же радостно душе, когда вдруг там, вдали, замаячит в ложбинке кусочек леса. Окóлок — так обычно в нашем Заволжье называют такие островки зелени и свежести. Захочется быстрее добраться до желанной прохлады. Подгоняешь меринка, но, увы, вдруг обнаруживается, что нет никакого леска. Все только показалось, сложилось само собой. И напечённая полуденным солнцем голова едва не идёт кругом. Мираж. Так бывало часто.

...В один из долгих зимних вечером, соскучившемуся по лету, помню, захотелось мне прояснить, что же это всё-таки за явление: мираж. Я пошёл в нашу библиотеку, которая тогда располагалась напротив шумной чайной и поражен был основательностью, правдивостью и бережностью, с которой в словаре Даля говорилось о мираже, а вернее о маре. Это было для меня открытие. «Словарь назван толковым потому, что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробное значение слов и понятий, им подчиненных...»

Все так и было.

Я несколько раз перечитал текст, звучавший как поэма: «Марить в знойное лето, когда всё изнемогает от припека солнца, земля накаляется, нижние слои воздуха пламенеют и струятся, искажая отдалённые предметы, которые мелькают, играют; марить перед грозой, когда воздух душный, пот и слабость одолевают; так же во время лесных палов, когда воздух становится мутным, горкнет, и среди мглы солнце стоит тусклым багровым шаром...»

Я не удержался и стал искать слово «околок», желая, очевидно, неосознанно получить наслаждение от толкования и этого слова, но не нашел. У Даля есть слово «кóлок» — «отдельная рощица, лесок или лесной остров». И лишь вскользь упомянуто слово «околок» как кора дерева. Зато нашел я милое сердцу слово «перелесок» — узкая полоска леса, соединяющая два леска, а рядышком и «перелесье» — поляна между лесков, прогалина в лесу. И стало радостно почему-то и спокойней на душе, будто я в чем-то глубже осознал себя. Понял своё место, определил систему координат и нашел ту маленькую точку в них, где я нахожусь. И мне стало более понятным, что со мною происходит и может ещё произойти: за очередным колком ли, перелесьем, или где-то ещё...

...Теперь, много лет спустя, я с радостью возвращаюсь в свои березовые и осиновые колки, чья чуткая листва успокаивает и баюкает меня, возвращая душевное равновесие...

Но чаще всего мчусь по перелесьям, которые порой вмещают в себя заводские коллективы, встречи, рукопожатия, конференции, презентации, города, а порой и далекие чужие страны...

...На моей голове давно уже нет того выцветшего под палящим солнцем льняного вихра, давно я не запрягал лошадь. И смогу ли уже теперь... Но солнце всё так же светит, ярко и жарко. И хотя оно уже вряд ли меня застигнет с непокрытой головой одного в степи, но всё же душа порой в сегодняшней суете ищет зелёный прохладный островок, где дышится и думается свободнее и отраднее...

Может быть, поэтому и назвал я свои заметки «Кóлки мои и перелесья».

И вина ли моя, что миражи продолжают преследовать меня...

## **Обручился с Волгой**

В Союз писателей России меня принимали на выездном заседании во время проведения дней поэзии «Жигулевская весна» в 1995 году. Было это километрах в пятнадцати от города Жигулевска, по дороге в село Ширяево в бывшем пионерском лагере «Жигулевский Артек». Этот день мне запомнился навсегда и в подробностях. Было десятое июля. Утро. Проснувшись, я вышел на затравешную полянку с принадлежностями для бри-



тья и маленьким зеркальцем в руках. Группа писателей как-то организованно (это я сразу отметил) гуртовалась под большим серебристым тополем, недалеко от пожарного крана с бочкой воды, где я как раз и собирался побриться. Территория лагеря, ухоженная и подготовленная к заезду ребятни, пока пустовала.

Едва я закончил свои нехитрые дела, подошёл секретарь Самарского отделения Союза писателей, прозаик Евгений Лазарев. Как-то буднично, по-домашнему спросил:

— Ну, готов?

Я понял вопрос по-своему, связывая его с готовностью идти в столовую, бодро доложил:

— Всегда готов!

И тут он объявил собрание открытым и обозначил единственный пункт повестки дня. Проголосовали за принятие меня в Союз писателей единогласно.

Этот день стал для меня особенным. Казалось, что весь окружающий мир просится в книгу, и все вокруг существует лишь только для того, чтобы быть в книге. Верилось, что я могу написать обо всем. Я — писатель! Это признано присутствующими.

И столетие Есенина, и близость села Ширяево, единодушное, доброе ко мне отношение самарской писательской братии — всё казалось мне тогда знаковым. Всё обязывало. Ночью, в переполненной душевной комнате, долго не спалось. Едва забрезжил утренний свет, я вышел под открытое небо. Долго бесцельно, подчиняясь каким-то силам, волнами гуляющими во мне, бродил по прохладному лесу. Мысли были беспорядочны, чувства обострены, я понимал, что вхожу в какую-то новую свою часть жизни или жизнь, непохожую на прежнюю. Я вдруг почувствовал, что в свои пятьдесят лет я упустил время, чтобы свершить что-то серьезное и значительное в литературе, что у меня много замыслов, но времени... увы, остается мало. Смогу ли я соответствовать своим замыслам? Сомнения навалились на меня. Такого со мной ещё не было. Когда готовил свою первую книжку, я писал, как дышал, мне было радостно и свободно...

...До Ширяево оставалось километра полтора, захотелось искупаться. Настроение было у всех приподнятое. Вокруг: ширь небесная и волжская речная синь. Справа невдалеке уже угадывалось Ширяево, колыбель известного и такого своего, понятного волжского поэта.

*В междугорье залегло  
В Жигулях моё село.  
Супротив Царёв курган —  
Память сделал царь Иван...*

Я прочитал вслух эти строчки и не хотелось к этому, такому простому, как снег, небо, воздух, стиху ничего добавлять, всего было с избытком. Подошёл Евгений Васильевич и, не говоря ни слова, тоже стал смотреть на междугорье, на водный и небесный простор, на нас всех сразу. Он понимал, что творится с нами со всеми и со мной в этот миг. Так мне казалось.

Вода была холодной.

Первым обрушился в неё грузный Валерий Острый. Александр Громов и бородатый Переяслов вошли в огромный студеный поток не торопясь.

Когда они вышли из реки и поднялись на крутой берег, мне, присевшему у кромки воды и наблюдавшему за ними снизу, все они, обнажённые, непривычно белые после зимы на фоне небесных барашков летнего неба, показались большими невинными детьми, почти ангелами, резвящимися под чьим-то дремлющим добрым всевидящим оком! Я это почувствовал всем существом своим, ибо и на себе ощущал из бездонной синевы небесной тот взгляд. Нас словно кто-то приветствовал и благословлял, таких разных, порой непримиримых, а в общем-то единых по общей человеческой суги.

Когда подходили к автобусу, Николай Переяслов обнаружил что, купаясь, обронил в воду кольцо. Кольцо было обручальное. И обручился-то он со своей суженой всего две недели назад.

Несколько человек вернулись к воде, походили, посмотрели: кольца на берегу не было.

— Тут нет, — уверенно произнёс Переяслов, — я точно знаю, что кольцо обронил в воде. Я это почувствовал, но не понял сразу... Выходит, обручился с Волгой. Радоваться надо!

Так сказал и мы враз все переглянулись, а он заулыбался. В автобусе уже, когда подъезжали к селу, один старейший самарский писатель, наклонившись ко мне, произнёс:

— Вот ведь, а?.. Года два назад местный поэт наш (он назвал фамилию) задержал нас всех, потеряв свои часы в такой же вот поездке. Измотал просьбами искать вместе с ним пропажу, а

этот.. улыбается себе. Что жене-то молодой будет говорить? С Волгой обручился?

Я оглянулся на Переяслова, он сидел в окружении молодых, начинающих литераторов и белозубо улыбался. У всех были просветленные лица.

«Боже, они, как и я, приняли этот знак — обручение с Волгой — на себя!..»

## **Тень от ветлы**

Сегодня гулял по пустынным осенним тропинкам Переделкино. Моя спутница, московская поэтесса, пятидесятилетняя дама, приехала в Дом творчества писателей на этой неделе, оживив разрозненную стайку литераторов, которых было здесь не более полутора десятка.

Мы познакомились легко и сразу, когда она вселилась в новый корпус, в номер напротив моего.

...Наш разговор под осенним небом, пасмурным и мгlistым, идёт неспешно.

— А сейчас что-нибудь пишете? Ведь здесь самое то место, где можно забыть в рукописи.

— Да, — отвечаю, — пишу потихоньку.

— Что?

— «Колки мои и перелесья».

— Что-что?

— Повесть.

— Нет, вот это: колки и там что-то ещё...

Я объяснил, что такое колки и перелесье.

— И зачем это вам? — она приостановилась и, помахивая большим желтым кленовым листом перед вздернутым своим носом, в упор посмотрела на меня.

Я не понял и сказал ей об этом.

Она пояснила наставительно и терпеливо:

— Зачем вам, современному человеку, доктору наук, профессору, это?

— Что это?

— Вы же учёный, генеральный директор завода, вы знаете мир промышленников, ученых...

— И что же?

— Пишете об этом... Зачем вам снова в деревню? Вы там были с рождения всего-то восемнадцать лет, пока не уехали в институт учиться. Слава Богу, что вырвались за околицу. А много ваших сверстников живет в селе?

Я стал припоминать ребят, с которыми учился, дружил в детстве в Утёвке, и оказалось, что большинства из тех, кто остался в селе, нет в живых. Некоторые спились, кого-то по пьяни сбили трактором, а кто-то сам от безысходности наложил на себя руки, как мой одноклассник Саша Скудаев, лучший в нашем классе шахматист и математик.

— Вот видите, за что цепляться-то?

Я слушал её. Голос доносился будто откуда-то издалека. Он говорил мне то, о чем я много уже думал, и у меня не было теперь азарта спорить на эту тему. Тем более с такой правильной горожаночкой. Мне было больно за деревенских.

— Вы же интеллигент по складу ума. Я вас не могу даже представить с вашей профессорской внешностью в сельской грязице. Боже мой, я, наверное, нехорошо говорю. Но это же так!

Она остановилась и зорко посмотрела на меня:

— Вы рискуете, знаете ли.

— Гуляя с вами? — фривольно парировал я.

— Вам ведь тут же критики как писателю приклеят ярлык деревенщика, и надолго, — не сбиваясь с серьезного тона, ответила она.

— Ну и что? Вся Россия вышла из деревень, — банально возразил я.

— Ну вот! Пошло-поехало. — Она снисходительно рассмеялась.

Я начал теряться: в чем моя вина? В том, что я родился в деревне? Но ведь я не застрял на околице? И не забыл родные места?

Моя спутница сделала другой заход:

— Вы не оригинальны. Есенин прикидывался чуть ли не старовером, вначале расхаживая по Москве в валенках. Горький называл себя — босяком, а сам в то же время штудировал Флобера и Ницше. Я заметила в прошлый раз, когда заходила к вам, что ваша рукопись написана на обратной стороне какого-то делового документа.

— Да, это листки моей докторской диссертации.

— Гримасничаете, да?

— Просто не было под рукой другой бумаги.

— Вас с головой выдает ваша фамилия. Вы что, дворянин?

Из усадьбы?

— Нет, конечно, со стороны отца...

— Ваша фамилия не деревенская, — не дала она мне договорить, — так ведь?

— Не знаю. Откуда можете знать вы?

— Вы прямолинейны в разговоре и неинтересны. Удивительно, ведь повесть ваша «Под открытым небом», хороша! И вы — ну, очень положительный человек. Но запомните: талантливые книги пишут хорошие писатели, а не обязательно хорошие люди.

Я молчал.

— Скажите мне, у вас в трех местах повести повторяется слово «рыдван». Это что? Арба такая или наподобие брички? А в конце повести: «ветла». Что за дерево, не слыхала?

Я, как мог, объяснил, внутренне подивившись вопросам.

— Вы нарочно такие слова подбирали в повести?

— Как нарочно? Без них деревня — не деревня?

— Да будет вам!

Я не стал ничего говорить. Мне показалось, что она меня просто дурачит.

Когда мы расстались, мои мысли все крутились вокруг моих рыдванов и вётел, а вернее, вокруг того, как же всё-таки понять и сказать, кто я? Моя повесть была о детстве, и без привычных с детства слов, без рыдвана, останки которого и до сих пор лежат на наших задах на гати, без кривой ветлы, у которой мой дед всегда делал стан в сенокосную пору, где мы обедали, пили аряну, спали, разморенные полуденной жарой — кто я? Тень от мощной ветлы нас спасала, она давала надежное укрытие от палящего солнца. Без всего этого я просто не представлял себя. Если вообразить, что всего этого не было и нет, тогда я и сам как бы придуманный, меня тоже нет.

Вечером, прочитав её книжечку стихов, я впал в некое недоумение. Мне не хватало понимания, кто написал книгу. Не ясно было, где родился автор, откуда он, где его корни, кто за ним и что он стоит? Будто автор инкубаторский, будто из пробки.

Размышляя так, я достал свою рукопись, ещё раз прочёл близкое сердцу название и, взяв карандаш, жирно и твёрдо несколько раз обвёл буквы. От этого они стали устойчивее и выразительней. Когда клал рукопись в стол, поймал себя на мысли, что веду себя, как в детстве, когда, взяв большую кисть, голубой краской на самом большом тесовом заборе у сельского клуба написал назло всем завистникам и дразнилам: «Я все равно тебя люблю!» Я знал, для кого писал. И она, живущая в соседнем переулочке, в крепеньком домике с крашеными резными наличниками — хрупкая и синеглазая, догадывалась, кому это адресовано и почему. И никто нам больше был не нужен тогда.

Вот так-то!

### **Родительские прививки**

Родители нас воспитывали на свой лад. Если вообще воспитывали в обычном, расхожем смысле.

Осознанно это было или нет, но напрямую нам никогда не говорили: вот этого делать нельзя, а вот это — можно. Они так себя вели, что часто в вихрастой моей голове возникали неожиданные мысли и сомнения.

Даже и потом, много позже, когда повзрослел, я часто попадал в эти, с простодушной улыбкой расставленные силки. Сейчас вспомнились два таких случая.

Когда я учился на третьем курсе института ко мне приехал в общежитие отец и, увидев на столе мою курсовую работу по «Деталям машин», живо заинтересовался чертежами механизмов и тут же начал расспрашивать. Но мне эта дисциплина с передаточными числами, червячными передачами была не очень (мягко сказано) интересна, да и то обстоятельство, что отец, не имевший даже среднего образования, начинает рассуждать о вещах, требующих, по-моему мнению, специальных вузовских знаний, несколько забавляло, что ли, и я всерьез никак не мог принять его вопросы. Под предлогом, что мне надо ещё самому разбираться, а уж потом объяснять ему, я попытался увильнуть от дополнительных занятий с отцом этой скучной наукой.

— А разве сейчас вместе не разберемся? Ты же сам чертил? — не отступал он.

— Ну, зачем тебе это, отец, у тебя в мастерской всё, что вращается и крутится, кроме точила, всё деревянное, а тут — железо.

Мне просто самому было не интересно. Я уже решил тогда бросить институт и поступить в цирковое училище. Страстно хотел стать силовым эквилибристом.

Я, кажется, переборщил, отец, сверкнув глазами, понурился. Мне стало неловко.

А он отошел от стола с листом ватмана к окну и стал смотреть во двор общежития, на грязный, так не похожий на деревенский, весенний сугроб снега.

Я спохватился: отец всегда всех поражал тем, что мог наладить в деревне очень многое, что ломалось и безнадежно уже приносили к нему сельчане: радиоприемники, утюги, примусы, керогазы, часы и многое-многое другое. Это меня всегда поражало: он окончил когда-то два класса начальной школы и курсы трактористов ещё до войны, но этого ему хватало. Он ремонтировал коляски инвалидов и вообще всё, что приносили и привозили ему во двор, что можно было когда-то назвать — как он говорил — «механизмом».

Припомнив это, я хотел было как-то загладить свою промашку, и, когда уже провожал его из общежития на автовокзал, заговорил о своей вымученной конструкции в курсовой работе. Он никак не отреагировал. Просто промолчал. Умолк и я, чувствуя себя неловко и виноватым оттого, что вроде бы я какой-то изменник — перебежал в другой лагерь, где все умные, городские, грамотные и его не пускаю туда. Организовал круговую оборону: ты, деревня, сама по себе, а мы, город, и без вас обойдемся, мы — учёные. Так получалось.

«Он ведь и лист ватмана, и чертежи, наверное, впервые в жизни увидел. Это ж ему — самый высший пилотаж, с его-то цепкостью ко всему, что связано с техникой», — доедал я сам себя.

...Сдав не только эту курсовую работу, но и всё, что необходимо было в весеннюю сессию, я приехал домой заряженным и на отдых от учебы, и на каторжную работу по заготовке сена и дров.

Мы сидели на кухне за столом с мамой и неторопливо беседовали, когда вдруг тишину во дворе и в нашей избе резко нарушил металлический, резвый, тонкий и всепроникающий звук.

— Что это, мам, у нас?

— Да, наверное, отец вернулся из клуба после ночи — он вновь устроился клубным сторожем, и включил свою машину.

— Что за машина такая?

— А иди да посмотри, к нему целными толпами ходят глядеть.

Я вышел во двор. Отец был в своей мастерской, из двери которой торчала длинная доска.

Заглянув, я увидел то, что меня поразило и несказанно обрадовало: отец стоял у большого грубого стола, над плоскостью которого из прорези на одну треть торчало зубчатое колесо, с невероятной скоростью вращавшееся и жадно вгрызавшееся в доску, которую отец подавал легким нажимом вперед. Доска-сороковка легко и красиво делилась согласно черте, сделанной на ней, на два абсолютно равных, длинных элегантных бруса.

От вращающейся зубчатки, от оси, на которой она сидела, уходил ремень, который под столом обхватывал шкив, насаженный на вал рычащего мотора. Издавали сильные звуки две детали этой удивительной конструкции; мотор и диск, казалось, как живые, они соперничали друг с другом, отстаивая первенство — каждый своё в этом прямо-таки завораживающем действии.

Отец только тогда выключил рубильник, когда кончилась доска. Она, вильнув, развалилась на две половинки, обнажив свежий, рыжеватый смолистый срез и заполнив всю мастерскую крепким здоровым духом.

— Вот, Шурка, и все дела! — сказал приветливо и спокойно отец. — Теперь легче будет заготовки делать для оконных рам, да я уже и дрова пилил. Сухой дубок берет!

Он повернулся, и моя ладонь оказалась сжатой в маленьких, но словно металлических тисках — настолько была крепка отцовская рука.

— Как пилорама, да? — восхищенно выдохнул я.

— И да, и нет, — неопределенно ответил отец, добродушно покачав головой.

— Почему так? — настаивал я.

— Да, это ж твои «Детали машин», наука твоя студенческая. Вот тебе ременная передача, вот шкив. — Он взял напильник и, пользуясь им как указкой, пояснил: — Вот станина,



вот привод. Почти всё, как на твоём ватмане. А называется — циркулярка.

— Неужели, пац, это ты всё сам?..

Мне было удивительно, одно дело чертить мёртвые чертежи, сидеть, защищая их перед лобастыми вузовскими преподавателями, совсем иное — этот запах свежих опилок, отцовская мастерская, он сам — целеустремленный до предела, конкретный в делах и поступках до самоотверженности. Такой живой и умеющий оживить всё то, к чему прикасался.

Я вспомнил своё студенческое высокомерие в тот приезд отца, и мне стало вновь не по себе.

А он стоял в дверном проёме мастерской, прилаживая, как ни в чем ни бывало новую доску для очередного прогона на своей бодро повизгивающей циркулярке.

Такая вот прививка от чрезмерного самомнения и от кое-чего ещё.

\* \* \*

Одну из многих прививок получил я и от мамы, но уже в солидном возрасте.

Уже месяц как защитил диссертацию, а все не мог я выбраться в село к родителям. И отдохнуть на пару дней во врачующей тиши, и новости привезти. Как никак я первый в нашем роду получил высшее образование, а теперь вот и ещё доктором наук стал. Наперекор всем обстоятельствам, работая ещё на заводе начальником большого нефтехимического производства, накопил постепенно материал и защитился в Москве.

...Когда я приехал, отца дома не было, он пришёл чуть позже и устроился напротив меня в горнице за столом, где я с дороги, притомившись, сидел перед большой чашкой кислого молока. Мать знала мою слабость — я любил кислое молоко — и она всегда его держала наготове, часто жалуясь мне, что никак не приновится к моим нерегулярным приездам и молоко скапливается у неё, и она не знает, что с ним делать. Не дождавшись, раздаёт его соседям. Надо сказать, я не говорил родителям, что работаю над докторской диссертацией. Почему? Не очень они восторженно относились к моей работе вообще. В институте получил не очень-то понятную для них профессию химика. Ну,

что такое химик? Вон Мишка Юнгов, Колька Петряев — они шоферы, мы в школе вместе учились. Подойди, попроси — они за бутылку привезут любому и сено, и дрова. Подмога в жизни. И себе что надо, привезут. Техника в руках. Крепко стоят в жизни на ногах. А я — инженер на заводе, да ещё химик. Куда меня такого сажать в компании, на какое место?

— Я защитился, стал доктором, — сказал я не без торжественности, помешивая деревянной ложкой своё любимое кислое молоко с сахаром.

Отец не успел первым ответить.

Он сидел уставший у стола, далеко откинув от стула негнущуюся ногу и положив руки на цветистую, освещённую мартовским солнцем, клеёнку.

— Доктором стал? — переспросила мама. — Когда ты успел?

— Да вот так, — отвечал я.

— Значит, людей теперь будешь лечить, раз доктор?!

Я не сразу нашёл, что ответить — так неожиданно был поставлен вопрос.

Во-первых, я и сам до конца не понимал, по сути, что это такое «доктор наук». Одно время я даже проповедовал неприятие этого звания. Ученый — есть ученый. И степени учености и полезности вряд ли защита и присвоение звания добавляют. Все очень условно. Во-вторых, мама всегда хотела, чтобы я учился на врача. Это же как и шофер. Видно, чем занимаешься, и видны плоды. Это не химик какой-нибудь...

— Ну, лечить не лечить, а что-то вроде... — начал мямлить я.

Но моей маме, с её одноклассным образованием, хватило быть мудрой и сейчас.

— Ой, Шура, как же это хорошо-то! Хорошо-то как! — воскликнула она, прислонившись к только что протопленной голландке и обхватив её за спиной руками. — Лечить будешь людей! Это сейчас так нам надо: у нас столько в селе хворых, беда ведь совсем, вымрет народ.

Посмотрела на меня своими нестарееющими глазами прямо, и я смешался. Я сбился: то ли она действительно поверила в осуществление своей давней мечты, что я буду когда-нибудь врачом, то ли лукавит озорно, как она часто это делала, и дает мне возможность ещё поправиться. Верит мне, что я, если не сейчас, то когда-нибудь всё же сделаю, как она хочет, но сде-

лаю без нажима. Сам, поняв что-то, то главное, чего пока в моей учёной голове нет.

И тут в установившейся тишине, в чистой и светлой родительской горнице прозвучало то, что они оба потаённо носили в себе:

— А раз лечить будешь, то и жить насовсем в село приедешь, по-другому и нельзя! Наконец-то!

Чтобы не разреветься, я уткнулся в свою чашку с кислым молоком, стараясь деловито работать ложкой.

Такие они, родительские прививки.

## Дружба

...Мне тогда казалось, и я думаю небезосновательно, что едва ли не основной задачей принимавших нас в Румынии партийных функционеров было напоить нас так, чтобы мы ничего как следует не могли увидеть. По крайней мере, трезвыми глазами.

Наша партийно-хозяйственная делегация совершала, так сказать, ответный визит. И, наверное, поделом нам, ведь и сами мы, получив совершенно определенное задание в горкоме, не давали просыхать нашим гостям во время их приезда к нам. Встречали по-советски, в 1985 году. Надо сказать, встречали и нас пышно и красиво. Рестораны, застолья, фрукты, вышитые красиво скатерти, красивые одежды, лица — всего было так много, что эта избыточность изматывала сама по себе. Но была ещё цуйка — водка из сливы, она-то нас, бедных, и своими, как нам казалось, немереными градусами, и боевым всепроникающим запахом, добывала. Долг платежом красен, мы, очевидно, того заслуживали.

И как же мы, бедолаги, обрадовались, когда нам предложили посетить в окрестностях Георге-Георгиу-Деж питомник, где разводили форель. После очередного застолья нас погрузили в автобус, и мы поехали.

...Громкоголосая и песенная артель весело коротала дорогу. Потом нас высадили, и гид пояснил, что метров триста надо идти пешком. Мы пошли. Цуйка делала своё дело, большинство готово было продолжать петь и веселиться. Кто-то уже из наших затянул «Катюшу», румыны пытались подпевать. Групп-

почками мы нестройно, но все ж таки двигались в заданном направлении.

Мой коллега Виктор Иванович приотстал. Я его обнаружил вскоре в обществе рослого молодого румына. Они шли, обнявшись за плечи, и разговаривали, причем без переводчика. Очевидно, разговор начался не только что.

— Дружба, дружба, — восклицал румын, — это отлично!

Ему нравилось пытаться говорить по-русски.

— Конечно, дружба — это замечательно! — вторил Виктор Иванович.

Но румыну этого, видимо, казалось мало, он остановился. Показывая в сторону длинной полосы леса вдоль дороги, по которой мы шли, произнёс:

— Это всё хорошо, потому дружба! Дружба!

Он говорил нараспев, повторяя слова, пытаясь донести какой-то очень важный смысл дружбы, конкретный и деятельный.

— Да, да, — повторял его русский собеседник, — конечно, всё, что есть, это результат дружбы, без неё ничего не будет.

Они остановились и, покачиваясь, расцеловались.

Но странное дело, румыну такого знака проявления дружбы между народами показалось всё равно мало. Он снова начал своё:

— Дружба, это...

— Да, да, — вторил, готовый к новым поцелуям мой соотечественник.

Я захотел помочь друзьям-интернационалистам и позвал переводчика-румына.

— Что говорит наш румынский товарищ? — спросил я переводчика.

— Он говорит вашему товарищу, что русская бензопила «Дружба» очень хороший агрегат.

— Что? — изумился я.

— Он говорит, что они в этом году, их фирма, закупила целую партию таких бензопил.

Оторопевший и на миг протрезвевший Виктор Иванович удивился:

— А что же он рукой показывает на лес?

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что с помощью этой вашей пилы они успешно ведут лесоразработки на всём этом... как это у вас... массиве.

— Ну, вы, друзья, даёте! — искренне воскликнул Виктор Иванович. — Это ж надо: «на таком массиве»!

Оба румына, после небольшого диалога между собой, рассмеялись.

## Помню

Мама, увидев на столе мою статью в заводской газете «Большая химия» под названием «Наперекор и вопреки», потянулась её прочитать.

Я вчера, в пятницу вечером, прямо с работы, захватив папку с заводской почтой, приехал в село на выходной. И теперь с утра не спеша просматриваю документы, сидя в светлой маминной горнице, залитой весенним апрельским солнцем. Приглушив голос динамика, стоявшего на подоконнике, она внимательно прочла статью. Свернув вдвое, положила многотиражку в общую кучу бумаг. То ли спросила, то ли подытожила:

— Так и воюешь?!

— Потихоньку, мам, слишком много всего, что мешает работать.

— Тебе, наверное, на веку твоём с рождения так положено, по колдобинам идти всю жизнь.

— Почему? — спрашиваю.

— Я ж тебе рассказывала: я уже беременная тобой была, а нас с твоим отцом не расписывали, он поляк-иностранец, что делать? Его забрали на фронт, а я с животом хожу никому не нужная. Ты родился — пошла я к Наде Чураевой, она в загсе работала, уговорила её помочь в метриках твоих записать тебя на фамилию отца. Подружка моя мне и пособила. Ни в какую не хотело начальство этого делать, а она как-то ухитрилась потом, не сразу, тайком свершить. Наперекор и вопреки всем. Она ушла была. Отлёт, а не девка. Станислав очень хотел, чтобы тебя Сашкой назвали. И я была не против.

Эту историю о моём брате, который умер в полтора своих года, я уже слышал, но мне хочется слушать маму. Всякий раз я узнаю неожиданные подробности.

— Жалковала я, когда он умер, очень. Свет белый был не мил, а когда ты родился, радость была недолгая, год тебе было — ты у меня ослеп.

И эту историю я знаю, но раз мама вспоминает заново её, значит, ею что-то движет, носит недосказанное до сих пор на душе...

Она замолчала. Посмотрев на мою папку с бумагами, поговорила:

— Учился, учился, глаза портил. И теперь опять одна писанина, куда дело годится? Зачем тебе это надо? У тебя сколько плюсов-то?

— Четыре, мам, а что?

— Это ж очки в два раза сильнее, чем у меня, — начала она сокрушаться, — ну, как же так можно? Ещё и книжки эти пишешь, сидишь под лампой ночами. Беда бы не случилась опять.

Мне уже за пятьдесят, а маме все кажется, что Шурка её постоянно нуждается в её защите и поддержке. И ничего с этим не поделаешь.

— Вот я и говорю: зачем тебе это надо?

— Что, мам? — я задаю вопрос, хотя знаю, о чём речь. Она никак не привыкнет, что я, приезжая домой, вечерами допоздна сижу на кухне с рукописями.

Что ей ответить? Я, признаюсь, ещё не нашёл ответ на этот с виду простенький вопрос: для чего пишу? К славе, известности не рвусь, это могу сказать спокойно. К оценке того, что делаю, очень равнодушен, признаюсь. Но так ведь оно, наверное, и должно быть. Я слишком уважаю то, чем я занят. Но — для чего? Это вопрос вопросов, хотя и вышли уже две тоненькие книжицы.

И у мамы моей отношение к моим книжкам ей, наверное, самой непонятное. Она меня поругивает, а сама в прошлый приезд попросила, чтобы я привез своих книжек ещё.

— Шура, люди ходят, просят дать почитать, а у меня всего две. Их они из рук в руки передают. Я устала говорить, что у меня нет. С дальних концов приходят.

...На прошлой неделе, приехав вот так же, я пошёл в свою школу.

Школа — то место, которое притягивает всегда. А дорожка моя к школе лежит мимо дома моего дружка-земляка. Признаюсь, я не всегда рад бываю встрече с ним. Есть тому причина — он пьёт, да так, что трезвым его трудно порой увидеть. То, что мы вместе учились в одной школе, росли, даёт ему, очевидно, на меня особые права, чему я не могу сопротивляться.

И чаще всего встреча кончается тем, что он получает своё — за выпивкой мы начинаем разговоры про жизнь.

Я думал, что на этот раз я благополучно проскочил мимо его двора и, слава Богу, могу распоряжаться собой сам, а он — нет:

— Станиславыч, ты ли это?! Обожди, я выйду.

За редким штaketником выросла знакомая, в выдавшей виды вылинявшей фуфайке, фигура. И вот он — нарисовался мой земляк.

— Понимаешь, Виктор, тороплюсь в школу, — начал я, — привет огромный, на обратном пути поговорим.

— Не-е, так нельзя, ускачешь. Ты быстрый, тебя поймай попробуй потом. Мне сейчас надо, — он сделал резкое ударение на «сейчас».

Я остановился, бутылки у него с собой, кажется, не было. «Может, на этот раз повезёт, — подумал я, — останемся трезвыми».

Тем временем он подошёл вплотную и как-то необычно ответственным голосом сказал:

— Дай руку, дружище!

Он взял мою руку сначала своими обеими, затем переложил мою ладонь в правую свою и неожиданно довольно крепко пожал.

— Спасибо! — Помолчал и снова: — Спасибо!

Мы встретились глазами. Он был трезв. Я не понимал, что с ним, и о чем он.

— Вот за это! — он вынул из кармана пиджака мою первую книжку «Степной чай», — все нас забыли, деревню забыли! Всех и всё забыли, а ты — помнишь! Да как помнишь — сердцем! Не глазами и умом, а — сердцем!

Во мне что-то перевернулось. Я был ошеломлен. Я никогда не мог и думать, что услышу такое от него.

— Когда к Любе, ну, в магазин, пришли твои книжки, мы ахнули, не ожидали от тебя. Не знали, что книжки пишешь.

Он снял свою затрапезную заячью шапку и вертел её в руках.

— Помнишь, всех нас сразу. Всех! — Он посмотрел на меня пристально и сказал обжигающие слова: — Ну, иди, иди! Не буду держать. У тебя теперь своя дорога, особая...

И он, не глядя ступив своими кирзовыми сапогами в апрельский грязный снег, сошёл на обочину. Повернулся и ещё раз посмотрел на меня там, у своей калитки, неопределённо улыбнувшись.

...Не тороплюсь я отвечать, для чего пишу. Может, на это ответят за меня мои тоненькие книжки.

А случай с моим одноклассником, разговор тот меж сухих застарелых карагачей и ветел, увешанных, как большими фонарями, грачиными гнездами, нескончаемый шум крепких крыльев и весенний бодрый грай, помню.

Это во мне навсегда.

## **Про лошадиную биографию и «ножки Буша»**

Мы сидим в просторной светлой горнице моего друга и земляка Анатолия Плаксина и он не спеша рассказывает о своём житье. Оно у него интересное, житье сельского учителя истории.

Последние два года в течение двух-трех недель у него гостят археологи из Самарского пединститута и с ними американцы Сандра Уолсон и Дэвид Энтони из штата Пенсильвания. Очень хочется американцам поближе узнать историю нашей страны, завидуют они российским археологам, в распоряжении которых богатейшие памятники древности. После первой поездки они опубликовали большую работу в нескольких изданиях, особый интерес для них представляет группа курганов шестого утёвского могильника. Дэвид Энтони готовит доклад, который предстоит сделать ему на Вашингтонском Конгрессе антропологической академии. В нем будет и сообщение об открытиях самарских учёных в Утёвке, свидетелем которых стал этот научный сотрудник нового американского университета, занимающегося, немного-немало, историей развития коневодства.

Откуда у американцев возник интерес к лошади в наш насквозь механизированный и автомобилизированный (если так можно сказать) век, допытывался мой дотошный земляк в разговоре с Дэвидом.

— О, это не составляет никакой тайны и вполне объяснимо. Американский континент отнюдь не является родиной лошади. К нам её впервые завезли в XVI веке первооткрыватели — испанцы. До этого лошадей в Америке не водилось вовсе. Вы можете спросить: а как же дикие мустанги? Ответ на этот вопрос уже найден и вполне однозначный: мустанги — одичавшие домашние лошади первопоселенцев. Оставленные своими хозяевами, они долго не признавали над собой власти людей.



Истинная родина лошади, по нашим предположениям, — это степные пространства Европы и Азии. Понятно, что немалый интерес в этом вопросе представляет для нас степной регион Поволжья. Что и привело меня сюда.

Кроме чисто археологических аспектов исследуемой проблемы, есть и другие. В частности, последние открытия археологов, антропологов, биологов, географов и других учёных заставляют немного по-иному взглянуть на развитие человеческой цивилизации. Приручение лошади в третьем тысячелетии до нашей эры сыграло не менее революционную роль, чем в своё время огонь и железо, пар и другие научные открытия. Лошадь была основным транспортным средством до конца XIX столетия.

Давайте вспомним роль лошади в военном деле. Боевые колесницы, конница, связь — вот далеко не всё, что умела и делала лошадь. И древние люди с благодарностью платили ей за это. Прекрасным подтверждением служат открытия, сделанные в Утёвских курганах. Здесь мы воочию убедились, что вместе с умершим человеком в могилу клали лошадиные черепа, конечности. Нередко рядом с могилой воина можно найти и останки его лошади. Не исключено, что именно в ваших степях появились первые боевые конницы, а не в древнем Египте, как это принято сейчас считать. Уже есть первые доказательства, что туда лошадь, как и в Америку, попала несколько позже, чем она была распространена в ваших краях.

А то, что в могильнике на реке Сок найдена боевая колесница, разве это не подтверждение сказанному?!

— Такие находки попадают не только на Соке, фрагменты боевой колесницы были найдены и у нас, в шестом Утёвском могильнике, — дополняет рассказанное Дэвидом Энтони Анатолий Васильевич. — Предстоит определить родину этих находок. Это, пожалуй, наиболее сложная задача. Сейчас ученые в основном заняты регистрацией всех без исключения древних памятников археологии, связанных с лошадьёю. Необходимо найти все географические точки, где и когда впервые была лошадь оседлана. Сопоставив все известные учёному миру факты, резонно сделать некоторые выводы.

Пока, с определённой степенью риска, можно робко предположить, что именно в Волго-Уральском регионе и прилега-

ющих к нему территориях найдены самые древние свидетельства дружбы человека с лошадью. Но окончательное решение этой проблемы видится в будущем. И во многом зависит от результата археологических раскопок.

Эта проблема уже обсуждалась на международной конференции в Петропавловске, в работе которого активно участвовали ученые из Америки, Казахстана и России (Самары).

Мой земляк-историк неутомим в своём интересе к родным утёвским местам:

— Меня поражает живой интерес американцев, как к коневодству, так и древнейшей истории нашего края. Нашим бы властям такое. Американцы с огромным вниманием отнеслись к открытому недавно древнейшему поселению славян, когда было в очередной раз зарегистрировано таковое в районе реки Съезжей. Здесь удалось найти не могильник, а целое поселение древних славян со следами жилищ, надворных построек и крепостного вала. Подобных архитектурных построек в Поволжье пока не обнаружено. Но не прониклись мы ещё значимостью открытия. В прошлом году, при прокладке трубопровода, была разрушена часть кургана эпохи бронзы. Неужели нам наплевать на своё прошлое?!

Возникла пауза, и я вслух удивился:

— Трудно представить, но факт — ещё 4-5 тысяч лет назад в этих местах жили люди. Куда же они потом подевались?

— Возможно, и в те времена были свои варвары. Одно наверняка известно, что перед монгольским нашествием в этих степях почти никого не было. В чем причина, трудно сказать, но предположения есть. Воинственные племена кочевников савроматов, сарматов, скифов и другие более сильные народы вытеснили или ассимилировали местное население. Но следы их, живших в эпоху бронзы, находят на Южном Урале (Синташтинский и Новокумаканский могильники), в Иране, на Алтае и других самых неожиданных местах. Народы не исчезают бесследно, они обязательно оставляют свою культуру, язык, трудовые навыки. Смешиваясь с другими племенами, они образуют качественно новую культурно-историческую общность на более высоком уровне развития. Возможно, так и случилось с нашими древними «земляками», в том числе и с теми, кто жил на земле нынешней Утёвки.

Слушая Анатолия, я поймал себя на забавной мысли, что завидую своему старинному другу Карему — незабвенному рослому мерину из моего детства. Такое внимание к его братьям. Вот бы к нашим биографиям такой интерес, к нашим родословным. Да, где уж нам... Нам некогда, у нас... потрясения, сами обрекаем себя на растрату своих жизней вначале на разрушения, затем на созидание, и каждый раз с энтузиазмом, только нам, россиянам, присущим.

— Курьез у меня получился с «ножками Буша», — жалуется, невесело усмехаясь, Анатолий Васильевич.

— Американцы с собой привезли?

— Нет, я их закупил в утёвском магазине.

Понимаешь, они никак не могли поверить, что ученики моего класса так хорошо рисуют. Я им показал несколько стенных газет с этими самыми рисунками. Им захотелось посмотреть на ребят, пообщаться с ними...

— Странные у тебя какие-то американцы, больно любопытные. Я трижды бывал в Соединенных Штатах и был поражен их равнодушием к искусству. Перед первой поездкой добросовестно перечитал многих заокеанских писателей, полагая, что моё знание будет встречено одобрительно. Но, где бы я ни пытался заговорить о писателях, литературе, художниках — в ресторане, дома — нас несколько раз приглашали в гости, — везде натыкался на полное равнодушие. Им это неинтересно.

— Да, да, может быть, — соглашался Анатолий Васильевич, — но мои-то американцы не банкиры и не бизнесмены, они ученые, им все интересно, они поэтому и приехали, что хотят больше знать о русских.

— Что-то не очень верится, — засомневался я вслух, чувствуя, что говорю больше для того, чтобы растормошить моего собеседника.

— Ты, понимаешь, они были потрясены спокойствием наших людей. Мы, утевцы, по крайней мере, для них такие милые, приветливые. Даже с незнакомыми здороваемся. В городах все куда-то спешат, а наши, сельские, у полисадничков сидят, отдыхают, общаются. По уровню жизни, цивилизации — невероятная отсталость, но зато какое радушие и гостеприимство. Русские берут своей душевностью. Может, в этом и есть русский секрет?

В магазинах ничего нет, а в каждой семье нормально питаются. В этом, наверное, тоже одна из русских тайн. Для них.

В последний приезд Дэвид жаловался, что американцы начали много пить и пьянство переместилось на кухни. Но, не дай бог на работе узнают, что ты засиживаешься по вечерам с бутылкой, могут быть большие неприятности.

— А «ножки Буша» причем всё-таки? — спрашиваю я.

— А? — спохватился рассказчик, — заговорился я. Сейчас скажу. Надо было пригласить ребят, но ведь и их, и американцев надо чем-то угостить, так ведь? Ну, я сообразил: надо прикупить в магазине эти самые «ножки». Так и сделал. Всем всё понравилось, ребята мои молодцы: и говорили о многом толково, и рисовали, и спели под конец. Когда же на столе оказалось моё угощение, Сандра спросила, что, мол, это за блюдо. Я и говорю, совершенно не задумываясь: «ножки Буша» с молодой картошкой в мундире». У американцев вытянулись лица, оказывается, они никогда вообще ничего не слышали о ввозе в Россию этих самых куриных окорочков. И о том, как мы их у себя называем.

— Зачем это вы делаете? — все допытывался Дэвид, тряся очками в тонкой оправе, съехавшими на его крупный, нездешний нос. — Зачем завозить?

— Как зачем? — удивился я. — Мы уже с середины девяностых годов ежегодно потребляем до восьмидесяти тысяч тонн «ножек Буша». Это 7-8 процентов производимых в Соединённых Штатах куриных окорочков.

— Зачем это, кому надо? — ломая язык, недоумевал иностранец. — Это же неправильно для вас.

Оказывается, большинство американцев об этом и не знают. Зачем им знать? Они живут в достатке, думают о другом.

— Ну, нам это, — пытаюсь доказать недоказуемое, отвечаю я, — надо хотя бы потому, что, к примеру, зерновых в России в девяносто восьмом году собрали лишь около пятидесяти миллионов тонн. Это самый низкий показатель за последние полвека, хотя в прошлом году зерна было почти девяносто миллионов тонн. Чем кормить-то? Дефицит мяса, — продолжаю я вразумлять непонятливого американца, — оценивается у нас в России институтом конъюнктуры аграрного рынка в шестьсот тысяч тонн.

— Но ведь это форма косвенного субсидирования наших фермеров, и как же ваши производители?

— «Замораживание» импорта ещё больше опустошит мясные прилавки, — уныло долдоню я в ответ. По газетам знаю: в особых, сложных условиях оказались отдаленные районы — Крайний Север, многие районы Сибири. Намечено, как известно, закупить до 3—4 миллионов тонн продуктов, в том числе, не менее полутора миллионов тонн зерна.

— Идите ко мне, — продолжает с гримасой на лице ломать наш язык Дэвид и тащит во двор.

На крыльчке он остановился, обернулся на меня, затем обвёл взглядом, чудно поведя головой слева направо и наоборот, шаря взглядом по просторному двору, увидел одну из моих куриц-хохлаток и радостно вопросительно воскликнул:

— Что это?!

— Моя курица, Дэвид.

— Курица? — переспросил он. — А это? — Он развел руками перед собой, устремив взгляд в открывающийся за селом простор, будто выпустил на моём крыльце из рук стаю голубей. — А это что есть?

— Это наш Ильмень, поле. Луг.

— Ага, вот. Ты должен понять мой вопрос! Это не поле — это должно быть — зерно, а это, — он ткнул пальцем в хохлатку, — «ножки Буша». Почему их мало в России, когда можно много? Почему так нельзя? Почему нельзя работать, чтобы много было?

— Почему, почему?.. — угрюмо и туповато соображал я, как ответить. — А потому, что это не Америка, — наконец сказал я, не глядя ему в глаза.

Он покачал головой, как учитель в ответ непутёвому ученику, и мне стало совсем уж не по себе.

— А ты бы, что ответил этому далекому от политики и от реальной жизни ученому, а? — спросил меня учитель истории.

Я не был готов ответить на такой вопрос. Хотя он во мне постоянно. И странное дело: я вроде бы (и я ли один) давно породнился с ним. Есть и есть вопрос, а то, что на него нет ответа, это как бы другое, нечто необязательное. И так вроде легче. Наверное, потому, что уж больно тяжёл предполагаемый ответ. Пока тяжёл или навсегда? На роду написано — и точка?

## Соавтор

Идёт мой творческий вечер в Нефтегорске. Ведёт его Геннадий Матюхин — артист самарской филармонии. Мы уже несколько раз бывали в Утёвке. Он познакомился со многими моими приятелями-земляками. Самостоятельно приезжал, давал в школе концерты. Читал Василия Шукшина, кое-что моё.

В прошлый приезд в Утёвку мы оказались свидетелями того, как мой племянник Сережа Никитин у нас во дворе обрабатывал свиную тушку, ловко орудуя паяльной лампой. Запах палёного, запачканный кровью мартовский снег ударяли в лицо свежо и остро. Мне показалось, что мой спутник, артист, просто убежит со двора. Не будет смотреть на всё это. Ведь прочитав мой рассказ о том, как резали поросёнка, один из знакомых — тоже артист — говорил мне: «Ах, зачем это вам? Зачем этот натурализм? В жизни и так много всякого такого...» Я же не понимал, почему это «всякое такое» надо прятать, когда оно частичка нашей жизни.

С Матюхиным по-другому. Он родом из села. Нормальный мужик. Совсем не эстетствующий, живущий реальной жизнью.

Геннадий Матюхин — человек в Самаре известный. И не только как артист. По его инициативе два года назад был организован Литературный центр Василия Шукшина, который за небольшой срок объединил журналистов, писателей, актеров, просто людей, любящих этого замечательного русского писателя. Геннадий Матюхин за последние годы подготовил несколько литературных концертов и выступил с ними, начиная с областного центра и кончая самой дальней «глубинкой», где они стали даже частью учебных программ.

Это он, Геннадий Матюхин, широко обнародовал тот факт, что предки писателя Василия Шукшина до переселения на Алтай жили в нашей Самарской губернии. Есть у Матюхина композиция, которая так и называется: «Самарские корни Шукшина».

...Вот выдержки из книги Василия Гришаева «Шукшин и Сростки. Пикет», которую мне подарил Матюхин после поездок в село Сростки. В главе «Откуда родом Шукшины» читаю:

«...Найти в сросткинских анкетах дедушек и бабушек Шукшина не представляет, согласитесь, никакой трудности. Чита-

ем в одной из них: Шукшин Павел Павлович, 60 лет, переселенец из Самарской губернии, год переселения — 1867, у него жена Мавра, сноха Анна, дочери: Лукерья — 26 лет, Авдотья — 19 лет, сын — Леонтий — 35 лет, внуки: Петр — 6 лет и Макар — 4 года (в 1921 году родился третий, Андрей). Макар Леонтьевич Шукшин — это отец Василия Макаровича. А Павел Павлович, выходит, прадед по отцу. В год переселения ему было, как нетрудно подсчитать, 10 лет; стало быть, приехал он в Сrostки вместе с родителями, но сведений о них найти не удалось...

...Читаем другую анкету, из которой узнаем, что Сергей Федорович Попов, 40 лет, тоже переселенец из Самарской губернии, но прибыл оттуда тридцатью годами позже, в 1897 году. У него семь детей (потом стало двенадцать), пятая по старшинству — дочь Мария, восьми лет.

Мария Сергеевна Попова — мать Шукшина, а её отец — дед Василия Макаровича, как видим, тоже из самарских переселенцев...»

Духовная жажда и духовное родство не позволяют человеку забывать свои корни. Заставляют его находить то, что рождает и позволяет накапливать лучшее в нём. Иначе, кто мы без этого?

Так думаю и пишу я. Матюхин об этом не говорит. Он делает своё дело. Делает то, без чего не может. Он несколько раз побывал у нас на заводе с группой артистов. Его чтение в наших цехах рассказов Шукшина всегда проходит с огромным интересом.

...Понял он, из какого провала приходится мне вытаскивать завод. Работает всего пятая часть производства, десятки цехов стоят. От семитысячного коллектива осталось всего две с половиной работников.

Но опору под ногами мы уже нащупали. Ещё нет года, как я пришел на этот завод, впереди дел невпроворот, но главное уже есть — появилась вера в завтрашний день. Немало. И артист Геннадий Матюхин помогает в этом.

...В Нефтегорск нас пригласил глава района Анисимов Александр Александрович.

Сценарий мы с Геннадием Матюхиным обсудили заранее, все идёт своим чередом. И вдруг, совсем неожиданно, он читает маленький рассказик-миниатюру, один из тех, которые я когда-

то записывал в том виде, в каком они рождались на устах моих подрастающих детей. Был у меня небольшой такой цикл.

Вот он, этот рассказик, под названием «Подъемный кран».

Вечер. Пора ложиться спать. Пятилетний сынишка не отпускает.

— Папа, ну прочти ещё одно стихотворение.

— Нет, Слава. Мне надо сегодня раньше лечь спать, завтра утром на работу. Надо быть в форме.

— В какой, пап, форме, что ли в милиционерской?

— Нет, просто крепко себя чувствовать, бодро — значит, быть в форме.

— Бодро?! Это, чтобы было много силы, да?

— Да.

— И чтобы можно было много всего поднять на работе?

— Ну да, и поднять!

— Э-э-э, папочка, ты опять меня обманываешь. Говорил, что инженером работаешь, а сам — подъёмным краном!

Матюхин рассказ «осовременил», ведь он был записан около двадцати лет назад, когда я работал ещё начальником цеха, до перестройки. До массового банкротства предприятий было ещё добрый десяток лет.

Он поменял в рассказе, кажется, совсем немного. Моего сынишку Славу — на внука моего, Сашу. Слово «папочка» — на «дедуля», «цех» — на «завод». И все: четверти века как не бывало. Фраза «говорил, что инженером на заводе работаешь, а сам — подъёмным краном» зазвучала ещё пронзительней и актуальней. Я ведь действительно недавно перешёл на завод, который был банкротом и медленно, но верно тонул. И моя задача — спасти его, вытащить из тины, будто краном.

Сынишка Слава пытал меня своим вопросом, когда я восстанавливал свой цех после взрыва. Но ведь и внук, получается, задавал вопрос неспроста: завод, словно после войны, захлестнувшей перестроечной волной огромное производство. И сколько теперь таких заводов!

Я поразился услышанному, осознав вдруг особо остро ту пропасть, в которой мы все оказались...

...А что зрители в зале? Они хлопали в ладоши.



## В осокорях

...И в самые трудные моменты своей жизни, я уверен, человек черпает свои силы в родниках своей памяти.

Светлый взгляд из-под руки матери, добрая и усталая улыбка отца. Множество ниточек доброты, связывающих меня со всем, что окружало — вот что не даёт озлобиться, не даёт разверитья.

Сколько доброго было в детстве! Доброта не уходит бесследно, она обязательно превратится во что-то светлое и непреходящее, отразится хотя бы в детях твоих, а там уж как Бог даст.

...Ручеек от родничка дорожку всё равно найдёт, сколько его ни затаптывай. Громадную толщу пробьёт и выйдет наружу, чтобы отразить в лучах своих и свет утреннего солнца, и волшебный лик растущей луны. И ты, начинающий новое своё дело, будешь верить: вещими станут и сны твои, и дела. Верь тому и знай: так думали или так чувствовали многие до тебя, но одним не дано было умение сказать об этом так, чтобы услышали, другим это было так понятно, как запах снега, что они не догадывались об этом говорить вслух, третьи стеснялись своей веры в доброту, четвёртые...

...Четвёртые так и остались в моей памяти мятущимися между добром и злом. Не суди их...

Человек бывает слаб, а жизнь расставляет такие хитроумные силки, не каждому по силам вовремя разобраться...

Найди свой родник, испей сам светлой водицы и помоги это сделать другому.

И воздастся тебе за все. И светлее будет в душе твоей, и мир вокруг не одному тебе покажется светлее. Пускай хотя бы покажется, и это благо, — так думал я. И по-другому не мог.

...Странно, я ещё не старый человек, но столько из нашего сельского быта примет, привычек ушло за последние тридцать-сорок лет. Чувствуешь иногда себя чудом сохранившимся динозавром. Это в пятьдесят-то шесть лет!..

В моей жизни кем я только не был: плёл корзины на колхозном общем дворе, трудился в артелях на сенокосе, на заготовке дров, работал на заводах слесарем, оператором, инженером, семнадцать лет директором, преподавал в институте, за-

нимался серьёзно два десятка лет наукой, даже был депутатом разных уровней...

А вот вспомнилось сейчас и сердце забилося чаще... Как же забыл? Ведь я ещё пахал земельку нашу. Тут вот недалеко, около Лопушного озера, в осокорях...

Я поднялся и пошёл туда.

То место, где я в свои четырнадцать лет ходил когда-то за плугом, кажется, нашел точно. Раньше тут были огороды, и земля была легче и светлее той, что в селе около дома. Речка Утёвочка подтапливала низинку, и оттого-то почва становилась клёклой и тяжёлой. Вешняя вода делала своё гиблое дело — вишня и яблоки вымирали на глазах. Год от года дед с отцом пытались возобновлять сад, но не тут-то было. Все потихонечку превращалось в сущняк. Крепко держалась лишь одна старая ранетка...

...Место-то я нашел, но оно стало другим. Ровными рядами стояли здесь стройные сосенки, по три-четыре метра высотой. В стороне это местечко. Не с руки сюда сворачивать с большого, идущего к мосту через Самарку — вот и не был давно здесь. Ходил, радовался нездешнему сосновому духу, зачем-то собирал полный карман крепких, как речная галька, шишек. А самому все вспоминалось, как улыбался мой дед, когда, обернувшись, смотрел на меня, идущего в борозде за плугом, в потной сиреневой майке. Моменты, когда мы менялись местами — он вёл за повод мерина Карего, а я брался за плуг — были редки. И он делал это в то лето как бы полушутя. Но я-то видел, он меня потихонечку испытывает. Я проходил его проверку. И меня это не обижало, а наоборот — обязывало соответствовать чему-то такому, что знал тогда, наверное, один мой улыбчивый дед Иван.

...Разные были экзамены в детстве. Зимой того же года дядька Сергей испытывал меня в районной чайной. Она была на нашей улице, недалеко от деревянного клуба, который назывался РДК — районный дом культуры.

В этой чайной часто было шумно. У коновязи фыркали лошади, бодро скрипели сани на снегу. В воскресный базарный день кто не заглянет туда, где можно выпить и поговорить. Начиная со ступенек подъезда до буфета, везде гомонил народ. Многие были из соседних сел. Утёвский базар был районным.

Вот в такой зимний морозный денёчек вошёл и я в чайную. Меня всегда манила сюда многолюдность. Здесь было, как в хорошем кино, и забавно, и интересно.

— А ну, Шура, иди сюда!

Повинуясь призывному голосу и жесту моего разудалого дядьки, я подошёл к столу. Пятеро крепких ребят пили портвейн. Дядька ловко всеми пятью пальцами левой руки взял граненый стакан за доньшко и наполнил его из початой бутылки наполовину.

— На, выпей за наше здоровье!

— Сережа, но ведь я никогда ещё... — начал я.

— Вот потому мы и решили: тебе пора!

Я посмотрел на сидящих за столом. Они, клоунски улыбаясь, закивали:

— Мы решили: тебе пора...

Своё смятение от непонимания до конца всей подоплеки происходящего я сумел внешне скрыть. Я не мог подводить своих. Зажмурился и выпил без остановки. Сидевший справа, розовощекий парень в кубанке, едва успел я поставить стакан, протянул мне ватрушку и одобрительно, как лошадь в жаркую погоду, монотонно замотал головой. Другой, напротив меня, взяв бутылку, начал разливать по кругу.

— За племяша, за племяша обязательно надо...

— Дуй теперь домой! — командирским тоном, сверкнув глазами, сказал дядька Сережа. — Молодец!

Странно. Я тогда не почувствовал опьянения, а когда вышел на улицу, свежий морозный воздух помог мне. Придя домой, я шмыгнул в постель, и никто из домашних даже не узнал о моём экзамене. Но он был. И я его выдержал.

...В тот раз после пахоты в осокорях и обедали, и отдыхали мы на зеленой изумрудной травке в тени разросшейся крушины. Дед заставил меня снять мокрую майку. Я сменил её на его жестковатую темную куртку. Майку я повесил на солнышко рядышком с телегой.

...Мы уже проехали полпути, возвращаясь домой, когда я вдруг вспомнил про майку, она так и осталась на ветке.

— Беги, — сказал деловито дед, — я подожду.

...Когда я вышел на полянку, майка была на месте. Но она не висела на ветке. Очевидно, ветром её сорвало, и теперь она

лежала на зелёной траве, расстелившись, словно обняв зеленое или прикрывая его своим сиреневым телом. Я остолбенел. В этом сочетании цветов, а может, света, было что-то необычное, щемящее. Я не сразу решился поднять майку с земли, нарушить это единение цвета или чего-то более существенного и магического.

Не знаю почему, но я часто в жизни своей потом вспоминал то ощущение бодрости, свежести, добра, уверенности в себе и в окружающем мире, которое исходило тогда от сиреневой майки на зеленой траве. Позже, уже во взрослой жизни, когда вставал многократно этот эпизод перед глазами, я так и называл его: сиреневое на зеленом. И относился к этому бережно. Воспоминания о сиреневом на зеленом приходили ко мне и во сне. Сиреневое на зеленом стало для меня как бы символом моего детства.

Мне иногда кажется, что не будь того случая в осокорях, не увидел бы я сиреневое на зелёном — был бы я другим. И жизнь моя сложилась бы по-другому. Ведь ни умение пахать, ни первые полстакана портвейна так сильно не врезались в память, чтобы переживались несколько раз заново. А вот это дивное сочетание двух цветов до сих пор заставляет удивляться.

Чем это объяснить?

## **Человек из прошлого**

Об этом человеке я вскользь упомянул в своей повести «Черный ящик». Рассказал, как однажды в детстве нас с мамушкой на полевой дороге он застал собирающими в дорожной пыли зерна пшеницы и запретил нам это делать. Хотя зёрна и высыпались из грузовиков, сновавших при уборке урожая от комбайнов на склады заготовзерна и вдавливались в пыль, все равно были государственными. Их нельзя было брать. А нам тогда порой нечего было есть.

Он спокойно, но властно распорядился и уехал на легкой бричке с красивой городской женщиной. И он — большеголовый, властный, и она — с тонким нездешним лицом и изящной фигуркой, были словно из кинофильма «Кубанские казаки», так похожего на радостную сказку. Всё было красиво, но мама моя, отложив в сторону большое решето, через которое мы просеи-

вали набранные кучки дорожной пыли попеременно с зернами, молча плакала, присев тут же на обочине. Она тогда не сказала ни слова. Не знала нужных слов или не хотела говорить...

— А знаешь ли ты продолжение той своей истории с секретарем райкома? — спросил меня при встрече Михаил Семенович Мещеряков, утесский врач, лечивший ещё моих дорогих мне и родных стариков.

Я ответил, что нет, никакого продолжения не знаю. Для меня это был эпизод из моего детства, яркая картинка, вспыхнувшая в памяти безо всякой связи с какими-либо последующими событиями.

— Нет, голова, он ведь в тот год чуть было не поплатился за одну промашку на посевной, хотя и не свою.

Я, когда прочитал твою повесть, вспомнил: в тот год запарка была с посевом озимых. Приезжал, помню, уполномоченный из области, подгоняли... Ну и перестарались: в спешке зерно мелко в почву заделали. Отрапортовали, а когда дожди пошли, оно все повылазило наружу. Вредительство — не вредительство, как хочешь, так и думай. По тем временам — под суд за такое дело, самая простая вещь.

Приехал с поля первый секретарь сам не свой: вот-вот опять с области проверяющие нагрянут, да и свои органы под боком — пропала его голова. Что делать?

Выручил Минька Шухов, пастух овечий.

«Дайте, — говорит, — в придачу к моему стаду ещё столько же колхозных овец, я всё поправлю».

Быстро все исполнили, как Минька говорил, и он несколько раз прогнал стадо овец по этому самому полю. Как-никак, но ушло зерно в землю. И наш первый секретарь был спасен.

Странно было слышать рассказ о том, что красивого крепкого, властного начальника, прогнавшего нас тогда с мамой с дороги, охранявшего права государства на зерно в пыли, самого чуть было не опрокинуло в пыль.

Дальнейший разговор с Михаилом Семеновичем меня удивил ещё более:

— А знаешь, тот бывший первый секретарь живет теперь у тебя в Самаре, в соседях.

Я опешил:

— Не может быть! Это же более сорока лет назад было...

— Ну и что? Ему за восемьдесят? Года два назад, я знаю, точно он был жив....

Приехав в Самару, я зашёл к соседке по лестничной площадке и навел справки. Соседка моя — бывший партийный чиновник, долго работала в обкомовских структурах. Ей восемьдесят пять, но она активна и отзывчива.

— Как же, как же! В соседнем доме, на четвёртом этаже, первый подъезд... Мы можем к нему сходить в гости, я позвоню сейчас...

Я поторопился отказаться от встречи. Я был не готов к такому стремительному уплотнению времени. Для меня всё это было слишком в прошлом, очень далеко. Это была как бы совершенно другая эпоха. И встреча с одним из представителей её: как внезапная встреча с мамонтом или динозавром. Так мне показалось.

...Но однажды я его неожиданно встретил в магазине и узнал. Я не мог ошибиться.

Он оказался ниже меня ростом, с оттопыренными стариковскими заросшими белым пухом ушами, с большими карими глазами, спокойными и выразительными. Пожалуй, только эти глаза и выдавали в нем, или сохраняли, того ладного седока, так похожего на красивого председателя колхоза из кинофильма «Кубанские казаки».

Он взял двести грамм самой дешевой колбасы и полбуханки хлеба и пошёл к выходу. Споткнувшись о порог, старик выронил из рук полиэтиленовый сероватый, видимо, стиранный пакет.

Половинка буханки черного хлеба запрыгала по грязному полу. Я поспешил помочь, подхватив хлеб, машинально протянул его хозяину.

— Оставьте собакам, неужто он с пола есть будет? — настойительно сказала продавщица.

Спohватившись, я положил хлеб на подоконник.

— Вот ведь, больше денег с собой нет, а идти заново с моими ногами проблема, — проговорил старик. — Досадно.

— Да, да. Сейчас, — мне стало неудобно за свои невразумительные движения, я быстро купил буханку хлеба.

Когда протягивал ему, глаза наши встретились. Мне показалось, что в них мелькнула какая-то догадка. Неужели он мог меня вспомнить? Я молчал.

— Знаете, когда придёте следующий раз за хлебом, заберите деньги у продавца, я оставлю свой должок ей. Спасибо вам, — сказал он суховато, с достоинством. И вышел из магазина.

На этот раз благополучно. А я стоял под недоуменным взглядом продавщицы у подоконника и смотрел из окна на старика.

Он уходил медленной семенящей походкой. Помнил ли он тот случай на пыльной полевой дороге?

Больше я его не видел...

## **Встреча в клубе**

Перебирая свой архив, я наткнулся на чистые бланки телеграмм. Лишь на минуту задумался, но потом все вспомнилось...

Перевернул бланки тыльной стороной. Там были эпиграммы в мой адрес, написанные известным самарским писателем, обожаемым мной Табачниковым Семёном Михайловичем. Дело было на презентации моих книг в Утёвке.

...Я, конечно же, тогда очень волновался. Вышла уже третья моя книжка. И как-то само собой решилось в областной писательской организации, что надо в моём селе Утёвка организовать вечер поэзии!

Поехали Евгений Лазарев, Иван Никульшин, Семён Табачников, Николай Переяслов, Евгений Семичев, Александр Громов и другие.

Утёвский клуб был заполнен моими односельчанами.

Многие, включая главу администрации Нефтегорского района Александра Анисимова и его заместителя Сергея Афанасьева — утёвца, прикатили из города Нефтегорска. Школьные учителя, одноклассники, знакомые и приятели заполнили зрительный зал. Мама моя отказалась быть на сцене и нашла себе местечко в зале с моими сестрами и родными. Я, привыкший не робеть перед любой аудиторией, боялся, что не смогу сказать ни одного слова — ком в горле и слезы на глазах были тому причиной.

Но, к счастью, мне говорить и читать пришлось не сразу. Я как-то успел немного успокоиться, и всё обошлось.

Едва я вышел на сцену, новой, более мощной волной, нахлынули воспоминания. Клуб был местом, где около двух десятков лет работали мои родители. Мама — уборщицей, отец —

сторожем. Когда отец прихварывал, мне приходилось вместо него сторожить ночью сельский очаг культуры. Целая ночь впереди. Один на один с собой. Я писал стихи. И уже тогда хотел быть писателем, мечтал писать книги, но я никому об этом не говорил. Стихов своих никогда никому не читал, пока не набралось на первую книжку. Такие я себе поставил условия.

Меня поднимала как на крыльях радость: все в селе спят и не ведают, что я сейчас один-одинешенек пишу стихи. Я — поэт. И пишу о своём родном селе!

В нашей школе много известных выпускников: один дипломат, есть художник, доктора наук, но не было своего писателя... «И не знают, что он будет, а я знаю, один знаю. И это время придёт! Из своей книжки я прочитаю стихи на нашей клубной сцене! Когда-нибудь, но прочитаю!»

Один раз я обмолвился нечаянно о своём тайном желании в школьном сочинении на тему: «Моя любимая песня». Я писал о песне «Я люблю тебя, жизнь» на слова Константина Ваншенкина. Писал так, как чувствовал, о Георге Отсе, о Трошине и закончил сочинение фразой о том, что уверен: придёт время и я спою свою песню о жизни и надеюсь, её подхватят многие люди. Я как бы обнарудовал свою программу в этом школьном сочинении.

Я тогда не сразу решился сдать свои листочки Леониду Григорьевичу Лобачёву, учителю русского языка и литературы, боясь, что он поймет прямой смысл написанного. Но он, очевидно, принял все за некую аллегория и последствий моей обмолвки не было. А может, для него увидеть во мне будущего писателя было тогда фантастикой.

...Надо сказать, вел я себя в последних классах своеобразно. Где-то в конце шестого класса дал себе слово не поднимать руки ни при каких обстоятельствах. Предмет учить — но руки не тянуть. Так дисциплинировал себя: мне казалось, что делаю это на пользу. Об этом я упомянул в повести «Планета любви». И выдержал слово, данное самому себе: два года отвечал только тогда, когда спрашивали. Это не помешало учебе: выпускные экзамены сдал на пятерки, кроме английского языка, получив по нему «хорошо».

Нечто подобное проделал и в первые годы после окончания института: у меня уже были рукописи двух моих первых книг, но я не торопился поднимать руку — хранил их, не показывая



даже домашним, до срока, который определил себе сам — до того, когда окончательно пойму, что не писать не могу...

...Милые стихотворные шалости Семена Михайловича Табачникова в клубе, где я писал когда-то по ночам стихи и спал всё-таки иногда на провалившемся диване, который заведующая клубом шутливо объявила теперь, что передаст его в школьный музей, эпиграммами не закончились.

Он прочел большое шутливое стихотворение об Утёвке.

Я после просил у него текст стихотворения, но он затерял листочек, а по памяти воспроизвести не мог.

...И вот однажды на той же клубной сцене в Утёвке, а потом и в Самаре, в Доме актера, я услышал это стихотворение. Его от начала до конца без запинки прочитал Сергей Николаевич Афанасьев — мой замечательный земляк, ставший к тому времени уже главой администрации Нефетегорского района. По должности своей чиновник, сидя в зале на той давней презентации, он сумел полностью с голоса запомнить стих. Я вначале удивился, но когда послушал, как он поет и сколько много знает песен, был рад, что есть у меня такой земляк.

Вот это стихотворение, присланное мне Сергеем Николаевичем по моей просьбе:

### **Утёвка**

*И обидно, и неловко,  
Что я не осведомлен:  
Говорят, в селе Утёвка  
Уток — целый миллион.  
Ходят-бродят, ёлки-палки,  
Грациозны и легки,  
Ходят шатко, ходят валко,  
Как в Одессе моряки.  
И гордится, кроме шуток,  
Ими древнее село,  
Дескать, из-за этих уток  
И название пошло...  
Утки, селезни, утята...  
Что-то я вас не найду,  
Знать, село другим богато,  
Знать, другое на виду.*

*Может, храм, а может, песня  
Иль — учитель-чемпион  
И, конечно, всем известный  
Журавлев — творец икон.  
На земле рожден утевской  
И герой последних лет  
Александр Малиновский —  
Академик и поэт.  
Степью, лесом, песнопеньем  
Славны здешние места,  
И рождают вдохновенье  
И пейзаж, и красота.  
А про уток, видно, шутка.  
Розыгрыша мастерство...  
Здесь самим нам где бы утку  
Раздобыть на Рождество.*

Теперь эти шуточные строчки читают по памяти многие на нефтегорской земле.

### **Петряева правда**

В третьем номере журнала «Гражданин» за 1999 год Николай Кривомазов напечатал мой очерк о художнике Григории Журавлёве. Уже наступил 2000 год. Я с запозданием получил от него этот номер. Его неуёмный темперамент сказался и здесь. Подано всё ярко и броско. Он — журналист. Это — профессиональное. Но меня поразил материал, помещённый на первых страницах безо всякого комментария. Белым по черному слова, как клинки, как кинжалы, в самые уязвимые места нашей жизни, нашей души. Как же хорошо, отрадно, что мы одумались. Да, одумались, январь 2000 года — это уже новый, я бы сказал, освещенный более трезвым умом, взгляд по поводу национальной безопасности.

Вот они эти строки.

«Мы развалим эту страну». Даллес, апрель 1945 г.

«...Пьянство в России расцветёт махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Окончится война, всё кое-как утрясется, устроится. Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю матери-

альную помощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению... Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников... своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдальблывать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... А мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут вводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов — всё это расцветет махровым цветом.

Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит.. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем распахивать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем».

И рядом:

«Мы развалили эту страну». Клинтон, октябрь 1995 г.

«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Распатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн долларов, а затем ещё такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы наши начали реализовываться. Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где ещё не достаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач: всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий; особое внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И по-

тому нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем. Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «полевение» нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — США».

Торопитесь, господа, со своими выводами! Хотели развалить? Не получится!..

Неужто был прав наш Иван Павлов — выпускник духовной семинарии, физико-математического и медицинского факультетов, первый Нобелевский лауреат в области физиологии, когда у него вырвалось: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексy координированы не с действиями, а со словами» (1932).

Сказано гением. Слишком уж мы оказались доверчивыми. А своекорыстные планы противников были, они и сейчас есть. Так что же мы?..

Может быть, одной из главных черт свалившейся на нас в перестройку демократии, было то, что она не могла быть обеспечена определенной организацией власти. Она должна произрасти всё-таки снизу. Демократия — это стиль и образ мышления. Для этого требуется высокая культура: политическая, правовая, культура общения... И это хорошо знали и понимали те силы, которые «помогали» нам за рубежом, они, в который раз уже, ставили на нас опыты...

Наше будущее зависит от нашей культуры. Это так!

Наши прорабы перестройки в самом начале её, да что в начале, до того — неужели не могли задуматься над свойством русской души, ведь русскому человеку всегда как бы полагалось долго запрягать?..

С самого начала очень многое было и сомнительно, и подозрительно. Одно, быть может, как-то нас ещё оправдывает: мы не грохнулись в широкомасштабную гражданскую братоубийственную войну.

Слава Богу, теперь многие из нас понимают, что сильное государство, сильная государственная власть — основа нашего будущего. Государство, оставаясь демократическим, обязано создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь своих граждан. А иначе для чего всё это?

Сверхбурные девяностые годы с крутой ломкой советской административной системы и отчаянным броском в мировой рынок привели к новому застою в стране. Это теперь уже понятно почти каждому из нас, как и понятно стало, что нет у нас новой стратегии экономического развития — то есть нет главного, что могло бы образовать и сформировать общенациональную идею.

В какие коблки и перелесья уйти мне сейчас от разрушительного плана Даллеса, явно превзошедшего по своим последствиям действие атомной бомбы Трумэна, от самодовольно-нахального желания Билла Клинтона во чтобы то ни стало расчленить Россию на мелкие государства путем межрегиональных войн?

Курс на умеренный «консервативный» либерализм. Может, это то самое «перелесье», которое надо пройти всем нам по ухабам, под солнцепеком, под маревом и миражами в знойный ярко-солнечный день и, наконец, не потеряв надежду, прийти к манящему спасительному, с возрождающейся изумрудной зеленью русскому коблку с родниковой прохладой и свежестью?

...Да, мы во многом прозрели.

Мы теперь зацепились за идею «многополюсного мира», где видим себя одним из региональных центров нового мироздания, представленного Китаем, Индией, арабскими странами.

«...никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии».

Может, прав русский историк Соловьев, сказав так?

Сохранив своё национальное государство, со своего исторического места не сойти! Может, нам так суждено изначально? Принять это и успокоиться. И начать жить государству для всех своих сограждан и для каждого отдельного человека, который будет жить и после нас. Но возможно ли это?

А почему бы и нет?

...Когда я писал эти строки, сидя в маленьком своём домике в мамином огороде, подошёл к моему окну давний знакомый Василий Петряев. Махнул мне рукой:

— Выйди, покалякаем, надоела моя старуха.

Я вышел. Поздоровались. Потом присели на лавочку около голубенькой стеночки.

— На вот, почитай, — я протянул листочек с планом Далласа и выступлением Клинтона.

— Очки дай, не взял свои.

Я протянул ему очки.

Он долго читал. Текст ли для его неполного среднего образования был тяжеловат или придавила обрушившаяся внезапно правда всего происходящего? Неясно было, пока он глухо не заговорил.

— Выходит, весь мир хитрее нас, а мы лаптем щи, да?

— Похоже на это.

— Хреновина какая, а? Выживали, выживали — и на тебе.

— Как это? — не понял я, — «на тебе»?

— Ну как, как? — он вернул мне очки и листок. — Россия, огромная, сильная никому не нужна. Так было всегда.

Я согласно кивнул, полагая, что сейчас он, конечно же, будет говорить прописные истины, но своим, местным языком, наполовину, как водится, с ненормативной лексикой.

— Её всегда вгоняли, едрёнте, в выживание. Россия всегда выживала за сто лет до перестройки, пора бы набраться уму-разуму. Вот гляди, на примере твоих родственников. — Он в упор посмотрел на меня. — Только с германцем развязались, в начале двадцатых у нас в Поволжье — голод. Твой дед снялся в Сибирь. Но голод своё успел сделать: из восьмерых только трое — твоя мать да двое братьев её выжили. Так?

— Так, — соглашаюсь я с грустной арифметикой.

— Теперь смотри дальше: старший брат твоего второго отца, чапаевец Василий, схлопотал пулю в легкое под Бели-

беем, привезли его помирать в Утёвку. Вроде уж безнадежный был. А мать его, Прасковья, рожать собралась. Родила. Значит, чтобы для гарантии младшего тоже Василием назвали. А старший-то возьми и не умри. Выжил. Два, значит, Василия Федоровича Шадриных и было, два брата. Оба по семь десятков годков отмахали. Двойная гарантия.

Эту историю я знаю. Более того, писал об этом. Слушаю спокойно. Многие теперь говорят об одном.

— А ты вот, — он вдруг глянул на меня в упор своими ясными голубыми, как у ребенка, глазами.

— А что я?

— Ты-то тоже: гарантия.

— Какая?

— Ну, ты же второй Шурка у матери твоей.

— Ну да, — соглашаюсь я, — второй.

— Первый умер в войну, а чтобы восполнить, выжить супротив всего, ты есть теперь, Шурка. Народ давно выживает, не только в перестройку. Какую только на него погибель не гнали. Выживем обязательно. Каждый из нас пример.

— Да, выживаем, — согласился я.

— Вон, глянь, — вострепнулся мой собеседник, — выживем иль нет? — и показал пальцем на подходившего к забору нетрезвой походкой соседа Миньку Горбачёва, ещё до перестройки крепко впадавшего в беспробудное пьянство, бывшего сохозного скотника. Появление знаменитого кремлевского тезки и случившаяся перестройка никак не коснулись забывшего давно скотный двор скотника. Он уже с десятков лет нигде не работает.

— Минь, а Минь, выживем мы аль нет после перестройки-то? — с каким-то непонятным пафосом спросил Петряев.

От того, как были построены фразы и каков был ответ, мне показалось, что это отрететированный либо не раз повторяемый диалог.

— А куда нам деваться-то, только похмелиться вовремя и всё в аккурате, выживем — назло всем!

Минька навалился на забор, не в силах удерживать своё сухонькое тело и закашлялся.

— Во! Наш местный перестройщик Минька Горбачев кричит: «Выживем!» Блин, клин блинтон, — наигранно радовался Пе-



тряев, — никакой ему Даллес не страшен. Правда ведь, натуральная!

Его голубые глаза сейчас слезились, были по-стариковски блёклыми и смотрел он ими больше не на меня, а себе под ноги.

Как будто было стыдно и досадно за всех нас сразу. Как за неразумных детей, и за своё вот такое поведение.

— Иди, иди, застенчивый, я тебя догоню, — крикнул Петряев, и я не сразу понял, к кому он обращается.

Потом, наблюдая у изгороди Миню Горбачёва, который в очередной раз пытался оторваться от неё и зашагать самостоятельно, а спросил:

— Ты это ему: «застенчивый»?

— Ага, — сказал Василий, — его так назвал мой зятьёк Павлушка. И прилипло. Видишь ли, зятьёк мой делит мужиков по разрядам, ага. К примеру, те, которым сколько ни пей — всё мало, прозываются у него — малопьющие. Те, которых после принятия выносят — выносливые. Ну, а те, в аккурат как Минька, которые ходят, держась за стенку — застенчивые.

Он обернулся на послышавшийся треск и, наперед понимая бесполезность своего вмешательства, вяло посоветовал:

— Минь, отвянь от забора, чать, не берлинская стена, стоять забор должён. Не след рушить, Климаниха вдоль спины хворостиной оходить может.

Минька от забора мотнулся в сторону, но видно было, что это он не сам так поступил... его так качнуло, и он кособоко пошёл к переулку, к Лоптаевой гати.

...Когда я слышу, как наши общественные деятели разного калибра демагогически заявляют, что народ всегда знает Правду, знает Истину, я теперь вспоминаю глаза Василия Петряева. И хочется верить, что истинную Правду знает народ, и сомнения не даёт покоя: увы, народ лишён возможности полноценно знать её, он лишен права быть носителем всей Правды.

И — есть ли она, главная Правда? А если есть, доступна ли она?

Русский человек — православный, а православный человек в центр своего мировоззрения ставит Божественные предначертания Создателя.

Ведь сказано в книге Екклесиаста: «...Всё сделал Он прекрасным в своё время, и заложил мир в сердца их, хотя чело-

век не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца... Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавить и от того ничего не убавить, — Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его...»

Неужели причина наших общих бед в том, что давно уж в нашей российской жизни нет этого «благоговения»? Слишком себялюбивым и чудовищно заносчивым оказался человек в двадцатом веке. Забыл про Бога. Пошёл против Бога...

«Народ чувствует неправду, и... интуитивно стремится к правде», — так я записал в дневнике, вернувшись в свой домик. И долго ещё потом раздумывал над этой догадкой, пытаюсь понять: если она верна, то несет ли она в себе надежду?..

А если нет, неверна, то какой смысл защищать её? И имеет ли она право на жизнь.

После того, как ушёл Петряев, стало мне с моими мыслями одному тяжело и бездомно. Опоры, что ли, не давал мне мой домик с голубенькими ставнями, поставленный мной прошлой осенью около старенькой почерневшей баньки в огороде. Не было в нём того духа и домовитости, которыми я дорожил. Никогда не были в стенах его мои родители, старшие родственники... Все они давно лежат на местном кладбище.

...Как же соединить со всеми этими разрушительными планами американцев кажущееся деловым сотрудничество с нами? «Ведь вроде бы происходит-то позитивное сотрудничество», — думал я. Хотя бы по нашей области.

Взять вот выдержки из статьи Майлза А. Помпера «Экологическая помощь уходит в регионы», напечатанной в «Еженедельнике конгресса США»:

«Разочарованное безвыходным положением в Москве, правительство США большую часть экономической помощи, предназначенной для России, переадресовало непосредственно 89-ти региональным правительствам и десяткам тысяч негосударственных организаций. (Согласно финансовой отчетности за 1999 год это составило около трех четвертей всех средств, распределением которых управляет Агентство международного развития США (USAID). Такой шаг был поддержан многими американскими законодателями, которые видят в децентрализованном подходе ключ к решению российских экономических и политических вопросов.

«Регионы сами находят решения своих проблем, а мы просто должны помочь этим решениям созреть, — говорит сенатор Чак Хейгел, председатель Международной группы по экономической политике в комитете сената по международным делам. — В этом отношении Российская Федерация не отличается от Соединенных Штатов».

Ключевой элемент в политике США за пределами Москвы — программа «Региональная инвестиционная инициатива», действующая уже два года. В рамках этой программы средства направляются на улучшение делового и политического климата в трех наиболее перспективных регионах: Самаре, Новгороде и на Дальнем Востоке. Американские чиновники в настоящее время рассматривают возможность включения в эксперимент четвертой области или групп областей (возможно это будет Сибирь)».

В конце статьи приводятся слова Джанет Валлантайн, бывшего директора российского отделения Агентства международного развития США. Она говорит: «...регионы-реформаторы могут скоро устать от постоянных политических баталий в Москве и пойти собственным путем». По её мнению, «без серьезного лидера может оказаться невозможным удержать от распада Российскую Федерацию».

Да, плохо, конечно, когда Москва отстает от регионов, но ещё, очевидно, хуже поддаться смуте издали и свалиться в конце концов туда, куда нас толкают уже давно, и ждут, о чем всё-таки проговорила директор, ждут, когда мы разделимся на региональные куски, не совладав с амбициями местных вождей. Помните у Даллеса: «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище...»

Где она, правда?

Захотелось пойти в дом деда, в котором я родился... Теперешний его хозяин — степенный и работающий мужик, махнул, так же как бывало мой дед, приветливо рукой, едва я поравнялся с калиткой.

И сам дом порадовал чистотой взгляда своих окошек, обрамленных густой резьбой светлых наличников.

— Ну что, стоит дом-то ещё? — спросил я, принимая пожатие сухой и крепкой руки.

— А куда ему деваться-то! Дед твой основательно сработал. Вечно стоять будет.

— Ну, а мы как? — спросил я, увязший в своих, мучивших меня, сомнениях.

— А что мы?

— Выстоим? Все мы, Россия?

Он сразу не ответил, а пригласил в горницу. Я шагнул через порог и теплая волна пошла по мне. Все вспомнилось: дедово, бабушкино, моё.

...Вот здесь висело дедово ружье, там в маленькой спальне справа я спал, там на стене была репродукция картины Васнецова «Три богатыря». Вон оно, кольцо в потолке, на котором висела моя зыбка. И не только моя...

А из этого, открытого тогда окна, с улицы, из палисадника, где звонко щелкали стручки акации, я впервые услышал с непередаваемым восторгом историю о Раде и Лойко Зобаре. Голос чтеца, доносившийся из маленького чёрного репродуктора, завораживающе тогда звал за собой в степь, к цыганам, в другую жизнь, с другими именами, страстями, заботами...

Я помню тогда влез через окно в дом, лег на пол и лежал так долго, не смея или, вернее, не в состоянии повернуться, пошевелиться, весь находясь во власти звуков обрушившихся на меня.

Тогда впервые я услышал это непостижимо влекущее до сих пор, мерцающее своей бездонностью, глубиной и всеохватностью имя — Максим Горький...

Я присел на порог. Так я в детстве часто делал. Порог был ещё тот, тех времен. А двери в гостиную и в спальню — уже другие. Незнакомые мне...

— Деваться нам некуда. Нам дедами, молча, без слов завещано — выстоять.

Голос хозяина был хрипловатый. И нет намека на бодречество. Всё искренне:

— Думать нам надо в своей земле своим умом. Не заглядывать в рот иностранцам. У них всегда был к нам свой интерес. А по-другому и не может быть. Это вон мой знакомец новый, с того конца улицы, из переселенцев, придёт, наговорит всего, чего не попадая, всё вроде знает где, что на белом свете, а в конце разговора всё равно окажется, что пришёл либо гвоздей просить —

не хватило в который раз, либо ножовку развести — у самого не получается, либо ещё чего-то... Чем он мне поможет, говорун этот? У меня во дворе кто лучше меня знает что да как, а?

«Как просто», — подумалось мне.

— А ты по-другому кумекаешь? — спросил он, подходя к тому самому «моему» окошку и распахивая в палисадник створки. Я вздрогнул. Створки скрипнули так же, как тогда, в тот знойный, летний день...

«Вот тебе и новый хозяин в моём дедовом доме, — думал я, когда уже выходил с подворья, — откуда у него такая уверенность? От незнания, непонимания до конца происходящего сейчас с нами? Или от врожденной крепости духа, питающего нас, от тех корней, которые накрепко соединили нас с предками, дающими нам силу, название которой — вера?» Мы молодая нация и генетически только набираем силу. И ничего тут не поделаешь. Не зря же он сказал так уверенно мне, закомплексованному, защищённому разными свидетельствами и дипломами, званиями, застрявшему в своих невесёлых мыслях земляку: выстоим!

Никто ещё не проник в истинный внутренний мир крестьянина. Крестьянство — не интеллигенция, дневников не писало и не пишет. Все, что думало-передумало унесло с собой, что-то останется в преданиях только. «И сейчас оно не сильно в этом изменилось», — в который раз подумалось мне, когда я оглянулся на стоявшего у калитки на своём подворье хозяина.

«Выстоим!» Он так веско сказал, что и я невольно выдохнул: — Выстоим!

## **Подсказка Виктора Стражникова**

Когда я писал повесть «Черный ящик», глядел на мир глазами своего героя Виктора Стражникова — учёного, директора завода, попавшего в бурные и мутные воды перестроечного времени 93-94-х годов.

Прошло около пяти лет, полмесяца осталось до начала 2000 года — последнего во втором тысячелетии. Я за это время написал несколько рассказов, две повести. Взяться было писать следующую повесть, но что-то остановило меня. Мне кажется, остановил Виктор Стражников. И натолкнул на мысль: надо

попытаться последний год тысячелетия, как и он свой 94-й — последний год своей работы главным инженером — осмыслить для себя. Чем же, в отличие от него, для меня, взявшегося за перо, стал он. И я, как ни странно, повиновался. Произошло странное: мой герой, став в чем-то зорче и мудрее меня, повел в этом направлении. И я послушался... начал писать «Колки мои и перелесья»...

...Это уже не в первый раз, когда персонажи моих книг подсказывают мне.

Читатели повести «Черный ящик» жалели, что Виктор Стражников умер. Они тоже подтолкнули меня.

«Такие люди не должны умирать раньше срока»; «Нам его жалко, с таким характером он должен жить»; «Надо было его оставить среди нас, о нём надо бы писать продолжение», — так говорили многие. Я чувствовал: Стражников молча ждал этого. И я написал продолжение. Только как бы вглубь: пошёл в его детство. Увидел, какой он был там — в начале своей жизни. Какие корни и соки его питали. Так родилась повесть о Шурке Ковальском «Под открытым небом».

Но я чувствую, что Виктор Стражников теперь ещё более настойчивей подталкивает меня в указанном им направлении. Он, как моя мама, — она всегда переводила стрелки от себя к другим. Ей были интереснее окружающие, чем она сама! Посмотрим, что будет на этот раз...

И каким всё-таки будет для меня год 2000-й?

### **Мамино окошко**

Поздним вечером приехал к маме моей в Утёвку с поэтом Евгением Семичевым. Был конец мая. Цвела и благоухала сирень. Где-то, прямо как в юные мои годы, заиграла гармошка и в настоящей на сирени и черемухе тишине томный грудной голос запел:

*Вот кто-то с горочки спустился,  
Наверно, милый мой идёт.*

Не раз похожим вечером в юности возвращался вот также я опьянённый и вечерней песней, и расставанием у калитки с той, которой так и не решился сказать того, что намеревался...

Мама, не дождавшись меня, ложилась спать. Но спала всегда чутко. Едва я появлялся у окна, она мне махала за стеклом рукой. Я часто не успевал постучаться...

— Кто там? — отозвался на стук в стекло мамин голос. Потом, как и в юности, белое пятно появилось в окне у подоконника.

— Шурка, — по привычке произнёс я негромко, но внятно.

— Шура, — радостно повторила она, совсем не удивившись поздним гостям, хотя я не был дома уже полгода.

Мама зажгла в избе свет. Окно вспыхнуло ярко, зазывно, как и всегда. Уже в сенях, открывая засов, спросила:

— А кто это с тобой?

— Евгений Николаевич Семичев, — доложил я и добавил основательно: — Поэт!

— Проходите, Евгений Николаевич, — старательно проговорила мама.

За спиной мой спутник хохотнул. Я не понял, почему.

— Вот дела какие! — удивился уже в избе Евгений, — директор завода — в деревне просто Шурка, а поэт — Евгений Николаевич, по имени-отчеству, не просто «Женька». Фигура!

Он потом в городе, при случае, несколько раз рассказывал этот эпизод. Его это забавляло.

А мама моя, позже, каждый раз, когда я приезжал, всё спрашивала:

— А где твой Евгений Николаевич-то, отчего не приехал с тобой?

Я привёз потом ей книжку стихов Евгения «От земли до неба». Она попросила почитать. Мы сидели в передней избе за столом, накрытым яркой с цветным узором новой клеенкой, и я читал:

*Ребята, не живите вечно,  
Не стройте планы на века.  
Живите просто и сердечно,  
Как лес, как небо, как река.  
В чужое сердце свет пролейте.  
Прибьётся к вечности душа.  
При этой жизни пожалейте  
Травинку, пташу, мураша.  
Ребята, нам за все воздастся,  
Когда шагнем в глухую тьму.*

*Но в этой жизни не удастся  
Навек остаться никому.*

Слушала она внимательно и сказала, вздохнув:

— Какой мудрый ребенок твой товарищ. Ты бы привёз его сюда, пусть поживёт маненько у нас. Можно без тебя. — И, увидев мой удивлённый взгляд, добавила: — Отдохнёт пусть. Он устал, видать, от жизни своей. Ему тяжелей, чем остальным.

Вернувшись в Самару, я пытался разыскать Евгения, но где там! Он был в Москве, уехал учиться на Высшие литературные курсы.

До поступления на курсы он работал на нашем заводе в жилищно-коммунальном отделе. Когда уехал в столицу, мы выделили ему небольшую ежемесячную стипендию на весь срок обучения. В областном отделении Союза писателей знавшие близко поэта качали головами:

— И надо бы, но не слишком, а то будет разгуливать, хуже бы не было...

Но он был наш, заводской. Мы за него болели.

...И доходили слухи, что он слегка дебоширил в общежитии Литинститута, однако была и его московская литературная слава. Столичные журналы печатали подборки его стихов...

«Пусть пошумит. Слава — она дуреха, обязательно ушибёт. Ушибленного и отвезу в деревню к маме, там отлежится», — думал я.

...Так и глядела мамино окошко за нами обоими.

Пока жива была мама.

## **Взоры прощальные...**

Вечером позвонил мой дядя. Ему в этом году будет шестьдесят. Инженер-строитель. Но институт развалился, и главный инженер проекта вынужден устроиться в городские тепловые сети насосчиком. Такая вот научно-техническая революция нашего времени.

— Ты не спишь?

— Нет, какой сон? Девять вечера, только что с работы приехал.

— Ну, я так спросил, наверно, от волнения. Понимаешь, я тебя никак дома не застану, дело у меня такое... Не сразу скажешь.



— Говори, попробуем разобраться, — самонадеянно подталкиваю я.

— Я вот что, племяш, теперь не только вам всем в городе горячую воду качаю, и вы без меня и без воды, и ни туды, и ни сюды. Но и песни пишу. Романсы.

Мне стала понятна причина его длинных фраз — он крепко волновался.

— Не смейся: слова мои, музыка моя — на мандолине... По-дожди, насос зашумел не так, пойду посмотрю. Не вешай трубку.

Пару минут в трубке слышался только шум работающих насосов, обычный общий гул машинного зала.

— Саша, тут не поговоришь. Я позвоню тебе вечером, после смены из дома. И по телефону дам послушать. Не ложись, а то опять пропадешь — не дозвонишься.

...Около двенадцати ночи зазвонил телефон.

— Вот слушай, включаю магнитофон.

Пошла музыка, знакомая и красивая.

— Нет, нет, постой, это же братья Радченко, «Домик окнами в сад», сейчас перемотаю немного — будет моё. Нет, вот без магнитофона, я сам — живой, ну его. Слушай.

«Ничего себе — романсы на ночь», — думаю.

И зазвучал голос Сергея и его мандолина. Торжественно и даже строго.

Пока он пел, я посчитал: два раза были «очи», два: «взоры», мелькали слова «томные», «величаво» и так далее.

— Понимаешь, я чувствую: и музыка моя, и стихи мои — они доработки требуют, верно. Но всё остальное... прекрасно... Сергей Лобачев был во Владимире у брата Василия. Они сходили на рынок и купили старенький баян. Исполняли мои песни и плакали, ты понимаешь?! Чувства пробуждаются!

— Да, понимаю. Но вот «взоры», «очи» — это уже тысячу раз было, — пытаюсь робко перевести монолог в диалог.

— Ну и что? Два мужика поют и плачут! Тебе это ни о чем не говорит? Не по пьяни плачут!

— Да, — соглашаюсь я, — но как-то уж больно архаично. Всё это было в прошлом веке. Не говорим мы сейчас так: «взоры томные», «очи пугливые».

— Чудак ты, ей-богу! Ну кому это важно будет через пятьдесят-сто лет — говорили или нет? Останется красота.

И он пропел:

*Подъезжая под Ижоры,  
Я взглянул на небеса,  
И припомнил ваши взоры,  
Ваши дивные глаза.*

— Тогда, при Пушкине, на кухне, ну, или даже в гостиной так говорили: «Ваши взоры меня волнуют»? Наверняка, нет. Но в романсе эта красота навечно!

Я не знал что ответить после такого, прямо-таки эпохально-творческого замаха моего родственника. Боялся его обидеть.

— И давно ты пишешь романсы?

— Пятый месяц, как устроился в насосную.

— Сергей, но ведь жизнь наша сейчас, прямо скажем, не романсовая. Насосы, телефоны, тарифы, безработица. Вечная суета и кутерьма. У многих безнадёга. Слушай меня:

*Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,  
Многое вспомнишь, родное, далёкое,  
Слушая голос колёс непрерывный,  
Глядя задумчиво в небо широкое.*

Не должно быть суеты, тогда, может, родится что-то серьёзное, а уж — вечное, до вечного...

— Граф, ты не прав, — с подчёркнутой патетикой отозвался мой собеседник. — Выходит, наш век не может создать равное тому, что было до нас? Допустим: «Средь шумного бала, случайно...», — пропел он и выжидательно замолчал.

— Сергей, — взмолился я, — у нас какой-то дремучий разговор, ну какие балы сейчас? Где тот дух?

— Как? А губернский бал, а новогодний? — он начинал говорить жестким голосом.

«Сейчас начнёт ёрничать, я это знаю, — подумалось мне, — и его тогда не прошибёшь ничем».

— Ладно, старик, ты безнадёжен, — он помолчал, — не телефонный этот разговор. Я напишу об этом тебе письмо, и перо будет гусиным. Через неделю еду в деревню в отпуск. Там у соседки бабы Мани здоровенный есть гусак, важный такой и степенный, как ты. Рвану из хвоста пару перьев.

— Ну, пошло-поехало, — уныло возразил я, но в трубке уже были гудки.

## Злободневная тема

— Как ты говоришь? У германцев около шестисот названий пива? Эка хватанули! И в каждом городе, в каждой пивоварне то название, какое ему дал хозяин?

— Точно так!

Парень, к которому обратился с вопросом мой сосед по столику, Алексей, достал из дипломата аккуратный сверток и, развернув его, пододвинул широким жестом нам обоим.

— Петрович, мужики, угощайтесь балыком. Я вчера только с теплохода «Константин Коротков». Был в Астрахани, у тамошних знакомых купил.

Меня впервые так щедро угощали у пивного ларька балыком. Невольно реагирую:

— Ну, и как там, в Астрахани?

— Хреново, мужики. Я с детства знал, что Астрахань — это изобилие рыбы, а на нашем рынке за универмагом «Самара» сейчас во сто крат её больше. Зайдите: осетрина, белуга, сом, лещ, стерлядка, раки. Я специально зашёл посмотреть после Астрахани. Дорого? Да, дорого. Но учись деньги зарабатывать. Сейчас деньги — дефицит. Перестройка, однако.

— И всё же, что есть в Астрахани из рыбы?

— А ничего. Я зашёл на рынок: а там только вобла и чехонь.

— Больше ничего? Там воды-то сколько! — Петрович довольно глуповато посмотрел на своего знакомого.

— Угу, — ответил тот, — а вот этот балык... Контрабандной икрой торгуют умельцы, а ведь, чёрт знает, съедобная или...

Петрович прервал парня на полуслове:

— Ну, ты обожди про нашу жизнь. Мы её приблизительно знаем. Давай про ихнюю, германскую. Я ведь так до Берлина и не дошёл в войну, контузило. Но про баварское пиво слышал.

— Значит так, — подчёркнуто вдохновенно отозвался Алексей, — пиво тебе принесут не так, как либо, хухры-мухры, а в красивой кружке и непременно поставят на картонный кружочек, на котором название фирмы.

— Это зачем?

— Сервис, отец, чтобы ты не забыл и название пива, и хозяйина. Этим дорожат, там многие ресторанчики и пивные имеют свою родословную, и на видном месте перечислены и вывешены

ны в рамочке фото всех бывших хозяев. Некоторые заведения с XV века действуют. О пиве говорить — как поэму рассказывать.

Алексей попросил и принесли ещё пива.

— Тема дюже злободневная, давай свою поэму, — подтолкнул разговор дальше Петрович.

Алексей продолжал:

— Но самый апофеоз — это октобер фэст!

— Мне это непонятно, — вовсе не обидевшись, выжидательно глянув, обронил Петрович, — скажи, как есть.

— Возьми вот центральный самарский крытый рынок. Вот примерно в таком помещении около десяти тысяч человек пьют пиво. А всего таких помещений — десять, смекаешь? Одним разом сто тысяч человек пьют пиво, сидя за широкими деревянными столами. Это и есть октябрьские праздники пива.

— И давно у них такая красота?

— Как помнят себя. Какой-то там король когда-то женил своего сына, вот и положил начало. Тогда было бесплатно, сейчас бизнес, но всё равно красиво. Праздник пива, весь мир знает его, поэтому в Мюнхене в конце октября полно иностранцев. Самый крупный народный праздник в Европе!

— Сто тысяч, говоришь, удивительно, где же они воблы столько берут?

— Да не воблой, — возразил всезнающий Алексей, — цыплятами они закусывают.

— Цыплятами? — выдохнул упавшим голосом Петрович. — Дак, цыплят где враз столько взять, а? Ты подумай, садовая твоя голова? Врать горазд больно!

— Понимаешь, отец, индустрия!

— Чего, индустрия? Чугунные что ли цыплята-то?

— Эх ты, едрит-ангидрит. Индустрия обслуживания, понял?

— Понял, только не врешь ли? Сам видел или кто рассказывал?

— Сам, — горделиво подтвердил Алексей, — в прошлом году ездили оборудование смотреть в Мюнхен, довелось самому, — и поправил без того аккуратно повязанный галстук.

— И всё-таки чудно как-то! Цельный город людей, как наш Чапаевск, зараз пиво пьют, — Петровича почему-то явно расстроило это обстоятельство. Или просто пожалел, что прошел

всю войну, Германию, а увидеть интересного мало что привелось. А этот.. вот тебе, съездил на четыре дня, и верещит без умолку.

Алексей это заметил. Ему, очевидно, не хотелось обижать Петровича, принижать его авторитет и он сказал фразу, которая враз оживила весь дальнейший разговор. Дала инициативу Петровичу.

— Оно, может, вот так втроём или одному посидеть, пивка попить поспокойнее и впрямь? Каждому своё.

— Вот, не прав ты! — встрепенулся Петрович, — в корень надобно глядеть. Понимаешь, важно не только выпить, но и поговорить, верно? — Он поднял воодушевленно лицо и так же воодушевленно — указательный палец. — Коллектив — огромная сила, во брат! Я тебе историю расскажу, как одному хреново. Был у меня дружок. Виктор. Так вот, стал я замечать, что он о чём-то постоянно думает, понимаешь? Тяготит его что-то. Пойдем выпить. Выпьем, посидим, подакаем, а разговору после выпивки нету, как подменили человека. А у него радость должна быть: полгода как квартиру получил. Не новая, но хорошая, двухкомнатная, недалеко от пивкомбината, где он грузчиком работает. Я ему однажды так прямо и врезал: «Виктор, ты, когда в бараке жил, человеком был. Окопался в изолированной — куркуль какой-то стал. Дичишься, к себе не пригласишь, раньше было как, а?..» А раньше мы с ним через перегородку жили, душа в душу. Всё открылось, когда он меня чуть не за руку к себе домой приволок. Завел меня на кухню, вручает мне пивную кружку и, показывая пальцем под подоконник, командует: «Наливай сколько хошь и пей, пока не лопнешь, а я не могу больше так!» — «Вить, о чём ты?» Тогда он берет мою руку с кружкой, сует под подоконник, а там — кран! Чик — и готово! Открыл крантик, и оттуда свежее ароматнейшее пиво, понимаешь? Фантастика! Я кружку одну хлопнул, как водится, с ходу. Наливаю вторую — текёт, едрёна вошь! Текёт и опять полна кружка — хлоп вторую! Уж потом спрашиваю, смекнул я в чём дело, чья это конструкция такая гениальная? Он не знает. Старый хозяин уехал в Мордовию. Может, он и протянул медную трубку через забор с пивкомбинатовского склада, кто знает? «Вот она, эта конструкция, — говорит мой Витёк, — и не дает мне спать спокойно. Месяца три пользовался, красота! А потом не по себе стало. Нет, не боюсь. Стыдно — присосался к чужому

вымени, вот! Как враг народа какой». А я его так спрашиваю: «Витёк, а как ты различаешь, какое пиво пьешь? Ведь оно меняется, наверное: «Жигулевское», «Самарское» и тэдэ, а?» Эх, он на меня матюгался тогда!

На утро сделал заявление начальству пивкомбината. А оно маленькое расследование сделало, и выяснилось, что три хозяйина, меняясь, около десяти лет пользовались этим крантиком, а вот Витек — слабак оказался. Не выдержали нервишки. Коллективист — в одиночку пиво пить не смог, а ты говоришь...

Замолчал. Но не хотелось Петровичу инициативу в разговоре упускать, он и спросил:

— Они, наверное, коллективисты большие, твои германцы. В одиночку тоже не могут. А уж тем более брать чужое.

— Нет, могут, — обрадовано возразил Алексей. — Нам фирмачи рассказывали, что у них очень долго не могли пресечь хищение меди. Но помог случай: старенький вахтер, уходя с работы, как-то замешкался. В проходной позвонил по телефону и, забыв про трость, с которой обычно ходил, направился домой. Один из управленцев, видя это, взял трость, чтобы отдать её хозяину... И вот тут все открылось; трость-то была тяжеленная, из медного прута! Хитроумный старик каждый раз приходил на работу без трости, а уходил с завода с солидным куском меди.

— Ну, видишь ли, этот старик — гений в своём деле. Его нельзя было трогать, — сказал, немного подумав, Петрович. — Специалист. Таких ценить надо!

Инициатива уходила от рассказчика, и он, очевидно, почувствовав это, поспешил подвести черту:

— Значит, и там воруют.

Я было подумал, что в его словах скрыто негодование, но он продолжил умиротворенно:

— Надо же, выходит всё как у людей...

## **Озорник**

— Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Всё равно скучно сидеть в этом министерском предбаннике. Не скоро дождешься своей очереди. Я потихоньку, чтобы секретарь Леночка не очень хмурилась. Итак, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза

в месяц, так легче этот страстной день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив всё своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут со всем, что наболело, — под конец приёма, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие огромный астраханский арбуз принёс.

— И танцевал лезгинку, да?

— Во, во, он самый! Всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная есть: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, закончив институт, чёрт те дери, выдвинулся, теперь у меня в активе два инфаркта, а он всё танцует. Ну ладно, ближе к делу.

Он с удовольствием принял из рук Леночки стакан чая, кивком головы поблагодарив, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладёт мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так, — спрашиваю, — не мог запросто зайти, в обычное время?» «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть!..» Ну я замороженный весь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положения». Он берет заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Чёрт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно посмотрел на меня и так вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат» — «Что! — шумлю, — за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и так вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живём мы по-разному?» — «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе

он отвечает, — а у меня географическая карта мира, смекаешь, разница какая?» — «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище понимал: карта мира на стене над кроватью» — «Ну и что? — реву я. — Что?» — «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика! Внизу соответственно — Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» — и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дрожайшей супруги ни были — они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая, — он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. — Жуть какая, а?» — «Что ты городишь? Причём здесь это?» — «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, — сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» — сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

## **Между Курнями и Утёвочкой**

Было у меня в детстве желание пройти не спеша по каждой улочке, каждому переулку моего села.

Село наше большое, вряд ли хватит и часа для того, чтобы прошагать из одного конца в другой по прямой. Вот это-то меня и манило. Село казалось огромным.

Но я тогда так и не сделал этого. Может, не хватило терпения, а скорее, удержали мальчишеские заботы, мало ли их было у нас.

Теперь, когда я увидел много красивых и больших городов, моё село, конечно, стало казаться мне не таким уж и большим. Оно как-то сжалось и сгорбилось. Хотя построены новый клуб, школа...

Мне хочется его расправить, сделать прежним. Я дал себе слово этим летом пройти по всем его закоулочкам и тем самым осуществить свою мальчишескую мечту. Но только ли в давней мечте дело?

Мне это куда важней сделать для себя сегодняшнего, когда вся наша планета Земля, такая огромная и необозримая в детстве, вдруг стала во взрослой нашей жизни совсем беззащит-



ной и хрупкой, судьбой своей зависимой от человека, от разума его в ядерный и космический век.

Человечество выросло из своего детства, и колыбель его, планета, стала столь зависима от него самого...

Об этом много сказано и написано.

Но сердце болит..

...Я давно, не торопясь, собираю сведения о своей Утёвке. Моя улица, где родился и, где стоит родительский саманный дом, носит название: «Центральная». Я всегда думал, что она и по сути центральная, изначально, с момента зарождения села, ведь она такая широкая и ровная. Легко было предположить: когда-то в степи началась плановая постройка домов, земли хватало. От того-то и позволительно было размахнуться и так всё спланировать, что и поныне наши улицы поражают своей прямой и упорядоченностью.

Ан нет, не с моей улицы начиналась Утёвка.

Если верить запискам, сделанным Кузьмой Емельяновичем Даниловым, учителем-историком и бывшим директором Утёвской школы, первооткрыватели селились не по плану, а строились там, где им нравилось.

...Богатый крестьянин Селезнев, переехавший из Красно-Самарской крепости, поставил свой хутор между двумя небольшими степными речками, впадающими в нашу реку Самару. Позже эти речки получили свои названия. Одна — Курни, другая — Утёвочка. Хутор вроде бы стоял на том месте, где сейчас пролегла Саратовская улица. Так утверждали старожилы.

О Красно-Самарской крепости стоит сказать особо, уж коли основатель нашего села, которое впервые упоминается в архивных документах в 1792 году, переехал оттуда. И не только о ней, думаю, надо сказать...

...Прошло всего лишь два года после Куликовской битвы, и Тохтамыш собирает опять воедино силы Золотой Орды. Он вновь захватывает и грабит Москву, вновь вынуждает русских князей платить дань.

Усиление власти Тохтамыша и интриги ордынской знати делают своё дело: бывшие союзники Тохтамыш и Тамерлан (Тимур) становятся врагами.

Вообще, я думаю, более полутысячи лет назад, когда самарская земля стала ареной одного из грандиознейших сражений

средневековья, наша, нефтегорская теперь, земля тоже испытала немало потрясений. Ведь выступивший из Ташкента в январе 1391 года с более чем двухсоттысячным войском среднеазиатский правитель Тимур, тесть золотоордынского хана Тохтамышша, вышел к реке Самаре. Две реки, Самара и Кондурча, связаны воедино грандиозной битвой средневековья между среднеазиатским востоком и полчищами ордынцев. Два великих чужих войска столкнулись на нашей земле... Надеюсь измотать силы неприятеля, Тохтамыш долго отступал. Но отступать дальше ему было уже нельзя. Возникла опасность прижаться к Волге и потерпеть поражение. Тохтамыш решил на сражение у Кондурчи (ныне Красноярский район Самарской области).

18 июня 1391 года здесь столкнулись, как пишут историки, два войска, имевшие каждое примерно по двести тысяч.

Не сбылась надежда Тохтамышша: в длительном походе армия Тамерлана не потеряла своей силы. Властный Тимур сохранил боевой дух своей армии и его тактика ведения сражения семью подвижными карифами — «кулами» — сыграла решающую роль: Золотая Орда была разбита.

Серьёзное ли расстояние от Кондурчи до Самары-реки, до земли, где теперь расположена Утёвка? Да, конечно же, нет, даже по тем меркам. Всё было втянуто в единый и страшный водоворот, если учесть, что двадцать шесть дней победители опустошали захваченные земли. Расстояния для средневековых завоевателей были не преградой. Разбив Золотую Орду, Тамерлан завоевал Дели, разбил турок, пошёл походом на Китай... во время которого и умер в 1405 году.

На следующий год сибирским ханом был убит Тохтамыш.

Историческая битва на Кондурче ускорила распад Золотой Орды. Московское государство начало укреплять своё влияние на Волге.

...Второго октября 1552 года, после ожесточённого штурма русскими войсками, Казань пала. Казанское ханство перестало существовать. А в 1556 году не стало и Астраханского ханства. Волга стала водной магистралью Русского государства.

Но в Заволжье по-прежнему находилась Большая Нагайская Орда. И хотя в 1557 году она признала свою зависимость от Москвы, отдельные орды татар не покорились и враждебно относились к русским. Московское государство для укрепления

позиций начинает строить военные наблюдательные посты — по сути укрепительные линии на своих восточных границах. Это сопровождалось большим недовольством ордынцев, требовавших запрета строительства городков. Тем не менее были построены Чебоксары, Лаптев, Тетюши, Самара, Уфа, Царицын, Саратов. Что же было тогда на месте нынешней Утёвки? И что было на месте нынешнего областного центра Самары, ведь начиналось всё, как известно, только весной 1586 года с возведения на высоком правом берегу реки Самары деревянной крепости. Городок ставился из сплаваемых с её верховья брёвен. (Уж не из района ли нынешнего Борска сплавливали, как это делалось во время войны при строительстве в селе промкомбината, при участии моего деда Ивана Рябцева?).

...Ещё на картах XIV века обозначено поселение Самар. Как знать, может его можно назвать пращуром нашего города?

Выбором места и строительством крепости руководил алатырский воевода Григорий Осипович Засекин.

Удивительна энергия этого человека: с пятнадцати лет князь Засекин находился на службе у государя. Воевал со шведами, с ливонцами, служил воеводой. После Самары он построил в 1589 году Царицын, а в 1590 году — Саратов. Во всех трёх построенных им городах князь Засекин служил первым воеводой...

...При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче строится «Закамская черта» (ров и вал со сторожевыми городками), а при Петре I в двадцати шести верстах от Самары возникла Алексеевка и в ста двадцати четырех — Сергиевск.

Но этого оказалось мало. Возведены были Красный Яр, Кондурчинская, Черемшанская, Шешминская, Кичуйская крепости. Строительство этой новой линии закончилось в 1732 году. Она соединила Алексеевку со старой «Закамской линией» до реки Камы.

Но и после этого — кочевники мешали заселению русскими Заволжья. В 1736 году по распоряжению основателя Оренбурга, статского советника Кириллова, начали строиться крепости по реке Самаре, южнее от прежней линии, в тридцати-сорока верстах друг от друга. В это время появились Красно-Самарская, Борская, Ольшанская, Бузулукская, Тощая, Сорочинская, Новосергиевская крепости. Вот из этой Красно-Самарской кре-

пости и приехал крестьянин Селезнев, которого можно считать одним из основателей Утёвки. Откуда был род Селезнева, чем занимались его предки, остается только гадать...

Одними крестьянами удержать вновь присоединенные земли, конечно же, было нельзя. 4 декабря 1762 года Екатерина II издает манифест, в котором говорится о том, что приглашаются иностранцы для поселения на берегу Волги, по рекам Самара, Большой Иргиз, Еруслану, Тарлыку. Приглашались на поселение и беглые, в том числе и раскольники.

Беглые крестьяне из центральных районов Московского государства проникали в наш край и до этого момента. Селились они среди местного населения, платя за землю дань.

Как известно, самарские крепости заселялись местными казаками и ссыльными, но людей не хватало, поэтому здесь принимали беглых крестьян, отставных, бродяг.

Население Урала и Среднего Поволжья доставляло немало хлопот тогдашнему правительству. В год вступления Екатерины II на престол (1762 г.) в «неповиновении» находилось около двухсот тысяч помещичьих, монастырских и пришлых крестьян.

Предполагалось, что Красно-Самарская крепость должна была стать большим торговым городом с таможенной, перевалочным пунктом для товаров, идущих на Оренбург и в Азию. Но В.Н. Татищев, сменивший Кириллова после его смерти, решил эту роль отвести Самаре. И хотя Красно-Самарская крепость занимала выгодное положение: полноводная река Самара могла быть транспортной артерией, дремучий лес прикрывал крепость с одной стороны и болотистая почва — с другой. С возвышенности, на которой стояла крепость, степь просматривалась на многие версты — мы видим теперь, что Татищев был прав: обмелела река, поредел лес. Все преимущества, которые очень важны были тогда, сошли на нет. А город Самара, расположенный на месте слияния двух рек — Самары и Волги — имеет большую будущность.

...Вновь вернемся к крестьянину Селезнёву. Вблизи его хутора и стали оседать государственные крестьяне, переселившиеся из центральных губерний России: Трегубовы, Пудовкины, Юнговы, Гурьяновы и другие. Теперь это все фамилии утёвские.

Так образовался поселок, который назывался «Селезнёвка». Потом вслед за Селезнёвым на территории нынешней Утёвки возвели свои постройки Киселев, Утовкин, Клюев. Утовкин поселился на левом берегу одной из речек, в дальнейшем названной по его фамилии «Утёвочка». Поселок стали называть «Утёвкой». Позже около дома Утовкина поселились предки моего деда — Рябцевы, предки моего отчима — Шадрины, потом — Климановы, Малюгины, Сидоровы. Мои соседи справа от дома на улице Центральной носят фамилию Климановы, Малюгины до недавнего прошлого жили на нашей улице, напротив дома моего деда. У моего друга детства Михаила Туманова дед был — Малюгин. Около Клюева поселились Семочкины, Ванюшкины, Ореховы, Сонюшкины, Гарины, Поповы и другие.

По соседству с Киселевым построились Горячкины, Валовы, Кирсановы, Шмирёвы. Поселок стал называться «Киселевкой».

Возникли недалеко друг от друга четыре поселка: Селезневка, Утёвка, Киселёвка и посёлок, основанный Клюевым.

Мы, утёвцы, должны быть благодарны местному краеведу Кузьме Емельяновичу Данилову, кропотливо собиравшему материал об Утёвке. Благодаря ему, мы сейчас можем знать так подробно об образовании нашего села. Дотошность его в поисках была поразительна. Чтобы уяснить, откуда переселились семьи в село Утёвку, он писал во многие уголки России с целью подтверждения происхождения фамилий. Изучая историю села Утёвки, Кузьма Емельянович установил, что в основном предки коренных жителей села переселились из Пензенской губернии.

«Например, — пишет он, — Климановы, Течкины, Поповы, Росляковы — из села Селище Краснослободского района Мордовской АССР. Киселёвы, Утёвкины (Утовкины), Кирсановы, Кузьмины — из села Яхавы (Ефаева) Рыбчинского района Мордовской АССР».

Вот что писал директор Селищенской средней школы Данилову: «Фамилии коренных жителей села Утёвки, которые Вы перечисляете в своём письме (Климановы, Росляковы, Течкины, Панфиловы, Поповы и другие) имеются в нашем селе Селище. Говор жителей села Утёвка, о котором Вы пишете, полностью совпадает с говором жителей нашего села».

Установлено, что в село Утёвку переселялись и из Тамбовской, Смоленской губерний. Вообще в Заволжье большой приток переселенцев был во второй половине XVII века и в первой четверти XVIII века. Переселялись на левобережье реки Самары гонимые тяжелой жизнью и из Симбирской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тверской, Смоленской и других центральных губерний России.

Левобережье Самары, Утёвка, стали пристанищем выходцев из многих губерний России, аккумулируя тем самым вековой опыт и уклад русского крестьянства в одном общем месте на широких просторах будущего Нефтегорского района и, очевидно, способствуя и укреплению достаточно чистого выговора, трудолюбия и основательности, с которыми утёвцы обычно обустраивают свою жизнь.

...Но вернемся к первым поселенцам. Поселок Утёвка располагался на моей родной улице Центральной, об этом говорят многие источники. До сороковых годов XX столетия она называлась «Большая улица».

Посёлок Киселёвка — на Уральской улице. А посёлок, который основал Клюев, располагался на нынешней Крестьянской, около озера, оно сейчас называется «Приказное». Очевидно, название «Черньшёвка» посёлок получил от породы уток, черньшей, которых в ту пору было очень много на озере.

В конце XVIII — начале XIX века приток переселенцев усилился и все четыре поселка — Селезневка, Черньшевка, Киселевка и Утёвка — слились в одно село, названное Утёвкой.

В камышовых зарослях речек, пересекающих село, на Черном и Приказном озерах водилось множество уток, поэтому, по одному из преданий, наше село и было названо Утёвкой.

В то, что уток было когда-то много, легко поверить. Даже я помню, как мой дед по весне на огороде бил уток, а зимой — силками ловил зайцев.

Скорее всего, село получило название от фамилии Утовкин. В селе и сейчас живут Утовкины, вероятно, потомки первопоселенцев.

Там, где ещё недавно стоял деревянный дом культуры, в начале XIX века, к 1810 году, была построена двухпрестольная церковь, посвященная Михаилу Архангелу (малый престол) и Дмитрию Салунскому (большой престол). Тут же был и рынок,

где еженедельно по средам проходили многолюдные базары и три ярмарки в году. На Фролов день, один раз в году, в поселке проходили конные скачки. В поселке Утёвка жили богатые люди: братья Темонтаевы, Кузьмины, Колодины, Ясакины, Сობольковы.

Данилов писал: «Жители Селезнёвки, Киселёвки, Чернышёвки и окрестных сел обычно говорили: надо съездить на базар, на ярмарку, в церковь, на скачки, в приказ, в Утёвку...»

И далее он пишет: «Старые же названия других поселков со временем стерлись из памяти жителей села, они остались только в архивных документах. Так в списках населенных мест Самарской губернии по состоянию на 1 января 1897 года записано: «Утёвка», а в скобках: Чёрновка, Селезнёвка, Киселёвка. Так же записано в списках населенных мест Самарской губернии и в 1897, и 1910 годах».

...Я иду по нашей Центральной улице. Даже за последние пять лет она сильно изменилась. Парк, который мы, школьники, когда-то посадили почти во всю улицу из берез, карагача и тополей — было это в десятом классе — за сорок без малого лет успел вырасти, состариться и почти сойти на нет. Почему-то такое недолговечное дерево — карагач, пережило и березы, и тополя. Но, обвешанные грачиными гнездами, и они засохли. С тяжелыми чёрными гроздьями грачиных гнезд этой осенью повалились они под бензопилами наземь. Теперь от самого того места, где стояла церковь с двухсотпудовым колоколом, а после — клуб, просматривается в конце улицы бескрайняя степь-матушка, выдавшая так много на своём веку...

...Следующей весной прилетят, как обычно, грачи в родные места. Увы, они уже не найдут своих гнезд.

...Я встречал немало людей, когда-то выпорхнувших из этих благодатных мест и вернувшихся лишь для того, чтобы посмотреть хотя бы одним глазом на старое гнездовье своих предков.

Как правило, они мало что находят. Постройки, чаще всего недолговечны. Всё с годами уходит в землю...

Бесконечные укрупнения, разукрупнения, перевод села из одного района в другой заставляют перемещать и без того скудные архивы. Часть их теряется.

Так что... ищи ветра в поле...

## **Весенняя болезнь**

Идёт затянувшееся совещание. Добрая сотня людей мается в зале. Мой сосед тихим разговором спасает нас обоих от скуки.

— Разные бывают профессиональные болезни, а знаешь, какая у меня? Моя хворь связана с весной. У одних авитаминоз и другие разные интеллигентские штучки, а у меня страшно болит шея.

— Ну, это возрастное — пошло, очевидно, отложение солей...

— Вот-вот, возрастное, это точно. А не знаешь ли, почему обязательно весной? Нет, не знаешь, а я знаю. Весной все женщины становятся прекрасными. Они благоухают! Прелестное время! В груди так вдруг и забурлит, и нестерпимо захочется влюбиться напропалую. А тут тебе заботы весенние: капитальный ремонт завода, помощь селу, подготовка соцкультуробъектов к лету — продыху нет! Мечешься, как заяц. Вот и видишь женщин только из окна персонального автомобиля. Таращишь глаза, тянешь шею вслед очередной прекрасной незнакомки, вот она и не выдерживает!

— Кто, незнакомка?

— Да шея, чудак! Ноет без конца, болит.

— Вот это уж точно возрастное. Рано ты директором такого большого завода стал.

— А у тебя не ноет?

— Нет.

— Ну, тебе ещё хуже, брат. Ты совсем уже пропащий человек.

Председательствующий объявил его фамилию. Он, не поворачиваясь, правой рукой пошарив на соседнем сиденье, взял свою папку с бумагами и пружинистой походкой пошёл к трибуне.

Совещание шло своим чередом. Как и жизнь.

## **Погоня**

Набродившись по жаре, я расположился в тенёчке невысокой ольхи близ маленькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня. Стадо коров, разморенных июльским зноем и погрузившихся в воду, дремало.



Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Струдившись, они взбили пыль на берегу и шарахнулись на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал мальчик. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Он был великолепен. Дикое дитя природы! Но всё-таки в этом заповедном звере как-то не доставало величия. Было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого мог бежать этот великан? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — шумнул ещё не пришедший в себя от дремы пастух.

И не успел я подойти, как ребяташки вскочили в седла и под залиvistый лай собачонки погнались лосю. Тот, не дойдя до воды, метнулся, вскинул голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосёнками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высокого берега старицы мне было видно, как, обогнув дальний её изгиб, лось отрывался от преследователей. А те гнали всю галопом, охваченные азартом погони.

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, — заставил — и сам не рад! На-за-а-ад! — сложив рупором ладони, прокричал он. Но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он устремился, блеснуло на солнце узенькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Не трудно было догадаться, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное, сердечник, — встретил нас на полпути радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха.

Было странно видеть и знать, что дикая и, казалось, неумная сила рухнула так вот запросто, никчемно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи, — отмахнулся пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгая носом. Стара­ется не поднимать головы...

День померк.

Было неловко и стыдно, что никто не сумел, не догадался остано­вить эту нелепую погоню.

## **Заводской Эзоп**

*Он храбрым был. Но притворялся трусом.*

*Он мудрым был. Но дурака валял.*

*Кривлялся. Потрафлял жестоким вкусом.*

*И плоской шуткой с грохотом стрелял.*

**Юнна Мориц. «Паец»**

Он был иногда назойлив, как осенняя муха. Настигая меня в столовой, у проходной скороговоркой выдавал свои «перлы». Косноязычие мучило его. В сочетании с его жанром — он пи­сал басни, это снижало впечатление в разговоре с ним. Не на­блюдалось, как мне казалось, блеска.

Его шутки были, как выкорчёвывание огромного корне­плода, допустим, свеклы, полезного, ёмкого, но грязноватого ещё, необработанного, содержащего и сахар, и в последующем хмельную брагу — но пока... всего лишь серый комок. Не хва­тало шарма в его экспромтах.

Когда была хоть какая-то возможность, я приглашал его к себе в кабинет. Но там он становился суетным, начинал ёрни­чать. Его смущала официальная обстановка. Я понимал — это защитная реакция, но всё же досадовал: хотелось душевного разговора...

...Он был живой персонаж моей повести «Черный ящик». Я всегда его слушал внимательно. Мне не интересно приду­мывать жизнь, какая была или будет. Какая она есть, — это всегда влекло. Вот он, живой, в застиранной спецовке, рабочий человек...

Он отличный слесарь-инструментальщик. Я его наблюдал и с разводным огромным ключом, и колдующим над сложными чертежами.

Но не хватало ему «художественности», того, что я пытался обрести и сам в своих литературных опытах, что ценил более

всего тогда. А у него, казалось мне, и дум об этом особых не было. Несколько раз я просил его дать мне посмотреть его басни, про себя думая: может как-нибудь да издадим?!

Он обещал, но не приносил. Я это понимал по-своему. Ещё не созрел, сам себя готовит. Это, может, и хорошо. Зачем торопить? Пусть сам решает. Его влекла сатира, а был он весельчак и балагур. Его знал весь наш заводской люд — тут он проработал сорок лет. Да что заводской! Он дружил со всеми пишущими в нашем городе — единственный баснописец в Новокуйбышевске! Имя его — Владимир Николаевич Долгинин. Чаще всего он подписывался — «Скорпион». Под этим именем он и попал ко мне в мою повесть «Чёрный ящик».

...Было время, когда нелегко было работать. А когда директору завода легко? Но уж больно сильно прижало. Разгул псевдодемократии душил заводскую дисциплину. Зачумлённые вседозволенностью члены совета трудового коллектива рвали заводскую власть на лоскуты. Каждый примерял с чудовищной безответственностью добытый кусок этой непростой материи на себя. Уже «общественный директор» — председатель СТК — давал интервью, делился планами работы на год. Досадно и больно было наблюдать, как эта дирекция основными задачами своей «деятельности» ставила «зажать» действующую администрацию, отобрать у неё распределительные функции. И никто не хотел на себя брать организационную часть работы. Всё делалось, чтобы развалить то, что есть, а потом на обломках выносить приговоры и окончательно брать власть. Увы, это был уже отработанный на многих заводах сценарий, а вернее, план захвата власти. Многие заводы от этого уже лежали полуживые. Ибо захватившие таким образом власть кроме «захватов» чаще всего ничего не умели делать.

И вдруг среди этой вакханалии Скорпион печатает в нашей газете «Большая химия» свою «Оду директору». Многих эта ода заставила задуматься.

Оказалось, что муха может быть храбрее и смелее льва. Многие «львы» — главные специалисты завода — сникли, пригнули головы, а слесарь-инструментальщик Долгинин ринулся в бой! Он чувствовал истину. Он был по-своему мудрый человек. Обычно он защищал честных ежей, умных бобров, муравьёв и клеймил стократно в бесчисленных своих байках львов-

плутократов, грачей-рвачей и так далее, а тут такой громогласный поворот. Не каждый, прочитавший оду, поверил, я думаю, в искренность автора, уж больно критиканство «верхов» было сильно. Но тем и замечательней был поступок автора. Он потом долго старался не попадаться мне на глаза, очевидно и ему была непривычна роль защитника «верхов». Он, я это чувствовал, боялся, что приму его оду как подобострастие. Он этого терпеть не мог. Скорпион по гороскопу, он и в жизни был таковым.

*...Ну, погоди! Госдума и Закон  
Прижмут хануг, должно быть, очень скоро,  
Отнимут миллиард и миллион  
И ницим отдадут. Осталось ждать немного —  
Всего сто лет, иль двести...*

Он не был бодрячком. Он пронзительно смотрел на мир, порой и грустно.

— Гендир, знаешь, нельзя надеяться на то, что на земле будет когда-нибудь рай. Вредно так думать. Но человеками надо пытаться оставаться, верно? — И сам ответил, зная моё мнение наперед: — Ежу понятно.

— Коль рая нет и не будет, то не будет и счастья. Есть же формула: «Счастлив тот, кто не родился», — пытаюсь я разговорить Скорпиона.

— Не так, гендир! Совсем не так! У каждого из нас своё, и каждый может испытать счастье, хотя бы на миг.

Теперь, читая его:

*Я как будто в лесу, в буреломном лесу:  
Что ни шаг, то овраг, где ни встал, там провал.  
Чертыхаясь, бреду я сквозь дождь и грозу.  
Как осина, дрожа, я храбриться устал,  
Я дорогу ищу, я кричу, я свищу.  
Волчьим воем глушу необузданный страх:  
«Отвяжись! Отойди! Не пущу! Не прощу!  
О, помилуй, Господь! Не свирепствуй, Аллах!» —*

я понимаю, почему он не говорил гладко, и не было в его речи изящества и косноязычье мучило его. Он думал и о себе, и о нас всех сразу. Он о многом думал, и хотел на всё дать только свой ответ, ни у кого незаимствованный. Но ответ не сразу давался.

Однажды у него вырвалось:

*Плохие песни, говорил Крылов,  
У соловья в когтях у кошки!..*

Скорпион умер в конце прошлого года.

Владимир Николаевич не успел издать своей книжки. Когда я задумал изготавить крест на могилу художника Григория Журавлёва, он с душевным просветлением взялся помогать. Теперь этот металлический памятник, художественно оформленный, стоит там, где ему и положено. Когда я приезжаю после долгой отлучки в своё село и подхожу к этому кресту-памятнику, душа успокаивается.

...Он был одним из нас, поэтому, может быть, мы не могли видеть в нем ничего пророческого.

Он был каплей, капелькой всего человеческого, может быть, так...

...«Если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?» — этот вопрос когда-то задавали Викентию Вересаеву.

«Вот перед вами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожаем бы погиб». Так ответил писатель.

Это и о нем, о Владимире Долгине.

## **Не собственник**

Мой сосед по купе «завелся» с ходу. Видно, заядлый рассказчик.

— Когда в Лондоне, в музее восковых фигур мадам Тюссо, я решил подойти к Наполеону и померяться с ним ростом, оказалось, что великий француз мне хитро подмигнул. Это, скажем прямо, странное дело я никак не мог объяснить. Но так было, ей-богу. Не придумал же я. Померился, и оказалось, что я выше, вернее, немного длиннее его.

Когда случилось то, о чем сейчас расскажу, вспомнил все это.

...Значит, приехал я в Москву не один — со своим замом по экономике. Поселились, как обычно, в гостинице «Ленинград-

ская», что у трёх вокзалов. Разошлись по разным номерам и надо же — я почувствовал простуду. То ли в поезде кондиционер помог, то ли раньше где, но кости поламывает, в горле першит и нос забит. Можно бы перебиться, но на следующий день мне предстояло в Правительстве у Черномырдина делать сообщение по своему заводу. Все дело в том, что мы тогда затеяли большой проект. Нашли инвесторов, кредит большой — свыше ста миллионов немецких марок, и нужна была для немецкой стороны правительственная гарантия.

Нельзя было гнусавить на докладе.

Дежурная по этажу нашла только аскорутин. И то всего две таблетки. Я проглотил их обе и улёгся в постель. Вдруг она стучится и предлагает рецепт:

— Если хотите на завтра быть здоровым, слушайте. Не гарантирую, сама не пробовала, сейчас подружка подсказала. Надо взять стакан хорошего коньяка, нагреть градусов до сорока-пятидесяти и выпить. Не закусывая, лечь в постель.

Коньяк стаканами я ещё не пил, но был готов сейчас на всё.

Примерно через час ввалился посыльный от моего друга, которому я позвонил, с бутылкой «Наполеона».

— Вот, Виктор Алексеевич сказал, чтобы коньяк был надежный, не суррогат, а где сейчас гарантия? Всё объехал, что мог, решил на Арбате этот взять. «Наполеон» — вроде похож на настоящий.

— А где же Виктор?

— Да у него какое-то сложное дело, обещал позвонить.

Посыльный вышел. Я остался один на один с «Наполеоном».

Подогрел бутылку под краном в ванной. Вернулся, налил полный стакан, поставив его на журнальный столик посередине номера. Присел рядом в некотором раздумье. Не совсем ещё верил, что я готов на такие подвиги.

И в это время в номер зашел мой заместитель. Глаза его округлились. Он попил. И в дороге, в поезде, в гостиничном номере — везде у него под рукой с собой было. Опыт в этой сфере у него редкостный. Любил это дело. Иногда его заносило, и я, зная это, старался компанию с ним не поддерживать, но и не запрещал. Так было и в эту поездку. В поезде я в этот раз с ним не пил.

— Гендир, в одиночку употребляем? Не похоже!

Он искренне удивился, воззрившись на коньяк.

— Лекарство. Видите? — и я потянул воздух забитым носом.

Налил и ему полстакана.

Он пригубил, поморщился и махнул рукой:

— Мне в город надо, не сейчас.

Это было совсем не похоже на него. Станный день какой-то выдался...

Когда он вышел, я, зажмурившись, опорожнил стакан. Потом, махнув рукой, с какой-то даже необычной лихостью налил из бутылки остатки и выпил. По лечебному рецепту закусывать не полагалось.

Когда я убирал бутылку и стаканы, меня уже «повело». Быстренько разделся и бухнулся в кровать под одеяло.

...Проснулся в шесть утра, проспав беспробудно десять часов. Сушило страшно во рту, но вчерашней потливости как не бывало. Нос мой функционировал словно новенький. Не лекарство — чудо! Очень хотелось пить.

...Всё прошло нормально. Не было Черномырдина, вёл совещание зам — Олег Сосковец. Было с десятков высокопоставленных чиновников, включая заместителей министров смежных ведомств.

Через день я ехал в Самару, домой. В папке у меня лежала правительственная гарантия. Не зря мне Наполеон тогда подмигнул в Лондоне. Ты запомни рецепт-то, простенький он. Дарю — я не собственник.

Он замолчал. Я почувствовал, что настала моя пора что-либо рассказать похожее. Но что-то на ум занятого ничего не шло.

«Рановато он, с ходу начал, Сызрань только что миновали, до Москвы ещё...»

— А вот ещё разок история была забавная, рассказать? — и мой попутчик заразительно засмеялся.

— Давайте, — охотно согласился я...

## **Под карагачами**

Сегодня в нашей сельской парикмахерской, пока дожидался своей очереди, наблюдал, как один из её посетителей длинно и нудно втолковывал другому самые, что ни есть, прописные истины.

Бедняга-слушатель мучался от бестолкового разговора, от того, что ему говорят о вещах, в которых он и сам не хуже разбирается, больше: он вполне придерживался того же мнения, что и говоривший, но прервать разговор не решался.

Говоривший (потом я узнал его имя, но запомнил прозвище — Ботало) любил свою мысль и явно считал себя намного умнее других.

Я видел, как облегченно вздохнул терпеливый слушатель, когда подошла его очередь, и он скользнул бочком к креслу.

По пути домой подумалось: «А ведь пишущий тоже чувствует себя в момент написания в некоторой степени талантливее всех остальных смертных, чувствует, что только он один может так сказать о чём-то, и говорит. И он вправе так чувствовать, иначе ничего стоящего никогда не напишет».

Простенький случай в парикмахерской стоил мне, как оказалось потом, бессонной ночи. Вечером перед сном встали частоколом вопросы...

Почему всё-таки я пишу? Для чего? Ведь столько уже написано другим, но стал ли от этого мир лучше? Писать, вопреки всему, никого не слушая?

Творить мелодию, подобно той, которую я слышал в Швейцарии, когда на альпийских лугах паслись стада коров? У каждой на шее было по колокольчику, боталу. По дорогам сновали автомобили, шли люди. В небе летали самолеты, а эти колокольчики вели свою особую независимую мелодию. Они были всё-таки частью той жизни, которую я наблюдал в Альпах или они только напоминали о ней?

Жажда ли поиска истины рождает неуёмное желание писать или стремление свидетельствовать только то, что вокруг нас есть? И то, и другое?

Ещё больше разворошились во мне тлеющие сомнения, когда прочёл слова Алексея Алексеевича Ухтомского. Они не развеяли сомнений, они заставляли не соглашаться или соглашаться только частично, и толкали мысли дальше...

В 1928 году он писал: «Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — писательство. Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел, человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определённых



целей — писать вот так же, как трава растёт, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И, видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за своё писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чём дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человеке «с горя», за неудовлетворённой потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далёкому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои мысли и выводы!..»

И так, и не так! Уж никак по-моему писательство не возникло только «с горя», от отсутствия друга.

Писать иногда удобнее, если представить перед собой друга, к которому ты обращаешься или который ждёт от тебя слова. Но ведь это только приём, всего-то. Есть в писательстве то, что невозможно определить однозначно, и я не пытаюсь этого делать.

Меня однажды обожгла фраза: «Человека учат говорить, чтобы он когда-то понял, почему он должен молчать». Но для чего человек пишет? Не своеобразное же диссидентство: одни просто живут, а другие живут да ещё пишут о жизни. Что всё-таки это?

Стремление продлить жизнь? Ведь она так коротка! Но кому? Себе? Своим героям? Вообще продлить жизнь, понимая её уникальность и неповторимость? Просто продлить? Или продлить для того, чтобы понять что-то? Но что понять? Что самое главное в жизни? Но разве одному человеку можно понять, что сейчас самое главное в жизни? У каждого своё главное...

...Ведь, если это разговор с собеседником, которого тебе не хватает, то в конце концов всё может вылиться в монолог, а если ещё дальше, думал я, превратиться в лапидарные фразы, в афоризмы. Вот уж спасение будет от телевизионщиков: пусть попробуют экранизировать афоризмы. А что, если писательство — не желание продлить жизнь, а сделать саму жизнь? Сконцентрировать на бумаге — прошлое, настоящее, будущее?

Что самое дорогое у человека? Сама жизнь. И она быстротечна, она чаще всего трагична. Она — такая важная и нужная — для того, кто научился ценить жизнь, вершится, порою, кажется, не людьми вовсе, а Создателем. И хочется попробовать

самому делать то, что самое главное на земле — жизнь? Но для чего? — вновь задавал я себе вопрос и вновь вынужден был сказать: для того, чтобы понять, что же главное в ней. Понять истинное. Но это же невозможно, — вновь спохватывался я. А раз невозможно, то всё писательство, как намёк на истину, как путь к истине — это всё впустую, всё бесполезно? Ни одному мудрецу не удавалось поймать истину. Можно мыслить оригинально, писать оригинально, идти к истине оригинально, но всё равно к ней не придёшь?! Я схватился за соломинку: может, смысл, самое главное, — в самом пути, а значит, опять, в самой жизни?

Вспомнились слова Джорджа Сантояна: «Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

Но в мудрости ли дело? Ведь сказано уже: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

И тут опять всплыл в памяти вопрос моей мамы: «Шура, зачем тебе это надо? Только глаза ночами портишь».

И вспомнил себя в детстве, когда я узнал, что мой друг Мишка украдкой пишет повесть об отце, вернувшемся с войны на костылях.

— Ты пиши, Мишка, всё опиши, — шептал я тогда, глядя на Мишкино светящееся окно в ночи, — пусть все знают, какой твой отец, дядька Степан, знают, как он под обстрелом вынес раненого Миньку Сухова.

Как мне хотелось, чтобы Мишка написал и о моём отце.

*«Писать — единственное средство  
Сберечь на свете, что прошло...»*

Тогда я не знал этих строк. Теперь знаю...

Так сберечь? Или найти? Или — то и другое? Или — найти и сберечь, всё-таки?

Я опять начал путаться. И никакая моя начитанность мне не помогала. Не было для меня ответа на этот вопрос: зачем пишу?

Открыл дверь и вышел из своего домика в огород. Подошёл к колодцу. Я его этим летом обновил: убрал журавец — он совсем стал гнилой — опасно было подходить. Ветловый сруб заменил на четыре железобетонных кольца — этого почему-то при жизни так хотела моя мама. Сделал над ним металличе-

ский навес. Покрасил его в голубенький весёлый цвет. А всё чего-то не хватало. Деревя не стало. И мамы нет. Души не стало у колодца. Той, которая была...

Я подошёл, потрогал цепь. Ночью все немножко другое. Сегодня днём брал воду, деловито и быстро. Сейчас я был иным. Цепь ещё та — родительская, а бадейку, клёпанную отцом — крепенькую, из толстой жести с надёжной, чуть ли не в сантиметр толщиной, дужкой, — украли.

Я повесил ещё днём вместо бади обычное ведро. И стал оттого мой колодец совсем чужим, как бы не настоящим...

...Когда вернулся в дом, бодрый и гулкий будильник показывал три часа.

Мне больше не хотелось думать о том, зачем я пишу. Я чувствовал свою неспособность однозначно ответить на вопрос, которым сам себя периодически мучаю.

Да что же я? Ведь был же момент, когда понял, что не буду торопиться отвечать, для чего я пишу. Пусть за меня отвечают мои тоненькие книжки.

«Все нас забыли, деревню забыли. Всех и всё забыли. А ты помнишь, сердцем помнишь! Не глазами и умом, а — сердцем».

Эти слова моего земляка прозвучали во мне так отчетливо и внятно, что я вздрогнул. Сколько слов, сказанных мне, я помню, сколько глаз...

Они не отпускают меня от себя.

«Помню», — сказал я себе вслух. И встрепенулся: жив ли мой дружок детства? Месяца два я его не видел.

Завтра надо сходить к нему: у него матери с отцом давно уже нет, как у меня...

«...И жена ушла», — запоздало вспомнилось.

И все мои ночные размышления при этих мыслях показались ненужными, мешающими жить, работать, писать...

## **Два Ивана**

Есть два человека, без которых я не представляю город Самару и без которых моя жизнь стала бы намного беднее. И хотя мы встречаемся нечасто, и в суете городской подолгу пропадаем друг у друга из виду — мы словно в одной большой деревне. По крайней мере, так обстоит дело со мной. Я не могу назвать

их своими друзьями, как не могли мои отец и дед назвать друзьями своих односельчан, хотя судьбы многих из них самым причудливым образом и в войну, и в мирное время в быту переплетались так, что диву даёшься.

Они не мои односельчане, нет. Мы из разных сел: Иван Иванович Морозов из Кошек, а Иван Ефимович Никульшин из Сосновки, что под Мало-Мальшевкой. Мы — сельчане, живущие в одном городе. Сельчане-горожане. И вроде бы я не подхожу к ним со своим отчеством и фамилией. Мне и самому иногда кажется, что живу я под псевдонимом, и очень долго в студенческие годы желал, чтобы фамилия у меня была матушкина — моих русских деда и прадеда — Рябцев. И назвать меня могли Ванечкой, ведь дед мой — Иван. Но мама моя! Она хотела остаться верной своему обещанию, которое дала моему отцу. Это обещание ещё более стало незыблемым, когда отец мой не вернулся с войны. Она тогда, в лихолетье, всё сделала, что могла, чтобы сохранить и сберечь Сашу Малиновского — меня.

...Каждый по-своему: Иван Ефимович — в литературе, а Иван Иванович — в театре, делают своё и в то же время наше общее дело — как могут сохраняют и несут русский дух. Органично, ненавязчиво. Просто как могут, так и живут, и работают, и думают — по-русски. И другими они быть не могут. Они такие по сути.

В аннотации одной из книг Ивана Ефимовича прочитал: «...писатель продолжает исследовать народный характер, оставаясь верным правде жизни, он не пытается приукрасить ни своих героев, ни те жизненные обстоятельства, в которых они действуют».

Эти слова можно отнести и к артисту Ивану Морозову.

«Так вот чем дороги мне эти два человека, — однажды подумалось мне, — верностью правде жизни, той верностью, которая была всегда в поведении и в самих поступках моих земляков».

Проза Ивана Ефимовича, как и он сам, соткана из спокойного, лирического света, интонации доверительной и наполняющей энергией человечности. Это так. И в этом прелесть его письма.

Родился Никульшин в 1936 году в поселке Сосновка — совсем недалеко от моей Утёвки. Он и теперь летом живет в до-

мике рядышком с родительским, который купил когда-то. Я бывал у него в гостях в Сосновке, все так до боли родное и знакомое, что о многих вещах с ним не было нужды говорить вслух. Всё понятно без слов, как когда-то бывало у меня с моими родителями. А ведь Иван Ефимович старше меня всего-то на восемь лет.

Но в нём такая надёжность и то тихое мужество, которого требует наша нынешняя российская действительность, что невольно проникаешься признательностью, ведь это все органично переходит в его книги. Он надёжен и в своей литературной работе, не слишком поддаваясь воображению, что очень дорого мне лично, не конструирует сознательно жизнь своих героев. Берёт в большей степени то, что есть в самой жизни, что увидел и пережил лично, не боясь обыкновенных, сотни раз повторяющихся событий, видя в них повседневный быт и дорожа этим бытом, как самой российской действительностью, самой жизнью. Жизнью, которая обязательно должна быть освящена добром и светом для каждого из нас.

Так сложилась судьба писателя, что свою первую книгу повестей «Молочные реки, кисельные берега» он издал в 1978 году, когда ему было уже за сорок. До обрушившегося на нас беспредела, в том числе и в литературе, оставалось совсем немного, всего-то меньше десятка лет. Но сколько им написано замечательного за это время! И сколько сделано потом и, я знаю, делается сейчас. Если человек рожден тружеником, то он им останется на всю жизнь. Это касается и писателя.

...Я уже издал десять своих книжек, а его рассказ «Утица луговая» помню постоянно. Помню начало: «За околицей бабы метали стога...» Помню и конец: «Я нёс чемодан и, пока виднелись стога, всё оглядывался на них...» Почему помню? Сразу не объяснишь... Близко все очень моему сердцу.

...Словно осенние пальые листья ворошу старые областные газеты. Но грусти нет, есть радость за людей, чьи жизни и творческие судьбы состоялись. И состоялись у многих самарцев, в том числе и у меня — на глазах.

Вот, кажется, первые заметки, на одной газетной странице и о сельском киномеханике, затем заведующим сельским клубом в Кинельском районе Иване Никульшине, и об Иване Морозове.

«Познакомьтесь: Иван Никульшин», — так начинается одна из них. И под ней три стихотворения.

А чуть выше — «Новое имя» — это уже об Иване Морозове. Они начинали одновременно.

Родился Иван Морозов в деревне. В детстве мечтал стать художником, испачкал немало бумаги. Потом переехал в Куйбышев, поступил на завод, на 4-й ГПЗ. Армия и закалила Ивана, и укрепила его творческую натуру. Он посылает документы в студию при МХАТе в Москву, но невезение — опоздал к началу приемных экзаменов. Так и вспоминается история поступления Василия Шукшина во ВГИК...

И вот декабрь 1963 года. Премьера «Матери». В роли Весовщикова бывший студиец Иван Морозов. Дебют недавнего студийца нашего, теперь Самарского, драматического театра оказался удачей, очевидной для всех. Кроме всего, молодому исполнителю, я думаю, крепко помогло его умение чувствовать народный язык Горького.

Так рождался когда-то на нашей самарской сцене русский народный актер (по другому о нем не скажешь, именно — народный) Иван Морозов. У него все герои потом будут добрые, как и герои писателя Ивана Никульшина. Я заметил, что попытки дать неприглядные стороны человеческого характера у Никульшина, как бы сказать, чтобы не обидеть его, не очень удачны... Может, от того, что нет такого душевного опыта у автора? И слава Богу, что нет!

...В театре, кто помоложе, зовут Морозова дядей Ваней. Доброта и совесть — качества народные. И доброта эта «нутряная», корневая, идущая от глубины народного отношения к жизни.

«Я вас всех помню и люблю, и чтобы я ни делал на сцене нашего театра, я всегда помню, что я кошкинский, а в Кошках живут замечательные люди, и я им желаю всего самого доброго», — это признание Ивана Ивановича своим землякам.

А вот что написала звезда Самарского драматического театра Ершова на фото, где она рядышком с Иваном Ивановичем: «Ванечка! Ванюша Иванович! Этот «неожиданный ракурс» — свидетельство моего нежного отношения к Тебе — хорошему самобытному актеру! Человеку необыкновенному, неповторимому в своей доброте человеческой...»

С 1960 года и до нынешних дней быть в одном театре дано не каждому и не каждому дано с достоинством пережить многолетние творческие простои. Ведь так далеко ещё было до «Старосветских помещиков» Гоголя!

...Если быть более точным, первая роль у Ивана была в начале занятий в студии. Постановщик Петр Львович Монастырский ввел его в уже идущий спектакль «Мария Стюарт».

Ну, а первая роль со словами — Яков Лаптев в спектакле «Егор Булычов и другие».

Потом их было немало, самые любимые из которых для актера: Васильков в «Бешеных деньгах», Маргаритов в «Поздней любви», Иванов и Кузовкин в «Чужом хлебе» и, конечно, деревенский мужик Касьян в «У святских шлемоносцах» Е. Носова.

Многим зрителям запомнились его роли в классических пьесах И. Тургенева, А. Островского.

Права была драматург И. Тумановская, сказавшая однажды, что талант Морозова растили «всем миром».

«Весь мир» — это родители артиста, сельская деревенская школа, послевоенная, холодная, с замерзшими чернилами, первая учительница Федотова Клавдия Васильевна, Лия Петровская, первая заразившая его сценой, его педагог по сценической речи и мастерству актера народный артист РСФСР Михаил Гаврилович Лазарев, главный режиссер Петр Львович Монастырский. Играть с такими мастерами сцены как Александр Иванович Демич, Сергей Иванович Пономарёв, Варвара Евгеньевна Красова, Николай Николаевич Засухин, Николай Николаевич Кузьмин, Вера Александровна Ершова и другие — разве не школа?! Школа. И школа человеческой доброты.

В свободное время он работает над «безделушками» — из корней деревьев, всевозможных наростов на коре творит чудеса. Под его ножом и резцом рождаются забавные и дивные, чаще добрые, чем злые, загадочные существа. Он и сам мне иногда кажется сотворенным из огромного с развесистой кроной и крепкими корнями дерева прочной, надежной породы, сердцевина которой тонко и по-своему органично отзывается на все, что вокруг него. Надо только суметь прислушаться внимательно, не поддавшись суете наших дней, и, призадумавшись, вдруг обнаружить: есть разные таланты, но есть такие, без которых сама наша жизнь потеряла бы свою ос-

нову — талант любить людей, любить мир вокруг себя: небо, поле, речку...

...Я пригласил его на мой творческий вечер в Нефтегорске.

Он читал моим землякам главку «В грозу» из повести «Под открытым небом». И читал её так, как будто он это сам написал, так ему всё было дорого и значительно. Читал с улыбкой, которая не сходила с его лица. Он блаженствовал, и мне казалось, что эти строки не я написал, а он. И то, что там значится моя фамилия — это какое-то недоразумение. Всё было как будто из первых рук, словно не было бумаги, пера, автора, издателя. Книжки, наконец, самой, а был — Иван Морозов — единственное связующее звено между нами и героями рассказа.

*Не на сложности века —  
На себя мне пенять,  
Если я человека  
Не умею понять.*

Так сказал поэт Иван Никульшин, но я уверен под этими строками с готовностью поставил бы свою подпись и артист Иван Морозов.

Когда смотрю на него, всегда вспоминаю, и не я один, мастеров Малого театра — Жарова, Ильинского. В них много общего, но у Ивана Ивановича есть одна особенная черта, которая для меня несказанно важна, он наш — самарский. И он — «паренек из Кошек» — так о нем когда-то сказала И. Тумановская.

...«Однажды иду по городу и вижу маленькое объявление: «Школа-студия при драмтеатре набирает артистов». Пошёл. Приготовил басню и отрывок из «Судьбы человека», где Андрей Соколов пьёт водку у немцев. Экзаменаторы: Лазарев, Блюмин, Монастырский, Пономарёв, Аренский. Приняли. И сразу же меня поставили стражником в «Марии Стюарт», а я ещё вступительные гуманитарные экзамены сдать не успел».

Так бесхитростно и просто о себе может рассказывать только очень щедрый души человек.

Я не был на родине Ивана Ивановича и об этом написал ему в стихотворении, которое прочитал на творческом вечере в Нефтегорске.

*Взять бы в дорогу какое лукошко,  
Хлеба краюху, бутылку вина,*



*Да потихоньку отправиться в Кошки —  
Манит родная твоя сторона.  
Не замечая бензиновой гари  
По большаку, а потом и просёлком,  
Дальше уйти от галдящей Самары  
И затеряться в березовых колках.  
У родничка бы, глядишь, посидели,  
Около пня, в окруженье оянт.  
И помолчали б, а может, попели.  
В небо взглянули, а может — в себя.  
Много увидели б, много узнали,  
Чувствуя рядом друг друга плечо.  
Потолковали бы и повздыхали.  
Спросят: о чём?  
Враз не скажешь о чём...*

Мне очень хочется побывать на родине этого светлого человека, а если бы ещё приехать туда вместе с Иваном Никульшиным, то был бы праздник души. Честное слово!

...И артельное дело бы любое сработали. С такими-то мужиками отчего не сработать!

### **Уметь делать жизнь**

О каждом из нас можно написать рассказ или повесть. Литература тем и особенна, что ей интересны самые простые, самые незаметные и движения души, и поступки, и дела человека — ибо в них раскрывается природа человеческая, в них ищем мы ответ: какие мы, кто мы на земле, для чего призваны?

О человеке, который и сажал деревья, и вырастил детей, построил вместе с коллективом, им же созданным, завод можно писать роман.

Первый директор нашего завода Анна Сергеевна Федотова была человеком своего времени...

От воли, таланта и ума руководителя в любых политических и экономических условиях зависит очень многое — эту истину мы постигли, выживая в свалившуюся на нас перестройку. Этому учила и Анна Сергеевна Федотова, как бы готовя нас к будущему, ещё тогда, в пятидесятых годах.

Каждый из нас — оглянитесь, внимательнее посмотрите вокруг... И дай Вам Бог понять, что без труда, самоотверженности, преданности избранному делу — ничего в жизни путного не сделаешь. И наше общество без этих качеств каждого из нас неинтересное и ущербное.

...Ещё со школьной скамьи меня мучил вопрос: почему российская литература, гении литературы, так много сказав о душе человека, не сказали так же сильно о ней, но в соединении с делами рук человеческих.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни? — недоумевал иногда я. — Были люди, которые переживали беды, личные драмы, но ещё всё-таки строили мосты, паровозы, ходили в экспедиции. Люди, которые делали жизнь нашу, где они?» Я искал такие книги, но их всегда было мало. Потом пошла другая крайность: если книга о производственниках, то там сплошные битвы за урожай, за сроки, за объёмы...

И масштабы, и объёмы поглощали рядового работника — от директора до рабочего. Были и исключения, но они так редки!

Мне уже немало лет. Я проработал около 15 лет директором завода, который строила и пускала Анна Сергеевна Федотова. А хочется, ох как порой хочется посидеть за одним столом с ней и её помощниками. И поговорить бы. И не только о заводе. О жизни поговорить!

О том как она, жизнь, строилась. И пусть пришли бы к нашему столу все те, кто работал рядом с ней. И мы посмотрели бы друг на друга. Мы бы нашли о чем поговорить и чему поучиться друг у друга. Может, пришлось бы порой и помолчать... Были и ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает — известно же...

«...Почему-то некоторые думают, что быть директором — это привилегия. Это огромная ноша.

И если, когда несёшь огромную ношу, ты ещё можешь придать этому интеллигентный вид, усилия не будут казаться натужными и окружающие не будут шарахаться от тебя, а наоборот радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь своё плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью — ты директор».

Так говорил мне когда-то главный инженер Скворцов. Его слова я привёл в повести «Отклонение». Сохранил и фамилию его.

Мне кажется, что и я имею некоторое право сказать своё слово об этой категории тружеников.

Я начинал на заводе рабочим. Так вот: ни одна профессия не требует столько душевных и физических сил, как должность первого руководителя. Это уже и не профессия, а образ жизни, когда ни выходные, ни отпуска, ни болезни не заслоняют тебя от твоих обязанностей.

Твой завод с тобой круглые сутки. Неважно, где ты. Только крепкая психика, здоровье, нервы, умение видеть каждого человека и перспективу всего дела, которым занимаешься, знание дела глубже и лучше, чем все остальные, делают из специалиста руководителя.

Конечно, то, что Анна Федотова оказалась у истоков создания первенца нефтехимии на Среднем Поволжье, в известной степени определяет интерес к ней.

Но ведь главное не в этом, а в том, как она вообще делала своё дело. Под грузом огромных производственных забот видела она жизнь простого работника? Понимала ли она истинное — самоценность самой жизни? И видела, и понимала! И это, очевидно, шло у неё не от рассудка, а от сердца, потому-то и тянуло так к ней людей.

Я уверен: большинство людей, работавших с ней, да и она сама, окажись в водовороте на порядок выше, масштабнее события, чем строительство, скажем, не очень большого, хотя и важного химического завода, — они и на более крупных стройках достигли бы успехов, ибо велика была жажда действовать.

Но вопрос в том: теряется или нет интерес к человеку при огромных масштабах дела? Если сохраняется и умножается, как в случае с директором Федотовой, это замечательно! Её радость, боль, надежды раздробились на тысячи сверкающих благодарной памятью осколков, и они, будучи, казалось бы, разрозненными, эти осколки, порой причудливым образом соединяясь вместе, дают такую мозаичную светлую картину происходившего, что становится радостно на душе...

## **Почётный садовник «Господин Лаптефф»**

Небольшой немецкий городок Бад-Гацбург нас поразили своей ухоженностью и аккуратностью. Тогда, в 1987 году, не так уж часто и немногим из нас, производственников, удавалось бывать за границей. Удивляться было чему: на наших глазах рабочие шампунем мыли кирпичный забор и тротуар во дворе здания, где располагались аудитории академии менеджмента, в которой мы обучались. Мыли шампунем — настоящим тогда дефицитом в России. Медные водосточные трубы, аккуратно соединённые с канализационными колодцами, привели большинство из нас в замешательство.

Больше всего в первый день меня поразили берёзы во дворе нашего отеля. Помня по книгам, по фильмам особую страсть немцев к нашим берёзам, я полагал, что у них этого дерева нет. Оказалось по-другому. Обычные наши берёзы, приветливые и такие привычные глазу, белели повсюду.

Потом, когда я оказался в Америке, и там мне пришлось удивляться берёзам. В Блумфельде, на зеленой лужайке перед домом хозяина, вице-президента фирмы господина Меддока, пригласившего нас к себе, красовались берёзы. Правда, хозяин их называл серебристыми, делая акцент на «серебристые». И впрямь: листочки их были как бы посыпаны слегка серебристой пылью и оттого-то теряли простодушную прелесть и казались модницами, приготовившимися на бал, заботливо и прихотливо...

...Лекции по основам менеджмента нам читал профессор Хён. По его словам выходило, что он участвовал в разработке программ по восстановлению промышленности ФРГ после войны. Он часто нам рассказывал об этом периоде своей жизни.

Видимо, профессор действительно знал и жизнь, и свой предмет, но вот нас, русских... ему приходилось изучать на ходу.

Когда он рассказал нам, директорам, как лучше всего строить свой рабочий день, мой сосед слева — Виктор Лаптев, генеральный директор одного из крупных нефтехимических заводов в Сибири, пробасил себе под нос:

— Так не бывает.

Фраза прозвучала громко и профессор попросил пояснить сказанное.

— Не всегда я могу так четко планировать свой рабочий день, как предлагаете вы.

— Почему? — допытывался дотошный немец.

— А меня могут в один день с утра пригласить в горком партии, в обком партии, в исполком и ещё в кучу учреждений, куда я не могу не ехать лично. И весь мой дневной график работы будет нарушен.

— Да-да, — вежливо согласился профессор, — в такой дерганной системе работать нельзя. Мы ей дали название «инфарктная». Нам это известно.

— Вот те ну? — удивился сибиряк. — Зачем же тогда преподавать?

— Мы учим работать вообще, то есть в условиях нормальных.

Лаптев, кажется, понял, но ненадолго. В следующий раз, когда речь шла об организации производства, он опять задал вопрос:

— Господин профессор, вот вы говорите, что всё построено на чёткости, ритме. Что, например, на участок железобетонных изделий вагон с цементом должен прибыть в четверг в четырнадцать часов.

— Так точно! Это естественно.

— «Естественно», — ужаснулся Лаптев и обвёл аудиторию ошалелым взглядом. — Вот рядом со мной сидит мой коллега Александр из Самары, — он указал на меня, — если он закажет цемент на четверг, то вагон запросто может прибыть на пару дней позже, и уж не к четырнадцати ноль-ноль. А может прибыть и не в Самару, а проскочить в Сызрань и службы будут искать его чуть ли не неделю, верно?

Я кивнул согласно головой.

Аудитория притихла, зная наперёд, очевидно, ответ профессора.

— Молодой человек, что вы хотите? В таких условиях нельзя работать. Эти условия экстремальные. А я говорю о рутинных, обычных делах.

Наш Виктор Иванович после таких ответов сник и перестал задавать свои неудобные для опытного профессора вопросы.

Правда, один раз он ещё сделал попытку кое в чем разобраться, но опять получилось, ну просто, непонятно что!..

На этот раз он спросил госпожу Бёме, как компенсируют у них вредные условия труда на химических предприятиях, дают ли работникам, как у нас, молоко.

— Зачем? — удивилась госпожа Бёме.

— Как зачем, чтобы нейтрализовать в организме отраву, — справедливо возмутился Лаптев. — У нас на заводах так делают. Это забота о здоровье рабочих.

— А зачем сначала травить, чтобы потом давать молоко? Лучше не травить вообще. Сегодня должны работать соответствующие технологии, чистые.

...На следующий день Лаптева в аудитории не оказалось. А чуть позже мы все увидели его на зеленой лужайке перед окнами нашего класса. Он косил газонной косилкой траву. Когда мы вышли после занятий, пахло подвяленной зеленью. Знакомый запах враз напомнил мне наше Заволжье и деревенский сенокос.

Оказывается, Виктор Иванович давно приметил косилку, и вот теперь, договорившись с рабочими, завладел ею.

— Здесь интереснее, — простодушно улыбаясь, односложно пояснил он. Потом добавил: — Учиться работать надо в наших условиях, а не в их, стерильных...

И стал, нагнувшись, что-то поправлять в агрегате. Косилка, конечно, нам всем была в новинку. На электрической тяге, компактная, ярко рыжего цвета — она была словно игрушка для взрослых. Мы потянулись к ней. Каждому хотелось потрогать, но Лаптев был строг. Как-то так получилось, что все приняли только его право на косилку. Они подходили друг другу — косилка и генеральный директор, крестьянский сын из далекого сибирского села. У него и фамилия-то как бы подтверждала его особые права.

Подошедший профессор Хён дружелюбно похлопал косца по плечу. Я побоялся, глядя на него, увидеть оттенок снисходительности или иронии, но их, к радости, не было. Было нечто похожее на озабоченность, так мне показалось. Старый профессор хотел, мне кажется, быть понятным всем, в том числе и вот этому светловолосому русскому, бросившему свой парадный галстук и пиджак на скошенный газон. Более того, немец, кажется, понимал, что этот русский не так прост...

На другой день повторилось тоже самое. Мы сидели на лекции, а Лаптев косил траву, благо лужайка была приличных раз-

меров. Так он тихо протестовал. Потом мы узнали, что его приятель для него записывал лекции профессора Хёна на диктофон.

...Лаптев деловито хлопотал на лужайке и накануне защиты наших выпускных работ. К его косябе все уже привыкли.

Когда нам вручали дипломы, профессор Хён подготовил маленький сюрприз: кроме получения основного документа, свидетельствующего об успешном окончании учёбы, «господин Лаптефф» был за особое усердие и трудолюбие награждён дипломом «Почётный садовник».

Так мы и звали потом Лаптева «почётным садовником». Отзывался он, не обижаясь, на такое обращение и много позже, когда уже защитил докторскую диссертацию.

## **Чёрные ящики России**

16 ноября 2000 года. 10-й съезд писателей России. Первый день. Очень пожалел, что не взял с собой диктофон.

Писательский дом в Хамовниках собрал известных литераторов России. Валентин Распутин, Виктор Лихоносов, Валерий Ганичев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и многие другие. Тех, кого я читал, но видел и слышал впервые, присутствовали в зале.

Одна из мощнейших творческих организаций страны показала на съезде, что она выстояла, выжила. Созданный сорок лет назад Союз писателей России, объединяющий более пяти тысяч человек (90 процентов литераторов России), ведёт огромную работу по поддержанию единого духовно-культурного пространства и формированию державно-патриотического образа Отечества.

Странные впечатления были от многолюдья, встреч, разговоров, от рукопожатий тех, кто составляет суть нашей литературы, от зияющей пропасти, разделяющей истинную ценность для страны дела, которому служит наша литература и того безразличия, которое наше государство проявляет к писателям. Вся система ценностей (если вообще таковая система есть), которую выдвинули нынешние реформы, обнаружила бессилие в создании чего-либо значимого в области культуры, литературы. Всё стоящее, что когда-то было создано и создается в литературе, крепится отрицанием духа наживы и совест-

ливостью. Всё, что сейчас выходит истинного из-под пера достойного литератора — низкооплачиваемо. Понятие гонорара исчезает повсеместно.

Увы, то, что случилось в промышленности, случилось и в Союзе писателей. Так называемая социальная сфера, «социалка» не только урезана, но подрублена под корень. У Союза нет ни фондов, ни путёвок в дома отдыха. Нет никакого подспорья, помогающего литератору трудиться. Конечно же, нужен закон о защите русского языка, нужен закон (его надо срочно принять) о творческих союзах, который прошёл думские чтения, но не был подписан президентом Ельциным.

Собственность, отнятая у писателей приватизацией, конечно же, должна быть возвращена Литературному фонду. Дома творчества должны вернуться прежним владельцам.

От многих, в том числе и от Председателя Союза писателей Валерия Николаевича Ганичева, отрадно было слышать, и соглашаться, что на смену писателям старшего поколения, таким как Валентин Распутин, Василий Белов, Петр Проскурин, Юрий Кузнецов и другим идёт новое сильное поколение уже известных многим в стране литераторов.

Имена моих земляков Евгения Семичева и Дианы Кан не затерялись среди других и звучали крепко. Я и порадовался за них, и ещё раз ужаснулся, вспомнив их бытовые зловключения, которые, казалось бы, могли заглушить любое творчество. Но нет — крепки мои земляки!

...Как-то по-будничному, безо всякой официозности, но основательно открыл съезд Герой Социалистического Труда Михаил Алексеев, участвовавший в работе всех, кроме 1-го, съездов писателей.

В президиуме: Валерий Николаевич Ганичев, Валентина Ивановна Матвиенко — заместитель главы Правительства, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Сергей Артамонович Лыкошин и другие.

Простуженным голосом Ганичев сделал доклад и пошла череда выступающих: Феликс Феодосьевич Кузнецов — директор Института мировой литературы, подробнее, чем это было обнародовано накануне в газетах, прокомментировал сенсацию, связанную с находкой рукописи великого романа «Тихий Дон», затем выступила Валентина Ивановна Матвиенко.



...И вдруг: выступление Мирзо Давыдова.

«Обстановка в Дагестане и голос писателя», — так оно называлось. Давая слово Давыдову, Лыкошин сказал, что Мирзо представляет страну, в которой произошли такие события, которые могут быть и в России.

Начав выступление с того, что передал привет съезду от Расула Гамзатова, Мирзо сообщил, что поэт, к сожалению, болен и не смог приехать. Но по мере сил работает и уже заканчивает поэму «Черный ящик».

— Как? — невольно вырвалось у меня.

Мой сосед Александр Лысенко — издатель из Орла, удивленно посмотрел на меня, а я показал ему мою повесть «Черный ящик», вышедшую года два назад в Самаре.

— Потом. Надо записывать, что говорится. Потом.

— Да, надо запоминать или записывать, — спохватился я. Это же все неповторимо, все уйдет, как в песок. Буду потом жалеть. Надо побыть самому сейчас «черным ящиком».

...Теперь вот пересматриваю свои отрывочные торопливые записи и многое нахожу в памяти дополнительно. Без этой протокольной фиксации, очевидно, не было бы многого, что я вынес со съезда.

Вот первая фраза, которую я записал на слух из доклада Председателя: «Думаю, что вполне уместно «вето» на такие формулировки, как «Россия гибнет», «спасать Россию». Хватит вкладывать в молодое сознание гибельные мыслеформы. Надо по-настоящему широко представить нашему человеку, нашему обществу реальный ход духовного стояния, крестный ход отечественной культуры, литературный процесс и протест, который идёт в стране».

Далее, говоря о книге Ланщикова «Череда окаянных дней», он цитирует из неё: «Делали вид, будто метили в коммунизм, а попали туда, куда и метили на самом деле, — в Россию».

«...Николай Переяслов обладает даром высвечивать заметные литературные явления русской провинции. Диву даешься, сколько он читает, сколько внимателен к зарождающимся тенденциям, к погрешностям и бедам нашей литературы. Его обзоры в «Роман-газете-XXI век», в «Литературной России», в «Дне литературы» — это хороший, добротный материал».

Эти слова я записывал с особым чувством. Николай Переслов совсем недавно жил и работал у нас в Самаре. Уехав в Москву, не потерялся, а вовсе наоборот, голос его зазвучал сильнее и многоголосно.

Листаю свою толстую записную книжку — мой сегодняшний «Чёрный ящик» и попадаю на слова Достоевского, приведенные на съезде: «Богатство прибывает, а душа убывает». Далее: «Говорить мы научились — научиться бы теперь молчать».

«Леонид Леонов — последний гений XX века», — это произнёс Валерий Ганичев. В моём «черном ящике» эта фраза подчеркнута жирной чертой.

А через пару страниц — из выступления Валентина Распутина: «Мы оказались не там, где мы должны быть... Литература питается энергией ответной волны... За десять лет число читателей сократилось в тысячу раз». И далее то, о чем я думал не раз: «Литература привела к революции, и она же спасла Россию после революции. Большевики не уничтожили русскую классику и она спасла Россию». «Труд — это совесть, а его героизировали большевики». «Вторая революция (перестройка) — подлее, чем первая».

Из не очень внятного выступления Василия Белова осталась одна четкая запись: «Чужебесие — главная причина разложения России».

«Но ведь и определённой части нашего общества от свалившейся на голову свободы предстоит перебеситься, — подумалось мне. — Нашей доморощенной бесовщины хватает».

В перерыве съезда ко мне подошёл Александр Громов, земляк, издатель моей повести «Чёрный ящик».

— Ну, как впечатление?

— Я обескуражен тем, что Гамзатов пишет «Чёрный ящик». Это как наваждение.

— Почему? — совершенно спокойно возразил он, — вы же сами пишете в своей повести, что все мы в одном самолете и все мы не знаем, когда и как приземлимся, помните?

— Ну, конечно!

— Так, там же далее вы говорите, что мы все — пассажиры и в каждом из нас сидит свой чёрный ящик — регистратор событий. Так Расул — тоже пассажир, не лишайте его места в

нашем самолете и успокойтесь: у него свой «черный ящик». До своего срока он молчит.

— Да, но вот название, его и моё, оно...

— Разве дело в названии, дело в ощущении. Выходит, вы, как автор, попали в точку. Многие так себя чувствуют, а пишущие тем более.

Он метнулся в сторону и пропал из виду. Я спустился на первый этаж и пошёл в задумчивости по коридору в конец его, где обычно находился Николай Переяслов. Безотчетно, очевидно, направляясь поговорить с ним.

И тут я встретил Мирзо Давыдова. Сразу разговорились. Я попросил передать Расулу Гамзатову книжку «Под открытым небом». У меня была и «Черный ящик», но я почему-то не решился её предложить. Мы обменялись адресами и телефонами. Мирзо обещал на следующий год приехать на Волгу, и я с радостью пригласил его к себе в Самару.

Как теперь они там?

...Феликс Кузнецов рассказал с трибуны съезда о том, как нашлась рукопись «Тихого Дона». Выходило, что рукопись 1-го и 2-го томов существует, ксерокопия шолоховского текста находится в ИМЛИ и над ней работают специалисты-шолоховеды. Центр криминальной экспертизы, изучив тридцать страниц рукописи, подтвердил, что текст написан рукой Шолохова. С учетом того, что сто сорок страниц рукописи 4-го тома хранятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, разговорам о каком-то якобы плагиате пришёл конец. Получалось, что работники института давно уже знали о существовании рукописи, но не могли выйти на её след. Журналисту Льву Колодному удалось это сделать. Можно, очевидно, надеяться, что пересуды вокруг авторства величайшего романа XX века прекратятся. И слава Богу!

...Сегодняшней ночью, душной и долгой, приснился сон. Вернее, во сне увидел зримо, как в яви, написанную Вадимом Телицыным в его книге «Нестор Махно» сцену:

«У села Макеевка махновцы ведут приговоренных к расстрелу двадцать бойцов-продотрядовцев, оказавших сопротивление и прославившихся в округе особой жестокостью. На выходе из села встретились с самим Махно.

— Кто таков? — обратился Нестор Иванович к подростку.

- Шолохов, Мишка...
- Годков-то сколько?
- Пятнадцать...

Покачал головой грозный батька и скомандовал конвоирам:

- Отпустить его, пусть подрастет и осознает, что делает.

А нет, в другой раз — повесим...»

Так ли это было на самом деле, но прочитанное совсем недавно постоянно возникает в памяти, и всё время, в связи с другой трагической и светлой фигурой — Фёдора Дмитриевича Крюкова, известного в своё время на весь Дон, на всю Россию писателя. Книги его издавали Петербург, Москва, Ростов.

«...Странное дело: меня давно уже, ещё до перестройки, не очень-то волновал вопрос авторства «Тихого Дона». Мне однажды почему-то подумалось, что, может быть, и нет никакой разницы, кто написал эту великую книгу. Один из русских. Как «Слово о полку Игореве». И этого достаточно для русского человека, чья судьба на таком сейчас изломе, что авторство — это частное дело, касающееся автора, родственников да литературоведов. Русский народ: это и Шолохов, и Федор Крюков, о котором вы говорите, и тысячи, тысячи людей. И что изменилось бы сейчас, теперь, в судьбе и сознании русского человека, если бы автором оказался белогвардейский офицер, а не красный продотрядовец? По большому счету, ничего», — это сказал мне попутчик. Мы ехали в одном купе, он сошёл в Сызрани. Бывший директор школы, теперь пенсионер.

Можно ли так думать нам, русским? Благо ли то, что мы поняли наконец, что мы все — и белые, и красные — русские? Россияне? Конечно, благо. Пора понять. Но здесь вопрос не в этом...

«Если бы книга вообще не появилась на свет, была бы зияющая воронка», — так думал я и боялся своих мыслей, Шолохов был мой любимый с детских лет писатель. При жизни Шолохова, при советской власти — авторство имело особую окраску. А теперь? Народный роман был рожден народом. Вправе ли так думать? Можно ли? Конечно же, автор Шолохов. Все говорит об этом. И для меня это очевидно.

...Но были и другие «казаки». Так уж получилось, что незадолго до съезда попалась мне «Забывтая книга» Фёдора Крюкова, и я неотрывно думал о судьбе её автора, без всякой связи с авторством «Тихого Дона», но с удивлением человека, услы-

шавшего «черный ящик» человека, о котором молчали более семидесяти лет. И почему всё-таки его великий земляк Шолохов не обмолвился об этом ни разу? «Время было такое», — уговаривал я себя. Время было такое, что, проявив неслыханное мужество в написании своего романа, великому писателю хватило мудрости и терпения о многом молчать... Так я думаю, пытаюсь оправдаться за свои непутевые мысли.

Опять «черный ящик». И доступен ли он будет когда-нибудь? Не случится ли так, что когда-то мы узнаем от самого Шолохова причину забвения Крюкова? Из его «черного ящика».

...Вот уж действительно:

*«Братья-писатели! В нашей судьбе  
Что-то лежит роковое...»*

«Рукописи не горят — но слишком часто время сжигает их авторов...»

Фёдор Дмитриевич Крюков с 1892 по 1920 год написал и напечатал, в основном в периодической печати, около двухсот пятидесяти повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, рецензий, стихотворений в прозе. Отдельным изданием вышли только два сборника его произведений. Оба дореволюционные.

Писатель родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской на Верхнем Дону и прожил на свете 50 лет. Образование он получил в Петербурге, работал учителем в Орле, Нижнем Новгороде. В столице работал библиотекарем, журналистом, в первую мировую войну — корреспондентом на фронте. Семья у писателя была исконно казацкая. Отец был станичным атаманом в Глазунах, справедливым и строгим.

Вот что пишет Георгий Миронов о Крюкове: «В Гражданскую сказался прямой, нестигаемый характер «казака»: никогда не искал компромиссов, был до конца правдив в жизни, в творчестве, как теперь в общественной борьбе. По таланту и место в схватке оказалось значительным: кандидат в учредительное собрание от Войска Донского, секретарь Большого войскового круга (местного парламента), редактор «Донских ведомостей» — офицера Донского правительства, активный публицист ряда изданий юга России, а в пору белого похода пошёл в ряды войск... Ф.Д. не пожелал остаться в тылу. «Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь звали на бой, а сами остаёмся в тылу», —

говорил он. Писатель остался до конца патриотом родного Дона. В забитой отступающим войском и горькими таборами беженцев прикубанской станице Новокорсунской ему вроде и места на кладбище не нашлось. Стреляли в блёклое зимнее небо из карабинов, наганов и плакали пропахшие потом, махоркой и порохом неслезливые фронтовики. «Какой человек ушёл!.. «Не сберегли для Дона, для России...» — «Прощай Митрич — светлая душа, пусть будет тебе пухом кубанская земля...»

...Читаешь ли его повесть «Казачка» или другие вещи: «В родных местах», «Картинки школьной жизни» — везде автор любит быт, особенно казачий. Привержен правде, не позволяет себе фантазировать, во всем правда изображения, высокое достигается безо всякого полета фантазии.

«Его рассказы — ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без великих ухищрений в костюмах, но за этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья» (С.А. Пинус. «Бытописатели Дона. Родимый край»).

...За несколько дней, в течение которых я прочитал всё, что достал о Крюкове, я влюбился в него. Почти целые сутки безвылазно провёл в Москве в номере гостиницы «Ленинградская», запоем читая рассказы Крюкова, так же как когда-то читал «Тихий Дон» Шолохова. Донщина вновь покорила своими запахами, красками, характерами. «На речке лазоревой» — так называется рассказ у Крюкова, а ко мне слово «лазоревый» пришло от Шолохова, тогда ещё, когда я мальчишкой открывал для себя мир донских рассказов. Как и слово «майдан», которое почему-то меня заворожило своим звучанием тоже с детства.

«Край родной.

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов её над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок над лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошке месяца молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных могил, и над левадой дым кизячный, и пятна белых куреней в зеленой раме роц вербовых, гумно с бурующей соломой, и журавец, застывший в думе, — волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса, в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старый, милый Дон — не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном маре-реве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костюмами простор зеленый и родной... Не ты ли это, родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич — клич чести и свободы...

И взволновался тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит, и плачет, и зовет. То край родной восстал за честь Отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, — родимый край!..»

Это стихотворение Федора Крюкова меня в себе просто растворило. Я заснул, читая его поздно ночью в поезде под стук колёс. И с самого раннего утра на следующий день, взяв вновь книгу в руки, был во власти его ритмов.

...Каждый из этих двух певцов Тихого Дона — и Шолохов, и Крюков — по-своему необычайно сильно любили казачество. Намного старший по возрасту Федор Крюков успел-таки сказать своё выстраданное. И мы теперь слышали его голос и почувствовали силу его духа. Нельзя не почувствовать: «Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил...» Это не строки из стихотворения. Это судьба человека, судьба нашей России.

...Я отложил книгу и посмотрел в окно. Наш самарский фирменный поезд «Жигули» выскочил на мост через Волгу. Позади была Москва, впереди — родимый край! Огромное спокойное водное пространство и вся округа там вдали, на берегу, жила своей жизнью. Все было покойно и будто не смотрели во сне на меня сегодня ночью из смуты начала двадцатого века два человека и третий, сохранивший с легкостью необычайной одному из них жизнь...

Вот так неожиданно соединил в моём сознании съезд писателей два имени: Михаил Шолохов и Федор Крюков.

...А чуть позже свершилось важное и нужное дело. Выполнено завещание великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Писателя и его жену Ольгу Александровну похоронили на родине, на кладбище Даниловского монастыря, рядом с могилой отца. Русский писатель проделал свой последний путь от кладбища в Сент-Женевьев-де Буа под Парижем до Москвы. И в самом центре Замоскворечья при пересечении Большого Толмачевского и Лаврушинского переулков был открыт памятник писателю.

Панихиду по Ивану Шмелеву служил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.

Ещё один писатель встал в полный рост и фигура его меня неодолимо влечет к себе.

...Я видел с каким интересом, а вернее, как запойно читала моя дочка его «Лето Господне». Открывая мир неизвестный и завораживающий. А впереди у молодого читателя «Богомолье», «Няня из Москвы» и «Пути Небесные». Дошел-таки светлый лучик, через пятьдесят лет после смерти, от покинувшего Россию в двадцать втором году писателя. Кто знал после Октября его имя? Совсем немногие. Ему удалось больше, чем Федору Крюкову и многим-многим другим. Ещё до революции было издано собрание сочинений. Пророческое предсказание старца Варнавы в обители Троице-Сергиевой Лавры: «Превознесёшься талантом своим», — сбылось. Это было сказано ещё юноше, с детских лет читающему Евангелие и молитвинники.

Какие разные судьбы у этих писателей. И какая сила любви к своему народу, к языку русскому!



## Утренний свет

Довольно странной была эта моя поездка... Вначале пришло письмо:

«Уважаемый Александр Станиславович!

От имени организационного комитета программы «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» имею честь пригласить Вас к участию в последней церемонии награждения уходящего века. Причастность к данному событию позволит Вам войти в следующее тысячелетие с почетным званием лауреата награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000», что в вольном переводе на русский язык звучит, как «ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЛИЦО ПЛАНЕТЫ».

По результатам исследования, проведенного независимыми экспертами на основании информации, полученной из авторитетных источников, Ваше предприятие удостоено международной награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» в номинации «ЗА ДИНАМИКУ И ПРОГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ», а Вы лично, как его руководитель, удостоены персональной награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» в номинации «ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ ЛИДЕРА И УПРОЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ».

В динамично меняющихся условиях современного мира залогом успеха в делах является изучение и адекватная оценка потенциального партнера на предмет его предсказуемости и надежности. Ценность информации в этой сфере оправдывает постоянные и дорогостоящие усилия. С этой точки зрения заслуженная Вами награда «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» является ещё одним способом укрепления Вашего имиджа и развития атмосферы доверия в деловом мире.

Во время торжественной церемонии награждения, проводимой в Швейцарии с 21 по 27 декабря 1999 г, Вам будут вручены художественно выполненные символы нашей награды — хрустальный рыцарь «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» и золотой нагрудный знак, а также корпоративный и персональный дипломы. Эти регалии станут свидетельством Вашей принадлежности к сообществу лидеров различных отраслей промышленности, науки, культуры и здравоохранения XXI века.

С уважением и наилучшими пожеланиями,  
Питер Мамо  
Действительный член Института банкиров в Лондоне  
Президент международной программы  
«ЭРТСМЕЙКЕР—2000»

Был конец года. Горячая пора. Более того, я готовился через неделю передать один из двух заводов, которые были под моим руководством, новому директору. Мне казалось, что сейчас не до поездок. Но вокруг стали говорить, что поездка нужна, что такое бывает редко, когда и завод, и директор так отмечены.

...И вот я в Женеве, одной из главных банковских столиц мира. Большой номер четырехзвездочного отеля «Бристоль» на улице Монблан. За окном река Рон, а чуть дальше за островком — Женевское озеро.

Все настолько опрятно, ухожено и вылизано, что, даже находясь на улице, чувствуешь себя как в наскучившей своей прибранностью квартире и хочется куда-нибудь выбраться туда, где больше не так гладко причёсанного.

Когда я смотрел на Женевское озеро, мне невольно вспоминался наш санаторий «Волжский Утёс», что недалеко от села Усолье с громадной морской водной гладью внизу и широко раскинувшимися лесистыми отрогами Жигулевских гор. Невольно напрашивались сравнения. И наши Жигули в этих сравнениях чаще выигрывали.

...После церемонии награждения, на другой день, в конце долгой автобусной экскурсии по городу нам было предложено на утро проехать вдоль всего Женевского озера и добраться до города Монтрё. Всем это сразу понравилось и мы охотно согласились покинуть свой ухоженный скворечник.

...Очень мне хотелось попасть в Шильонский замок, так когда-то поразивший поэта Шелли своей холодностью и олицетворением бесчеловечности, которую люди часто проявляют, чтобы влиять на себе подобных. Это там, в камере Боннивары, Байрон вырезал своё имя, и поэты попросили рассказать им историю жертвы тиранов, а Байрон в одну ночь написал «Шильонского узника».

Здесь они, однажды отправившиеся на прогулку по озеру, были застигнуты бурей у Мейерн. Байрон, натура, унаследо-

вавшая кровь великих бунтовщиков, разделся и предложил спасти Шелли. Но не умеющий плавать Шелли сел на дно лодки, готовый потонуть, не сопротивляясь. Этот эпизод я помнил из прочитанного у Андре Моруа.

«Байрон, глядя на отражение звезд в воде и на громадные тени гор, как будто слышал, как вокруг него смутно колеблются доброжелательные и таинственные силы. Но эти ощущения были в нем мимолетны».

Что-то похожее ощутили потом и мы — горстка туристов. «Забыть своё «я», раствориться в красоте всеобщего — возможно ли это для Великого Эгоиста?» — эти строки я отыскал у Андре Моруа в его книге «Байрон» уже по приезде домой, следуя своей занудливой привычке сравнивать случившееся со мной с мыслями и ощущениями тех, кто ценит подобное и для кого они — сама жизнь.

...Мы вышли из гостиницы «Виктория» и пошли к фуникулёру, намереваясь попасть к замку. Нас было человек десять. Надо было спускаться к Женевскому озеру метров семьсот вниз, так нам сказали в гостинице «Виктория».

Оказалось, что фуникулёр не работает, отключено электричество. Недоумевая — бывает же и у них такое — не раздумывая, решили спускаться самостоятельно. То, что поступили опрометчиво, мы поняли уже минут десять спустя. Спускаться по узеньким с мокрым асфальтом тропинкам и большим уклоном вниз, было довольно трудно. Каждую минуту мы рисковали. Наша группочка, как нанизанные разноцветные бусы на незримую нить, протянутую между высокостоящей гостиницей «Виктория» и угрюмым, неприветливым Шильонским замком — там внизу — повисла, казалось, в воздухе. Порой сильный ветер заставлял прижиматься к изгороди и ждать момента, когда можно проскочить через очередной участок пути. Это начинало походить на опасную игру.

Общее спортивное настроение изменилось, когда элегантный и галантный замминистра украинского правительства, неудачно ступив кожаными подошвами на мокрый и скользкий асфальт, вдруг потерял устойчивость и его понесло вниз. Сообразив, что лучше бежать, иначе, остановившись, сорвёшься вниз, он стремительно пронёсся по извилистой тропинке метров пятнадцать, повернувшись вокруг собственной оси на

повороте. Выбрав участок изгороди, поросший кустарником, ринулся на него. Он оказался удачлив — зелёная изгородь самортизировала удар. Мы подошли к бедняге, кроме небольших ссадин на руке и щеке ничего не было. Но то — внешнее. Ноги его не слушались. Он не сразу смог идти. Стоял, стараясь не смотреть вниз.

До замка оставалось метров двести. Внизу манили к себе ухоженные домики, крохотные дворики. Все было бы прекрасно, если бы не этот сильный ветер.

И странное дело: озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-черной враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то все куда-то враз девалось, оставалась сплошная тёмная завеса. Триста метров глубины озера и около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от мощи, великости происходящего. Ничего подобного по грандиозности я раньше не видел.

Посоветовавшись, мы решили не испытывать судьбу, не спускаться отвесно вниз, а по пологим тропинкам не спеша взять вправо и уйти в город. Монтре был справа от нас... «Вот тебе и тихая, наскучившая квартира, если бы я не оказался на этом конце озера — я не знал бы Швейцарии», — думал я.

Глядя на резко меняющуюся картину над озером, смену изумительной красоты на неуступчивую жёсткость природы, вспоминал я и Шелли с Байроном, застигнутых бурей в лодке, и слова молоденького русского гида, который ещё в автобусе обронил, что Швейцария занимает первое место по количеству самоубийств в Европе. В Лозанне даже есть мост, где дежурят добровольцы Красного Креста, чтобы круглосуточно прийти на помощь... Что это? Есть много объяснений, есть и самое, очевидно, верное, но мне почему-то вспомнился поэт Шелли, который отказался, чтобы его спасали от гибели в разбушевавшейся стихии... Таится что-то притягательное в природной мощи, в её всепоглощающей претензии покорить и поглотить всё в себе. Гуляют вокруг нас силы, против которых не каждый способен устоять. Эти мысли мне пришли естественным образом, я с ними ни с кем не успел там, в Монтрé, поделиться.

Я все искал глазами виллу Диодати, зная, что она где-то здесь. Спросить было некого. Вокруг удивительно пустынно и космически одиноко. Я знал, что роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был написан здесь, в Швейцарии, в 1816 году дождливым летом на вилле Диодати, недалеко от Шильонского замка, на берегу Женевского озера. Общеизвестно, что инициатором создания романа была Мэри Годвин, жена поэта Перси Шелли. Оба они приехали отдыхать в Швейцарию по приглашению их друга, молодого поэта, аристократа со спорной репутацией Джорджа Гордона Байрона. Было решено сочинить роман с тайными роковыми страстями, кошмарами, вперемежку с тогдашней новомодной наукой, граничащей с чертовщиной. Поэтам скоро наскучила эта идея, а вот Мэри Шелли не отказалась от неё.

Потом Мэри Шелли писала: «Мне хотелось сочинить нечто такое, что вернуло бы читателя к его собственным внутренним кошмарам, что вызвало бы в душе его ужас. Тот ужас, который заставляет с замиранием сердца озираться в пустой комнате и студит кровь».

Что ж, страшилку, в свои девятнадцать лет, она создала грандиозную, на века. Вот уже две сотни лет герой её навевает ужас на читателей. Одним из первых игровых фильмов в истории оказался «Франкенштейн», снятый ещё в 1910 году.

Мне представляется, что этот роман мог быть написан только здесь, у Женевского озера, где кажется, что таинственные и космические силы так ощутимо и неотвратно действуют на человеческую психику. Под стать и сама Мэри Шелли — волевая, капризная и авантюрная, ставшая в свои шестнадцать лет любовницей Перси Шелли, а затем его женой, через двадцать дней после того, как утопилась жена поэта.

...А Перси Шелли всё-таки утонул, но не в этот раз на прогулке с Байроном, а позже и в другом месте — в июле 1822 года, отправившись кататься на яхте. Страшные эти две смерти — поэта и его первой жены, связаны с водой, и не одна ли следствие другой?..

Бог обошел природными ресурсами Швейцарию, но наделил красотой. Ледники в своё время сделали своё дело — снесли плодородную часть земли, и Женевское озеро, самое большое в Европе, образовалось в результате того, что скалы когда-то

обвалились, перегородив реку Рон. Река разлилась, образовав в расщелине озеро шириной в шестнадцать километров.

Это озеро терморегулятор. Летом охлаждает воздух в городе. Температура не более 22 градусов. Частые туманы, ветра здесь вызывают головные боли. Странное озеро — в нем не купаются. Засилье уток породило множество блох. И они, окаянные, кусаются. Очень много уток черных, есть кряквы. Много лебедей.

Местные жители на противоположной стороне от гостиницы «Бристоль», где причал и стоят разнокалиберные катера и яхты, любят подкармливать птиц. Я видел, как покрасневший от холодного декабрьского ветра человек с двумя сыновьями, лет по десять-двенадцать, кормил из рук хлебом чаек. Чайки крикливой стаей налетали на протянутую руку с куском хлеба, хватали и тут же отлетали в сторону. Это повторялось многократно, отец радостно каждый раз подбегал к рюкзаку за хлебом, поспешно и самозабвенно ломал замерзшими руками корку. На большом, почти греческом, его носу висела тривиальная сопля. Он даже её и не смахивал. Он, как мне показалось, был счастливее в тот момент своих сыновей.

После этого похода я стал замечать и других птиц. Во дворе за гостиницей спокойно уживаются сизые голуби, воробьи, чайки. Переводчик нам сказал, что кормивший чаек мужчина, возможно, кельт — представитель коренного населения Швейцарии. Их мало, они живут по окраинам. Хотя конституция и написана на языке кельтов, язык этот мало кто хорошо знает.

Курьез: в Швейцарии всего два местных дерева. Бук и граб. Остальные все привозные.

Бедность — сестра рачительности, а последняя прародитель достатка. Химические удобрения здесь запрещены, пользуются только органическими. Даже для уничтожения насекомых — пожирателей их привозят из-за границы, они почему-то «не додумались» до нашего: бац с верхотуры с самолета сразу всем на голову отраву и... как ножом отрезало... от всего живого.

«В двадцать пять лет надо жить в Париже, а в пятьдесят — в Швейцарии». Эти слова принадлежат, кажется, Вольтеру.

...Странное было ощущение, когда мы вошли в город Монтрё. То порывы ветра срывали куски черепицы с крыш, то уличный фонарь, сорвавшись, катился по тротуару. На улицах — редкие

прохожие. Всё будто вымерло. И лишь когда мы спустились совсем вниз к озеру, увидели признаки активной жизни. Но не саму жизнь. Приглаженную и как бы затаившуюся. Странно было узнать, что в Монтрё ежегодно проходят джазовые фестивали, что Игорь Стравинский здесь жил и писал балеты.

Я поотстал от своей группы и шёл один, находя удовольствие в своей обособленности от нашей шумливой компании. Где-то здесь жил в своё время Чайковский.

Озеро продолжало бушевать. На безлюдной набережной появилась невесть откуда семья: родители и двое мальчиков. Они подошли к озеру, до воды оставалось метров двадцать. Вырвавшаяся из озера волна огромной своей дикой массой ударила о землю, и брызги её окатили ребятишек. Порыв ветра потащил их за отступающей волной в озеро. Шипя, белопенная волна уходила по газонам, по изумрудной и картинно красивой набережной назад в свою огромную завораживающую чашу, обрамленную с той стороны столь же красиво картинными хребтами.

Напуганная мать схватила одного из мальчиков, тот успел зацепить своего брата за полу куртки. Так, балансируя, пытаются устоять на ногах, они двигались к воде. Подоспевший отец, включившись в эту цепочку, приостановил сползание их вниз, в какой-то момент ему удалось ухватиться за фонарный столб. Порыв ветра ослаб, они все собрались вокруг столба. Улучили момент и вновь цепочкой, во главе с отцом, метнулись к ограде, а потом пропали в парковой зелени, изредка мелькая разноцветными спортивными куртками.

Сзади крепко захрустело. Я обернулся. Ураганом рвало два дерева. Заваливаясь одно на другое, а потом согласованно, будто в каком-то чудовищном танце, они вывернулись корневищами из земли и рухнули на три припаркованные рядышком машины. Послышался хруст ветвей, звон разбитого стекла. Стволы деревьев огромными ветвями накрыли автомобили и легли, как исполинские веники, забытые кем-то в разноцветном металлическом мусоре.

Была во всем в этот день какая-то несоразмерность. Стихия природы, сама природа не сдерживала своей огромности, великости своих сил. И это делало всё то, что сотворено человеком и самого человека второстепенным, не главным, как он себя считал в своей самонадеянности.

Вокруг, кроме меня, никого не было.

Одежда моя намокла. Я поднялся выше в город и рассеянно побрел по улице, удивлённый тем, что видел и чувствовал.

Чтобы как-то согреться, зашёл в отель и, задумчиво глядя перед собой, вздрогнул. Передо мной, ссутулившись, сидел бронзовый... Владимир Набоков. Не веря, я вышел на улицу и прочёл название гостиницы. «Монтрё палас» — это, конечно же, была та гостиница, в которой, кажется, около шестнадцати лет в конце своей жизни жил Владимир Набоков.

Я знал, что похоронен писатель на кладбище в Монтрё. Где-то в этом городе живет его сын, бывший певец, а теперь — переводчик.

Набоков, живя в Монтрё, не писал. Всё уже было написано. Он собирал здесь бабочек. Человек без дома и без Родины. Писатель и умер в этой гостинице.

Сидящий напротив меня в холле металлический Набоков был крохотно мал в сравнении со своими делами, которые он свершил живой. Его как будто нарочно, с умыслом, уменьшили теперь, когда он уже ничего сделать не мог...

Подобное чувство было у меня, когда я впервые увидел фигурку Ломоносова, поставленную в центре нашей заводской площади в Новокуйбышевске. Наш первый директор завода очень хотела сделать как лучше, но привезённая из Москвы подростковая (по-другому не скажешь) фигурка великого учёного никак не соответствовала масштабам его великих дел. Памятник тут же заводские острословы прозвали «Местный главный специалист»...

Странно, в этом пустынно-загадочном городе, где ураган разогнал жителей по домам, я, никогда не страдавший от одиночества, а наоборот, находивший в нем неотразимую прелесть, почувствовал себя сиротой. Как это бывало в детстве: ты много чувствуешь, знаешь, понимаешь, хочешь помочь, а тебя не принимают всерьёз. Ты — никто. Что ты есть, что тебя нет — это твоё личное дело. А то, что в душе твоей лежит, сокрыто то, что готово сделать нечто большое — никому не надо, это недоказуемо. Если сейчас войти в гостиницу, подойти к администратору и сказать: «Я — русский», — то он, вспомнив возможно фильм, который вчера вечером был на одном из телевизионных каналов, будет смотреть на меня, как на



тех, которые полуголые в вытрезвителе, матерясь, валялись поперёк коек.

...В последнее время я слишком раним. А, оказавшись за границей, глядя издалека, отсюда на нас, русских, которые там далеко на огромных своих просторах все ещё «выживают», стал необъективен? Не может быть! И там, на родине, и здесь, в одной из главных банковских столиц мира, я — русский. И думаю о нас — русских. В голове был сумбур. Я не смог с утра, а вернее, со вчерашнего вечера, ещё прийти в себя после того, что увидел по телевизору.

В отличие от номера в Женеве, здесь, в Монтрё, в «Виктории», в сотом номере, куда меня поселили, не было российского канала, к которому я привык и постоянно смотрел.

Вчера на одном из 34 каналов я наткнулся на фильм о русских. Он был не на русском языке. Начала я не видел, но мне показалось, что авторы фильма — русские.

Фильм был о том, как мы пьем. Отвратительный фильм об одной из, кажется, неискоренимых наших дурных привычек.

«Для них Россия, как матрешка. Каждый раз открываешь и каждый раз можно ждать сюрприза», — так в Женеве сказала нам наша улыбчивая переводчица-полька.

В этом фильме никаких сюрпризов от русских уже не ждали. В нем был поставлен крест на русских как нации. В фильме пили все. Дома пили. На поминках. На работе. На рыбалке. На стройке. На улице. В подворотне. Пили работяги, нищие, полковники. Пили помногу и тупо. Потом шли безобразные, скотские сцены в вытрезвителе. Женщины и мужчины были одинаково животными.

Пристегнули в конце фильма и шолоховского Андрея Соколова с его стаканом водки в немецком плену. Все в кучу.

Было жутко и стыдно смотреть на нас таких и нестерпимо больно оттого, что с нами так могут обращаться. Смаковать нашу беду.

«Неужели мы так беспросветно погрязли в этом? Ну, хорошо. Мы давно уже не сверхдержава, да и раньше-то наша сверхдержавность строилась не на экономике, а на ядерном оружии. Бог с ним, двуполярным миром. Меньше уйдет сил на противостояние. Пусть США будут сверхдержавой. Так что же наш мир — будет однополярным? Живут же Швеция, Норве-

гия, даже Люксембург, не претендуя на лидерство. И довольны. Будет своя иерархия меж тех государств, которые стоят ниже. И они найдут в себе силу. Но культура, здоровый образ жизни — эти признаки нормальной жизни должны быть! Не все же мы пьем, и далеко не большая часть из нас. И не надо топить нас в вине и водке. Вкладывать в наше сознание, что мы уже ни на что не способны. Это просто кому-то надо». Так думал я ночью. Так сбивчиво думал и в этот странный день, наблюдая необычное действие природы в необычной для меня стране.

«С надеждой на мировую и мирную миссию ООН, но я — русский, и вера моя начинается с веры в мой народ», — так я записал в Книге почётных гостей Организации Объединённых Наций 23 декабря, куда нас пригласили после награждений.

Совершенно ясно, что модель двуполярного мира окончательно распалась. В русских силу уже не видят. После десятилетий разрушительных, большей частью экономических, реформ победил Запад. Претензия теперь на единоличное лидерство. США и Западная Европа ухватились за идею «глобального мира» — по сути мирного распространения рыночного мирового капитализма. Остальные — за «многополярный мир». А что остается делать? Теперь сделка будет определять все.

Теория концентрического расширения Европы-НАТО, по которой вначале страны СНГ, потом по частям территории России должны объединиться под единым органом, не совсем уж и теория — в горячих головах она бродит как реальный план.

Россия стала окраиной Запада. Об этом я думал дома в России. Это приходит на ум и здесь, за границей.

Окраина, но великая. Окраина, которая и в однополярном мире не позволит себя просто так кантовать, кому куда захочется...

Но для этого надо экономически укрепнуть. Надо успешно работать. Но разве наше поколение, поколение наших отцов не работало? Работало! Жизни целых поколений, результаты их деятельности были принесены в жертву чему-то абстрактному и всепоглощающему. Мне порой начинало казаться, что я вот хожу по чужой земле, смотрю, а мои земляки, мои россияне, глядят на меня из своего далека, а те, кого уж нет на земле, смотрят на меня сверху, из этого бездонного, синего, ничейного,

огромного неба и ждут от меня чего-то такого, что я должен обязательно сделать. А может, понять для себя, может, сказать слово...

Огромность неба своей бездонностью и неохватностью всего того, что в нем сейчас отражалось и глядело на нас, живущих, давило...

Казалось, все, что было с моими отцами и дедами, все каким-то образом закреплённое, зафиксированное, приумноженное — посылало мне какие-то знаки...

У меня побаливала голова и я чувствовал себя разбитым.

...Я вновь зашёл в холл гостиницы. Зачем-то подошёл снова к скульптуре сидящего в задумчивости монтрейского старца. Сколько ещё осталось за властными языковыми опытами, прихотливой игрой с читателем, аристократизмом, каламбурами. Где вымысел, а где сама жизнь? Почему-то более всего удручал меня факт его жизни в гостинице в течение последних шестнадцати лет..

Как вам жилось здесь, маститый писатель, на чужбине, пусть и прекрасной? Как вы выживали на Западе, русский человек? Многое известно о вашей жизни. Но сколько всего осталось втуне! Ведь выживать всегда досадно. Я сел в кресло напротив, слева от входа. Мысли путались, я не пытался их привести в стройный порядок. Меня удручал тяжеловесный вывод: русский народ всегда находился в режиме выживания.

...Подойдя к администратору, я зачем-то попросил сфотографировать меня около Набокова. Элегантный и услужливый молодой человек исполнил мою просьбу. Я поблагодарил и вышел, не зная, куда деть себя со своими мыслями.

Вспомнил, что где-то неподалеку есть город Вивей, в котором жил наш Фёдор Михайлович Достоевский, работая над «Идиотом». В Вивее у него родилась и умерла дочь. На доме должна быть мемориальная доска. Я взял было уже такси, намереваясь наугад махнуть от неприкаянности в Вивей, но, почувствовав перегруженность от всего, увиденного за день, и слабость (кажется, была повышенная температура), попросил шофера довезти до гостиницы.

...Минут через двадцать мы подъезжали к подъезду «Виктории». Расплатившись с таксистом, я направился в номер. С левой стороны гостиницы лежало вывороченное с корнем

огромное, метровой толщины, дерево. Корни его вздыбились над ямой, похожей на громадную воронку. Время было обеденное, но электроэнергии ещё не было и кормить нас в ресторане было нечем.

...Вечером, когда восстановили подачу электроэнергии, по телевидению сообщили о первых жертвах в Альпах — погиб ребенок. После пошли страшные сообщения: в обвалах во Французских Альпах погибло 26 человек. Затем уточняли цифры, но число жертв трагически росло!..

Таким оказался второй день католического рождества.

...Ночью опять не спалось. Пришла мысль, что надо бы написать небольшую повесть о том, что чувствует русский в подобных командировках. Не давали успокоиться те чувства, которые я испытывал, посмотрев фильм о пьянстве. Я понял, что напишу эту повесть. И название пришло: «Записки провинциала».

А под утро написал стихотворение «Утренний свет», о котором и не помьшлял.

*Колки мои и мои перелесья,  
Лица моих земляков в поднебесье,  
Лица живых земляков! И поныне  
В сердце моём к вам любовь не остынет.  
Зной над равниной и тень чернолесья —  
Всё уместилось в сердечную песню.  
Русичи, где мы?! Какими мы стали?  
Колки мои и равнины устали  
Ждать возвращения бывшего усердья.  
Вялость душевная хуже ведь смерти.  
Дух наш восстанет, я верую свято  
Будут поля и посёлки опрятны.  
Будет в душе не разврат, не смятенье,  
Снова придут и покой, и уменье.  
Радость придёт. Без неё не бывает  
Жизни цветущей. И тень побеждает  
Утренний свет. Над моею равниной  
Сумрак уходит. И разум былинный  
Крепнет и крепнет. На подвиг великий  
Благословляют нас светлые лики!*

Весь следующий день это стихотворение не выходило из головы. Состояние было приподнятым. Будто я обрёл новые силы. И знал, как их тратить и на что...

...О повести не забыл и ещё утром добросовестно начал записывать в блокнот всё, что видел в комнате. Потом подошёл к окну, стал искать мелкие подробности. Вновь прислушиваясь к себе, понимал, что всё это может оказаться тем самым строительным материалом, из которого способно вырасти то, что пока неведомо мне... Но что-то очень нужное...

...Я посчитал и оказалось, что побывал в пятнадцати странах. Разные были цели поездок. Деловые, туристические. Были поездки: в Париж, Рио-де-Жанейро, связанные, как теперь, с получением международных наград. Во время этих поездок за границу написалось всего одно стихотворение — «Матери». В Нью-Йорке, в гостинице «Веллингтон», оно приняло свой окончательный вид. А «пробормотал» я его в томительном долгом ожидании отложенного рейса «Боинга» в аэропорту «Шереметьева-2»:

*Как хлебную корку  
В далеком Нью-Йорке  
Я память о нашей  
Утёвке храню.*

Потом, в гостиничном номере, я по сути ничего не мог существенного добавить к тому, что пришло в ожидании самолета. И меня тогда сильно поразило то обстоятельство, что свои чувства и ощущения, которые потом были у меня, впервые прилетевшего в Америку, один к одному легли на уже написанное. Всё было предвосхищено ещё там, на Родине. Тогда, помню, впервые подумал о том, что, как бы это точнее сказать, пишущий человек тем проникновеннее и ярче пишет, чем больше он закомплексован на чем-то. В этом случае срабатывают неведомые силы на иррациональном, рефлкторном уровне, как родниковые воды, они подпирают, а уж выйдя наружу, попадают в русло, которое зависит от очень многого, в том числе, конечно, и от владения ремеслом, в самом лучшем смысле этого слова!

...Рейс номер 272 «Женева-Москва» отменили. Прибыв 27 декабря в аэропорт «Женева», мы сели было в самолет, но, просидев около часа, получили вежливую команду выгружаться.

Оказывается, перед самым взлетом, уже при работающих двигателях, командир экипажа обнаружил утечку из топливных баков керосина. Как нам потом говорила бортпроводница, керосин протекал по крылу до фюзеляжа. Фирма «Люфтганза», продавшая американский самолет нашему «Аэрофлоту», выслала для ремонта своих представителей. Наш рейс задержался ровно на сутки. Среди пассажиров гуляла кислая шутка, которую вроде бы обронил командир экипажа: хорошо, мол, что утечку обнаружили на земле, а не в воздухе. Негде было бы дозаправиться.

Меня лично как-то не очень беспокоили возникшие неудобства. Я думал о своей повести, и моё внешнее спокойствие, раздражающее попутчиков, моя неактивность в переживании возникшей ситуации с задержкой вылета были мне просто необходимы.

Внутреннее волнение от зародившегося замысла заслоняло многое, если не всё...

### **Но наши души...**

К счастью, не одни только супермаркеты растут на улицах Самары...

На самом видном месте, чуть левее «Белого дома», если смотреть со стороны Волги, на холме вознесся красивый храм-памятник Георгию Победоносцу. И теперь я по несколько раз в день вижу его. Каждый раз, проходя мимо, не могу не обернуться, чтобы не посмотреть на это великолепие.

6-го мая 2001-го года над самарской площадью Славы был поднят главный, облицованный сплавом титана, одиннадцатиметровый купол его. Около тысячи людей наблюдали, как сверкающий в лучах майского солнца купол возник над Волгой, став украшением нашего старинного города.

Купол был освящен архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. И долгие годы и десятилетия теперь будет радовать прихожан.

Я живу рядом с храмом. Но не только поэтому оказался в день поднятия купола около него. Потребовалась особая грузоподъемная техника с большим вылетом стрелы. И наш заводской кран «Като», купленный у японцев, грузоподъемностью

сто двадцать тонн пришелся к месту. Я разговаривал с крановщиком Иваном Матвеевичем Шевченко, который вместе со своим тридцатилетним сыном Александром, тоже крановщиком, поднимали главный купол.

— Это мой шестой храм. Так хочется со стороны Волги, с воды посмотреть на него. Красивый очень!

Спрашиваю:

— Крещеный?

— Да. С детства.

— А сын Александр?

— Окрестили недавно, в прошлом году. Спихватились.

— Что чувствовали, — спрашиваю, — когда поднимали?

— Радость. Сын поднимал! Я около него — с рацией, мастер на храме — координировали. Сын всё порывался вторую скорость включить, а я держал его на первой — столько народу было, пусть посмотрят. О каждом храме в память у меня дома стоит иконка в переднем углу.

...К радости идёт не только активное строительство храмов. Наметился, хотя пока и с наслоениями всяческими, издержками, возврат к вере.

...Всё же «смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе». Неискренность в отношении всего, что связано с верой, видна часто. И храмы, возводимые на неправедные деньги... Истинную веру принесут ли? Но я сейчас не об этом...

\* \* \*

...Город Новокуйбышевск — «безбожный город», который родился-то как результат комсомольских всесоюзных строек, размахнувшихся на голых степных просторах, поверг меня в радостное удивление. Сотни граждан пришли на Престольный праздник Серафимовского храма 1 августа, на его освящение в честь завершения строительства. На улице изнурительная духота, внутри храма такая жара, что плавятся свечи, но многочасовая служба свершилась при огромном стечении прихожан, наблюдавших установление в храме святыни, подаренной городу по благословию Нижегородского митрополита — капсулы с частицей мощей Серафима Саровского.

1 августа, девять лет назад, стал особым днем для всей Рос-

сии, а теперь и для Новокуйбышевска, где я прожил около тридцати лет. Тогда в Ленинграде, в Казанском соборе произошло повторное обретение мощей святого старца. Сам Патриарх Алексей II побывал в Дивеево, на той земле, где Серафим Саровский совершал свои молитвенные подвиги.

...Утром радостный колокольный звон возвестил о приезде в Новокуйбышевск высшего духовенства Самарской епархии. Путь Владыки к храму был устлан живыми цветами. Так новокуйбышевцы откликнулись на это событие. Не только строятся храмы. Происходит гораздо большее. Угнетенность, безверие, неприкаянность и загнанность потихоньку сменяются верой. Верой, которая ведет к созиданию. Пусть пока в малом, пусть порой не всеми замеченному созиданию, но мы, россияне, это видим и радуемся этому. Серафим Саровский, добровольно подвергнувший себя семнадцатилетнему уединению в Саровской пустыни, тысячедневному стоянию и молениям, десятилетнему безмолвному затворничеству в монастыре, исцелявший больных и ясновидящий, мог бы возрадоваться — его и сто пятьдесят лет спустя знают и помнят. На нашей памяти держится всё доброе и светлое. Дошли Добро и Свет его до нас, забывших было самих себя, своё прошлое, но очнувшихся, словно от чёрной напасти какой. И вспомнивших, кто мы и какими нам быть надобно.

...За капсулой с частицей мощей преподобного старца ездил священник Новокуйбышевского храма отец Сергей, мы с ним хорошо знакомы. Он жил в Кулешовке, что недалеко от села Утёвка, затем работал в Нефтегорске. Был несколько лет партийным работником. Окончил духовную семинарию. В Новокуйбышевск его пригласил отец Константин — наш мудрый новокуйбышевский старец, теперь — почетный гражданин города. Участник Отечественной войны, бывший боевой танкист.

...Бережно держа святыню, владыка Сергей прошел в правую часть храма, приблизился к иконе Серафима Саровского и вложил капсулу в специальное углубление...

Храм построен и освящён всем миром. Потихоньку светлеют наши лица. Но наши души, наши души... В них храм ещё построить надо...



## **«А избы горят и горят...»**

Такой тяжёлой поездки в Москву у меня прежде не было. В издательстве «Российский писатель» только что вышел двухтомник моей прозы «Под открытым небом».

Я ехал на радостную встречу, а попал на похороны.

19 мая на 89-м году после долгой болезни не стало Михаила Николаевича Алексева.

Когда я поднялся в Правлении Союза писателей России на второй этаж, встретился с горестно озабоченными Мариной Ганичевой и Сергеем Котьяло. От них-то и узнал печальную весть. Тут же подошёл Николай Иванович Дорошенко, издавший мою прозу. С ним мы и вошли в открытую дверь кабинета Валерия Николаевича Ганичева.

Короткие, лаконичные приветствия. Не поворачивается язык говорить что-либо, не связанное с горькой утратой. А говорить о ней нет слов.

Почти машинально передаю Валерию Николаевичу свой двухтомник, а он тем временем озабоченно принимает от кого-то телефонную трубку.

Понедельник. Первая половина дня. Забот в связи со случившимся предостаточно. И все они требуют особого внимания.

Немногословность присутствующих, вовлечённых в общий поток организационных похоронных дел, сковывает.

Трудно быть на людях.

Спустился на первый этаж, туда, где, чуть дальше, в узком закутке коридора дверь с надписью: редакция газеты «День литературы. Не тронул дверь.

Хотелось побыть одному.

Так много связано с именем Михаила Алексева, с жизнью героев его книг.

\* \* \*

Всплыло в памяти давнее...

...Многоголосые, шумные сентябрьские дни, как водится, были у нас заполнены всклень школьными новостями, футбольными сражениями на стадионе за огородами, и рыбалкой,

страсть к которой у нас с началом занятий в школе не только не утихала, а разгоралась с новой силой.

В тот день мы всей семьёй шумно и весело копали картошку. Я не услышал скрипа калитки, когда в огород к нам пришла моя бабушка Груня.

— Шура, возьми-ка! Нашла на дороге, — она протянула мне тугой, схваченный в трубку обычным шпагатом, сверток.

Я отряхнул от теплой земли руки, поднялся над кучкой ядреной красной картошки и шагнул ей навстречу. В свертке оказались портреты русских писателей.

И бабушка Груня, и мама моя были неграмотными, едва могли написать свою фамилию, но к книге у них отношение было трепетное.

...Вечером того же дня мы втроем наклеили портреты под самым потолком в нашей избе, на белёные саманные стены. По несколько штук в разные стороны от иконы в углу.

В начале левого ряда оказался Лев Толстой, в начале правого — Пушкин. А далее за ними: Герцен, Чернышевский, Куприн, Короленко, Лермонтов, Тургенев, Островский, Горький, Чехов, Достоевский...

Какие звучные и необычные фамилии.

«Эти люди особенные, — размышлял я, обозревая их долго и внимательно. — И люди ли они? Почему бабушка Груня предложила разместить их около иконы?.. Она просто так ничего не делает!..»

Многие из этих писателей мне были уже известны, но книги Чернышевского, Островского и Достоевского не попадались.

Я решил обязательно наверстать упущенное, разыскать их книги, раз они рядом с теми, кто написал «Филиппок», «Капитанская дочка», «Белый пудель», «Дети подземелья». И многое другое, что теснилось в голове, с невероятной крепостью оставаясь в памяти.

Но вскоре случилось неожиданное...

\* \* \*

Едва я вошёл в дедовой избе в горницу, как увидел на столе две толстенные книги. Размер их меня не удивил. Уже были прочитаны Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма. Поразило завораживающее, ёмкое название: «Тихий Дон». Что-то

манящее и бездонное слышалось в этих звуках, песенное: ... дон, дон, дон...

Довольный, шагал я задами домой, заполучив на неделю от моего дяди книгочея Алексея первый том, совсем не представляя, как потрясёт меня эта книга.

«Михаил Шолохов» — такого имени в длинном ряду портретов на белёной стене нашей избы не было. Какое-то необычно тихое, шелестящее на губах. И главный казак: Григорий Мелехов!.. Он совсем не похож на Печорина, Гринёва...

Правда жизни и глубина, масштаб событий и характеры русских людей в романе ошеломили с первых же страниц. Это я теперь могу так формулировать своё отношение к прочитанному. Тогда, в детстве всё чувствовалось нутром, и не хватало сил осмыслить и выразить словом...

Позже мне попало известное высказывание Серафимовича о том, что шолоховские герои «вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор».

Верно, всё так и было. Так и есть!

И эти непривычные слова: майдан, чирики, шлях, гитарют!.. Читал эпопею о народной казачьей жизни, такой далекой и такой вдруг знакомой, запоем.

...Солнечные зайчики, словно блики от жгучей шашки Григория, легко перехватываемой им из правой в левую руку, запрыгали в моих глазах. На четвертой книге почувствовал резкое ухудшение зрения. Но не забеспокоился. Торопился дочитать.

Прячась в тенёчек за широкими нашими сенями от необычно яркого сентябрьского солнца, преодолевая рябь в глазах, дочитал до конца.

К врачу всё же пришлось обратиться. Он приписал мне очки.

В пятидесятых годах в сельской школе «очкарикам» было непросто. Правда, я мог постоять за себя и дать сдачу... Но... Носил очки я с полгода. Зрение моё поправилось. Где-то через год перечитал роман вновь. Уже спокойнее. Увидел и пережил многое, ранее незамеченное. Жуткие сцены гибели белых офицеров и Чернецова, а затем Подтёлкова и Кривошлыкова — потрясли. И эти оброненные, негромкие вроде бы слова Григория: «Спутали нас учёные люди». Они не давали покоя...

Мне теперь кажется, я тогда, после «Тихого Дона», крепко повзрослел. И... стал думать о писателях. Откуда берётся такой дар? И как это случается? «Как ему повезло, — размышлял я по-мальчишески об авторе великого романа, — он родился на Дону, среди казаков, в необычной жизни. Нельзя было ему поиному писать! Одно слово: Дон-батюшка! Такая яркая жизнь! Только записывай...»

\* \* \*

И тут новая книга: «Вишневы́й омут»!

И опять: тихое и совсем простое имя автора: Михаил Алексеев. Поразительно: почти наш, самарский. Можно сказать: земляк. Из-под Саратова! И оказалось, что не только донская, и наша жизнь, притягательна! Заразительна! И она: чудо!

Забавно, меня тогда всерьёз занимал вопрос: как рождаются, кто придумывает слова? С чьих губ впервые сорвалось: урёма, дубрава, Отчина?.. Когда находил в книжке редкое «своё» слово, радовался.

А тут у Михаила Алексеева столько «наших» слов: тёрн, синьга, подволока, стьшной, дудак, калякать... Особенно радовало у Алексеева слово «подволока». Мне всегда было обидно за это слово. У нас говорили: «Возьми на подловке», «Там где-то на подловке». И звучало... не очень... Я это всегда чувствовал. И тут полная прямо-таки реабилитация! Подволока! Для меня это было как награда...

Много позже, уже когда учился в институте, попалась мне на книжном прилавке тоненькая, выпущенная издательством «Правда» в серии «Библиотека «Огонька» повесть «Карюха». Всё в ней было наше и моё! И не мудрено. Жил я в доме деда. А там и рыдван, и мерин Карий. И быт, состоящий весь из сенокосов, рыбалок, нескончаемой работы на земле: на травокоске ли, на конных граблях, с косой в руках... И в доме отца тоже самое. Только по инвалидности не мог он работать конюхом, как мой дед.

...Все будто про нас и про предшествующее поколение, живущее уже взрослой жизнью...

Я перечитывал повесть несколько раз. Читали её все мои родные и многие знакомые. К тому времени на моей книжной полке давно прописались «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фур-

манова, «Дерсу Узала» Арсеньева, «Капитанская дочка» Пушкина. И среди них теперь — «Карюха».

\* \* \*

Я тогда уже писал стихи. Никому их не показывал. Сам удивлялся тому, что пишу. Зачем? Читал стихи других и недоумевал: зачем они пишут? Ведь были уже Пушкин, Лермонтов, Есенин? Разве можно написать лучше?

Но стихи рождались! Печатать в местных газетах не хотел. Однажды решил послать их Дмитрию Ковалеву на адрес журнала «Наш современник». Почему Ковалеву? Понравилась его тоненькая книжка стихов, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1965 году в серии «Библиотечка избранной лирики». Основательность сопроводительного текста от составителя Василия Федорова притягивала.

Ответ пришёл, к моему удивлению, быстро. С первой страницы письма бросались в глаза обжигающие размашистые строчки:

«...Стихи у вас пока получаютя наивные, не самостоятельные.

В стихотворении «Платочек» сразу же похожее на пушкинское:

*Брожу ли я вдоль улиц шумных,  
Вхожу ли во многолюдный храм.*

И по интонации, и по ритму похоже. И с платочком, и с колодцем уже много раз было у других поэтов. Зачем же хуже повторять уже сказанное кем-то?

В других стихах есть верные мысли, но также не свои, не новые».

И далее:

«...Вы не лишены поэтического видения и даже думаете подчас поэтично, но это лишь отдельные слабые пока проблески.

...Читайте внимательно русских поэтов. Учитесь у них быть непохожими на других... Сказать что-то своё».

Ничто в письме не утешало, не давало, казалось, надежду на что-то настоящее. Даже упоминание имени великого поэта.

«Учитесь сказать что-то своё», — звучало как приговор. Но я ведь и говорил своё. Но оно совпадало со сказанным до меня. Но оно моё?! Другим я не мог быть. Говорить по-иному, непо-

хоже на других, значит перестать быть самим собой, изменить себе? Но я бежал от искусственного... Я хотел оставаться какой есть. Жизнь самоценна! В ней поэзия, в жизни!

Мне явно не хватало литературной учебы. Но я не искал её, полагая, что писатель должен родиться самостоятельно. Конечно, в этом было многое от молодости, от избытка сил.

«Я молод был, был жаден и уверен».

Мои крестьянские корни не позволяли мне суетиться. Я и сам понимал, что наивен в стихах, но не боялся этого. Мастерство казалось сомнительным достоинством стихотворца. Ценил истинность чувств. Я явно что-то не понимал тогда...

А стихи фантанировали. Мог написать пять стихотворений в один день...

\* \* \*

После того как прочитал «Карюху», начал увереннее писать прозу. «Вот оно кровное моё!», — ликовало всё внутри, когда я держал в руках повесть о Карюхе. И тут же моя радость тускнела: «О «моём» уже сказано. И опять не мной!»

Михаил Алексеев писал: «...В передней, под потолком, на ввинченных кольцах всегда висели две зыбки, и в них обязательно пицало по ребенку». То же самое было и в нашей избе. Висела, правда, одна зыбка, но через неё прошло четверо.

Только потолок у нас был «свой»: об этом и о находке свёртка с портретами писателей я упомянул позже, в рассказе «Мишкина песня». Вначале-то никакого потолка в нашей саманной избе вообще не было. Была одна соломенная крыша. Потолок появился позже. Его настелили из слабых половых досок при замене пола.

Отец мой после госпиталя лет пять ходил на костылях. На конце каждого костыля у него было вбито по гвоздю, для надёжной опоры. Весь пол от этого был в мелких точках и рытвинках. Большая часть тех досок и попала на потолок. Теперь, когда я ложился спать, эти, будто изъеденные оспой, доски были перед глазами.

На той же странице удивительной повести до сердечной боли знакомое: «Оживление за столом возрастало по мере приближения к ответственному моменту: щи почти выхлебаны, на дне оставалось одно мясо, и вот-вот прозвучит дедово: «Таскайте».

Всё в этой сцене из повести было «моё»!

...«Сказать что-то своё», — это во мне засело крепко. Вскоре мои коротенькие лирические новеллы одну за другой начала печатать областная газета.

И что бы потом ни делал, жила во мне постоянно мысль: «И об этом напишу, и об этом. Ведь это я знаю изнутри как никто, и это...»

Получилось, что пошёл я в прозе не самым легким путем: сначала прожить, потом написать. Так случилось почти со всеми моими опубликованными вещами. Только когда мне перевалило за сорок пять лет, решился напечатать свою прозу отдельной книгой. И те первые мои короткие новеллы составили основную её часть.

Не ведая того, Михаил Николаевич подтолкнул меня как мудрый отец в прозе к вполне осознанному мной шагу.

А за его спиной стояла фигура гения, чьи слова, взятые много позже в качестве эпитафии, Михаил Николаевич использовал в своём романе «Драчуны»:

«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случалось наблюдать в жизни». (Л.Н. Толстой)

«Перестанут выдумывать...», а мне и не хотелось начинать это делать. Я, очевидно, был слишком конкретным и деловым. Очарование «привычных мелочей» было дороже вымысла.

\* \* \*

...А тут пришла, ворвалась неумёмная страсть к химической технологии и связанной накрепко с ней наукой. В которой порой факт и опыт оказывались фантастически значимыми.

И люди науки, научная интеллигенция, по сути своей схожие в большинстве своём с крестьянством преданностью своему делу, трудолюбием, подлинностью и надёжностью, бескорыстием, покорили меня. Я и сейчас чувствую себя должником всех тех, с кем рос на селе, а затем работал в науке. Это странное, на первый взгляд, соединение дало мне очень много.

Страсть к научной работе удерживала меня в своих объятиях до середины 80-х годов, пока не почувствовал, что желание писать неистребимо.

Рукопись своей первой книжки прозы принес директору Куйбышевского книжного издательства поэту Борису Соколову. Мои маленькие рассказы ему понравились. Книгу включили в план издания. Но меня удерживало одно обстоятельство.

Казалось: всё, что я написал и напишу в последующем, как-то не соотносится с моей фамилией. Не соответствует она той действительности, в которой я вырос и которая — суть моей книжки. Со стороны для читателя либо фамилия автора, либо содержание книги могли показаться искусственными. Я боялся фальши, пусть даже кажущейся.

Позвонил Соколову и попросил поставить на книжке фамилию Вдовин.

— Это ещё зачем? — требовательно прозвучало в трубке.

— Псевдоним.

— К чему он вам?

— Ну, как? — мялся я, — моя фамилия не соответствует. Для стихов ещё может быть...

— Не валяйте дурака. Славянская фамилия. И красивая!

Я продолжал настаивать на своём.

— Поздно, понимаешь? Обложку уже сделали! — нашелся издатель. — Назад хода нет!

Полагая, что он лукавит, я помчался в издательство.

Ершисто глядя на меня через толстые линзы очков, директор басовито произнёс:

— Фамилия у тебя — твоя?

Я согласился:

— Моя.

— Чего ж тебе надо?

— Она как бы случайная... Там, где я родился...

— Александр! Запомни: ничего случайного не бывает.

Он протянул красочную обложку. Недовольно нахмурил брови, произнёс:

— Извини, брат, получилась немного не того... Рассказики неплохие... да... А обложка больше подходит для брошюры по кулинарии. Художника смутило название книги: «Степной чай».



Странно было такое слышать. Но слова: «рассказики неплохие» перевешивали всё.

В висках стучало: «Неужели я всё-таки писатель?..» Открывались в собственной судьбе такие дали...

— А можно посмотреть, как всё делается? — спросил я.

— Не понял?

— Ну, как рождается книга? Как набирают? Брошюруют и так далее?

Брови у поэта-директора полезли вверх.

— Малиновский! Станный вы, вообще, человек! Впервые вижу автора, рвущегося посмотреть, как набирают его книгу.

— Ну и что? Технология. Это всегда интересно!

— Ну, во-первых, делают это не здесь, а в типографии. Надо долго ехать.

— У меня есть время.

Директор посмотрел на меня, как на малое дитя:

— А, во-вторых, гоните из себя технаря. Вы чересчур конкретны.

— Но без конкретики, подробностей нет и литературы настоящей, — как бы оправдываясь, произнёс я. — Всё же из мелочей состоит...

— Как это у вас такая проза идёт? — вслух удивился мой собеседник. — Как вы соединяете в себе всё это? Он мне говорил то «ТЫ», то «ВЫ».

Свои стихи показать ему я не решился.

Эта рукопись стихов, которую я около двух десятков лет назад подготовил и с которой тогда намеревался всё-таки поступать в Литературный институт, пылилась дома на полке. Тогда, в последний момент перед отъездом в Москву, я передумал ехать «учиться на писателя»: ещё продолжал барахтаться между догадкой, что настоящие стихи научиться писать нельзя и огромным желанием глубже познать поэзию. Все-то мне казалось, что я не готов, не знаю пока жизни.

*«О чём не подумал — про то не расскажешь;  
о чём не поплакал — про то не споёшь».*

Через полгода я женился и о своём намерении поехать в Москву учиться вспоминал с иронией.

\* \* \*

Мою повесть «Степной чай» издали 25-тысячным тиражом. И я даже получил гонорар. И хотя деньги были по сравнению с тем, что я тогда зарабатывал, совсем небольшими, гонорар, по моему разумению, свидетельствовал о чем-то очень серьёзном.

\* \* \*

Впервые я увидел Михаила Алексеева в ноябре 2000 года на X съезде писателей России. Он открывал съезд. Я так давно ждал встречи с автором «Карюхи» и «Вишневого омута».

Он оказался невысоким, негромким и лишенным всякой официозности человеком. Прихрамывающий. Это обстоятельство, несмотря на орденские планки и звезду Героя Социалистического Труда, ещё больше делало похожим его на моего отца Василия Федоровича Шадрина. Я-то знал, что неродной мой отец — Герой труда, как и десятки других моих безвестных односельчан, только не отмеченных наградами...

К тому времени я был уже членом Союза писателей России, получил за повесть «Под открытым небом» Всероссийскую премию, а чувствовал себя на съезде школьником.

Едва объявили перерыв, попытался приблизиться к Михаилу Алексееву. Мне это удалось, когда он направился по коридору на обед. Я подошёл. Назвав себя, сказал, что очень рад видеть автора «Карюхи».

Кто-то из сопровождавших его услужливо попытался, тесня меня, увлечь писателя вниз, в кафе. Я заторопился сказать самое важное. И заговорил о том, что и у меня в детстве была лошадь, только не Карюха, а Карий, слепой на левый глаз здоровенный мерин, что дед мой — конюх и все мои родственники и знакомые очень любят повесть. Выглядело, наверное, это забавно...

Михаил Николаевич доброжелательно, улыбаясь, слушал. Очевидно, уловил в моём косноязычии искренность и, что меня особенно тронуло, совсем по-свойски, как давно знакомому, сказал:

— А я ведь её написал всего за месяц...

Больше он ничего не успел сказать. Его увлекли в дверной проем все те же услужливые руки. Он пропал из виду.

Сказанная им короткая фраза покорила меня своей доверительностью.

Потом ещё несколько раз видел его. Мы говорили. Но на ходу. Он вел себя всё также просто.

Написав свою повесть «В плену светоносном», я попытался через Ямиля Мустафина, который навещался к Алексееву в Переделкино, передать её ему. Добрейший Ямиль Мустафьевич стал для меня особенно близким, после того, как поехал со мной на мою родину, перезнакомился с моими земляками, сходил в дом моего деда, в котором я родился и вырос. И всем понравился. Его теперь у нас многие помнят. Взяв книгу, он невольно развел руками: «Михаил Николаевич прибалывает крепко. Вряд ли сможет прочитать»...

\* \* \*

Роман «Ивушка неплакучая» я прочитал, когда уже закончил институт.

Теперь снова держу в руках заветный томик. Читаю аннотацию: «В романе «Ивушка неплакучая» Алексеев создает образы русских женщин, в дни и годы суровых испытаний не только не утративших свою душевную красоту, но проявивших всепобеждающую любовь и огромную внутреннюю силу».

Всё так! Всё, конечно, тогда так и было.

Но что стало с нами потом?

Где те женщины? Какие они теперь?

Не дает покоя голос моей землячки Татьяны, схожей по возрасту то ли с дочкой, то ли с внучкой алексеевских Фени Угрюмовой или Журавушки:

— Саша, что же это Богу-то не до нас? Либо так сильно нагрешили мы? Неужто наша доля такая? Устала я с Миколоаем.

— Совсем спился? — спрашиваю, глядя в землистое лицо собеседницы.

— Ладно что пьёт и не работает. Теперь стал из дома что ни попадя тащить и пропивать, — отвечает бесцветным голосом. Мне ещё двух дочерей замуж надо отдать. Пристроить как-то.

Дико было слышать это и видеть самого Николая. Два десятка лет назад был он одним из лучших механизаторов. В почёте был. «Разбабахали», как он говорит, местный совхоз. Растащи-

ли всё. Как большие рыбы скелеты белеют за селом обветшалые железобетонные конструкции коровников. Там когда работала Татьяна. Теперь без работы. Только огород. В прошлый мой приезд стен у коровника не было, но перекрытия оставались на месте. Теперь и плиты наполовину утащили.

Николай мог быть только при большом общем деле. Не стало такого дела, забыли про специалистов, и — потерялся человек. Не стало смысла жизни.

...Фрося Угрюмова, Журавушка — стоят непридуманно, живыми перед глазами. А моя землячка Татьяна, как с ней быть? Не одна она теперь такая... С пьющим беспробудно мужиком или без него, давно сгинувшем...

О русской женщине ещё в 1960 году, почуяв запредельную бездну, так сказал Наум Коржавин:

*...Столетия промчались. И снова,  
Как в тот незапамятный год —  
Коня на скаку остановит,  
В горящую избу войдет.  
Ей жить бы хотелось иначе,  
Носить драгоценный наряд...  
А кони все скачут и скачут,  
А избы горят и горят!*

...Когда-то Михаил Алексеев в своих повестях резко повернул от военной темы к деревенской. В последние десятилетия вновь вернулся к тяжким военным годам. Как ни трудны они были, но в них он увидел опору для духа. В них, а не в нашей теперешней «мирной жизни».

Города меняются.

Деревни исчезают на глазах. А люди?

Россиян становится почти на миллион в год меньше. А остальные?

Идёт угрожающее расслоение, а вместе с ним и некое дьявольское отсеивание. Как на больших, гигантских ситах просеиваются судьбы людей. Идёт отбор. И в результате его одни как бы остаются для жизни в будущей «демократической» России, другие будут не жить в ней, а существовать, на самом её дне: в нищете, труппах. Таковы реалии нынешней жизни.

Одни россияне среди апатии и безволия пытаются не опуститься на колени, не смириться с навязываемым порядком. Другие всё ещё где-то в уголках сознания таят веру и ждут, что государство вот-вот объявит всенародно главную цель, и всё встанет на свои места. Затаённость рождает бездействие. Третьи хорошо помнят, а вернее, сбились со счета, сколько раз власть надувала народ, и уже ни во что не верят.

Последних становится всё больше и больше.

\* \* \*

Сколько воды утекло и сколько дум передумал за перестройку один из миллионов ограбленных победителей Второй мировой войны, когда-то в начале 70-х вложивший в уста одного из персонажей романа «Ивушка неплакучая» Максима Пакленникова слова:

«Выдюжили! Скажи на милость... выдюжили! Да, да! ... Что бы вы там ни калякали насчёт нас, как бы ни каркали, а она у нас двужильная, Советская-то власть! Хрен возьмешь её голыми руками!...»

Это писал один из доблестных крестьянских сыновей. Вначале солдат, испытавший всю горечь отступления в 41-м и 42-м годах до Волги, потом победоносный ратник, который сражался и наступал от Сталинграда через Курское сражение, Прохоровку, Днепр и — до Праги и Вены. Победитель Великой войны.

Михаилу Алексею было суждено прожить долгую жизнь. И он заполнил её великим содержанием. Вначале защищая Родину, а потом создав более 40 художественных произведений. И среди них общеизвестные: «Солдаты», «Дивизионка», «Вишневый омут», «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая», «Карюха», «Драчуны», «Мой Сталинград». Крестьянский сын стал драгоценной частью нашего русского мира, выжившего благодаря таким людям, как его герои: хлебопашцы и воины. Благодаря таким, как он сам!

В чьих руках теперь окажется заветный мир. И каким ему суждено быть? Кто о нём скажет так, как он — последний сталинградец. С «очарованием привычных мелочей» в «деревенской прозе» и мужеством в цикле своих военных романов.

Неужто наступит время тех, у кого не дрогнет сердечко при виде такого:

«...Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спину, избегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое и кучерявилось ещё не совсем просохшей и темной шерсткой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками, из них размывчиво выпархивал парок».

Так сказано Михаилом Алексеевым в его повести о Карюхиной дочери — будущей рысачке Майке.

\* \* \*

Роман «Драчуны». Можно ли забыть голод в Поволжье. И можно ли допустить впредь такое! Саратовская и Самарская области рядом. Мой дед был опытным охотником и рыбаком. Тем и спасались. Да ещё нашёл он за селом в сугробе мерзлый труп лошади. Это было большой удачей. Собак и кошек в селе уже не было, съели...

\* \* \*

«В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе её народа, об её роли на земле...»

Эти слова принадлежат Максиму Горькому. Их привел Михаил Алексеев в одном из своих томов прозы перед автобиографией «Познай самого себя...»

...Не только писатели, наш народ сейчас хочет понять, что же будет с нами, со страной?

Но вот беда: влияет он на свою судьбу всё меньше. И поселяется равнодушие к смерти...

\* \* \*

Приехав из Москвы, попал я на читательскую конференцию, организованную областной библиотекой и нашим Самарским отделением Союза писателей.

Мне дали слово сказать о своём, только что вышедшем в Москве прозаическом цикле «Под открытым небом».

Начал я с того, что не стало Михаила Алексева. Сообщение оказалось неожиданностью. Никто об этом не знал. Так позаботились о том средства массовой информации. Весь зал, около трехсот человек, всколыхнулся, и все, как один человек, встали, застыв в скорбном молчании. Учителя, врачи, работники библиотеки — они-то и были частицей того великого народа, о котором и для которого писал Михаил Алексеев. Он был частью их.

Через неделю похожее случилось и в моём селе на встрече с земляками-читателями.

Уже на выходе из клуба, подошла ко мне пожилая женщина — бывшая школьная учительница и то ли пожаловалась, то ли поддержать захотела, сказала глухо:

— Мы уже привыкли, что втихую сиротеем. Ни в газетах, ни по телевизору... Молчок... И радио в селе давно не стало...

\* \* \*

19 января 2005 года в конференц-зале Союза писателей России в Москве на Комсомольском проспекте, 13, состоялось вручение премий Союза писателей России, журнала «Новая книга России» лауреатам 2004 года. Тогда в прозе лауреатами премии имени Эдуарда Володина были названы Михаил Алексеев за повесть «Через годы, через расстояния», Виктор Потанин за книгу «Доченька» и Дмитрий Неверов за книгу «Хроника флотского спецназа». Была отмечена премией в разделе «Детская книга» и моя повесть «Под старыми кленами».

Общаясь после торжественной части с Михаилом Алексеевым, в который раз невольно отметил для себя магнетическое влияние на окружающих автора любимой мной «Карюхи».

Чуть позже, вернувшись в Самару, сказал об этом старейшему самарскому писателю Михаилу Яковлевичу Толкачу. И открылось мне неожиданное.

Оказывается, Михаил Яковлевич учился вместе с Алексеевым на Высших литературных курсах в Литературном институте. На одном потоке. Точнее: как он мне пояснил, на 2-м потоке, который был образован в 1955 году. Первый поток — в 54-м.

И засверкала россыпь имен: Михаил Алексеев, Николай Доризо, Марк Соболев, Юрий Левитанский — все они со второго потока. Однокашники.

На потоке учились сорок человек двадцати двух национальностей. Проходили курс обучения киргизы, осетины, белорусы, украинцы, тувинцы, татары...

И среди них: Чингиз Айтматов, Николай Шундик, Семен Данилов, Заки Нури, Юсуп Хашпалаев, Павлюс Ширвис, Ион Друца, Наталья Капиева, Вадим Очеретин, Степан Чернобривец, Юрий Усыпченко. И моряк из Белоруссии Дмитрий Ковалев — первый из поэтов, кому я решился показать свои стихи.

Каждый слушатель курсов со своим опытом, со своими пристрастиями, национальными особенностями в характере и судьбе. И старостой на этом удивительном потоке был Михаил Алексеев. Он явился на первое собрание в форме подполковника. Когда директор курсов — Тамара Казимировна Трифонова, сестра Веры Кетлинской, автора романа «Мужество», которым ещё до Великой Отечественной войны зачитывалась молодежь, сказала, что на потоке должен быть староста, выбрали без колебаний его — Михаила Алексеева, бывшего политука, потом командира роты. Не удивительно, за его плечами были к тому времени боевые дороги через всю Украину, затем Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

Победный день Михаил Николаевич встретил в Чехословакии в качестве корреспондента армейской газеты «За Родину». В Вене, работая в газете «За честь Родины», написал свой первый роман «Солдаты». А в октябре 1952 года был переведен в Москву на должность редактора редакции художественной литературы Военного издательства.

Спрашиваю Михаила Толкача:

— Каким он был тогда, на учебе в Литературном институте?

— Тянулись к нему. Как магнит для большинства из нас. Простой. Много помогал начинающим.

— А потом, — спрашиваю, — после окончания учебы? Общались?

— Бывал у него в двухкомнатной квартире на Смоленской набережной. Жену Галину Андреевну запомнил приветливой хозяйкой. А хозяин дома любил украинские песни. Не забуду, как он пел «Распрягайте, хлопцы, коней», «Очи дивочи».

Я слушал и невольно отмечал: «Вот ещё одна притягательная черточка характера большого русского человека». Напом-



нил, что Алексеевых в селе Монастырском звали хохлами, читал об этом.

Услышал в ответ:

— Кажется, бабушка его была украинкой...

Из рассказов Толкача узнал, что жили литбурсаки, как они себя называли, в Переделкино, в восьмиквартирном двухэтажном доме. Отсюда их на автобусе Литфонда СССР возили на занятия в институт. Часто с ними в одном автобусе оказывался и Александр Фадеев. Он жил в Переделкино в дачном доме до самой своей смерти. Потом в книге воспоминаний «В одном строю» Михаил Толкач напишет об этом скорбном воскресном дне, 13 мая.

Из его разговора в тот день с садовником Фадеева в Переделкино:

«Утром Лександрыч позвал меня к себе. Сидим на лавочке, калякаем. Должно, с час обговаривали план на неделю. Что и где высадить. Какие цветы на какой клумбе. Какие деревца выкорчевать... Жёнка его, Ангелина Степановна, в отъезде. Сын в своей комнате зубрил за девятый класс. Лександрыч наказал:

— До обеда меня не тревожьте. Буду наверху.

После двух стучимся — молчок. Открываем дверь — лежит на постели. Подушка на груди. Из-под неё — красная полоска, на светлой рубахе. Видать стрелял под подушкой».

И далее уже о прощании с покойным классиком в Колонном зале Дома союзов на Пушкинской улице столицы:

«К полудню слушателей Высших литературных курсов сгруппировали и распределили среди них венки. Мне с Юрием Усыченко (прозаик-фронтовик из Одессы) достался венок от ЦК ВКП(б). Большой, из красных роз.

Гроб пронесли на руках до гостиницы «Гранд-отель». Затем траурная процессия направилась в сторону Ново-Девичьего монастыря.

...Гражданская панихида. Скорбные слова ораторов...

...Вдруг на ветку сиреневого куста опустилась пичужка, как мне показалось, овсянка.

Зацвенькала, вертя головкой, присматриваясь к людям у могилы. Это было так неуместно и поразительно символично, что очередной выступающий запнулся и умолк...

У многих слезы. Всхлипы рыдающих...»

Так прощались с членом ЦК партии, депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР, секретарем правления Союза писателей, вице-президентом Всемирного Совета Мира...

...И Александром Бульгой — комиссаром дальневосточной Сучанской партизанской бригады, родившимся на Волге, в селении Кимры Тверской губернии в семье вышедшего из крестьян в сельские учителя отца и матери-фельдшерицы.

Как много вместила в себя жизнь Михаила Яковлевича Толкача.

«Бурятский хохол», как его звали в Литературном институте, двадцать пять лет проработал в Бурятии. Электрик. Партийный работник, инструктор обкома, собкор газеты «Гудок» и с 1963 по 1978 год — ответственный секретарь писательской организации Куйбышевской области.

Для него характерно постоянное пристальное внимание к человеку, пишущему, читающему... Не назидательное, не поучающее — товарищеское. Это, наверное, отсюда вынесено: из того времени и общения, когда он был «литбурсаком». Из того товарищества.

Это он первый сказал мне, что я заслуживаю быть членом Союза писателей. И написал рекомендацию.

\* \* \*

Помню в студенческие годы, когда я отправлялся в своё село, говорил однокашникам: «Еду в свою столицу».

Тогда в пригороде Самары (бывший Куйбышев), название которому по-волжски крепко и глыбасто — Кряж, висела табличка-указатель и на ней крупно, почти одинаковыми буквами начертанное, красовалось: «Москва» и «Утёвка». Домой всегда я ехал по трассе на Москву, но сворачивал вскоре направо, где в восьмидесяти километрах от областного центра и было моё село.

Это соседство на одной табличке двух моих столиц: «Москва» и «Утёвка» всегда согревало душу. В любое ненастье!

В Москве я оказался только лишь в двадцать четыре года, когда получил первые в своей жизни отпускные. Тогда я уехал, никому об этом не сказав, молчаливо уклонившись от важнейшего дела, определявшего так много в отцовском доме — тяжёлого, но столь необходимого лесного сенокоса и заготовки дров на зиму.

Уехал не Москву смотреть, а в придуманное мною моё первое путешествие по маршруту, который сам себе определил: Рязань — Тула — Владимир, а точнее: к Есенину в Константиново, к Толстому в Ясную Поляну и к Солоухину в Алепино. Москва была в конце моего путешествия.

Об этой своей поездке как-нибудь в другой раз...

...Прошли годы. С той поры я побывал в 18 странах мира. Много видел столиц. Но эти две!..

Кружа по столицам мира, пришел к такой простой теперь для себя истине: надо много поездить, многое посмотреть! Но вернуться! И жить там, где родился. Где произошло таинство твоего появления на свет. Там истоки жизненной силы. Это я твердо себе усвоил.

Но есть одна червоточина в сознании.

Села Утёвки — столицы моей — как бы уже и нет? Моя Утёвка — теперь поселение. И дед мой, и бабка, и отец с матерью, и брат, и моя родня, к чьим могилкам на въезде в село я каждый раз при возвращении прихожу — враз стали поселенцами? Выходит, и я поселенец?

Да, когда-то наши прародители пришли сюда на берега Самары и осели. И зажили основательно. И живут уже около двух с половиной веков.

В 1810 году была построена первая Дмитриевская каменная церковь. И жителей тогда в Утёвке было более пяти тысяч. А в конце девятнадцатого века возвели вторую церковь. И ведь, кажется, всем известно, что обустроенное крестьянами место, в котором стоит церковь, и есть — село. Для чего же огород городить? С поселенцами-то? И кого это из нас, моих родственников, послали сюда на поселение по приговору суда? Не было такого!

«Поселеньем зовут место, заселённое ссылочными, а посёлённый — ссылочный, ссыльный» — это из словаря Даля.

...Мне, наивному, казалось всегда, что наши утёвские предки добровольно, по велению сердечному выбрали красивейшее место на линии встречи леса и бескрайней степи, и покоренные красотой вольной, пустили свои корни в раздольной лесостепной сторонушке...

Пусть даже они и были поселенцами в этих местах, но мы-то через два с половиной столетия, может, всё-таки сельчане? Нет, тут что-то не так! Не сходятся жизнь и закон РФ «Об общих

принципах организации законодательных (представительных и исполнительных) органов государственной власти субъектов РФ».

Вот уж, действительно, как у Даля: «В городе рубят, по деревне щепки летят».

Но ведь и городам досталось. Сколько их попало в разряд городских поселений.

Сколько теперь стало как бы и не коренных жителей, а сельских и городских поселенцев.

Ладно, села Утёвки, моей столицы, затерявшейся в заволжских степях, как бы не стало.

Но Москва-то есть?!

О, да — мегаполис!

Но, став гигантским городом, она в своей нынешней мощи стала другой.

Указателя на перекрёстке том в направлении Утёвки нет. Давно нет. И указатель на Москву исчез. Не до поселений сейчас главной столице? Неужто она теперь сама по себе, а мы сами по себе? Без указателей будем жить?!

Вроде бы нет боязни путнику сбиться с направления. Но не ровен час, в ненастье-то, в непогоду?.. Или уже хуже того, что есть, не будет?

И никаких целей у нас теперь нет? Указывать и вести некому и некуда? Раньше государство вело за собой. А теперь?

...И споткнулся на мысли: а что, село Константиново теперь тоже поселение? Тимониha? Овсянка? Ширяево? Алепино? Монастырское, в котором родился и вырос Михаил Алексеев? Всё это — поселения? И их великие питомцы? Есенин — поселенец? Снова посмотрел у Даля: «...Поселенцы поселяются вдоль речек, покидая позади себя безводные степи. Поселенец — что младенец, что видит, то и тацит».

Из моего села и из сёл моего района (читай теперь поселений?) вышли дипломаты, доктора наук, художники, Герои Труда и Советского Союза... Я их всех помню и могу назвать при необходимости поимённо. Давно хочу написать о них повесть. Они — гордость моих односельчан. И так по всей России.

...Сельчане сейчас в одиночку, соборно, как могут — сопротивляются.

Восстановлены в Утёвке храм и колокольня. Народ потянулся к вере. В только что недавно вышедшей книге «Главное русло судьбы» житель Утёвки Владимир Петрушин написал непростую историю своего района и, конечно, Утёвки.

Что значит его книга?

Чем она окажется через годы?

Неужто реквием?

Но уже не по крестьянскому укладу жизни, крушение которого идёт более 70 лет и которое так чувствовал Михаил Алексеев, а по самой нашей жизни? Не может того быть!

\* \* \*

Когда мы в Переделкино выносили из храма после отпевания гроб с телом Михаила Николаевича, Сергей Николаевич Котькало обратился ко мне, протянув руку:

— Подержите пока...

— Что это? — не сразу понял я.

Он не ответил. В следующий момент стало ясно. В моей руке были винты от гробовой крышки. Я не был готов к такому. Это и определило моё состояние на похоронах. Вмиг воспринял все как знак. И какой?!

Сердце билось учащённо.

Винты жгли мне руку.

Будто все мы, присутствующие, оказались сейчас, в эти скорбные минуты, на пороге прощания со всем нашим крестьянством. Не знающим, не ведающим о кончине своего, может быть, последнего, неповторимого, искреннего певца.

В голове рефреном стучало:

*«Не ища с завидным постоянством,  
Кто отсталый, кто передовик.  
Я бы в честь советского крестьянства  
Персональный памятник воздвиг!»*

Эти строчки Михаил Николаевич привел в своём очерке «Крестьянка» в далеком ещё 1973 году.

\* \* \*

...Хочется вернуться в Переделкино. К могиле с деревянным крестом чуть сбочь от дороги, где течет речушка Сетунь.

Побывать там ещё.

О чем зажатая со всех сторон теперешней потускневшей жизнью тихо сетует эта речка?

Она слышала такие голоса и видела такие лица...

### **В мастерской...**

Часто вспоминаю отцовскую мастерскую. Она была во дворе под развесистыми карагачами. В жаркий летний денёк под деревьями вожделенный тенёчек, а под позеленевшей шиферной крышей мастерской тем более: благодать!

Чего только не было в ней: и хомуты, и оглобли, и столярка, и детали мотоцикла, велосипедов...

На верстаке — то кучерявые золотистые стружки, то металлические опилки...

Помню, мама однажды вошла к нам и стала что-то забавное, как это она умела, рассказывать про соседку тетю Маню Сисямкину. Было смешно. Отец тогда сказал:

— Наша Манька любого в косые лапти обует!

Я так и подпрыгнул на пороге. Точнее и живописнее сказать и нельзя было. Конечно, мой мальчишеский ум тогда не был обременён тем, что я пережил, передумал, много позже, когда начал писать...

Лет через тридцать пять я припомнил эти слова отца и вставил в свою повесть. И так они хорошо подошли. Как там и были!

Я вспомнил об этом, думая о нашем русском языке. О том, как писать русскому писателю.

Ярко, красиво, сочно написанное восхитит. Но удержит на трех, пяти страницах. А далее? Далее без своеобычной пластики, музыки текста — скучно. Без развития мысли мне неинтересно.

Помню, как я ещё в детстве был поражен, прочитав рассказ Толстого «После бала».

Недавно, через пятьдесят лет, вновь прочел. И был очарован.

Но ведь в нём нет никакого изящества стиля. Чаще всего повествование на грани косноязычия. Эти бесконечные повторы: «Я», «ОН»...

Но бьется сама живая мысль. Если можно так говорить: сплав философии мысли и чувства.

Другая крайность: недавно через плечо внука заглянул в книжку, которую он читал. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». И был удивлен тяжеловесностью слога. Конечно, многое зависит и от перевода, но думаю, здесь не тот случай. Пересказ, как указано в книжке, сделан Корнеем Чуковским. Мне скажут: это детская литература, у неё другие законы. Но родом-то мы все из детства. Давно сказано.

И уже более двухсот лет наши прадеды, деды и внуки читают взахлеб, эту удивительную историю о человеке неистощимой энергии, человеке дела...

Нельзя говорить цветисто постоянно, мне так кажется.

И мой отец скажет бывало так один раз и... до следующего случая. Выдаст, но через день, неделю... Не зря же говорливому своему родственнику Михаилу, у которого одна была профессия: «поди принеси», отец мой, когда тот чересчур раздухается, не раз говорил:

— Минь! Остынь! Дело скажи, хватит балаболить!

Русский мужик всегда любил живописную и красивую речь. Но по сути ему в конце-то нужно было настоящее: деловое, дельное.

Теперь мы знаем, до чего доводит пустая говорильня, пусть и кучерявая...

И в рассказе, повести мы чаще всего ищем вот это: настоящее, дельное. Язык писателя — это его стихия, судьба и его инструмент, средство. И умный читатель берёт из книги не ряженых, не сюжет, он берёт в первую очередь душу писателя.

Сейчас, после длительного стирания граней между городом и деревней, когда семьдесят процентов — городские, тридцать — сельские, после поголовной обработки в средней школе, все говорят, увы, на усредненном языке. Язык идёт своим путем развития. И это его развитие связано с бытом, с психологией человека.

Не стало определенного уклада — исчезли слова, его обозначающего. Время и изменения уклада вымывают добротный русский язык. Это печально.

Мало остается от исконно русского в стихии народной жизни, оттого и язык скудеет. И в городах особенно сильно.

На своём опыте знаю. Надо было мне в повести описать, как мы с отцом делали упряжь для нашей коровенки. Нужда была на чем-то сено возить, хоть помаленьку. И никак я не

смог вспомнить, что же мы соорудили ей вместо хомута. Точно помню, его не было, но что же тогда вместо него?

Поехал в своё село. Никто из теперешних жителей уже не знает. Лошадь редко увидишь в хозяйстве, а тут коровья упряжка. Многим невдомёк было, о чем это я? И только одна древняя старушка просветила:

— Шура, да как же это ты мог забыть-то? Дед твой кем был?

Я начал перечислять:

— Конюхом, рыбаком, плотником, скорняком...

— Ну, ну, дальше-то!

Я продолжил:

— Бондарем, шорником...

— Вот! Как же это ты не помнишь?.. Шорником! Хомуты делал, седёлки. Шорки для коров делал, вот потому и шорник.

Я могу привести десятки слов, которые молодые сельчане мои и не слышали ни разу.

Логунок, слега, чекушка, окосиво, бастриг...

Сколько их, таких слов, без которых в моём, ещё казалось, недавнем детстве, нельзя было просто обойтись в сельском быте.

Но быт теперёй иной...

Остаются те слова, которые обозначают нечто корневое. Коровы — она навсегда останется коровой. По-другому вряд ли когда назовут. Надеюсь, то же будет и со словом «молоко».

Одна моя давняя знакомая — бывшая учительница, теперь уже старуха, сохранила эту удивительную способность: говорить живописно. Про разуверившегося во всем, ставшим квёлым, безвольным персонаже Суслове, когда говорили о моём двухтомнике прозы, она сказала:

— Он у тебя к концу книжки стал, как снятое молоко.

Я пожалел, что, когда писал повесть, не вспомнил это выражение. Такого в кабинете не придумаешь. Пообещал ей вставить её слова при переиздании книжки.

Это старуха так сказала. Но молодые уже подобным образом не говорят. У молодежи нет такой умелости.

Похоже, интерес к такой речи останется, но... Яркий образный язык — неужто он станет достоянием только этнографических музеев и лингвистических сборников.

Язык не будет играть своей роли? Только содержание?

Сколько же тогда красок исчезнет в этом мире!



## Утёвский почтмейстер

Прошло так много лет, а я все помню те давние свои переживания.

...Я пришёл к своему однокласснику Витьке, когда он пил чай. Мне сразу бросила в глаза на обеденном столе небольшая книжка «Детство Никиты».

— Садись, — пригласил приятель, — попьём и пойдём на стадион. Бери сушку, дядька из города привёз.

Сев за стол, на лавку, я тронул книжку. Она раскрылась почти на последних страницах. Вверху было заглавие: «Письмецо».

Я начал читать и был сражен наповал первыми же тремя строчками. В них говорилось про наше с Витькой село Утёвку.

На печке пыхла квашня с опарой. В полутёмной передней вторила ей на высокой кровати с кружевным подзором полная, сомлевшая от духоты мать Витьки. А я читал в третий раз, не веря глазам, одну и ту же страницу:

«Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошёл в почтовое отделение в селе Утёвке на базарной площади. За открытой загородкой сидел включенный с опухшим лицом почтмейстер и жег на свече сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера того звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтёт, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

Я с изумлением посмотрел на Витьку. Точь-в-точь так, осерчав, кричал спившийся наш Ванька, по-уличному Никудышкин, живший в конце Заколюковки.

Когда мы отправились на стадион, я захватил удивительную книжку с собой. Мой друг не возражал. Лежа на травке под клемами, я начал запойно читать дальше. Было не до футбола.

Я был переполнен своим открытием. Писатель Толстой рассказывал о нашем селе, о нашем чуде почтмейстере. Пускай не Лев Толстой, а Алексей, о котором я до этого ничего не слышал. Но все равно: писатель Толстой. Наша жизнь в книжке!

Глава «Письмецо» была маленькая, я начал читать книжку сначала, выискивая глазами, где же ещё про Утёвку.

Я не понимал, почему Витька не ликует, как я? Почему ему не до чтения. Он стоял на воротах, забыв и про меня, и про книжку.

Наша команда сражалась с тягаловскими (была такая улица). Ну и что? Есть другой Витька-Чугунок, он не хуже вратарь! Стоит сейчас каланчой рядом у ворот?

С неделю я ходил под впечатлением от прочитанного. Все в книжке было так живописно и ярко! Но почтмейстер Иван Иванович Ландышев не выходил из головы. Он заслонил всех.

«Надо же, какой был человек! — думал я. — Такой, что даже Толстой его отметил как-то особенно, необыкновенно! А что частенько почтмейстер запивал, так кто у нас этого не видел в селе? Не удивишь этим. А вот как он, Ландышев, своей волосатой рукой лихо умел стукнуть печатью!»

Мне казалось, что я даже видел череп отправителя письма, по которому он вполне мог стукнуть печатью. Череп был большой такой и желтый...

Немного смущала меня фамилия: Ландышев. Были у нас Ореншкины, Осинкины, а вот такой не было.

«Изменил фамилию писатель или нет? — гадал я. — Наверное, изменил, чтобы начальство почтмейстера не тронуло. Он его пожалел... А может, все Ландышевы уехали из села. Времени-то прошло! Ещё до революции это было. А вдруг, — спохватился я, — он ещё про кого-нибудь из наших написал. Жил-то недалеко от Пестравки где-то. Надо в библиотеке его книги спросить».

Так много было в этой книжке близкого. Взять хотя бы скамейку, которую делал Никите плотник Пахом. У нас она называлась масляной. Мастерил мне её мой дед. Катались мы на ней с горы, которую поливали водой в мороз. По льду можно кататься дальше и быстрее.

А игра в чижик, чушки, орлянку? В Лаптаевом переулке на поляне каждая весна начиналась с этого. Чижики и куча чушек из нас в погребице всегда зимовали за ларем с отрубями. Дожидались своего часа. Может, Никита приезжал к нам не один раз? Не только за письмами?..

Охладил меня наш учитель литературы:

— Это книжка не про нашу Утёвку. Ещё есть одна, под Пестравкой.

Видя, что я слушаю с недоверием, пояснил:

— Подумай, голова садовая, они на телегах возили в Пестравку яблоки на продажу. Значит, заезжали и на почту в тамошнюю Утёвку. Она ближе, чем наша. Посмотри на карте, убедишься. И Ландышев — литературный персонаж, не настоящий.

Я посмотрел карту. И нашел село Утёвку, недалеко от Пестравки. Все было верно: не резон в нашу даль тащиться на почту. Не наша Утёвка в книжке.

Горевал я сильно, придя к такому выводу. И не сразу точно скажешь, от чего горевал. А потом захотелось посмотреть на эту, вторую Утёвку. Интересно было узнать, живет ли там кто с фамилией Ландышевы?..

Раньше я такой фамилии не слышал.

«Может, фамилия и вымышленная. Но не сам почтмейстер», — не соглашался я с учителем.

То, что почтмейстер мог быть придуман, никак не укладывалось в моей упрямой голове. Он такой свой и такой живой смотрел на меня из удивительной книжки про Никиту...

## **На линии противостояния**

Этот разговор между издателем цикла моих повестей «Под открытым небом» Николаем Ивановичем Дорошенко и мной состоялся перед самым выходом двухтомника. И до того, и после я продолжал неотвязно думать о написанном.

Мне показалось, что наш диалог в какой-то мере продолжает те размышления, которые возникают на моём пути, обозначенном мной как «Колки мои и перелесья». Поэтому я его и привожу здесь.

— Александр Станиславович, у критиков сложилось о вас, как о прозаике, мнение, что вы следуете шолоховской тради-

ции. Характеры и судьбы всех ваших героев помимо достоверности чисто художественной имеют ещё и историческую достоверность. По большому счету вас, как художника, привлекает, в основном, то, что вы пережили лично. Поэтому, наверное, главным героем многих ваших повествований, написанных как самостоятельные произведения и имеющих собственные художественные параметры, является ваш ровесник Ковальский. И, соответственно, каждый период его жизни — от деревенского детства до руководства крупнейшим наукоемким предприятием — это одна из живых страниц истории нашей страны.

Вы согласны с таким о вас впечатлением?

— Я высоко ценю гениальный роман Шолохова «Тихий Дон» именно за его художественные качества, за правду жизни.

Но я не задавался целью следовать чьей-то уже пройденной дорогой. Понимаю, что в искусстве это рискованное дело.

И потом, жизнь всё-таки шире и огромное каких-либо традиций, в том числе, и литературных. Жизнь, свидетелем и участником которой был с малолетнего возраста и до солидных лет, я и попробовал отобразить художественными средствами.

Что получилось, судить читателю.

В повествовании много из пережитого лично. Но это не значит, что Ковальский — это я. Я попытался написать художественную вещь с необходимыми и присущими ей обобщениями и конкретикой, поэтому после публикации отдельных книг, как самостоятельных, многие читатели узнавали в Ковальском себя или часть себя, часть своей жизни.

Меня это только радует, Ковальский мне дорог, как часть меня, моей жизни, моего времени, моей страны...

В этом я согласен с Вами.

— Вся послевоенная пора была весьма разносторонне исследована русской литературой. И сельский паренек, отправляющийся в большой мир науки и индустрии с деревянным чемоданчиком, это, в общем-то, хорошо знакомый нам даже по кинематографу образ. Что заставило вас взяться записание собственной картины жизни России во второй половине XX века? Что, на ваш взгляд, нового вы рассказали о судьбе своего поколения?

— Вы, Николай Иванович, говорите о послевоенной поре. А как мы жили в последние десятилетия XX века? Достаточно-

но ли об этом сказано? Мы в середине века шагали под торжественные звуки гимна нашей страны и совершили многое. Были беды и назревающие проблемы, о них чуть позже.

А потом? Потом оказались в стране, которая не имела уже ни своего гимна, ни своего герба. В другой стране оказались. Началась иная жизнь. На наших глазах произошло крушение великой державы. Ковальский оказался, как и я, свидетелем и активным участником этих, таких разных жизней. Эти события стали частью нашей общей биографии.

Детство его пришлось на те годы, когда жизнь восстанавливалась после войны. От самых западных границ до моей Волги сметено войной было полстраны. И городам досталось, и деревням.

Конечно, основная тяжесть лежала на бабах. И выстояли ведь! Не пропали! На бабьих плечах возрождались деревня.

А потом: укрупнение сел. И начали исчезать деревни с лица земли.

Затем: пьянство, потакаемое государством.

Сколько нас шагнуло с чемоданчиками в город, оторвавшись от земли... Горожан стало 70%, а селян — 30%, и страна стала иной, нежели она была в послевоенные годы. Со своими достижениями и назревающими бедами.

А потом, когда мои ровесники, вертикально поднявшись было вверх, став летчиками, моряками, заводчанами, учеными, активно прожили всего-то около 25-30 лет и вынуждены были совершить вынужденную резкую посадку. И часть их оказалась не у дел. Вернулись в саманные разрушенные избы. Ковальский до поры удержался в полете, но какой ценой? И надолго ли?

Жизнь таких людей, мне казалось, должна была заговорить сама на страницах художественной литературы. Их миллионы таких, наших сограждан...

Ковальский со своим «чемоданчиком» прошагал в трагическое время свой путь достойно.

Трагедии человеческих судеб в обновляющейся России составляют на многое смотреть теперь по-иному.

Вот вопиющие факты: по данным управления Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков по Самарской области, за последний год «из незаконного оборота изъято 194 кг наркотиков. Из них 48 кг героина, свыше 48 кг опия, около 1 кг синтетических наркотиков и порядка 100 кг нар-

котиков растительного происхождения». Медики продолжают печальную статистику: в губернии зарегистрировано около 30 тысяч наркоманов, но реально эта цифра как минимум втрое выше и в основном это молодежь. Социологи пугают исследованиями: один наркозависимый приобщает к пагубному пороку 10-15 человек. Вывод взрослых: скоро все молодое поколение окажется на игле.

Что тут комментировать?

Взрослое население уселось на нефтегазовую иглу, молодежь — на свою: наркоту.

Чем теперь живет и о чем думает тот парнишка 60-х годов, владелец драгоценного для него деревянного чемоданчика, с которым многое ушло в прошлое?

Разве нам безразлична судьба одного из нас?

— Не появилось ли у вас ощущение, что для нашего времени свойственно мифологизированное представление как о прошлом, так и о будущем?

— Если говорить о литературе, то я не добавлю здесь ничего нового. Она всегда, вплоть до XIX века, была мифом.

Реализм молод в литературе.

Может быть, наступает такое время, и мифология уступает факту? А факт — действительно, вещь порой фантастическая.

Ещё грандиознее он становится, когда является к читателю художественно оживлённым! Тогда рождается истинное искусство.

Магия реальности и мифологическое ощущение грядущей жизни — может, в этом будущее нашей подуставшей нынешней литературы, сторонящейся больших и содержательных форм. Без большого содержательного романа я не мыслю литературу. Кто будет жить во второй половине XXI века, возможно, ответит на этот вопрос более определённно.

— Насколько цельным вам, автору, кажется созданное вами художественное полотно?

— Я поставил точку, почувствовав, что больше на сегодня ни к содержанию, ни к форме что-либо существенного добавить вряд ли смогу. А может, оттого, что «засиделся» над текстами.

Давно не терпится попробовать написать пьесу (есть наброски), сказки. Внуку пообещал написать вторую детскую книж-

ку, набрал сюжетов на книжку о цирке. Кто знает, придёт время, возможно, Ковальский вновь позовёт к себе. Если не он, то другой его сверстник... Ни в одной вещи ещё не удалось мне выразить до конца то, что хотел... Я, кажется, себя переоценил. Надежда на следующую книгу... Сейчас так важно и для писателя, и для читателя сохранить искренность и сострадание. Сердечность уходит из нашей жизни...

Верю, что непременно родится на русской земле истинный её художник, который сумеет выразить всю глубину трагизма, произошедшего в XX веке с нашей страной. Сказать всю «неподъёмную правду».

Явится русский национальный писатель, для которого важнее всего художественно закрепить национальный дух своего народа. Сохранить его душу.

— Насколько предсказуемыми оказались у вас трагические события развала страны, нынешней нашей экономической и духовной деградации?

— Вернитесь к тексту главы «Черный ящик». Она написана в 1994 году, т.е. двенадцать лет назад. В 1995 году она была опубликована отдельной книгой. В ней есть многое из того, что с нами потом свершилось. Говорю это с огромной горечью. «Черный ящик» и был написан, как часть будущей большой вещи, но по свежим следам.

Я начал писать то, что вошло в двухтомник, а точнее, роман «Противостояние», ещё в 1987 году, будучи на учебе в Ленинградском технологическом институте, в общежитии. И продолжил в начале 1991-го, остро чувствуя, что в обстановке неприятия народом Горбачева и разброда в стране, многократно усиленном оппозицией Ельцина, народ сбит с толку, и это дорого нам обойдется.

Я полагал, что напишу только «Противостояние», но, почувствовав необходимость вернуться к истокам судьбы главного героя, дописал ещё три вещи о его детстве, юности и становлении как специалиста.

О нас, русских, у нас и за границей написано напраслины столько, глупостей столько наговорено... Захотелось сказать о нас самому. Молод был, оттого и решителен...

Так получилось это некое «пятикнижие» о моих ровесниках. И не только о них.

— Случайным ли является то, что Ковальский, которого многие из его друзей и подавляющее большинство окружающих людей (например, рабочие возглавляемого им предприятия) продолжают уважать и даже любить, тем не менее как фигура историческая оказывается в одиночестве? Какой смысл вы вкладываете в это историческое одиночество? Или вы верите в непобедимое значение «последнего праведника»?

— Мы живем в стремительном времени. Вокруг многое и многие перерождаются. И часто за такое перерождение стыдно.

Ковальский способен меняться, но не настолько, чтобы терять извечные человеческие ценности. Что-то его удерживает. И в этом, с позиции нашего циничного времени, он уязвим. Он не «последний праведник», он ценит в себе то, что оберегал всегда, ценил как плод усилий родителей своих и своих собственных. Он работал над собой. Таким, каким он стал, совсем ещё недавно он был крепко востребован обществом, которое по-своему заботилось о нем, о его родителях, сверстниках. Но куда все подевалось? Много изменилось. Он не готов изменить себе. Таких Ковальских было много у нас. Не зря однажды он обронил, говоря о родителях: «Они бы не одобрили». Это было сказано, когда ему уже за 50 лет.

Он не праведник. Ковальский сильный, деятельный человек там, где он привык действовать. И он... слабое существо, попавшее в капкан трагического времени.

Наше время так стремительно сжимается, так быстро меняются устои общества, что нормальный человек не успевает за ним. Он тормозится своим внутренним ритмом развития. И в этом беда наша и конкретно Ковальского.

Ковальский с достоинством принимает неизбежное. В том числе и некое одиночество. Хотя для него это не просто. Человеческое достоинство постоянно под прицелом. Но оно помогает Ковальскому находить силы и противостоять невзгодам и в дореформенной России, и после.

Как появляются такие люди? И об этом моё повествование.

Ковальский дорог мне тем, что он, кажется, бесповоротно давно понял (в отличие от Владимира Сулова): бесконечные блуждания, поиск и жажда перемен, так характерные для русской интеллигенции, должны уступить место отстаиванию, сохранению тех ценностей, которые уже найдены, ко-



торые хранили наши предки. Как он говорит: «надо делать конкретное дело».

Я не писал историю одной жизни, как это вынесено в подзаголовок двухтомника, а попытался дать возможность самой жизни рассказать о себе. Может быть, это удалось в самой большой главе «Черный ящик», где Ковальский решился писать о себе сам. Ковальский человек творческий. С жизненным творчеством рядом часто шагает страдание и можно потерять веру в себя. Ковальскому удастся выстоять в этом противостоянии. В этой части противостояния он одинок, а по-другому и не может быть у творческой личности.

Последняя книга, пятая, так и называется «Противостояние». Но там столько ещё стихий, готовых сбить с ног... Так что жизнь Ковальского нелегка. А кто сказал, что сохранение достоинства дается легко?

Научно-технический прогресс, над которым часто размышляет Ковальский и который увлек его из села, так стремительно развивается, что человек не успевает перестраивать своё сознание под изменившиеся обстоятельства. То же и в общественной жизни, в переустройстве общества.

Не один Ковальский, по большому счету, оказывается неписанным в систему ценностей либерального толка. И слава богу! Ибо эта самая система — явный симптом кризиса нынешней западной цивилизации. Для русского она, как дурмантрава. Потому это одиночество Ковальского временное. Сам он пока всего чётко не осознает. У него, кажется, это больше заложено на иррациональном уровне.

Есть более глубокое одиночество. В историческом плане технический прогресс так повлиял на окружающий мир в планетарном масштабе, так его изменил и сделал таким хрупким, уязвимым, что природа потеряла способность самовосстанавливаться. И речь уже идёт не о толерантности в отношениях «человек — природа», а о спасении природы. Но где это есть? И когда это будет? Человек, как это ни парадоксально, стал в условиях технического нашего прогресса более близок к гибели. При шести с половиной миллиардном населении планеты каждый человек стал более одинок перед лицом катастрофы, теперь природа ему уже не помощник, она сама гибнет. Человек остается в одиночестве со своим столь агрессивным раз-

умом. Спасет ли он его? Человеческий разум оказался бесконтролен...

Ковальский остро это понимает и, кажется, переживая, взял на себя, на свою совесть часть нашей общей вины. Трагедия нашего времени и в том, что международный терроризм и внутренние нескончаемые реформы, нестабильность режимов во многих странах не дают возможности заниматься сохранением среды обитания, обустройством нашего общего дома — планеты Земля. Либо мы объединимся все и спасемся, либо погибнем все разом. Это не миф о нашем будущем, но жестокая реальность.

— Не кажется ли вам, что ваш дед Проняй похож на шолоховского деда Щукаря?

— Не кажется. Был такой у нас дед. Я его не придумал, как и Мазилина, и многих других.

Меня уже окликали однажды подобным образом, не в литературе: в жизни. На базарной площади один из приезжих городских позвал:

— Эй, казачок, подойди поближе!

Я не сразу сообразил, что зовут меня. Оказывается, его заинтересовала кубанка на моей голове. Дед выдeldывал овчины, вот и сшил её мне. С красным верхом. У нас и нарядная бекеша была. Когда дед её надевал, я замирал от восторга.

Был и огромный тулуп, который дед, когда зимой отправлялся в степь, обязательно надевал поверх бекеша или шубняка. Но с тулупом случилась одна загвоздка. Я не мог до конца понять тогда, в 12 лет, кто больше прав, Пушкин или мой дед?

Я жил с дедом на бахчах, которые он сторожил. Мама привезла мне из библиотеки «Капитанскую дочку» Пушкина. Начав читать, я тут же споткнулся о некоторое, по моим понятиям, несоответствие. В книжке Петю Гринева, когда провожали в Оренбург на службу, одели в заячий тулуп, а потом сверху — в лисью шубу. У моего деда был тулуп. Огромный, из овчин. Тулуп всегда у нас надевали поверх шубняка либо чего ещё. А в книжке было по-другому: на тулуп надевали шубу.

Там, на бахче, я прочитал деду несколько строк из книжки, те, что касались тулупа. Он тоже подтвердил, что так не бывает. «Тулуп — он и есть тулуп, хотя там, в книжке, баре, у них может быть по-другому», — рассуждал он вслух. Но я-то верил: дед всегда знал, что и как надо делать.

Таким был наш быт. В книжке порой своя правда, в жизни — своя. Это засело мне в голову ещё с детства.

...Дед Щукарь был принят оттого, что он был похож на нашенских...

А что мне делать с Миней Горбачевым — моим дальним сельским родственником, жившим на одной улице, напротив нашего дома? Непотопляемый мужичок. Проняй его не любил, а я Миню в книжку «вставил».

— Читал вашу вещь в рукописи и постоянно чувствовал боль автора за судьбу своих героев. Вы уверены, что выстоим, выживем?

— Да, мне трудно было остаться «за кадром». И стоило ли? Жил вместе с теми, о ком писал. Россияне умирают в год по миллиону. За годы перестройки, за пятнадцать лет — около пятнадцати миллионов жизней ушло...

Но выживем! Есть, увы, у нас такой национальный опыт...

— Ваш Ковальский часто приезжает в родные края, где никого уж нет из родных. Что главного в этом?

— «И познаем мы свой край и Родину свою настолько, насколько любим», — так гласит мудрость. И себя понимаем яснее там, где произошло таинство нашего появления на свет — на Отчине. Там сила, которая питает нас. Ковальскому это дано чувствовать.

— Что вы можете сказать о руководителях, специалистах прежней закалки?

— Таких и сейчас немало.

Прежние руководители? Они были державниками! Другими не могли быть. Это благодаря им моему поколению удалось пожить без войн, получить образование, достойно потрудиться. Они крепили мощь державы. На этом все и держалось. Каждый из нас, оглянитесь! Внимательно посмотрите, и дай вам Бог понять, что без самоотверженного труда, преданности избранному делу ничего в жизни путного не сделаешь.

И общество без этих качеств каждого из нас — общество неинтересное и ущербное.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни?» — простодушно недоумевал я в юности. Были люди, которые переносили беды, личные драмы, но ещё и строили мосты, железные дороги, ходили в экспедиции. Люди, которые де-

лали жизнь, где они в литературе? Таких книг было мало. И став взрослым, я думал об этом... Была крайность: если книга о производственниках, то в ней только сплошные битвы за урожай, за сроки, за объёмы. Масштабы и объёмы вершимого чаще всего поглощали, растворяли человека — от директора до рабочего.

— Во втором томе мощно звучит тема труда. Что вы думаете в этом плане о Ковальском?

— Драматизм судьбы таких людей, как Ковальский, в том, что будучи натурами одарёнными, конкретными, заряженными на системную деятельность в обществе, на плодотворную работу, являясь по-своему цельными и необходимыми обществу, если не сейчас, то в будущем, они попадают в обстоятельства, заставляющие полагаться порой, как это у нас, русских, повелось, на наше известное «авось».

На то «авось», которое порой определяет не одну человеческую жизнь, а судьбу целого общества... Так вот сложилось у нас.

Ковальский трудоголик, он не может жить без плодотворного труда. А действительность его лишает этого. Куда ему деваться? Как быть! Это его драма. Выходит, его судьба, свершённая во многом им самим, его дело, стали фатально зависеть от этого «авось», которым кончается вторая книга. Смирится ли он?

— Скоро в издательстве «Российский писатель» ваш многолетний труд выйдет двухтомным изданием с общим названием «Под открытым небом». Что бы вы хотели сказать своим читателям?

— Самое главное я уже сказал на страницах двухтомника.

Хочется, чтобы мои книги прочитало как можно больше читателей. И разного возраста. Мой Ковальский в повествовании вырастает из 12-летнего мальчика в 53-летнего человека. И всё это на фоне порой оглушительных событий, которые выпали на долю его поколения.

Наступает время, когда не по силам переживать в одиночку, тогда хочется писать.

Чем больше читателей откликнется на боль моих героев, тем больше будет надежды на доброе и светлое в нашей общей жизни.

## Увлечённый

Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки седовласый и грузный профессор Дамаскин.

...Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.

Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действие. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.

Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!

Остановившись на миг, профессор вопрошает:

— Сам процесс понятен? Суть его?..

Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:

— Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете, что такое?

И не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.

— Уловили главное! — уверенно восклицает лектор. — Молодцы!

Когда лекция закончилась, и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом — признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.

— Послушай, а причем всё-таки карбюратор?

— А что вы хотите? Вот чудачки! Мы два последних выходов с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале все не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял... Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.

## Донник

Вторую неделю мы сплаваемся по реке. Мой приятель Юрий не перестаёт меня удивлять своей деловитостью.

Июнь. Стоит невыносимая жара. Кажется, что не дотянуть до вечерней прохлады. Только что на перекате резиновая лод-

ка Юрия напоролась на коряжину. Порвало одну из секций, и теперь мы ремонтируемся на берегу, а заодно Юрий сушит содержимое своего огромного рюкзака.

Слева и справа золотое поле речного калёного солнцем песка, над головой — с редкими облачками небесная синь. Я тронул кучку намокших бумаг и обнаружился крохотный томик Бунина. Совсем сухой.

Открыл книжечку, и выпали мне строчки стихотворения «Донник». Словно о нас!

Будто кем посланы из дальнего Бунинского далека.

*Брат в запыхлённых сапогах  
Швырнул ко мне на подоконник  
Цветок, растущий на парах,  
Цветок засухи — жёлтый донник.*

*Я встал от книг и в степь пошёл...  
Ну да, всё поле — золотое,  
И отовсюду точки пчёл  
Плывут в сухом вечернем зное.*

*...Толчётся сеткой мошкара,  
Шафранный свет над полем реет —  
И, значит, завтра вновь жара  
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.*

*Да, зреет и грозит нуждой,  
Быть может, голодом... И всё же  
Мне этот донник золотой  
На миг всего, всего дороже!*

— Удивительный поэт, — возвращая книгу, говорю я.

— Так ведь классик, — авторитетно согласился Юрий, — Иван Бунин.

И замолчал, принимая драгоценную книжечку.

— Вот, слушай! — сказал он, разглаживая высохшие мятые листочки, — я когда-то собирал сведения: бобёр живет до тридцати пяти лет! Представляешь, сколько они нам завалов смогут ещё сделать на реке! Жуть! Заяц живёт до десяти лет. Из домашних животных дольше всех здравствует осел — до пятидесяти лет, лошадь и верблюды — до тридцати. Корова — не

более двадцати пяти, а собака и кошка — до десяти-восемнадцати лет.

Мне показалось на миг, что, перечисляя всё это, он дурачит меня, ему скучно стало! А может, перегрелся. Поток информации он напрочь готов подавить во мне всё очарование от прочитанного стихотворения.

— Ну и что с того? — спрашиваю осторожно.

— Как что? Ты вслед за Буниным листком донника восхищаешься, а тут целый животный мир. Интересно же! Есть случаи, когда попугаи живут до ста сорока лет, а крокодилы — до трёхсот, — лицо Юрия вполне серьёзно.

— Зачем ты это возишь с собой? — допытываюсь я.

— А когда хорошее течение и ветер в спину, сажу, читаю. Систематизирую.

— С какой целью?

— Книгу хочу написать о братьях наших меньших. Пока есть о ком писать. Пока не всех извели.

— И как она будет называться?

— Ещё не знаю. Эпиграф уже есть, решусь ли поставить: «Человек — это величайшая скотина в мире».

— Ну ты скажешь!

— Это не я, это Ключевский, — в растяжку произносит Юрий, — другой великий. А вот случай: в Англии в 1887 году был подбит лебедь с кольцом...

Он продолжает что-то ещё говорить, мой серьёзный и добросовестный приятель, но я не слушаю его. Мысли мои в плену стихотворения о золотом доннике, по волшебству гения, ставшим для меня «на миг всего, всего дороже!»

## **Тихое мужество**

Одна за другой появились две замечательные книги о моей «малой родине». В конце октября в Нефтегорске состоялась их презентация.

Первая — «Древности Нефтегорского района» авторов Павла Кузнецова и Анатолия Плаксина рассказывает о давней истории нефтегорской земли, богатой древними курганами и захоронениями. Вторая книга: «Главное русло судьбы», написанная Владимиром Петрушиным, душевно повествует

уже о недавнем прошлом нашего края и о его сегодняшних днях.

Внешне, с высоты литературного Олимпа, выход этих книг в свет, скажем так, событие не особо приметное. Но по своему нравственному значению, написание таких и подобных им книг — событие знаковое.

Посмотрим, на каком фоне появились они.

Вся постсоветская литература так и не явила на свет, не дала читателю значительного художественного полотна. Шолоховского Мелехова сегодняшних дней мы так и не увидели на страницах современной литературы перестроечного периода. Протестная и порядочно притомившаяся, торопливая, часто сбиваемая с толку пресловутым рынком, художественная литература, кажется, утрачивает способность пристально, внимательно вглядываться в нынешнюю жизнь, чтобы эту самую жизнь и впустить на страницы своих книг. Именно жизнь впустить, а не медийных персонажей, кочующих по страницам придуманных повествований.

И это тогда, когда в мире осуществляется организованное оглушение и вытравливается из памяти народа то, что было хорошего и значительного в нашей общей истории. Все затуманено априорной установкой на замутнение разума, на выветривание из сознания чувства патриотизма. Патриотизм у нас до последнего времени был оболган и задвинут, как нечто ненужное, в дальний угол. Путают нас соблазнами либерального толка, а для россиянина — это как дурман-трава.

Слава Богу, теперь многим ясно, что либерализм, навязываемая его система ценностей — симптом кризиса западной цивилизации.

И тут стала появляться другая литература, незаметная, казалось бы, местная. Говорящая на языке факта: научно-популярная и документальная, скажем о ней так. И заговорил в этих книгах его величество факт.

И в этих книгах некоторые увидели только факт. И это, конечно, хорошо! Но я хочу сказать о другом. О тенденции. Такие книги делают то, что не удастся в полной мере художественной литературе. В них желание самого народа сказать о себе, не дожидаясь профессиональных литераторов. И сказать самое



важное, чтобы помочь сохранить в памяти народной образ его жизнь, дух народа. Его душу!

Говоря это, невольно хочется отметить повесть «Вдали от войны» нефтегорского автора Алексея Михайловича Ильина. Она особенно соответствует этой тенденции. Вспоминается Александр Твардовский:

*«...За своё в ответе,  
Я об одном при жизни хлопочу:  
О том, что знаю лучше всех на свете,  
Сказать хочу.  
И так, как я хочу».*

Что с нами происходит? Идёт нравственный раздрай на экранах телевизоров, в кино, на эстраде.

А эти авторы в глубинке с достоинством пишут душевные книги. Как не порадоваться!

Может, и не осознавая того, они совершили очень важный свой гражданский поступок, который мы должны приветствовать.

А эти знаковые профессии наших авторов!?

Учитель и бизнесмен.

Я глубоко уверен, что именно учитель должен стать ключевой фигурой в становлении и укреплении нравственных начал в нашем обществе.

И необычное: бизнесмен пишет книгу об истоках своих, о том крае, где напитался он соками и духом своей Отчины.

А впрочем, что здесь необычного, если он крестьянский сын, у него сейчас куча забот. Он дает односельчанам работу, сам выращивает хлеб.

Нависла угроза, что мы можем перестать быть самими собой. Люди не чувствуют, что смогут жить в полную силу. Уж больно давно начали уничтожать деревню, её дух. И чтобы сохраниться, нужны сосредоточенность и «тихое мужество»! Такое, каким обладают наши уважаемые авторы.

Вот какие мысли возникли у меня при чтении книг моих земляков-нефтегорцев. Таких разных и таких единых по своей сути.

## Мои несуразные опыты

Вспомнилось давнее ученическое время, когда как бы само собой безотчетно начал писать четверостишия. Возникали они у меня неожиданно, где угодно и когда угодно.

И совсем, казалось, содержанием своим не соответствовали тому, чем я был занят в момент их появления.

Такие, к примеру:

*Бывает, и пива стакан  
Скучнее простой газировки.  
Нам жизнь украшает обман.  
Все дело порой — в дозировке!*

Или:

*Если порочные люди помрут,  
Сгинет и лжец, и завистливый плут?  
Скука какая вокруг воцарится!  
Ну, и куда это дело годится?!*

Они пришли в голову, когда глубокой осенью на даче я рубил и таскал в погребницу мерзлые кочешки капусты.

Торопливо отыскав обрывок газеты, тут же подвернувшемся сломанным, непослушным карандашом на полях записал их.

Нечто похожее было и с другими подобными стихами, которых потом накопилось около двухсот. Они сохранились только благодаря тому, что я взял в привычку постоянно носить с собой крохотную записную книжку и авторучку.

Набралось их на целый сборник. Самарский писатель и издатель Г. охладил мой пыл:

— Зачем вам это? Не ваше! Тоже Омар Хайям! Если уж пишутся, то пусть это будет, как гимнастика ума. Некий тренинг в домашних условиях.

Я был почти согласен с ним. Но многим, кому читал их, они нравились. А раз нравятся, может?..

И тут появилась возможность развеять сомнения. В город к нам приехала известная писательница. Не долго думая, я решил показать стихи ей. Отобрал два своих и добавил к ним наугад два четверостишия великого Иоганна Вольфганга Гете. Все стихи представил, как свои. В какой-то момент стало страшно: вдруг она знает стихи великого поэта. Что тогда? Конфуз!

Её реакция была такой же, как у моего самарского коллеги:

— К чему все это? Несерьёзно. Я читала вашу прозу. Очень неплохо. Я бы сказала, неожиданно хорошо. А это, — она перебирала листочки, которые я ей принёс. — Ну разве вот эти два, — она положила мои стихи перед собой на журнальном столике, — в них ещё можно отыскать признак поэзии... Если днем, с огнем... А эти... — она держала на маленькой сухонькой ладошке два листочка со стихами Гёте, — эти вовсе никуда не годятся. Не тратьте себя попусту.

Я молчал. Не знал: признаваться в подлоге или нет? Решил промолчать. Соображал, чего больше в случившемся. Мне попался неудачный перевод Гете или в такой степени писательница субъективна.

Радости за свои стихи не было. Было подтверждение моей нехитрой, но важной тогда для меня догадки, что восприятие, мнение талантливых людей порой очень субъективны и категоричны, в том числе это касается и стихов. Тем более когда под ними нет имени признанного мастера. Хотя для меня понятие «мастер» уже и тогда применительно к поэзии казалось сомнительным.

...Позже, когда моя проза, две повести вышли отдельной книжкой, писательница поздравила меня одной из первых.

\* \* \*

Стихи писать я потихоньку продолжал. И не только четверостишия.

В Переделкино, в гостях у писателя, давно как бы причисленного к разряду, скажем так, близкому к классикам, я прочёл за столом одно из своих стихотворений, которое начинается словами: «Матица с крюком над зыбкой скрипела».

Хозяин дома стихотворение дослушал до конца, ни похвалив, ни поругав. Только обронил уверенно:

— Матица над зыбкой не скрипит.

Я опешил:

— Скрипит. У меня сестры намного моложе меня. Я качал их в зыбке.

— У нас тоже на крюке, вбитом в потолочную балку, висела зыбка. Она не скрипела. Не придумывайте.

«Может, у них на Севере матицу делают из толстых бревен, сосновых, — пустился я мысленно в рассуждения. У нас лесостепь: осина да ветла, изредка тополь. Даже дом мой дед срубил из чернолесья». Мысли мои путались: мне не хотелось себя оправдывать, доказывать, что я прав. Мне важнее было — для себя оправдать ошибочное утверждение уважаемого мной старшего собрата по перу.

Я не мог ошибиться: матица скрипела. Хорошо помню, как появился в нашей избе потолок. Его у нас в старом доме не было. Над головой тогда темнела соломенная крыша. Когда новую избу строили, мы с отцом двуручным рубанком обрабатывали длинную ровную осину, она и легла обоими своими концами на саманные стены. «И потом, скрип мог идти от крюка, висевшего на петле. Не обязательно от самой матицы», — пустился я в мыслях, всё ещё пытаюсь оправдать категоричность собеседника. «Неужели не скрипела? И всё это только в моём воображении так зазвучало через четыре десятка с лишком лет? Так зазвучало пережитое?» — пытал я себя.

Стихотворение, из которого была эта строка, давно уже стало песней. Песня попала в репертуар нашей областной филармонии. И вдруг такое: «Не скрипела».

Вернувшись из столицы в Самару, поехал я в отцовский дом, в село. Нашел в заброшенной мастерской похожее кольцо, привязал к нему веревку. К веревке с другого конца приспособил сработанную когда-то ещё отцом тяжёлую табуретку. Набросил кольцо на мирно дремавший около полувека под потолком крюк. Тронул немудрёную конструкцию рукой, как когда-то давным-давно в детстве. И невольно подумал: мои-то ребята, сын и дочка, могли бы тоже оказаться в своё время в зыбке. Но так получилось: выросли в городе... Едва зыбка качнулась, прогонистая матица вздрогнула. Очнулась от долго сна. И — заскрипела! Нет, она запела! Всё было, как в моём стихотворении.

Всё было, как в детстве. Изба ожила! Казалось, в ней стало светлее и уютнее. Я невольно прикрыл глаза. И поплыли передо мной самые дорогие, самые радостные картины из моей жизни — денёчки моего детства. Потом пошли голоса, родные и такие далёкие. Чей-то, едва уловимый уже голос, запел песню. То ли мама пела, то ли бабушка моя...

При следующей встрече я не стал рассказывать мастеровитому писателю о своём странном опыте. Зачем? У него было своё детство, у меня — своё. Оно было только моё. Такое, без которого, оказывается, я себя и не мыслил...

### **Рыжая и красивая**

На встрече со студентами одна девочка меня спросила:

— Скажите, как долго вы пишете рассказ или стихотворение? Я ответил, что по-разному. Когда как.

Шагая домой, продолжал думать об этом её вопросе.

Стихотворение «Школа», ставшее песней, я написал в больничной палате ночью, среди стонавших после операций больных, на клочке бумаги, нашарив в полутьме на тумбочке карандаш. На всё ушло не более получаса. Теперь оно стало песней и её поют.

Лет тридцать назад, шагая по одной из Бакинских улиц, увидел стайку подростков, убежавших вдоль забора. Подошёл. Ткнувшись мордочкой к темной доске, лежал жёлтенький котёнок, совсем маленький. Рыжая его, празднично чистая шерстка и кровь, идущая из носа, так не подходили друг к другу. Ноги котёнка ещё дергались, но он был уже мёртв. Рядом лежал величиной с кулак камень.

Выражение мордочки котенка было так трогательно, мило, что брала оторопь. Это несоответствие не выходило из головы.

Вернувшись в общежитие, попробовал тут же начать писать рассказ. Не получилось.

Не получалось и потом. Каждый раз выходило не то. И только через тридцать лет я написал повесть «Сергеич и Сима», о кошке. Она у меня там рыжая и красивая. Сима!

Я, кажется, понял, почему раньше не писалось. Мне не хотелось верить, во мне всё протестовало против смерти кошки.

В моей повести Сима не только выжила, но и спасла жизнь человеку. Как это и случилось на самом деле. Только это была другая кошка...

## Лучик света

Попалась на глаза давнишнее письмо одного из моих знакомых. Он — бывший преподаватель сельскохозяйственного института. Зовут его Николай Николаевич Краснов. В этом письме есть некоторые подробности, кажется, совсем незаметного дела. Скорее всего, они житейские.

Николай Николаевич пишет, что послал мои книги своему давнему другу из Кинеля в Барнаул. Тот прочитал и написал ему в ответном письме о прочитанном.

Краснов переслал это письмо мне.

Один человек по велению сердца посылает другому чуть не на край света понравившиеся книги, другой — читает их и пересылает назад владельцу. Все это они делают на свои пенсионные гроши. От души и для души: «Коля, высылаю посылку с книгами, которые ты просил вернуть. Большое спасибо за них. Высылаю и деньги, потраченные тобою при отправлении книг.

С А. Малиновским расстаюсь, как с родным братом, близким мне по духу, по отношению ко всему, что окружает нас, что с нами и нашей страной происходит. Как-будто он читал мои мысли и изложил их в своих сочинениях, изложил великолепно, талантливо, как настоящий русский писатель».

Так пишет Николаю Николаевичу его друг.

О моих книжках высказывались многие. В том числе и профессиональные литераторы.

Но такое дорого особенно.

И пусть сейчас нет больших тиражей книг, какие были прежде...

...Есть вот такие благодарные читатели. Это ли не отрада для пишущего?!

И что проку от книг, изданных огромным тиражом и пылящихся на полках?

Тронули своей проникновенной задушевностью последние строчки письма, совсем уж не касающиеся меня лично:

«Коля, у нас весна наступает полным ходом. Ручьи льют уже и за городом. В воскресенье, дочитав книги, не без труда добрался в ботинках на дачу. Две яблони погрызли мыши, так как я не обтоптал вокруг них снег зимой. Он оказался рыхлым.

Коля, дожили до весны! Поживём ещё! Надо бы пожить!»

...Мысли незнакомого мне человека о России, о моих книгах, в одном ряду с весной, с яблонями, с рыхлым весенним снегом... Со всем тем, что называется жизнью... С неистребимым желанием жить...

Это ли не замечательно!

## РЫНОК

Идёт самый разгар моей встречи с читателями. Вопросов немало.

И вдруг такой:

— Как вы всё успеваете? И литература, и наука, — это произносит дама, сидевшая до того молчаливо у окна.

— Да, так? — развожу руками...

Продолжить не успеваю, она опережает:

— А когда вы защитили диссертацию?

Я, не понимая подоплёки вопроса, ответил:

— В 1984 году.

— Тогда ещё... Это другое дело. Мой сосед по даче — в 2005 году, — она сделала паузу, — купил. И не скрывает этого. Ещё хвалится, что недорого. Дружок его дорожке заплатил... Рынок.

— Может, он дурака валяет. Ничего и не покупал вовсе? Бравада такая, — говорю я.

В углу откликнулся на мою фразу долговязый парень:

— В нашем районе, когда шли выборы главы и остались всего два претендента, борьба обострилась. Кому-то в голову пришла мысль проверить подлинность диплома о высшем образовании одного из кандидатов. Уж больно лексикон у него не тот. Сделали запрос в отдел кадров института. Оказалось, что специалист он «липовый». Не учился он в институте совсем.

— Нарочно выискиваете такие случаи? Чтобы забить голову писателю? — решила заступиться за меня соседка долговязого.

— Это ещё зачем? — басит парень. — Фальшивые лидеры. Их вокруг сейчас столько!.. Прордыху нет. Жизнь наполовину фальшивая. Рыночная. Кто кого надурит...

Не сразу разговор вернулся к литературе. Что поделатъ, жизнь первична... Но... Стыдно за неё, такую...

## День рождения моей мамы

21 августа 1918 года. Эта дата волнует меня с детства. Я слышал о событиях того дня от нескольких своих односельчан. Через полгода исполнится девяносто лет с тех пор. Память вновь встревожена.

В детстве этот день в моём восприятии был покрыт дымкой революционной романтики. Как же! Противоборство белых и красных! И где! У нас, в нашем селе. На наших улицах.

Позже захотелось знать подробности. Как все было?

А, повзрослев и узнав кое-что, и поняв, ужаснулся жестокости, которую творили люди.

Теперь я не могу назвать вершившееся в те дни и годы как-то иначе, нежели самоистреблением.

Были, были и пособники, может, вернее сказать, дирижёры этого самоистребления. Об этом в другой раз...

Вот как рассказывал о разыгравшейся трагедии утёвский краевед Пётр Дмитриевич Лупаев:

«Стояло позднее лето 1918 года. Вода в Ключевом озере была уже довольно холодной. Мальчишеской ватагой после купания, порядочно продрогшие, мы шли в свою Чернышевку (теперь улица Крестьянская). Вдруг со стороны старой церкви послышались недружные выстрелы. Что они значили, мы сразу не поняли...

Несколько позже узнали, что карательный отряд белогвардейцев расстрелял двух наших. Мы всполошились и, встревоженные страшной вестью, помчались к базарной площади.

...Вот и это место: на сухом дне Утёвочки. у конопляников два тёмных пятна — кровь уже впиталась в землю — и розовые кусочки мозга. Тела погибших были уже убраны. Подходили мужчины и женщины, молча осматривали место недавней трагедии и расходились. Люди были потрясены».

Этот зверский расстрел явился прямым продолжением событий, происходивших в Самаре.

Действовавший подпольно в Самаре Комитет членов Учредительного собрания (КомУч), в начале июня с захватом города чехословацким корпусом легализовался и объявил себя верховной властью.



Была восстановлена дореволюционная система местных органов самоуправления, в число которых входили губернские, уездные и волостные земства, губернские и городские думы.

В окрестных сёлах начался набор молодежи 1897 и 1898 годов рождения в «народную» армию.

Землю начали возвращать прежним хозяевам.

Но идти в армию учредиловки было мало желающих. И землю крестьяне возвращать не хотели.

Петр Дмитриевич Лупаев так писал со слов односельчанина Ивана Дмитриевича Загвоздкина:

«В начале 1918 года в Утёвке были две политические группы. Во-первых, это группа сочувствующих большевикам. Её возглавлял Петр Семёнович Игольников — сельский слесарь-жестяник, бывший балтийский матрос, примкнувший к большевикам ещё до 1917 года. Активистами были Григорий Гаврилович Перов — бедняк, Артем Иванович Кирсанов — середняк, Иван Степанович Савин — тоже середняк, Александр Иванович Блохин, Федор Иванович Пудовкин и другие. Техническим секретарем был Иван Харитонович Чекуров — бедняк.

В другую группу входили сторонники Учредительного собрания. Они ратовали за частную собственность на землю. Её возглавляли торговец мануфактурой Василий Кириллович Колебанов и Ефим Филиппович Печёнов — владелец земельного участка в тысячу десятин в «Колках», на реке Ветлянке. К ним примыкали Василий Ксенофонович Орехов — лавочник, Василий Степанович Першин. Всего человек пятнадцать из зажиточной верхушки села».

В те села, где отказывались служить, из Самары посылались каратели.

В ответ создавались отряды сопротивления. Одним из самых активно был создан в селе Домашка. В Утёвке отряд возглавил Петр Семенович Игольников.

Самарское правительство КомУча, которое называло себя социалистическим, быстро пало, будучи не в состоянии урегулировать непримиримые социальные противоречия между разными слоями населения того бурного времени. Но кровавый след оставило и оно.

Каратели Утёвку не занимали, производили внезапные налёты.

Я намеренно приведу подробное описание последующих событий в моём селе, сделанное Петром Дмитриевичем. Они стоят того. Он их записал со слов очевидцев тех событий. Что может быть дороже?

«В августе Ефим Печёнов и Василий Першин поехали в с. Богатое и доложили начальнику карательного отряда, что в Утёвке в «народную» армию никто не идёт, молодежь прячется в лесу и на гумнах. Они также передали список утёвских активистов. 20-го августа в наше село прибыл карательный отряд (около 20 человек), состоящий из русских. (Сынков зажиточных крестьян).

Начались аресты и порки. Пришли к Чекурову Ивану. Он сказал, что в состав группы сочувствующих не входит, а только, как человек грамотный, вёл списки и протоколы. Бумаги у него отобрали, а самого не тронули.

Василий Пудовкин был комиссаром Погроминского сельскохозяйственного училища. Домой прибыл временно. Его арестовали, когда он во дворе чинил веялку.

Семён Михайлович Проживин работал председателем Утёвского волисполкома. Сеял хлеб. В этот трагический день его дома не было. Он с женой на своей лошади ездил в поле за розвязью (скошенной пшеницей). Каратели заставили сопровождать их его 12-летнюю дочь Пашу.

За селом, около больницы, встретили Семёна Михайловича с женой. Его арестовали и посадили с собой в фургон. Проживин попросил заехать к нему домой, чтобы искупаться после полевой работы.

Заехали. Конвоиры зашли в избу и закурили, а хозяин, с бельем под мышкой и ведром воды, пошёл в сарай. Семён мог бы убежать, но не оценил всей опасности — о плохом не думал. Его увезли и посадили в мазанку во дворе Владимира Пирожкова, к другим арестованным.

За Иваном Степановичем Савиным тоже приходили, но его дома не было — уезжал с сыном в поле за розвязью. Каратели ушли.

Федор Иванович Пудовкин успел скрыться в лесу. Каратели повели туда его жену Любовь Григорьевну и, угрожая плетью, заставляли кричать — звать мужа. А муж её в то время лежал под камышовым наносом, слышал, как белогвардейцы издевались над его женой. Его так и не нашли.

На другой день, 21 августа, Василия Пудовкина и Семена Проживина повели через Курочкин переулочек к речке. Их подерживали под руки, они качались и едва волочили ноги. Там их и расстреляли.

Каратели потом ещё два дня шныряли по дворам — искали сторонников Советской власти. Других арестованных по очереди выводили из мазанки, привязывали к скамье и секли плетьюми. Были пороты Дмитрий Трайкин — бедняк, Илья Макеев — зажиточный, активист, С.Г. Таликин. Жена Федора Пудовкина была беременна. У неё после порки случились преждевременные роды. Всего выпорото было 17 человек.

Утёвские активисты в бой с карателями не вступили — слишком неравны были силы. Петр Игольников со своей берданкой степью ушёл в Домашку, к партизанам. Те прятались в лесу за Самаркой. Он прибыл в отряд 13-м. Григорий Перов отправился туда же другим берегом Самарки, лесом. Другие активисты попрятались на гумнах, в ометах и иных укромных местах. На пятые сутки каратели выбыли в Покровку».

Сохранилось описание расправы в Утёвке, сделанное агитатором КомУча В.Кодаковым:

«...Сегодня на станции Богатое я встретил председателя и секретаря Утёвской волостной земской управы и выслушал печальный рассказ о действиях карательного отряда под командой капитана Бельских.

...Подробности расстрела, по словам очевидцев, отличались небывалой жестокостью. Так, например, труп Василия Пудовкина был изуродован: голова разбита, с вытекшим глазом, спина, бока несут явные следы ударов прикладом, руки до плеч буквально представляли кусок мяса с ободранной кожей. Кроме того, на спине имелись две-три колотые штыковые раны.

Характерное поведение добровольцев отряда: при обыске в квартире В. Пудовкина были найдены две сорокарублёвки-«керенки», которые были взяты со словами: «Комиссары много награбили». Взято охотничье дробовое ружьё...

В. Пудовкина хоронили за счет родных. Остались жена, 82-летняя мать и пятеро детей (старшей дочери 14 лет). Семья осталась без средств. По словам рассказчиков, все население с. Утёвки считает расстрелянных невинно пострадавшими».

Зверствовали каратели и в соседних селах.

Сотрудник аппарата КомУча В. Шемякин составил сообщение о том, как другой мобилизационный отряд побывал в селе Богатое: «...19 августа вечером и в особенности 20-го утром на глазах многочисленной публики клали лицом вниз на специально разостланный для этой цели брезент и по решению военно-полевого суда «вкладывали» 20-25 ударов нагайкой. Били казаки, и били так, что некоторые из наказанных после этого не могли сразу встать, а, встав, шли, качаясь, как пьяные. Били молодых парней, пожилых рабочих и крестьян, били женщин, которые уже, кажется, не могли бы иметь никакого отношения к призыву новобранцев...»

Досталось и доносчикам.

Василий Першин отступил с чехословаками. После скрывался у односельчан в городе Уральске. Там был обнаружен и расстрелян.

Василий Колебанов сбежал в Самару, но и там не ушёл от суда.

Не было борьбы в те августовские дни восемнадцатого года. Было убийство. Истребление русского народа. Самоистребление.

«...И розовые кусочки мозга в пыли на сухом дне речки Утевочки, у конопляника...»

Неужто такое замутнение может ещё повториться?! Так, чтоб мозги... в пыль...

\* \* \*

Под винтовочные выстрелы на задах хозяйка самой ближайшей бревенчатой избы Груня Рябцева разродилась девочкой, которую потом назовут Катей.

Прибывшие в тот день в избу по доносу двое из того самого карательного отряда произвели обыск. Искали хозяина дома Ивана Рябцева, который сбежал из Самары, не желая служить у белых.

Об этом я писал в одной из моих повестей.

В ней беглый солдат Иван Головачёв — мой дед Иван Рябцев.

Груня — моя бабушка, а новорожденная Катерина — моя мама.

Мне интересна была дальнейшая судьба Петра Игольникова, ушедшего с берданкой степью в Домашку.

И вот недавно удалось из воспоминаний его внука узнать некоторое подробности жизни первого в Утёвке председателя волостного революционного комитета Петра Семёновича Игольникова.

Родился Игольников в 1881 году. До призыва на царскую службу батрачил в селе.

То ли за смуглое, скуластое лицо, то ли за силу и стойкость в кулачных боях, прозвали его «Чугуном». И пошло: жена Екатерина Ивановна – «чугуниха», дети – «чугунята».

Призвали Чугуна в армию на Балтийский флот, служил в Кронштадте.

Там он принимает участие в подпольной работе. После событий 1905 года заносится в списки неблагонадёжных и его списывают со службы.

Вернувшись в родное село, снова батрачит.

Занимается слесарным делом, был и жестянщиком.

На утёвские базары вывозил вёдра, чайники, замки. Там же принимал заказы на ремонт.

Началась первая мировая война и его призывают в стройбат на строительство Мурманской железной дороги. Там он пробыл до октября 1917 года.

Вернувшись в Утёвку, вместе с односельчанами К.А. Лобачёвым, И.А. Загородниковым, П.И. Аверкиным, М.Н. Кочетовым организует в Утёвке волостной революционный комитет.

...Избегав тогда, в августе двадцатого года, расправы, Пётр Игольников прибыл в партизанский отряд, который был организован старым большевиком из села Домашка Фёдором Прохоровичем Антоновым и бывшим офицером царской гвардии Сергеем Васильевичем Соколом.

Есть свидетельства, что отряд спешно выступил в село и вышиб карателей.

С приходом Красной Армии партизанский отряд вливается в 1-ую Самарскую дивизию (ставшую потом 25-ой Чапаевской) и становится самостоятельным 219-м Домашкинским полком.

За бой под станцией Умёт-Грязный Пётр Игольников был награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Известно, как он погиб. Об этом есть воспоминания комбрига Занина.

После ранения комбат-2 Пётр Игольников нуждался в лечении. Его назначают комендантом Богатинского укрепрайона. Там он активно организует Советскую власть на местах, создаёт партизанские отряды, открывает клубы, школы.

Борется с остатками контрреволюционных отрядов.

В марте 1920 года при возвращении из Гурьева, его подкараулили и зарубили саблями...

И там, вдали от Утёвки, лилась кровь людская, как водица. С обеих сторон.

Такие лихие годы.

## Маэстро

Он с первой встречи стал говорить мне «ты». Сначала это меня удивило, но потом я понял: он такой, по-другому не может. Многие замечали: если человек ему симпатичен, он сразу переходил на «ты».

В нём было нечто широкое и огромное. Недаром в его квартире самая большая комната, где стоял рояль, всеми своими окнами выходила на Волгу. И с высоты четвёртого этажа, когда я подходил к окну, великая река с её дальними плёсами и Жигулями растворяла в себе. Его рояль казался большой птицей, парившей над Волгой.

Он был истинный волжанин по духу своему. Обладал бесценным даром доброты и сердечности.

Эти мои размышления о гордости нашей Самары — Гиларии Валерьевиче Беляеве — человеку, сделавшем очень много добрых дел для нашего города.

Как вырастают мастера?

Конечно, росток идёт от зёрнышка, и это зёрнышко — талант! Но сколько нужно вложить труда и упорства!.. Когда соприкасаешься с конкретной судьбой, в который раз невольно думаешь об этом.

Родился наш замечательный земляк 9 января 1931 года.

Семья жила скромно. Отец Валерий Аркадьевич был строитель. Мать занималась домом и воспитывала двоих детей. Имена детям выбирал отец. Гиларий в переводе с греческого означает «весёлый».

Едва минул год после рождения Гилария, отец умер от сыпного тифа. Профессии у матери не было. Как жить?

Заботы о семье взяли на себя её сестра Елизавета Ивановна Ситнова, состоявшая первым хормейстером ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, и её отец Иван Иванович, известный в тогдашней Самаре закройщик. Одежду у него шили многие известные в городе люди.

В 1941 году, получив домашнее музыкальное образование, Геля поступает в музыкальную школу, которая была недалеко от ТЮЗа на Самарской улице. Жил он тогда в районе улицы Николая Панова. Транспорт в те годы туда не ходил. Так он и учился: в шесть — подъём, в семь выходил из дома, преодолевая несколько километров пешком, и в восемь часов был в музыкальной школе. После обеда шёл в общеобразовательную.

В 1947-м году после восьмого класса поступил в музыкальное училище. Одновременно с училищем закончил и школу рабочей молодёжи. Получил аттестат о среднем образовании.

В музыкальном училище учился с той же самоотдачей, с какой много лет спустя будет передавать своё умение многочисленным ученикам. А учиться ему было у кого. И он этого не упустил.

Теоретические предметы преподавал Алексей Васильевич Фере, дирижирование вёл Марк Викторович Блюмин, фортепиано Александр Давидович Франк. Это известнейшие мастера в Самаре, люди высочайшей культуры.

В музыкальном училище Беляев получил три специальности: фортепиано, теория и практика дирижирования.

Жизненный путь был определён. Впереди — Московская консерватория.

Подрабатывал вечерами — руководил самостоятельными коллективами в Доме Офицеров и военном госпитале. Накопив денег, купил себе костюм, ботинки и отправился в Москву.

В семейном архиве Беляевых хранится фотография, на которой паренёк-волжанин запечатлён с большим чемоданом и узлом с постелью. Сколько таких паренёчков в своё время ушло

из российских сёл и провинциальных городов в многошумные столицы. Многие ли потом вернулись? А он вернётся, да в каком качестве!

Но об этом чуть позже...

Таких сведений о жизни моего замечательного земляка я, конечно, во время знакомства с ним не имел. Он не рассказывал, а мне говорить на эту тему не приходило в голову. Это потом, когда его не стало, от его дочерей, коллег, знакомых я узнавал такие подробности.

Мы так порой бываем непростительно близоруки!..

\* \* \*

Экзамены в Московскую консерваторию! Без волнений не обошлось. Ещё бы, ведь поступал одновременно с Родионом Щедриным, про которого уже тогда говорили: «Это наше будущее!»

Первый экзамен, дирижирование, волжанин сдал на пять с плюсом. И далее в экзаменационном листе его начали выстраиваться одни пятёрки.

Так Гиларий Валерьевич стал студентом Московской консерватории по классу хорового дирижирования у профессора В.Г. Соколова. Учёбу закончил с красным дипломом. Но он был верен себе. Освоил параллельно и другую профессию — дирижер симфонического оркестра.

Есть особая привлекательность в людях, судьба которых связана с рождения их и всей последующей жизнью с местом, где они появились на свет, с Отчиной. Таков был Гиларий Беляев.

\* \* \*

Я так жалею, что был знаком с ним всего несколько лет. Наше дружеское сближение произошло, я бы сказал, спонтанно.

Познакомил нас неумолимый Геннадий Дмитриевич Матюхин — председатель межрегионального Центра Василия Шукшина, в недавнем прошлом артист Самарского драматического театра.

Поехали мы с ним однажды в Утёвку. И обнаружилось, что местный хор гастролирует по окрестным селам и в его репертуаре несколько песен, написанных на мои стихи. Автор песен — художественный руководитель Дома Культуры Василий Першин.



Потом в Новокуйбышевске самодеятельный композитор, майор в отставке Николай Падуков приехал ко мне в гости с баяном и исполнил сразу три песни. Самарский музыкант Марк Левянт написал песню на мои стихи «Школа», ставшую своего рода гимном абитуриентов. Геннадий Дмитриевич, когда песен накопилось около полутора десятка, загорелся издать сборник.

Для меня всё это было неожиданно и непривычно. Я никогда и не помышлял, в голову не приходило, что мои стихи могут запеть.

Довольно крепко сомневаясь в затеваемом, поставил неременное условие, что песни будут показаны кому-то из серьезных музыкантов. Только после необходимой проверки и доработки можно будет говорить о дальнейшем.

Геннадий Дмитриевич обратился за помощью к Гиларию Валерьевичу, оказывается, они давно были знакомы.

Вскоре я впервые оказался у Гилария Валерьевича в гостях.

Я, конечно же, и раньше знал его. Видел, бывал на концертах. Но это на расстоянии. А теперь я наблюдал этого высокого, красивого человека рядом. И никакой звёздности, ни капли позы или рисовки.

Чуть позже, потом, я узнал, как неустанно он работает. И это мне объяснило многое. Людям, отмеченным даром труженика не до самолюбования. Мне говорили, что он всегда был таким, и в молодые годы.

А закружиться голове, казалось бы, были причины уже тогда.

После окончания консерватории ему единственному досталась столь престижная должность: дирижер Ансамбля песни и пляски Северной группы войск в Польше.

Пять лет он проработал в Легнице. Два раза в году — творческие отчеты-концерты в Варшаве. Там, в Польше, он и женился. Его женой стала Майя — солистка ансамбля танцев народов мира под руководством Игоря Моисеева.

Пять лет работы в Польше пролетели. Необходимо было возвращаться в Советский Союз. Куда конкретно? Решено было на родину, туда, откуда всё и начиналось — в Самару.

Он вернулся в родной город и встал за пульт оркестра тогда Куйбышевского театра оперы и балета. Первым его спектаклем был балет «Лебединое озеро». Трудно представить: с тех пор Гиларий Валерьевич провел его 250 раз!

Потом в его репертуаре было около сорока названий опер, оперетт, балетов. Среди них такие партитуры как опера «Евгений Онегин», все балеты П.Чайковского, «Семь красавиц» и «Тропюю грома» Кара Караева, «Каменный цветок», «Золушка» С. Прокофьева и многие другие.

Мне не раз говорили, что зрители шли в театр не столько посмотреть балет, сколько послушать любимую музыку, когда за пультом: Беляев.

С 1979 по 1981 год мастер работал профессором Высшего института искусств и одновременно дирижером Большого Гаванского Театра имени Ф.Г. Лорки. Наши соотечественники, бывшие в те годы на Кубе, рассказывали, как после премьер и просто спектаклей «Лючии де Ламермур» Г.Доницетти и «Риголетто» Дж. Верди восхищенные гаванцы выносили на руках Маэстро Беляева.

Тогда же на Кубе ему предложили записать русскую музыку с хоровым коллективом радио и телевидения Гаваны.

...Дела с обработкой песен для сборника шли, удивительно для меня, плодотворно. И что меня поражало, едва ли не к каждому моему приходу к нему, он показывал мне новую, написанную на мои стихи, песню. Так он написал восемь песен.

Потом я познакомился на его квартире и в рабочем кабинете в филармонии с певицами Раисой Гладковой, Аллой Азановой, Марией Кургановой, которые стали первыми исполнителями этих песен.

Вокруг него почти всегда были люди. Он постоянно кому-то чего-то делал, советовал, говорил. И всё не спеша, без суеты, по-домашнему. Во всём была некая матёрость. Мягкая поступь огромного существа.

В одну из наших встреч у него дома, он посетовал:

— Вот, понимаешь, есть у меня хорошая мелодия новогодней песни. Но слова мне не нравятся. Может попробуешь?

— Гиларий Валерьевич, я вам говорил, что вообще никогда не писал тексты для песен. То, что этот сборник получился, это какое-то... наваждение... — я искал подходящее слово, — а тут писать слова под готовую музыку?..

Будто не замечая моего замешательства, он добродушно указал на диванчик:

— Сядь и послушай...

Когда он был уже за роялем, я сделал ещё попытку уйти от сомнительной затеи:

— С моим-то слухом?.. Я...

Он словно не слышал меня.

Когда полились звуки, я был в смятении. Мне казалось, что я не улавливаю чего-то самого главного, и меня ждет конфуз. Прямо здесь, сейчас. Я не повторю мелодию, если он попросит.

Звуки умолкли, он спросил:

— Может, что-то ещё раз?

«Зачем? — мысленно ужаснулся я. — Мне хоть десять раз... всё один результат будет!»

— Нет, не надо, — поторопился я с ответом.

И ответив так, совсем упал духом: «Он понял, что я в музыке не способен ни к чему. Он это видит! Стихи мои запели по недоразумению...»

— Ладно, — согласился Маэстро. — не надо, так не надо... Походи, подумай, если что возникнет, позвони — встретимся. Понимаешь: через неделю еду в Москву, хорошо бы внукам привезти новую песню.

Закрывая за мной дверь и добродушно глядя на меня с высоты своего солидного роста, обронил:

— Не забудь про слова...

Ничего себе: «Не забудь!»

Я готов был искать слова. Но другие, те, которыми буду объяснять свою полную несостоятельность в затеянном.

Когда вышел на улицу, спохватился: «Надо хотя бы непоразившиеся ему стихи взять с собой, по их ритму вышел бы глядишь как-нибудь на мелодию».

Он словно закодировал меня. Я пришёл от него поздним вечером. Ночью спал плохо. Утром мне захотелось выйти на набережную, к Волге. Прохожих не замечал. Их, кажется, и не было. Меня что-то толкало изнутри. Я не мог стоять на месте.

Успокаивала, вернее, давала какой-то ритм, ходьба. Я понимал, что ночью в моём сознании свершилась какая-то таинственная работа.

Хрустел свежий снег под ногами, веяло ландышевой прохладой, и на душе было смутное ожидание восторга. Я не мог понять, откуда это исходило.

Как наяву увидел в большой светлой комнате с роялем посередине неё, пожилого, с незащищенностью ребенка, мудрого её хозяина, новогоднюю елку, шумную беззаботную ребятню, и... что-то случилось во мне.

Возникла мелодия. Не сразу, вместе со словами. Но так свободно, легко и напевно. Мелодия звала за собой слова. «Но та ли это мелодия?» Я был неопытен в подобных делах.

Мелодия бывала и раньше, когда сочинялись стихи. Это я только позже понял осознанно. Сейчас-то должна быть чужая мелодия... Но она стала и моей...

Я путался в мыслях.

...Вечером позвонил Гиларию Валерьевичу и сказал, что стихи готовы.

Он бесцветным голосом пригласил к себе.

«Не верит», — решил я. И я бы не поверил, что неплохие стихи можно так быстро написать, по заказу...

Маэстро развернул поданный мной листок со словами, прочел молча. С очень серьёзным лицом, сел за рояль. Не останавливаясь, не сбиваясь, проиграл от начала до конца. Губы его шевелились в такт мелодии.

— Полное попадание. Но какие слова! — произнёс он еле слышно. — И снова начал играть.

Он с трудом говорил после операции на горле. Прошептал с хрипотцой:

— Разве может такое быть?

Я развёл руками. Не знал, как это всё объяснить. И можно ли объяснить?!

Подошёл к широкому окну. В глаза мне тотчас хлынула волжская синь!

В необъятном просторе было море света. Появившееся из-за туч солнце освещало ту часть Волги, которая катила свои волны мимо Жигулей, Царёва Кургана, села Ширяево. Всё на глазах преображалось, оживало своими осенними красками.

Солнечного света становилось всё больше и больше, полусой он пошёл вниз по течению величавой реки, туда, где еле угадывалось село Шелехметь, далее — к Васильевским островам...

Словно кто-то всемогущий, раздвигая гигантские шторы, тоже смотрел сверху вниз. Любовался божественной красотой.

— Что так внимательно смотришь? — прозвучало за спиной.

— Да, так, — смутился я.

И больше ничего не сказал. Словно боялся посторонним словом нарушить увиденное.

Гиларий Валерьевич тоже молчал. Запомнился его взгляд. И потом я не раз видел его таким в общении с другими: он благоговел перед творческой удачей.

Стихотворение «Новогоднее» потом входило во все мои сборники. Я не обольщаюсь его художественными данными. Оно дорого мне историей своего появления. Такова была магия душевного таланта Маэстро.

...Конечно же, то, что в Самаре не иссякает интерес к хорошему пению, большая заслуга и Гилария Валерьевича. Он знал изнутри художественные интересы и запросы самарцев. Но он не только отвечал им, он как мудрый педагог готовил слушательскую аудиторию на многие годы вперед. Он воспитывал музыкальный вкус её.

Приехавший в Самару на фестиваль «Композитор и фольклор» эстонский композитор Вельо Тормис, послушав выступления хоровых коллективов, удивился:

— Для нас, прибалтов, слово «хор» — весомо и зримо. Никогда не думал, что с таким же представлением о хоровой культуре я встречаюсь в Самаре.

По примеру Д.Б. Кабалева, Беляев двадцать лет руководил хором гимназии №11 в Самаре. Он любил хоровое пение. Когда работал на Кубе, в его ведении в Гаване только взрослых хоров было шесть: Высшего института искусств и Национальной школы искусств, любительский хор районного Дома культуры, хор Кубинского радио и телевидения, хор Гаванской оперы и Государственный хор.

В Самаре как дирижер и режиссер-постановщик он руководил фестивалями и концертами многочисленных детских коллективов.

Гиларий Беляев подготовил к изданию сборник приложений популярных произведений для детского хора, ансамбля и солистов.

Только хоровых аранжировок и обработок у Гилария Беляева свыше трёхсот.

И конечно же восхищает Гиларий Беляев — пианист. Репертуар его включал и русскую классическую музыку, и современную, произведения зарубежных композиторов и сочинения самарских композиторов.

Окинем мысленно взглядом хотя бы несколько его программ: «Музыкальный салон XIX века: вечер русского романса», «Музыкальная гостиная «Оперетта, оперетта, оперетта!», «Праздничный концерт в Хрустальном фойе филармонии», посвященный Исааку Дунаевскому, камерный концерт из произведений Георгия Свиридова, вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, на котором он исполнял произведения Рахманинова, Шопена, Баха, и конечно любимейшего им Моцарта. Программа «День памяти Василия Шукшина».

Какие все имена!

«Бывают пианисты, которые поработают рояль. Бывают такие, которые становятся его рабом, третьи вступают с ним в дружеские отношения. Гиларий Валерьевич сразу заключал рояль в свои объятия, и в этом великом акте любви все получали самое высокое наслаждение», — так отзывался об игре самарского пианиста наш земляк: врач, писатель Георгий Ратнер.

Увлечённость — одна из замечательнейших черт талантливых людей. Почти на протяжении пятнадцати лет: с начала шестидесятых и до середины семидесятых прошлого века Маэстро работал со сборной Советского Союза по художественной гимнастике пианистом-аккомпаниатором.

А увлék друг, заслуженный артист Самарского театра оперы и балета и заслуженный тренер СССР Виктор Сергеев, солист Самарского театра оперы и балета.

Среди многочисленных, не перечисль, наград, есть у Гилария Беляева одна, которая говорит о многом. Это медаль участника войны в Афганистане. Она — память о концертах артистов нашей филармонии, которые проходили при непосредственном участии их руководителя.

Ошеломляющая работоспособность и широта поля деятельности! И всё это без утраты душевного, сердечного отношения к конкретному человеку. Наоборот: участие, соучастие с жизнью окружающих — потребность его души.

...Рукопись сборника песен уже готова, а я все не могу никак определиться с его названием. Очень мне хотелось озаглавить его «Окошко с геранью» по одной из песен, вошедших в него.

Но меня отговаривали:

— Для одной песни такое название ещё ничего, но для всего сборника?.. Герань — мещанский цветок. Притом просто уж очень, обыденно...

А мне всё казалось, что поэзия как раз там, где сокровенная простота. И обидно было за герань, за мамино окошко с геранью в родительском доме.

С Гиларием Валерьевичем по этому поводу мы не разговаривали.

И вот однажды иду к нему. Почти уже полдень, но холодно-вато. Солнца не видно. Конец октября.

Перешёл улицу Молодогвардейскую со стороны Волги у Самарской площади и от газетного киоска вдоль заветного дома направился во двор его.

И вдруг мне что-то, довольно ощутимое, упало на голову. Я посмотрел наверх. Над головой, под окнами второго этажа, красовались два довольно приличных размеров цветочных ящика. В них — с крепкими сочными листьями цвела герань. Увесистые бело-розовые цветы её свисали вниз. Как я их раньше не замечал?! В этой шумной части Самары такие домашние, тихие — они не потерялись! Наоборот: украшали серый дом. Не дом, а герань было главное здесь!

Я наклонился и поднял лежавший у ног сочный цветок, вернее целую гроздь. Она была как живое существо. Хотелось погладить её, спрятать, укрыть.

Я поднялся на четвертый этаж.

Что-то там в звонке не срабатывало. Я с необычным нетерпением нажимал на кнопку. Наконец звонок заверещал..., дверь открылась и, когда я шагнул в длинный узкий коридор, хозяйки квартиры, попятившись спиной вправо, на кухню, спросил:

— Что это у тебя?

— Герань, — отвечал я и почувствовал, что нелепо улыбаюсь. — Вот, дарю её вам!

И стал сбивчиво рассказывать о случившемся.

Он внимательно молча меня слушал, пристраивая герань на подоконнике в подвернувшийся бокал с водой.

К его немногословию я привык, меня оно не смущало.

— Так, может, мой сборник назвать...

Я не успел закончить фразу. Продолжил он:

— «Окошко с геранью», по одной из песен. Я об этом думал.

Я поразился сказанному, но по инерции продолжал:

— Те, с кем советовался, не одобряют...

Он отреагировал спокойно:

— Никого не слушай! Тебе знак дан! Так чего же ты?

Он улыбался открыто. Светлые глаза его сияли.

Я так и сделал: никого не послушал, кроме себя и Маэстро.

Сборник был издан.

Многим запали в сердце эти два слова: «Окошко с геранью». Секретарь Союза писателей России Николай Михайлович Сергованцев, большой любитель песенного творчества, когда я приезжаю в Москву, часто упоминает в разговоре понравившееся ему название сборника. А я всё помню этот случай с цветком, упавшим мне на голову и по-детски улыбающееся лицо Маэстро...

\* \* \*

Небольшая деталь: двери его рабочего кабинета в филармонии всегда были открыты, в буквальном смысле. Они как бы приглашали на встречу. Гиларий Валерьевич любил людей. Это ещё одна грань его таланта. И люди всегда шли к нему.

Об этом хорошо сказал самарский искусствовед Митителло: «...Хочется перейти на ту сторону улицы, где он идёт, хотя есть люди, от которых, наоборот, бежишь, чтоб не встретиться».

\* \* \*

Маэстро намеревался отметить своё 75-летие в Самарской филармонии. Но не дожил до этого дня.

Коллеги приурочили к его юбилею концерт в филармоническом зале, назвав его «Музыкальное приношение».

В этот вечер двери Самарской филармонии, как и его кабинет, были открыты для всех, кто тянется к искусству. На сцене чередовались хоровые коллективы, которые так много обязаны таланту Беляева.



Солистка балета народная артистка России Анастасия Тетченко танцевала «Русский танец» П. Чайковского. Под управлением народного артиста России Михаила Щербакова были исполнены фрагменты из Пятой симфонии П. Чайковского. Звучали музыкальные миниатюры «Белые ночи» М. Шварца и «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, которые особенно любил исполнять в собственной обработке Гиларий Беляев.

Геннадий Матюхин объявил об учреждении премии имени Гилария Беляева и назвал первых её лауреатов.

А на экране, висевшем над сценой, шла череда фотографий, запечатлевших Беляева со многими знаменитостями, приезжавшими в Самару. Среди них: композиторы Тихон Хренников и Родион Щедрин, пианист Андрей Петров, певица Елена Образцова, дирижер Олег Лундстрем.

Звучали теплые слова о Гиларии Валерьевиче выдающихся музыкантов — народных артистов СССР Андрея Эшпая, Владимира Минина, народного артиста России пианиста Алексея Скавронского.

И над всем этим светлый взгляд Маэстро.

Особенно запомнились слова Андрея Эшпая:

— Это был прекрасный музыкант, прекрасный человек. К его сущности очень подходят слова Н.Я. Мясковского: «А всего-то и нужно быть искренним, пламенеть к искусству и вести свою линию».

Добавим к сказанному: «И уметь трудиться. Всю жизнь без-оглядно трудиться!»

## **Вишни в снегу**

Есть такой давний анекдот. Ведёт палач осужденного на казнь, а тот спрашивает: «Который сегодня день?» — «Понедельник», — отвечает палач. «Ну и неделька выдалась», — про-износит осужденный.

Нечто подобное случилось и со мной с самого начала нового года третьего тысячелетия. В первый рабочий день недели, 3 января, в присутствии более полусотни начальников цехов, отделов, главных специалистов было объявлено явившимися из Москвы новыми владельцами комбината, что с первого января я отстранён от должности генерального директора.

Таким новый год выдался!

Очевидно, невольно могу попасть в Книгу рекордов Гиннеса — 1-й безработный директор в третьем тысячелетии. Если учесть, что за неделю до этого я получил звание заслуженного инженера России, а чуть раньше Международную премию за проявление воли лидера и упрочение позиций своего предприятия, случай явно курьезный. Конечно же, полной неожиданностью это отстранение для меня не было. Когда два с половиной года назад наняли меня по контракту попробовать поднять развалившийся комбинат, имеющий непомерные долги, выплачивающий заработную плату с полугодовым опозданием, я понимал: чем быстрее я подниму на ноги этот, некогда один из крупнейших нефтехимических комплексов России, а точнее, СССР, тем скорее он станет привлекательным на рынке и возможно будет выставлен на продажу. Другими словами, чем лучше буду работать как директор, тем скорее останусь без должности, ибо по заведенной практике новый хозяин, обычно, меняет директора и часть управленческой команды.

Понимать-то понимал, но ведь и рассчитывал на разумное: если мне удалось (а другим трем директорам, сменившимся в течение четырех лет — нет) поднять завод, обеспечив и хорошую устойчивую рентабельность и прибыль, то какой резон новому владельцу комбината менять команду управленцев — мы нанятые специалисты, мы далеки от имущественных амбиций?

Ан нет. У нас, у русских, не как у всех. Обязательно по своему: уж если ломать, так ломать. Да ещё чтоб хребты трещали. Когда так нашу психику тронуло? В 17-м году или раньше? Но топчем друг друга в азарте борьбы и увечим. Будто не ведаем, что не соперника ломим, а самих себя.

— Да-да, мы хорошо знаем: ты — один из лучших в отрасли директоров. Конечно. Но, понимаешь сам, когда уходит президент страны, премьер и его команда — тоже уходят. Такова норма.

— Но президенты меняются, когда политический либо экономический кризис. Мой же завод работает так, как не работал уже лет десять. И ваши технические специалисты согласились с нашей концепцией дальнейшего его развития. Для чего менять? Я же не резидент иностранной разведки, — очевидно, не очень внятно пытаюсь добраться до истины.

— Послушай... знаешь что... мы тебя найдем, не горячись с выводами, у нас куча заводов...

...В тот день третьего числа после окончания рабочего дня непроизвольно собрались у меня в кабинете человек пятнадцать главных специалистов. Понурые и притихшие: завтра в этом кабинете утреннюю планерку уже буду проводить не я, а новый генеральный директор. Молча расселись за стол, все на свои обычные места. Мне невольно захотелось пересесть. Я встал со своего места около микрофона и сел к столу среди коллег. Они молча переглянулись. Шёл разговор глаз.

— Рентабельность по году тридцать два процента, объем переработки против прошлогоднего вырос в полтора раза. Таких показателей у комбината не было десять лет. Похуже бы работали, дольше бы комбинат наш не продали.

Это высказался под общее одобрение главный технолог, подтверждая ещё раз вслух то, что мы все понимали.

Я посмотрел на своих помощников. Мне было обидно за них. Собирал я команду по крупицам в течение последних двух с половиной лет. Отбирал «штучно». Большую часть пригласил с институтов. Многие с учеными степенями. Привыкшие к аналитической работе в вузах, они поначалу малость подрастерялись, увидев объемы, масштабы производства. Шутка ли: территория, которую занимает комбинат, равна семистам гектарам. Свои четыре тепловоза, депо, тридцать километров только заводских железнодорожных путей. Для того, чтобы оперативно вывозить продукцию, требуется иметь постоянно в обороте около девятисот железнодорожных цистерн. И над всем этим, над заводоуправлением высятся семидесятиметровые громадины-колонны центральных фракционирующих установок.

Мы притерлись в работе. И я считал всех и себя готовыми начать строительство новой, так нужной заводу, импортной установки.

Но...

— Вспомнил я один рассказ нашего цехового механика, — в тишине, подбирая медленно слова, с расстановкой заговорил мой заместитель. — На фронте ему однажды душновато показалось в блиндаже, вышел на воздух покурить. Немец помалу постреливал и вдруг совсем неожиданно как дерба-

лызнет прямо, как в точку, в блиндаж — и всех до одного, кто там был, наповал. А он лежит рядом целехонький, механик наш будущий.

— Не совсем понял, к чему это? — бесстрастно произнёс главный технолог.

Под статью ему бесцветным голосом мой заместитель пояснил:

— Наш генеральный, сдаётся мне, вышел покурить и — уцелел. А нам — копошиться в развалинах блиндажа, пошатнётся ведь всё...

...Когда ехал домой, в машине запоздало вспомнил, что в повести «Отклонение» описал первые дни и месяцы безработного, бывшего главного инженера крупного завода. И подивился. Я, выходит, один-то раз уже пережил такое. Забыл? У меня же есть опыт. Когда писал о главном инженере Касторгине, не спал ночами, так болел за него. Я его временами отрывал от себя, старался, чтобы он не был похож на автора, иначе читатель, знающий меня, будет недоумевать: кто есть кто? А теперь? Теперь мне захотелось приблизиться к герою моей повести — главному инженеру — и присмотреться. Поучиться тому, как он думал, как выцарапывался из волчьей ямы, в которую попал. «Есть ли у меня дома экземпляр повести «Отклонение» или нет? — думал я. — Надо к Касторгину прислушаться. Где неточно сказал, ведь теперь-то сам безработный. Был опыт на Касторгине, теперь — на самом себе. Может, поторопился писать повесть, вот теперь бы в самый раз...»

От завода до дома езды около сорока минут, кое-что можно успеть поворошить в памяти.

Виктор Стражников, директор из моей повести «Черный ящик» смотрел на меня испытующе из своего времени. Мне кажется, я чувствовал рядом его дыхание, видел его лицо. Он подтолкнул меня в начале этого года на мысль делать эти записки. Он как бы выверял автора на стойкость. Ну что ж, смотри, мой герой, на своего автора.

...Вспомнился недавний разговор с писателем Семёном Ивановичем Шуртаковым в его московской квартире на улице Усиевича в последнюю мою московскую командировку.

— Странное дело, вот ты же невероятно занятый человек, руководишь огромным комбинатом, казалось бы, где время

братъ, а в прозе твоей не чувствуется никакой поспешности. Это хорошо. Но как это удается?

Его манера говорить, легкая походка и отцовская доброжелательность напоминали мне Григория Федоровича, моего старшего приятеля, живущего в Новокуйбышевске. Как оказалось, они одноклассники, фронтовики. Они из того поколения наших отцов, которое дало нам всё, чем мы владеем. Они многое прошли и многое повидали в жизни.

— Да вот.. — пытаюсь я как-то ответить на вопрос. Но он, я вижу, не ждёт ответа, быстрыми легкими шагами передвигается в своей заставленной книжными шкапами квартире и ищет, во чтобы мне упаковать четыре тома самого полного третьего издания словаря Даля. Мои уверения в том, что у меня есть дома в Самаре второе издание этого словаря, сделанное книгопродавцом-типографом М.О. Вольфом в 1880 году, его не останавливают:

— Вот привезёшь в Самару, помотришь и увидишь, какая разница между ними. Это же репринтное воспроизведение с третьего издания 1903 года под редакцией профессора Бодуэна де Куртене. Самый полный словарь. А роман мой прочёл? — вдруг спрашивает без всякой связи.

— Не нашел пока в библиотеках, — мямлю я. — Сборник рассказов «За всё в ответе» у меня на столе.

— Ай-яй-яй, мог ведь бы и прочесть.

Он ведет семинар прозы в Литературном институте и менторские, учительские нотки в разговоре иногда проскальзывают. А может, мне только так кажется. Может, это возраст толкает к тому, а не учительство. Я не был студентом Литературного института и не могу знать тамошних отношений ученика и учителя.

Он быстро присаживается за небольшой стол в углу и что-то пишет, не спеша и аккуратно. Встает и протягивает мне номер «Роман-газеты XXI век» с его романом «Одолень-трава», за который получил когда-то Государственную премию СССР.

Потом спиной к окну садится в кресло, некоторое время сосредоточенно смотрит на меня и произносит:

— Видишь ли, так тянуть долго нельзя, конечно, советы давать легко, да я и не советы даю. — Он помолчал. Затем не

очень уверенно сказал: — Но ведь надо что-то делать?! Надо отказаться от производственной деятельности. Твои повести — это серьёзно. Надо писать. Ты — писатель.

«...Да-да, очевидно, так. Журнал «Молодая гвардия» начина-ет публиковать мою повесть. В журнале «Москва» готовят к печати отрывки из другой вещи...» — мысленно соглашаюсь я.

Вдруг мой собеседник, застыв посреди комнаты, вполне искренне спохватился:

— Но надо же самому думать, самому решать. Дело-то такое тонкое...

Что теперь решать, дорогой Семён Иванович, мой неожиданный наставник? Всё решено.

Одно ясно: меня внезапно выбросило из мутного потока, в который попала наша отечественная нефтехимия, на берег и я вместо того, чтобы сопротивляться этому, кажется, помимо своей воли, всё ближе и ближе подхожу, опасно озираясь и удивляясь непрактичности своих намерений, к другому мощному и непредсказуемому потоку: литературному...

...Но стоит ли торопиться?

Может, отлежаться некоторое время на берегу, между двумя потоками, до своего времени...

...Делаю эти записки девятого января после похорон моего хорошего знакомого, похожего на Семена Ивановича. Такой же поджарый, приветливый и доброжелательный, и фронтовик — Интересов Григорий Федорович — умер шестого января. Мы знали друг друга лет тридцать. Работали в одном цехе. Потом он ушёл на пенсию. Но мы продолжали встречаться, несмотря на большую разницу в возрасте. Нам было интересно общаться. Он любил мне дарить что-нибудь из своего сада: черенки винограда, смородины.

В памяти всплыли майские дни двухтысячного года. И его вишни в моём саду. Я приехал на свою дачку с ночевой и, проснувшись утром рано 1-го мая, был изумлен. Накануне обещали сильные заморозки на почве и я долго вечером ходил около буйно цветущей, другого словосочетания, как ни банально, не подберёшь, вишни и с досадой вздыхал. Уж больно хорош был наряд красавиц! Белые и чуть нежно-розовые лепестки так невинно и безропотно смотрели на меня! Я, весь уже покорившись неизбежности грядущей с сумерками для них беды, не

знал, что делать. Такого цветенья вишен ещё не было, да и не плодоносили они пока ни разу, хотя пошёл шестой год, как высадил я их под окошком около березы. Каждый год Григорий Федорович вместе со мной ждал первого урожая.

Утром 1-го мая случилось чудо. Выпал снег, он лежал толщиной до 10 сантиметров, искрящийся и необычайно чистый!

Был страх за всё растущее и цветущее. Сразу вспомнились строки Есенина:

*Я по первому снегу бреду,  
В сердце ландыши вспыхнувших сил.  
Вечер синюю свечкой звезду  
Над дорогой моей засветил.*

И не к месту вроде бы, и совсем иной смысл звучал сейчас, применительно к майским заморозкам в словах:

*Я по первому снегу бреду...*

Всё увядало, замерзало на глазах, совсем неожиданно, случайно. Пропадала логика явлений в природе: вначале тепло спровоцировало буйное цветенье, а потом природа сама себя и губит.

Я подошёл к вишням. Картина была изумительна. Не знаю, чего было больше на ветвях: цвета или снега. Всё вперемежку. Всё нежно, невинно и — гибельно. Неизъяснимая нежность возникала в душе при виде этого сказочного убранства вишен. Холодно-ватно-изящные веточки, опушённые искристым снегом, пронизанным нежно-розовым цветом, рождали неожиданную тревожную радость. И это несмотря на то, что всё должно было погибнуть!

*«В сердце ландыши вспыхнувших сил...»*

...2-го мая весь снег растаял.

На удивление в свой срок появилась завязь. И настал день, когда ветви стали ко всеобщему восторгу ломиться от наливающих ягод. Это было чудесно! Когда я брал в рот ягоду, то ощущал и тот холодок, который коснулся вишен в мае.

Мы, все, кто жил на дачке, договорились: есть только с куста, не собирать ягоды в посуду — так вкуснее. И вся детвора в округе это одобрила. Было вкусно и забавно. Около вишни был часто смех и радостные лица...

Почему я сейчас пишу об этом? Казалось бы, не к месту эти мои воспоминания.

Но они жили во мне всё лето, осень. И сохранилось до зимы это изумление, которое я испытал при виде заснеженной цветущей вишни. Я тогда, на бегу, записал кое-что на обрывке бумаги. И потерял написанное. Но снова всё всплыло в памяти. Оттого ли, что похоронил я сегодня одного из моих друзей, потому ли, что меня ушибла моя отставка (не думаю, что так). Или пришло на моём пути по моим колкам и перелесьям время вспомнить и обернуться: уже многих нет. И с теми, кого нет — кого любил — отлетела частица меня. И меня становится всё меньше и меньше. Так привязался душой к ним. Неужто так уходят от человека жизненные силы? От тебя к другим — кого любил. И многих уже нет. Куда же всё уходит?!

*Вечер синюю свечкой звезду  
Над дорогой моей засветил.*

...Чем старше становишься, тем тоньше и пронзительнее любишь...

Иногда в школьные годы, лет в четырнадцать-шестнадцать возникал вопрос: а какой он будет двадцать первый век? Какие мы будем? И тут же рождалась холодноватая, но не пугающая мысль: а доживу ли я до этого времени?.. Уж больно солидный, казалось, ещё был впереди запас времени. Думалось, что на всё хватит. Ан, нет. Не хватило на всё...

...И вот, оказывается, не только дожил, но пришёл по своим колкам и перелесьям к рубежу столетия, как ни странно, молодым...

О, наш рациональный и циничный век!

Уже и анекдот есть про третье тысячелетие.

Один мужик спрашивает другого накануне нового года: «Ты что будешь делать в третьем тысячелетии?» Тот, усмехнувшись, ответил незатейливо: «В основном лежать».

...Я ещё в свои 56 лет до конца не понял, что самое главное в жизни. И себя не понял до конца...

И застигнут в пути третьим тысячелетием в таком состоянии, когда многое в жизни ещё не попробовал... И так много ещё хочется сделать!



...А моя отставка как неожиданные заморозки в майские дни. Она не может быть губительной для меня. У меня есть пример белоснежных вишен в моём саду, расцветших в поспевающих майские дни последнего года второго тысячелетия.

И перед глазами моими — налитые алым соком ягоды вишни! И весёлые лица детворы!

И детский смех — бессмертный во всех тысячелетиях!

*2001 г.*

# Красносамарские родники

*Многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу.*

**Мишель Монтень**

## Затея моего внука

Подбил меня на это наше неожиданное путешествие приехавший на лето из Москвы четырнадцатилетний внук Саша.

Слушая мои рассказы о сплаве на резиновой лодке от истока реки Самары до её устья, он загорелся:

— А давай махнём вдоль Самарки на велосипедах!

— Это ещё зачем?

— Испытаем мой новый велик!

— Там же бездорожье. Кругом всё заросло!

— Вот и хорошо! — воодушевился внук. — Пересечённая местность. Как раз то, что надо! Тут колесить вокруг дачки скука...

И, не давая мне времени на раздумье, наступал:

— Вернёмся домой, отдохнём денёк и покатаем до села Богатое! Или дальше, к Бузулуку! Смотреть Бузулукский бор.

— Вдоль Самарки до Бузулука? — качал я головой. — Далековато!

У внука свои доводы:

— Я посмотрел по карте. Там асфальтовая дорога.

— До Богатого сорок километров в один конец, — пытался я охладить его.

— Нормально! — бодро реагировал он. — Классное испытание для велика.

Я согласился на поездку до посёлка Красная Самарка. Внук, довольный, успокаивал:

— Разберём велосипед, положим в машину — и в Утёвку. Там переночуем, а с утра — в путь. Всего-то не более, как ты говоришь, пятнадцати километров. Доберёмся до моста под Крепостью, посмотрим родники. И обратно. Сам же говорил, что соскучился по ним.

«Действительно, — мысленно упрекал я себя. — В его возрасте от такого велосипеда и у меня бы дыхание перехватило. С каким удовольствием он поглаживает его чёрный руль! Как я в своё время шею резвого жеребчика».

Этот низкий прямой руль его велосипеда похож на рога крепких бычков, которых я видел однажды в Барселоне на

корриде — артистически запланированном мерзком действии с обязательным убийством и кровью...

...И весь велосипед внука — рвущийся вперёд, нетерпеливый, наполненный неудержимой энергией, приземистый бычок.

Горный велосипед фирмы «Трэк» — импортное маленькое чудо. С восемью звёздочками на заднем колесе для переключения скоростей, задним и передним ручными тормозами. С хищными жёсткими протекторами шин, удобным широким сиденьем. С компьютером для замера скорости, расстояния, времени в пути, текущего времени.

«Ну разве то, что я стал с трудом переносить жаркое солнце, — причина не ехать?» — колебался я.

— Саша, куда? — когда рядом не было внука, тихо протестовала против нашей поездки жена. — Вот только, как по семь часов лежал под капельницей. Мыслимо ли? Не молодой уж...

— Мыслимо! — больше убеждая себя самого, отзывался я. — Одно дело — эта больничка, откуда вырвался, слава Богу, живым, другое — Самарка!

— Это ж не в машине с кондиционером! На солнцепёке! Целый день?! На дворе самая макушка лета!

— Вот увидишь: жара спадёт. Притом там кругом вода...

— Всё бы тебе рваться куда-то, хватит уж...

Увы, жена моя не права. Уже не рвусь. Не так рвусь... Стал тихоходом. Часто теперь откладываю задуманное на «потом». Многие стал не успевать...

\* \* \*

Через пару дней мы втиснули по частям разобранный велосипед внука в мою машину и отправились в село, в котором я родился и постоянно жил до восемнадцати лет. В Утёвку!

## **Пшеничное поле**

Мы переночевали у моей сестры в Утёвке и рано утром, распахнув широкие жердяные ворота, выехали с затравешного двора.

Решено было, заехав левее от села в Угол, точнее в Ясашный угол, подняться вдоль реки вверх до Крепости. Официально

этот посёлок теперь называется Красная Самарка. Перебраться, если он ещё есть, по мосту на ту сторону реки. И там попить холодной водицы! Насладиться родниковыми струями, бьющими из массивной кручи, уходящей вверх, к Бариновой горе. Вернуться к вечеру домой. Всего-то!

...Выехали на окраину села. И сразу оказались в Ясашном углу — пространстве между селом и речкой, разделённом надвое старым ветельником.

Старенький, с поржавевшими крыльями и рамой, дорожный велосипед Пензенской фабрики, взятый мной напрокат у племянника Сергея, оказался вполне сносным транспортным средством. Его затрапезный вид меня не смущал. Наоборот, как-то даже убеждал своим позвякиванием разболтанного багажника в запасе выносливости на привычных ему местных дорогах.

...Ясашный угол! Я всегда любил это место. Со школьных лет знал, что до отмены крепостного права жители моего села, которому теперь поболее двухсот лет, относились к двум земельным обществам: Ясашному и Удельному. Удельные крестьяне платили все налоги князьям царствующей династии Романовых. А ясачные (в Утёвке говорят: ясашные) платили ясак государству. Вот этот ясашный люд и жил на краю села, примыкавшем к Самарке. В детстве здесь, на окраине сельской улицы, встречался я со знойным духом высокой золочёной пшеницы. Это было чудо! Песенное чудо! Широкий простор пшеничного поля, волновые приливы и отливы золотящейся нивы захватывали дух. В последние годы пшеничное поле было только слева от дороги и уходило бескрайне куда-то, мимо села, на запад. Соединялось своей позолотой с небесной синью горизонта. Синее и золотое! Особенно волновало меня поле в пору созревания злаков, когда вдоволь солнечного света и властвует он над головой, проливаясь в волнисто-дремотное чудо...

...Когда я был совсем мал, пшеница шумела и справа от дороги. Дорога шла по полю. И, чтобы добраться до речки, надо было не менее версты пройти по этому чудесному уголку, где налитые колосья стояли вровень с твоими глазами. Забудешь ли такое!..

...Сразу же вспомнилось другое: полузабытые уже, глубинные запахи обработанной после августовских знойных день-

ков земли. Над полем в такие дни веяло духом соломы, на-  
стоенном на запахе работы, из года в год вершимой с потом,  
улыбками, озабоченностью и верой в матушку-кормилицу, в её  
щедрость...

Едва мы, оставив мост и речушку Прыгалку справа, выско-  
чили из села на простор, сердце сжалось. Где же оно, поле?

Не было золотящегося, волнующегося моря. Стоял поре-  
девший ветельник справа, а слева вместо золотистого было  
серо-бурое пугающее пространство, заросшее всевозможным  
сорняком. Сорняк тут был как бы уже и не сорняк. Полынь,  
берёзка, череда, репейник — они властвовали вокруг. Власть  
себе. Вольготно и безудержно. Становилось не по себе.

Озираясь, я машинально нажимал на педали. Дорога сама  
привела куда надо. Туда, где мы, ребята, купались — к реке.  
На Искровскую купалку, обычно летом шумную и разноголо-  
сую. Теперь слева на подходе к купалке, на ровной площадке  
раскинулись ряды огромных теплиц. Я в замешательстве на-  
считал их двенадцать штук! Шесть рядов, по две длинных те-  
плицы в каждом. Не верил тому, что видел. Не воспринимал до  
конца. Мы с внуком спешили, положили велосипеды сбочь  
от дороги на траву.

Что же тут вершится?

Теплицы стояли по левую сторону дороги, по правую была  
сторожка. Через песчаную дорогу от реки тянулась толстая  
тёмная труба. Явно для полива.

Мы пошли в сторону теплиц. Всё устроено с широким раз-  
махом.

Помидоры в укрытии висели непривычно огромные для на-  
ших мест. Их было неестественно много, и кусты были в чело-  
веческий рост. Зелень и ярко-красные плоды напирали, ломи-  
лись через полиэтиленовую плёнку наружу. В торцах теплиц, с  
обеих сторон, плёнка была приподнята, и там зелень и помидо-  
ры были ещё ярче и вызывающими, что ли...

Потрогал одну помидорину. Она была тяжёлая и тугая, будто  
из чугуна. Внук последовал моему примеру. И тут же оценил.

— Во накачали! — удивился он.

— Что? — не сразу понял я.

— Помидоры химией накачали. Видно же, ненормальные.  
Кто их есть такие будет?.. Вышерли!

Никого вокруг не было. Всё открыто, доступно. Так бывает у хозяина, который временно отлучился и который не опасается, что кто-то чего-то тут тронет. Как так? Он тут главный... Попробуй!.. Ощущение того, что этот «кто-то» очень уверенно, без оглядки, властно заполнил освободившееся, а вернее бросовое поле, ранее звенящее тугим пшеничным колосом, делало всю округу чужой, не похожей на прежнюю...

### **С подбитым крылом**

Тут, где высокий обрыв и пошумливает добравшийся старым ветельником из широкой степи с ильменьком ручей, всегда было шумно от купающихся. Искровская купалка, знаменитая своей золотистой косой из мелкого сыпучего песка по правому берегу реки, всегда притягивала. Теперь песчаной косы почти не стало. Берег местами до воды зарос вездесущим осинником и многочисленными лопухами. С высокого берега река кажется уменьшенной, стиснутой берегами.

Когда спустились к воде, у коряжины поднялся рыбачок. Обросший почти до глаз. Как домовый... Но вроде знакомый... Машинально почти, занятый попыткой вспомнить, узнать, кто передо мной, спросил обычное в таких случаях:

— Клюёт?

— Какое тут клюёт?! Тарахтелку поставили как раз над моим прикормленным местом. Вона! — он указал на насос у самой воды и солидную трубу, уходящую через дорогу к теплицам.

— Как же так? — вырвалось у меня. — Раньше тут по-другому было.

— А вот так! Мы забросили, а они — прибрали. Кто прав? — Стариковские глаза рыбачка смотрели понуро.

— Кто «они»? — не понял я.

— Китайцы, — последовал ответ, — кто ещё?

— А кто разрешил?

— Кто ж в наше время что знает. Разрешили. Так бы они не стали... Это мы сами всё творим. Сами себя... Чё на них-то?..

Мы перекинулись ещё несколькими фразами. Когда уже поднимался вверх, услышал:

— Сашк, ты, что ли?

Обернулся на голос.

— Жека Давыдов! Не признал?

— Ты ж на северах всегда был? — удивился я, взглядываясь в рыбачка.

— Был, да теперь нету. Все мои тут померли. А дом остался. Ну, и решился...

Я спустился к нему. Неожиданно для себя спросил:

— Помнишь ли, какое здесь было море пшеницы? — и махнул рукой наверх.

— Эх! Помню ли? Забыл, Маляк, что отец мой тут обычно косил пшеницу? А я у него помощником комбайнёра работал...

«Он и прозвище моё школьное помнит, «Маляк», надо же...» — подивился я.

Если бы он не назвался, я бы не разглядел в приземистом косматом туземце своего бывшего одноклассника, ушедшего после седьмого класса учиться в ремеслуху. Мыкавшегося всегда где-то на стороне, в поисках лучшей доли. После школы больше не видел его. А тут — встреча на реке!

...Эти теплицы, труба через дорогу, положенная, как шлагбаум... Вроде бы никто уже не имел права проезжать к реке запросто. И эта встреча с одноклассником! Так всё повлияло на меня... И едва начавшийся наш путь увиделся мне в особом свете...

С Женькой мы сидели за одной партой в пятом классе, вместе рыбачили на Самарке. Прибегали пораньше, часа в четыре утра, чтобы никто не видел, проверить подпуска, поставленные накануне поздним вечером. Азартным был Женька и неутомимым в рыбалке. А уж в настырности не было равных...

...На какой-то момент при этой встрече Женька приблизился так, что вязко пахнуло перегаром. И я увидел совсем близко его... кроличьи глаза.

— Сашк, это... ну, дай рублей пятьдесят. Знаешь... по старой дружбе, горит...

На миг растерявшись, я суетливо полез в рюкзак за кошельком.

...Когда мы уходили от Давыдова, я всё оборачивался. А он стоял и смотрел на нас молча, похожий на дремучий пенёк у воды. Или большую нахохлившуюся птицу с подбитым крылом.

— Увидимся ещё, — крикнул я. И не почувствовал от своих слов облегчения.



## Самописки и макалки

Женька, Женька! Помнишь ли ты наше горькое поражение в пятом «А» классе? Дело было связано с моей самопиской. Авторучками писать нам учителя тогда не разрешали. Следили за почерком. Но куда уж больше можно было испортить мой почерк? Писал я, как говорила наша классная руководительница Нина Петровна, издевательски.

Я сам не знал, почему так писал. С наклоном в левую сторону, да ещё мелкими-мелкими буквами. Она, не морщась, читать мою писанину не могла.

— Не буквы, а муравьи, — щурясь за толстыми стёклами очков, укоряла она.

— Муравьишки! — повторяла она. — Те, что по столу любят бегать. Не стыдно тебе?

— У нас по столу в доме муравьи не бегают, — возражал я настырно. — Мама заругает за крошки.

Новый виток недовольства мной породила моя авторучка. Невзирая на замечания, я стал писать на уроках только ей. Учителя поделаться со мной ничего не могли. И я не мог. Им со мной оказалось сладить труднее, чем с теми, кто был левшой. Тех насильно заставляли писать правой. Упрямства во мне было хоть отбавляй. Но в данном случае, как я тогда думал, моё сопротивление было оправданным.

Всё-таки какая это замечательная вещь — самописка! Чернила не надо носить — это раз! Деревянную ручку — «макалку», у которой часто ломалось перо в сумке, — тоже можно забыть. Это — два! И клякс нет от самописок! А эти деревянные...

Вера в свою правоту и в справедливость придавала силы моему сопротивлению. Как давно это было! И как далеко ещё до повсеместного появления авторучек, тем более шариковых. А до теперешних сотовых телефонов, компьютеров — полвека!

Тогда в нашем классе я оказался единственным владельцем такого самопишущего чуда. Выпросил я авторучку у моего дядьки Алексея. Нет, может, у кого-то и была дома авторучка, но в классе писали только обычными. Макалки перья в громоздкие белые непроливашки, которые приносили с собой.

Когда принёс впервые в класс своё сине-белое чудо — конструкцию с резиновым чёрным колпачком (что-то вроде тех,

какие бывают у пипеток на пузырьках в аптеке), с приплюснутым блестящим пером, похожим на нос ёжика Тихона, живущего у нас в норе под погребницей, авторучка стала враз предметом общего внимания.

— Жалко такую, — сказал мой сосед по парте Женька Давыдов. — Нина Петровна сразу отберёт. В старших классах разрешают, а у нас — безнадёга.

— А я буду писать! — вырвалось у меня. — Вот посмотрите!

— Посмотрим, сказал слепой, как безногий спляшет, — пробубнил Женька.

Я было уже обиделся на такие слова друга, но тут услышал от него:

— Держись, Маляк! Я за тебя. Если не будешь бояться, останут.

Противостояние моё с Ниной Петровной длилось целую неделю. Я видел, что учителя не все одинаково относятся к тому, что я пользуюсь авторучкой вместо макалки. Историчка и географичка, например, будто и не замечали моей авторучки. Я не уступал. И авторучку не отдавал Нине Петровне, получив несколько «последних» замечаний. И не боялся, что меня поведут к директору в кабинет для разбирательства.

«Пусть ведут», — думал я.

Директор наш — большой и рукастый, мне казался таким же правильным и добрым, как мой дед Иван. Мне даже пришла мысль самому пойти к директору в кабинет...

Всё закончилось до обидного быстро и неожиданно.

На одной из перемен авторучка из моей сумки пропала.

— Всё ясно! — объявил Женька. — Я видел, как Зинка Храмова вертелась около твоей сумки. Ещё подумал: чего это она? Не сообразил вовремя. Не зря она ушла с уроков.

— Неправда, она не могла взять! — горячилась подруга Зинки Олечка Кудряшова.

— А если её попросила Нина Петровна, — не уступал Женька. — Она может такое...

...На следующий день Зинка, выслушав обвинение моего друга, назвала его дураком. И запустила в него тряпкой. И снова ушла с уроков.

— Артистка! — сделал вывод Женька. — Похоже, что это она сама сделала, без Нины Петровны.

— Она не боится с уроков уходить. Почему? Они заодно? — не переставал обдумывать случившееся Женька.

Я не знал, что делать. Понял, авторучки больше мне не видеть.

Когда пришёл домой, сказал и о пропаже, и о догадках Женьки.

Бабушка Груня удивилась:

— Неужели они там такую политику развели? Чтоб только неповадно другим было? Не верится, чтоб учительница заставляла воровать!

— Нина Петровна — опытная, — усмехнулась молоденькая англичанка Ангелина Сидоровна, жившая с осени у моих бабушки с дедом на квартире, — очень даже опытная... Это не политика, баб Грунь, а педагогика. Так, значит, надо, — поясняла она.

— Это как же «так надо»? Чужое-то брать? Нехорошо... Этому, что ли, вас в институтах учат?

Дед Иван рассудил по-своему:

— Не грусти, Шурка, шут с ними. Вот кто-нибудь принесёт мне подшивать валенки — появятся деньги, куплю тебе самописку. Только больше рот не разевай.

Мне верилось: мой дед говорит не для того, чтобы просто успокоить меня. Он обязательно сделает, как сказал, безо всякой педагогики. Дед просто меня любит.

...Но так долго почему-то не приносил никто подшивать валенки, хотя на дворе уже крепко трещали морозы. А потом наступило лето, каникулы. Валенки подшивать так никто и не принёс...

## **Прививки на реке**

Этот благодатный участок реки от Исковской купалки до моста под Крепостью в детстве был нашим вторым домом. В нём жизнь текла по-особому: и на глазах родителей, и без них. Самостоятельная! Здесь мы, ребятня, и дружили, и ссорились. Рыбачили с ночевой. Добывали себе пропитание. Поречье подкармливало нас. Дикий лук, щавель, дикая мука, ягоды боярышника, черёмуха, ежевика, смородина, вишня, клубника — всё это в свой срок появлялось на заветных солнечных полянах, влажных луговинах, сумеречных овражных зарос-

лях... Мы знали эти места наперечёт и совершали туда мальчишеские вояжи. Всегда ватажкой, часто с забавами и приключениями.

Трудились вместе с родителями постоянно. Но находили себе забавы и приключения, которые и теперь, во взрослой жизни, не стёрлись из памяти. Наоборот, приобретая со временем особую прелесть, они хранятся в глубине сознания. И порой напоминают о себе. Как отблески костерка, неподвластного никаким ветрам.

Вот по этому берегу реки, от Искровской милой сердцу купалки, мы и решили добраться до моста под Крепостью, до посёлка, теперь называемого «Красная Самарка». Чуть выше него на правом берегу и бьют Красносамарские родники.

Кто заражён с детства сладким недугом — рыбалкой, тот поймёт прелесть встречи с родной речкой. Множество случаев помнят её берега, водица её! Помнят тебя, когда, подгоняемый неистребимой рыбацкой страстью, нетерпеливо сползал ты по песчаной круче с удочкой в руке. Помнят и твоих сверстников, которые теперь седовласые и важные, суетливые и непоседливые, редко приходят сюда. Не забыли берега и тех, увы, которых уже нет.

Непривычная дрожь, трепет прорываются в голосе и становится трудно говорить. Да и не скажешь самого истинного вот так, сходу, на этом берегу. Даже внуку.

Очень многое ворохнётся в душе. Не только от воспоминаний о рыбалке. От лиц, голосов тех, кто был с тобой на этих берегах. Река объединяла нас! Манила к себе. Она сплачивала всех в проказах, курьёзах, прозвищах, ночёвках. Во всём впеременшку.

Многого не было в детстве у нас. А река давала своё. То, чего порой не найдёшь даже в незаменимых для села клубе или библиотеке. Она давала изначальное чувство родины! Это я теперь так формулирую. Река давала прививку на всю жизнь. Прикинул невольно: из тех, кто самозабвенно тянулся к нашей реке в детстве, не припомнил ни одного дурного человека. Через всю жизнь, не сознавая того, несли они этот изначальный заложенный добрый свет своих истоков, запас доброты. Река и растила, и воспитывала... В детстве мы все были ближе к земле...

Всегда, едва заговоришь о Самарке, — о Самарке из нашего детства, — светлеют лица. Пробивается это неодолимо в любую погоду и в любое время года.

Сколько раз я в детстве ходил по этим берегам? Сотни! Тысячу! А вот так проехать на велосипеде, заранее зная, что придётся продираться через заросли, по бездорожью, наугад, — впервые. Было десять лет назад нечто похожее. Тогда я сплавлялся от истока Самарки до города Самары с приятелями. Двадцать два дня сплава на рыбацкой резиновой лодке — это неповторимое по ощущениям и впечатлениям событие! Тот маршрут был в пятьсот километров, теперь — около пятнадцати со всеми зигзагами...

И намеревались мы преодолеть эти километры вдоль воды на велосипедах! Будут ли нам они помощниками или станут обузой?.. Внук рвётся вперёд! Его юный возраст крепит в нём оптимизм.

Но я помню те канавы, овраги, завалы, которые нам с ним предстоит преодолеть... И сколько раз моя память наткнётся на встречи, подобные той, которая случилась в самом начале нашего пути.

Мне с моим прошлым и моей памятью о детстве на этих берегах непросто. Но раз поддался на затею внука, терплю. Демонстрирую, как могу, бодрость духа.

## **Серые осины**

Берег реки между Искровской купалкой и Ледяной, которая у нас была впереди, мне помнится всегда высокими осинами. Их было здесь около десятка. Огромные, с серой корой. На крутом берегу, будто нарисованные, выступали они большим светлым пятном, отмечая собой край бахчей. Впримык к обрывистому берегу. Этим горемычным осинам не везло. Зимой их часто объедали то лоси, то зайцы. Осины постоянно, когда бы ни появлялся около них, долбили дятлы. А потом в этих дуплах жила всякая мелочь. Осы, огромные шершни...

«Не от такой ли жизни, — думал я, — у осин всегда дрожат листья? Даже когда нет ветра».

Тяжёлый осиновый лист всегда шевелился, оттого под этими деревьями меня одолевало беспокойство. Листья словно жало-

вались на свою жизнь, предчувствовали плохое. Мой отец называл осины дрожалками. Многое уж забылось. Но временами мелькнёт в памяти то белая эмалированная чашка с мёдом, который мы пробуем с братом, макая в него коркой хлеба. То особо сладкий, незабываемый вкус «Победителей» — небольших, с мелкими чёрными семечками, с ярко-красной и сочной мякотью арбузов.

Ни арбузов, ни пасеки теперь здесь нет. И нет, будто нарисованных, толстенных, с шероховатой серой корой, трепетных осин. Великий художник природа «нарисовала» когда-то их, а потом взяла и стёрла, как неудачный черновик. Осины снесло бурным потоком внешней воды в водополье вместе с многочисленными осиновыми корневыми отпрысками. И следа не осталось. Не зря так жалобно трепетали они...

Давно это было. Вмешался человек. Теперь на месте осин и бахчей шелестят высокие берёзы.

Только на левом берегу Самарки у озера Лопушного росли в нашем листопадном лесу две берёзы, больше нигде. До сих пор помню их клейкие листочки по весне. Потом берёзы появились в лесопитомнике. А теперь тут, у Самарки. Целая роща!

Я не удержался и, оставив на круче велосипед, вошёл в березняк. Внук последовал за мной. Трава под деревьями чудосочная. Но сколько тепла и света! Веет знакомым, невыразимо родным лесным духом.

Едва слышно пролетела меж ветвей желтобокая птица. Не села на ветку. Нас увидела и не решилась.

— Кто это? — шёпотом спросил внук.

— Иволга, — ответил и я, тоже почему-то шёпотом, — видно, здесь где-то у неё гнездо. Она любит берёзовые рощи.

— Сразу бы и не подумал, что здесь живёт иволга, — сказал Саша, когда мы уже выходили из леса.

— Почему?

— Не знаю. Мне казалось, что иволги бывают в чащобах, в темноте. В дуплах дремучих деревьев.

— Теперь знай, — наставительно сказал я. — Если захочешь услышать, как она нежно поёт, можем приехать сюда.

— А когда надо приехать?

— Иволга поёт на зорях.

— Я готов.

— Сегодня уж точно не получится, — откликнулся я, — отложим на потом.

Мы остановились на выходе из рощи в тени особо рослой с бугристыми наростами тенистой берёзы. Ствол берёзы опоясан кольцом чёрных ямок. Знакомое дело.

— Смотри, — говорит внук, — будто кто буравчиком работал. Что это?

— Дятел трудился, — отвечаю. Задрав вверх голову, осматриваю лесину со всех сторон.

Видно, дятел не раз до нас тут побывал. Пробив своим умелым клювом бересту, пил весной берёзовицу — прозрачный сладковатый берёзовый сок.

Когда уже подходили к велосипедам, заметили, как в рощицу устремились дрозды. Одна стайка... вторая...

— На спевки слетаются, — предположил я.

— А мы уходим... — отозвался внук.

Я невольно замер, вновь оглядывая берёзовую рощу. Не хотелось уходить. Чувства смешались. Отраднo было наблюдать неудержимую жизнь там, где когда-то стояли всего лишь несколько горемычных осин. Особенности они были для меня... Незабываемые...

...И чем дальше удалялся от берёзовой рощи, тем сильнее чувствовал некую недосказанность... Теперешняя действительность была иной. Ей чего-то не хватало. Или мне?..

Невольно вздрогнул. Вспомнилось!

Это место около серых осин в моём детстве было особым ещё по одной причине. Сюда часто наведывались таинственные и жутковатые сумеречные существа — летучие мыши.

Мой дед говорил, что прилетают они из ветельника, где у них жилища в дуплах старых деревьев. Там они спят, повиснув вниз головами.

Прилетали они к нашему шалашу, может быть, потому, что привлекал их, как и меня, светло-серый свет, идущий от осин. А может, комары да мошки, которыми они питаются. Их тут было всегда много. Мыши появлялись около осин в сумерках, с их тёплой, обволакивающей глубиной света, открывающейся бесконечностью, не понимаемой, но ощущаемой всем существом. Появлялись во времени суток, вовлекающем тебя в

непривычное ощущение пространства. Вроде бы конкретного, понятного до мелочей: вот шалаш деда, вот рыдван, вот, наконец, под обрывом Самарка. И в то же время — в пространство бесконечное, великое... Такое великое, в котором ты меньше обычной точки в миллионы раз...

...И свежесть набухающих сумерек, мерность их повторения, и властное проникновение во всё, красота во всём, не отделяют тебя от всего, не оставляют одного. Наоборот, ты становишься причастным, чувствуешь некое предварение чего-то необычного. Того, что когда-то должно с тобой произойти в сумерках, либо уже происходит. Только не дано тебе пока понять этого ещё в полную меру...

...Я тогда ни разу не попытался отыскать летучих мышей днём в их дуплах. И не из-за страха. Не решался нарушить нечто таинственное, не своё.

Сумерки приносили с собой не только этих летучих мышей. С ними приходило ощущение двойственности окружающего. Вот ты, а вот нечто другое, некая сдвижка, другой мир. И эти писклявые, с приплюснутыми мордочками, раскосыми глазами существа, носившие своих детёнышей постоянно в мешочке между хвостиком и задними ногами, будто оттуда: из иного мира, попавшие в этот разлом — сумерки. Застигнутые сумерками и обнаруженные случайно вроде бы, но в какой-то странной связи с окружающим. Как следствие чего-то, чего в другом месте на Самарке и быть не может...

Тёмные силуэты ночных летунов так стремительно проносятся над головой, их непривычный тонкий писк так тревожен, что начинает казаться: сейчас обязательно что-то случится грандиозное. Это всё неспроста! Не зря они так носятся над головой, на фоне вроде бы спокойного и тёплого неба. Это у них не просто охота на ночных бабочек...

...В иной момент начинало казаться, что эти необычные существа враз над твоей головой могут превратиться в огромных крылатых ящеров. Или ещё в кого... И мало тогда не покажется...

...Поневоле озираясь, я начинал пригибать голову и оглядываться на сумрачный ветельник. В нём, скорее всего, могла прятаться страшная нечисть... Больше негде ей тут...



\* \* \*

Только совсем недавно узнал с удивлением, что у нас в Поволжье обитает до пятнадцати видов рукокрылых (летучих мышей). Много скоплений их в Ширяевских и Богатырских штольнях Самарской Луки.

Есть среди них, оказывается, особо примечательные: ночница Наттерера, малая и гигантская вечерницы, поздний кожан, нетопырь-карлик... Было бы здорово посмотреть на таких... Интересно, как звали тех, из моего детства... И общаются ли разные виды рукокрылых друг с другом...

А внука интересуют более практичные вещи. Глядя из-под руки на речную гладь, он спрашивает:

— Дед, ты рассказывал, что когда-то весной баржи за солью доходили от города Самары до Домашки, а мне как-то не верится. И потом — в остальное время года как соль возили в Самару?

— Как? Почти от самого Оренбурга, от Илецкой защиты, в Самару по солевому тракту на лошадях. А потом уж по Волгематушке на Север, для всей Империи Российской. Когда в 1880 году построили железную дорогу между Самарой и Оренбургом, соляной тракт забросили... И река Самарка осталась как бы в стороне...

\* \* \*

...Мы спустились к воде, напротив длинной полосы осинника на противоположном берегу реки.

Этот мелкий осинничек!.. Щемящая трепетность древесных подростков. От него и от песка идёт острый дух. Неиссякаемый молодой его напор непобедим!

Осинничек этот неудержимо, каждый год подступает к реке, на её увлажнённые пологие песчаные берега. Появляется вначале крохотными листочками, но в таком количестве, в таком изобилии... Река постепенно отступает. Рвёт по весне полую водой противоположный берег, теснится в берегах своих. Но напор молодняка не сдерживает... будто знает цену леса для всего живого в лесостепном суховеинном поречье. И каждое лето молодой осинник поднимается по берегам Самары зелёными длинными ярусами, отмечая очередную годовщину в жизни реки.

В такой поросли вдоль воды ходишь, как Гулливер, ощущая свою огромность. Но стоит войти в ярусы прошлых лет, которые уже на значительном расстоянии от воды, враз попадаешь в тягучий зной. Воздух, настоенный на горячем песке под ногами, на запахах, веющих с лесных травяных полян, горяч. Осинничек чуть выше тебя ростом, не спасает от летнего зноя. Он его усиливает. Под ногами горячий песок, обжигающий ступни, а над головой — только одно знойное дыхание неба.

Такой осинничек в жаркое лето не защита. В нём нет, как правило, родников. И нет лесных громадин, буреломов, которые задерживают суховей. Но он, этот осинничек, настолько частый, прямёхонькие деревца стоят чуть ли не вплоть друг к другу, и это не даёт ветру продувать его. И царит в нём нестерпимый зной... Находиться тут долго нельзя.

Начинает стучать в висках. В тебе возникает сопротивление этому беспощадному давлению, коварному безветрию, которое всегда привлекает в большом лесу. Хочется скорее на простор, к воде! Скорее ступить босыми ногами на мокрое и прохладное!

В молодой осинничек летним днём заходишь, только чтобы быстренько вырубить колья для перетяга, отыскать рогульки для удочек, набрать сушняка для рыбацкого костра... В этом он твой незаменимый помощник.

...Когда выбежишь из осинничка с добытыми рогулками для удочек, удачно проскочишь, обжигая подошвы ног, песчаное пространство и ступишь, наконец, на мокрый песок, а затем в воду, почувствуешь себя поневоле язычником. Становишься первобытным. И миллионы раз сказанного множеством людей до тебя, что вода — это жизнь, становится мало. Удивляешься: сколько лет прожил на реке! Как повезло! Жил у воды и не задумывался о том, каким удивительным образом вода и жизнь взаимосвязаны! Жил и всё!

## **Выбор**

На Самарке, чуть левее брода, который зовётся Коровьими ямами, есть озерцо Песчаное с крутыми высокими берегами. На этих берегах зимой мы выверяли своё бесстрашие и ловкость. Одно дело со свистом в ушах, роняя на ветру шапку, пронестись по крутому заснеженному склону, совсем иное

— проложить первым лыжню, самому. Да так, чтобы, выскочив на противоположный, едва ли не такой же крутой берег, не теряя скорости, развернуться назад и оказаться внизу, на льду озера. И, задрвав голову, вприщур смотреть наверх, где в нерешительности топчутся, не рискуя махнуть вниз, твои приятели.

Таких спусков было на этом озере несколько. Но был один, по которому лыжню прокладывать первым осмеливался не всякий. Дело в том, что, мчась вниз по косогору, нужно было проскочить между двух, совсем близко стоявших друг к другу, осин. Попасть в промежуток, как в узкую калитку. Никак не шире метра, а то и менее.

Так получалось, что первым чаще всего это делал я. К этому уже все привыкли. Привык и я. Всегда был риск сильно ушибиться либо получить увечье... Этот мой спуск, когда нет ещё лыжни и риск велик, был предметом особой гордости для меня.

...Потом, когда уехал учиться, а затем и работать в город, несколько раз бывал на этом косогоре. И по привычке ухарски спускался с него меж этих двух осин с тонкой, плотной зелёной корой. Мне это надо было...

Но однажды...

...Приехав к родителям, достал я с подволоки выдавшие виды лыжи с креплением для валенок и отправился на Песчаное озеро. Отвёл душу на лыжне!

Помню, как меня впервые в тот день, после города, поразили на снеговом раздолье тишина и безветрие. Вокруг ни души, лишь один я среди хрупкого равновесия, непомерных сил, способных обрушить на окружающее всю свою затаённую мощь. И может разом вокруг потемнеть, начаться метель, повалить хлопьями снег... Откуда-то могут возникнуть повозки, спешащие люди... Может раздаться сдержанный говор на морозе, даже смех, крики, скрипы снега под полозьями саней, под ногами...

Нет, этого не случилось. Казалось, само небо вобрало все звуки, которые могли возникнуть в это безветрие... И подарило мне тишину, холодную, ослепительную белизну снега и заросли редкого ивняка с искрящимися на солнце сказочными кристалликами инея.

...Сходу по укатанной лыжне, желая поскорее увидеть само озеро, спустился я вниз на лёд. И остановился.

Поразил резкий переход. Что-то во мне будто хрустнуло. Была тишина, то же безветрие, но... сузилось пространство. Только что, когда мчал по равнине, меня влекла даль. Даль меня поднимала, окрыляла, возвышала. Я будто лишился здесь, внизу, оказавшись зажатым меж крутых берегов на ледяном пятачке озера, чего-то самого главного, которое только что мне было подарено. Ограничив себе пространство, потерял весь мир. Мчась по равнине, вдыхая воздух, дарованный мне неоглядным простором, в его шири и глади, я не чувствовал себя затерянным. Наоборот — весь мир был во мне со всей своей огромностью... Его давала мне даль...

Мысли мои путались и терялись. Никогда прежде со мной такого на Песчаном не было... Со мной что-то происходило непривычное. Поспешил наверх. И оказался на косогоре с двумя осинами с зелёной корой на спуске с него.

Я замер. Осины стояли статные, рослые. Невольно залюбовался ими. Длинная, с самой макушки косогора, лыжня прямо и стремительно уходила вниз, проскакивала меж осин и, пропав внизу, выстреливала на противоположном, менее крутом, берегу. Всё как тогда, в мои школьные годы. Была, как прежде, лыжня! Был свой удалец-молодец, первый из всех махнувший безоглядно с косогора!

Интересно, кто он такой?!

Теперь косогор казался мне круче. И осины потолстели. И расстояние между ними сузилось...

Потоптавшись на месте, поймал себя на мысли, что не то роплюсь ринуться вниз разом, безрассудно. Приглядывался, примеривался, обдуваемый холодным ветром.

Не спешил. Когда осматривал крепление лыж, незаметно пришла, вползла в моё сознание колючая мысль: что, если со всего маху не проскочу меж осин? Ударюсь об одну из них. Ведь теперь не так ловок, как раньше... шире в плечах стал... можно либо разбить лицо, либо сломать руку. Огляделся, словно боясь чьей-то кривой усмешки. А колючая мысль вершила своё:

«Если сломаешь ногу, один до села не доберёшься, факт!»

Будто не я так думал, а кто другой. Более разумный и холодный. А я прислушивался к нему.

Вспомнилось, как когда-то недалеко отсюда лихой Санька Захаркин упал на спуске, и конец сломанной лыжной бамбуковой палки проткнул ему шею навывлет. Горло осталось целым, но сколько тогда было хлопот. Нас было в тот раз несколько человек, это его и спасло.

Сейчас я чувствовал, что трушу...

Но тут же, бодрясь, сказал себе: не трусишь! Стал разумнее. Опытнее. К чему тебе эта бесшабашность?!

Вновь показалось, что кто-то видит, какой я стал слабак...

Оглянулся: никого вокруг.

Пришло чувство то ли предательства по отношению к себе, то ли досады по поводу утерянной решительности...

Я оттолкнулся, направив лыжи мимо осин по более пологому спуску, туда, где не было встречного крутого берега, где всегда можно было, верно рассчитав, не свалиться вниз головой на лёд озера.

\* \* \*

Прошло года три, и случай повторился. Правда, в другом варианте.

Вздумалось тогда мне в очередной раз резко изменить свою жизнь. К тому времени я уже около двух лет проработал после окончания института на заводе.

Подготовив две рукописи — стихов и прозы, решил поступать в Литературный институт. Но в последний момент, уже купив билеты в Москву, мучительно размышляя в одиночестве, «потоптавшись на косогоре», не решился рискнуть: оттолкнуться от налаживающей жизни заводского инженера и махнуть в иную — в «мутный поток литературы», как сказал, кажется, Алексей Толстой.

Себя убеждал тогда, что не решился поменять саму жизнь на её некий суррогат, как в своё оправдание определил: на умение писать о жизни. Полнокровно жить или пять лет учиться писать о жизни — в этом есть разница! Так тогда думал. Реальный поток жизни: инженерная деятельность, наука — в них была своя манящая «даль», своё зовущее «пространство», которые я так же остро ощутил, как тогда, когда мчал однажды по снежной равнине к озеру Песчаное. И потерю которого я почувствовал, оказавшись зажатым внизу под косогором, меж

крутых высоких берегов на заснеженном ледяном пятачке заморного<sup>1</sup> озера.

Я слишком тогда был деятелен и любил конкретное ремесло. Конечно, и максимализма во мне было в избытке.

...Раньше как-то не соотносил друг с другом эти два случая. Такие, казалось бы, разномасштабные в моей судьбе.

С первым случаем понятно: не решился, поосторожничал я тогда на косогоре... Поджал хвост...

А со вторым? И сейчас не знаю: верно ли поступил, не поехав учиться «на писателя»...

Что бы всё-таки вышло из этого?..

Каким бы стоял сейчас на берегу своей Самарки?

И теперь, кажется, готов согласиться с тем, что писательство — сомнительное дело. И может, не дело вовсе это, а нянчанье собственного тщеславия, ведущего к гордыне...

«Написать не как все! Лучше других!»

...Но окружающее просится в слово, оно будто и существует только для того, чтобы о нём сказали... и запомнили... иначе для чего всё... всё куда-то уходит...

Значит, вопрос в том, как сказать? Во имя чего? С каким сердцем?

Не один я думаю так?

Но как мне выстроить собственное слово?

Можно этому в совершенстве научиться?

И не поздно ли теперь?

## Как было

Если читатель ждёт от меня закрученного сюжета в моей повести, то нетрудно уже догадаться, что его не будет. Особой склонности придумывать у меня не обнаруживалось и раньше. Всё больше теперь хочется сказать, «как было». Или «как могло быть»... Не придумывать, а следовать за правдой...

За этим бесхитростным «как было» такое порой открывается многоцветье и лиц, и событий... Всплывает панорама мира... Время, в котором мне выпало жить, вместило немало. На моих

---

<sup>1</sup> Заморное озеро — настолько промёрзшее озеро, что при нехватке воздуха рыба в нём гибнет

глазах моё поколение ребятшек становилось моряками, лётчиками, учёными, сталеварами, хлеборобами...

Мои сверстники поднимали заводы, фабрики, не замечая, как подрываются одновременно с этим корни сёл и деревень, из которых они ушли. Как высыхают истоки...

Не ведало оно, что ему, прожившему благополучно без войны, суждено пройти путь от жизнеутверждающего выживания в послевоенное лихолетье до скорбного, унижительного доживания в период наших ошеломляющих реформ. Тут без вымысла столько надо бы сказать...

Но я сейчас не об этом...

Не хочется пополнять ряды плакальчиков...

И следователем быть не по мне...

...Вся «крутизна» сюжета моей повести, если она сложится, будет зависеть от извилистой песчаной дороги, порой едва заметных тропинок, то коротких, то длинных, по которым теперь с внуком пробираюсь где через осинник, где через липняк, а где и через чертополох...

Она будет связана с прихотью моей стареющей памяти, которая ведёт меня за собой, цепляющегося за воспоминания, как за подробности ускользающего из сознания сна...

\* \* \*

Ещё в средних классах школы, не вполне задумываясь для чего, по толстой книге под названием «Определитель растений», я начал изучать растения, окружающие меня.

Мне мало было знаний со слов тех, кто был рядом. Постоянно не хватало более глубокого, истинного. Как же не знать?! Когда каждая травинка пахнет по-своему. Каждый цветок должен иметь своё имя! Как я радовался своим открытиям: и это узнал, и это!..

Как обескуражило меня однажды то, что цветок, который у нас называли васильком, оказался по книге цикорием. А загадочным словом «рогоз», которое вообще никто в округе не мог познать, называется куга, которой у нас на озёрах тьма-тьмущая.

Такого рода открытия сопровождали в детстве постоянно. Мои дед и бабушка, мама и отец — сами были как бы частью природы, как цикорий, васильки, рогоз... Они были малограмотны, не знали себя... А кто знал их?..

Доставалось от меня и нашей учительнице. В четвёртом классе спросил Любовь Николаевну, чем отличаются алименты от элементов. Прямо на уроке, подняв руку.

Помню, как она на перемене, отведя меня в сторонку, почему оглядываясь на шумевших ребят, осердясь, что спрашиваю «такое» и «вечно ты со своими глупостями», всё-таки пояснила разницу в значении слов.

А я и сейчас не могу взять в толк, почему она так серчала и оглядывалась.

«Эти два слова отличаются друг от друга всего двумя буквами, а какая разница получается!» — крутилось в голове, когда бежал после её внушения резаться на шумный выгон в футбол.

### **У каменного мыса**

На Ледянке, чуть пониже мыса, где небольшой чистый песчаный бережок, двое весёлых крепких парней: дядька Сергей и мой крёстный Василий Лобачёв вздумали однажды учить меня плавать. Остро помню явное несоответствие, поразившее тогда меня. Только что по сельской улице, по гусиной травке, к реке со мной шли чинно — рядом крёстный — в военной лётной форме (он только что приехал на побывку) и родной дядька. Оба спокойные такие, уравновешенные...

Когда мы шли по затравевшей с гогочущими тяжеловесными гусями и пыхтящими утками улице, встречные смотрели на лётчика Василия во все глаза. И он приветливо улыбался. Теперь мне кажется, что он был тогда похож на Гагарина. И Юрий Гагарин потом, много позже, стал таким родным, может, от этой их похожести...

Всё было надёжно и спокойно. А тут вдруг эта их затея!

...Я вырывался, улепётывал от них по сыпучему мелкому речному песку на безопасное расстояние. Но вновь оказывался в воде и в смятённом состоянии попадал под весёлую и бодрую их команду: «Пльви!» А дядька Сергей ещё добавлял совсем обидное: «Сухопутный пушкарь»!..

Барахтаясь, я пытался удержаться на плаву, сносимый быстрым течением искрящейся на солнце меж песчаных берегов быстрой Самарки. И на моё удивление: плыл! Да, плыл!



Выловив меня из воды, они тут же деловито вымеряли на мокром у воды песке, сколько я одолел. И вновь пускали меня в заплыв! Будто я — лодка...

...Потом, отдуваясь, я сидел в тенёчке под бережно повешенным на рогульках из осинника лётным кителем крёстного. Здесь, в этом тенёчке, любуясь кителем, тогда и решил, что непременно буду лётчиком! Как мой красивый крёстный Василий!

Это было в конце сороковых годов прошлого века. Кто тогда из сельских мальчишек не мечтал стать лётчиком или моряком?! Мало было таких!..

Мне было в ту пору около пяти лет. Думаю так, потому что потом, года через два, ещё до первого класса, уже свободно переплывая Самарку, однажды спас своего младшего приятеля Кольку Зимина. При общей суматохе несколько раз нырял и схватил его за мокрый расплывающийся чубчик. Вытащил и саженьками поплыл на тот берег, горделиво ценя умение глубоко нырять и с открытыми глазами.

О цене жизни и моей роли в Колькиной судьбе задумался много позже, когда спасённого мной Кольку убили. Нашего непревзойдённого, неутомимого и весёлого игрока в чушки не стало. Не в лихие перестроечные это случилось, много раньше — в семидесятые. Уже двое сыновей росло у него. Шустрый был очень. Подался на Север за длинными рублями. Там и нашёл своё...

\* \* \*

На Ледянке всегда было веселее и праздничнее, чем где-либо. Никогда я не замечал здесь летучих мышшей, этих пугающих карликов-нетопырей. Днём сновали тут над головой, исчезали в своих песчаных береговых норах и вновь появлялись то быстrokрылые стрижи, то элегантные золотистые щурки. Всем хватало места.

Ни в детстве, ни потом не видел стрижей сидящими. Ни на земле, ни у воды... Они всегда летают. Всегда в воздухе, в полёте, в заботе! На лету они ловили, кроме мелких насекомых, и влагу, ловко хватая ключиками дождевые капли.

Отдыхают ли когда стрижи? Они как наши деревенские родители...

Замечательные тут соседи у стрижей: золотистые изящные щурки. И стрижи, и щурки на Ледянке по соседству живут в

песчаных норах и теперь. Однажды из любопытства мы с ребятами раскопали одну нору щурок. Она оказалась длиной более метра.

Лёгкие в полёте щурки — такие же трудяги, как и стрижи. Одна беда — поедают пчёл.

В отличие от стрижей щурки часто садились на ветки у земли, на сухие верхушки деревьев. То тут, то там кричат они своё: пуль-пуль-пуль. Будто подзадоривая друг друга!

Как я был поражён, когда увидел в норе щурки останки добычи. Кроме пчёл, ос, шмелей, там были и крылья шершней. Шершней! От которых в знойный летний день шарахался в сторону огромный мерин Карий. Ай, да изящные щурки!

...Здесь, на высоком обрыве, и небо просторней, и берег приветливей. Без горемычных осин. Ледянка — излюбленное наше место в детстве и для забав, и для рыбалки. Каменистый, остро выдававшийся почти до середины реки, словно клюв большой гигантской птицы, мыс Ледянки живописен и неповторим. В сужении реки он создавал сильный, с картавыми воронками, поток воды. За ним вниз по течению образовалась большая и глубокая заводь — соминая яма. И слышно было в июне-июле, когда прогреется вода, как на заре здесь клохчут сомихи...

\* \* \*

На Ледянке и я тонул, чуть пониже того самого каменистого мыска. Помог мне выбраться из ямины с огромными воронками мой друг Мишка.

Теперь он болен. После перенесённого инсульта совсем не выходит на улицу. Всё собираюсь поехать к нему. Да откладываю... Не готов к такому свиданию... Как встречусь я не со смуглым, рослым, озорным, до безрассудства авантюрным Мишкой, а с инвалидом, не способным подняться с постели...

Малодушно оттягиваю нашу встречу. Понимаю, что поступаю неразумно, но пока пересилить себя не могу...

\* \* \*

На Ледянке, на просторной поляне, ежегодно проводились маёвки. Народ прибывал на бортовых машинах с песнями, празднично одетый. Гремела музыка, позвякивали у торговых пала-

ток ящики с лимонадом. Неподражаемый голос Людмилы Гурченко выводил над речным обрывом песенку про пять минут...

И едва замолкала эта песня, возникала другая:

*Ландыши, ландыши,  
Светлого мая привет.  
Ландыши, ландыши,  
Белый букет.*

Всё было так органично и свежо. Стоило только шагнуть несколько шагов в тенистую чащобу и сразу можно было оказаться среди хрустально позванивающих в такт песни притягательных ландышей и сиреневых элегантных колокольчиков.

Как передать всю прелесть тех отлетевших дней?! Это общее единение людей и природы, ещё бывшей органичной, живой частью нашего тогдашнего быта. Частью равноправной, ещё не попираемой так жёстко и беспощадно грядущим уже тогда циничным техническим прогрессом.

На этих массовках пел и мой приятель Володя Горностаев. У него был бас! Все знали, что он — наша восходящая звезда! После окончания школы его обещали взять петь в Волжский народный хор. Об этом знали в школе все. Но суждено было иное: Володя поступил в военное училище. Захотел быть офицером. И уже лет двадцать, как его не стало.

## **Пять порций мороженого**

Мы с Игорем Красковым, как и Володька Горностаев, тоже участвовали в художественной самодеятельности. Но не пели. Были ведущими, конферансье на всех выступлениях в Доме культуры, всеми признанными. И вот наша группа впервые поехала в город Самару (тогда Куйбышев) на областной слёт школьной самодеятельности. Мы с Игорем должны были вести выступление, представлять наш хор, танцевальные номера, солистов. В отличие от многих, мы не особо волновались. Уже поднаторели в таком деле. Легко импровизировали. Иногда удивлялись сами своей лихости. Игорь вообще мог говорить одними стихами. Все знали: не подведём!

И всё-таки... Подвели нас с Игорем мороженое и сушки.

Возвращаясь из столовой, которая была совсем рядом со студенческим общежитием, где нас разместили, мы нашли на дороге прибитый ветром ли, ногами ли прохожих, к дощатому забору небольшой свёрток. Помню, как быстро среагировал Игорь:

— Сань, это же деньги! Гуляем! Идём есть мороженое! Вечером репетиции нет. Тут хватит на десять порций.

Своих денег у нас было всего ничего, а тут... Резво повернули в обратную от общежития сторону, к Волге. Мороженое нам подвернулось на набережной.

Игорь малость ошибся: нам хватило на четыре порции мороженого каждому и ещё на две большие связки сушек.

Мороженого в селе у нас не было никогда, а сушки, если и появлялись, то очень редко. Как можно устоять против такого соблазна!

Мы явились в общежитие перед ясные очи переполошившейся из-за нашего долгого отсутствия пионервожатой Хохловой с сушками на шее.

— Где вы были? — металлическим голосом вскричала вожатая. — И что это? — она указала на связку, висевшую на длинной худой шее Игоря. У моего друга дела с реакцией были неплохие:

*— У вас ушки на макушке,  
А у нас на шее сушки!  
Ешьте, ребятаушки!*

И он клоунским жестом протянул подскочившим к нам ребятам рыжую связку. Все, смеясь, начали ломать и есть сушки.

— Напрасно ты эксплуатируешь свой талант на что попало. О вашей самовольной отлучке я пойду докладывать Валентине Яковлевне. Вы зазнались! Вы привыкли к аплодисментам. Комедианты!

Она хлопнула дверью и ушла. Игорь развёл руками:

*— Вот какая ведь петрушка!  
Не понравились ей сушки.  
Ну, а где нам взять ватрушки?*

Ребята хохотали.

На следующий день у нас обоих болело горло и сели голова. Мы хрипели, а не говорили. Вместо нас выступление вела

строгая Хохлова. Было торжественно, но скучно. Не было, не хватало всегда задорного, искрящегося на сцене Игоря. Призовое место мы не заняли.

Про приключение с мороженым узнала вся школа. Такой получился номер нашей с Игорем самодеятельности.

## **Фиолетовые колокольчики**

...Тишина и безлюдье теперь на Ледянке. В такую жару ни птиц не видать, ни другой какой живности.

Нет, появилась, может быть, теперешняя хозяйка этой некогда шумной поляны. В мареве над головой, словно заводная игрушка, повисла пустельга.

Помельтешил крыльшками на одном месте хищный ястребок и по касательной, будто ветром, снесло его в сторону сонных зарослей черёмухи. Пропал.

Только и осталось это его: «Ки-ки-ки!» То ли пожаловался кому, то ли погрозил...

Всё окружающее сейчас меня здесь — свидетели моей жизни, жизни моих сельских сверстников, сельчан моих.

Сказать, что это всё родное, мало. Это — частица меня. Нет, скорее, я — частица этого солнечного летнего дня, реки, серебряной подковой сверкающей слева и справа от меня. Теперь на поляне, вернее, в её тенистых зарослях не найти колокольчиков. И не оттого, что прячутся они, не выделяясь сильно фиолетовой окраской меж зарослей чилиги, таволги и краснотала. Просто их время уже ушло. Колокольчики — весенние цветы! Теперь бы сказал, они — цветы нашего детства. Нашей весны. Трогательные звоночки из далёкого далека! Помню, как бабушка мне однажды здесь мимоходом сказала, что звон на колокольчиковых полянах отгоняет всякую нечисть... И ничего дурного не может случиться...

...Как получилось, что заложено было в нас, в детских душах наших, такое трепетное отношение к цветам, к берёзкам, к лугу, к лесу, пашне?.. Ведь специально с нами никто не занимался из взрослых. Но возвращаясь из леса, бабушка моя всегда приносила цветы. И ставила их в передней комнате в большой глиняный кувшин. И цветы, благоухая, дарили нам запахи леса и Самарки. А вернувшийся с дальнего кордона дед,

въехав во двор на телеге, протягивал мне пучок лесной, с изумрудными ягодами, подвяленной душистой земляники:

— Ступай к бабе Груне, пусть она их молоком зальёт. Вот тебе поедуша будет!

Или, пошарив в кармане куртки, доставал белую тряпицу: «На-ка вот, подарок от лисы...» И я через мгновенье уже грыз горбушку чёрного хлеба, помогал деду распрягать Карего. Эта горбушка из леса всегда была слаще той, которая в доме. Она пахла травами и рекой!..

Запахи моей реки, её берегов и теперь не перестают меня волновать. Их ни с чем не сравнить...

Летнее солнце, потрудясь, нагрев воздух над головой, всё пространство вокруг, удерживает запахи у поверхности земли. Они вокруг меня, я в плену у них. В плену запахов трав и цветов, запаха и сухого раскалённого песка на крутом берегу, где стою, и запаха песка у самой кромки воды, пронизанного принесённым речной водой настоем глубинной породы: то гальки, то глины — от жёлтого, белого до голубоватого цвета. Запахи самарского: то сыпучего мелкого, золотистого, если подсохнет на солнце, то крупного, зернистого, тёмно-коричневого песочка не отпускают...

...Вечерние, в сумерках, ночные, утренние запахи — родниковые, прохладные. От земли. Сухие запахи здесь в это время суток только к осени. На реке особенно остро чувствуешь летом запах берегов её в любое время суток. Запахи эти усиливают родники. И те, которые едва обнаруживает глаз у самой кромки воды, питающие день и ночь речку, и те, что скрыты в низинах, в зарослях ольхи либо липняка чуть поодаль от воды... Присмотришься к такому роднику и увидишь, наклонившись, как серебристые пузырьки поднимаются вверх, сами торопятся к твоим сухим губам. Пройдя невообразимый путь в земной толще, выносят они наружу весь аромат пройденных пород, таинственно сокрытых от глаз миллионы лет. Эти запахи были уже миллионы лет!..

С ними знакомо человечество так давно! И сколько, наверное, сказано о них... Что могу дополнить я? Изменит ли что это?.. Я наслаждаюсь ими. Я понял цену им...

...Иногда приходит теперь совсем уж детское наивное желание: вот бы вновь оказаться маленьким и пожить последние

свои годочки вновь такой жизнью. Ведь тогда все были живы: и мама, и дедушка с бабушкой, отец... Все и всё, что окружало, было живо...

Как я был бы счастлив!..

Увы, всё то, что делало когда-то счастливым в детстве, я могу видеть теперь только в памяти. Она удерживает, цепляется за исчезающие, рвущиеся ниточки, соединяющие меня с самой радостной порой моей жизни... А золотая эта пора отлетает от меня всё дальше и дальше...

Так у всех или у многих. Но мне от этого нисколько не легче... Всё-то кажется, что детства в жизни было мало. Мы так быстро выросли.

Немало было пасмурных дней... Но какие среди них выпадали драгоценные россыпи-денёчки! ..И как приветливо кивали нам своими головками фиолетовые колокольчики...

## **В липняке**

Шиповник по берегу реки давно уже отцвёл. С июня такая светлынь стоит. Обычно с его середины зачиналась сенокосная пора. Сейчас уже середина июля, а не слышно ни знакомого озабоченного говора на полянах, ни звука отбиваемой косы.

Нет движения людей в лесу. Как вымерло всё. Неужто всему причина — эта необычная, за тридцать градусов, жара?! Я всё высматривал кощов то у Лопушного озера, то на Лушкиной поляне... Нет, кругом только тишина и парное марево.

Увы, река моего детства перестала быть частью быта жителей села. Исчезли многочисленные тропинки, целые дороги на её берегах. Заросли ухоженные когда-то участки, где были бахчи, где росла картошка... стояли ульи. Забыты не только лесные дороги, теряется, уходит в никуда опыт жизни на реке... Три-четыре раза попались на глаза оказавшиеся из-за сухого лета в метре-двух от воды рыбацкие рогульки. И всё! Ни одного, кроме моего бывшего одноклассника Давыдова, рыбака потом мы до самого моста не встретили...

...Казалось бы, обретя свободу, человек призван был преобразить природу. Она должна воспрянуть! ...Но почему же всё так беспорядочно зарастает, дичает и скукоживается?..

Округа хиреет от ненужности, от одиночества и заброшенности...

Ни голоса вокруг, ни ребячьего смеха. Ни стука копыт, ни тарахтенья мотора... Никто здесь никуда не торопится.

Отдельно, само по себе, село. Отдельно — задремавшая речка... Только в многочисленных клубках соцветий на берегу озабоченно и споро трудятся шмели и пчёлы... Они торопятся. Погода может враз поменяться.

...Как же я забыл? Напротив Лебянки, стоит только пробиться через нектенник, сразу оказываешься в липняке.

Здесь мой дед Иван драл кору с лип. Замачивал её и, когда она хорошо промокала, выдирает из неё лыко. Семена липы — мелкие тёмные орешки, их любят есть мыши. Дед занимался своим делом, а я в тени густых липовых крон гонял мышей. Не скучно было!

Дед при мне уже не плёл лаптей. Но всякие бечёвки, завязки во дворе и в доме деда были из лыка. В конце июня в кронах лип всегда стоял пчелиный гул. Пчёлы здесь добывали липец — ароматный белый мёд.

Надо бы повидаться с липами! Поднимаясь на лесистый взлобок, продрался я всё-таки через нектенник. Миновал ландышевое царство и оказался в тени знакомых лип. Вдохнул знакомый стойкий древесный дух. Этот запах прелого липового листа!.. Середина июля — дружного пчелиного гуда уже не было. Царили тишина и прохлада, так властно захватившие меня, что враз забылись прожитые на стороне годы. Будто и не было взрослой моей жизни, а была и есть только вот эта жизнь леса, защитника и тебя, и земли. Лёгкий шелест листьев очищает сознание от мелкого и наносного. Это я давно заметил себе. Но здесь это особенно чувствуется. Всего-то небольшой островок липового леса, но такая неповторимая в нём, в этом жизнестойком пространстве, притягательность. И прохлада, и запах липовых листьев, тонкий аромат коры деревьев, глубинные токи земли — всё и во всём свой, установившийся, вечный, обволакивающий уютom мир. И не верится, что где-то есть другой: с авто, самолётами, городами, войнами. Невольно остро почувствуешь себя залётной, торопящейся, озабоченной своими делами пчелой. А вернее всего: путником, не ведающим, куда торопишься из этого, открыв-



шегоя тебе мира, где чистота и доверчивость деревьев, безветрие и надёжность, где верная защита от ветров... Куда торопишься? И зачем?..

\* \* \*

— Дед, где ты? — донеслось до меня через тенистую толщу некленника.

— Там, где мне было когда-то столько, сколько тебе, — отозвался я, выходя на простор.

И замер.

Мне показалось, что всё вокруг притихло, прислушиваясь к нашему диалогу. Такая тишина вокруг. Так всё стосковалось по человеческому голосу...

Внук, кажется, не расслышал моего ответа.

— Ты так долго шёл обратно. Далеко был? — он нетерпеливо тронул звонок на руле велосипеда. И тот заливисто и призывно отозвался ему металлическим голосом, странным в этой древесной обители.

— Далеко, — неопределённо ответил я.

— Поехали! — послышался опять его голос уже за кустистой крушиной. — Если так каждый раз останавливаться, до вечера не доедем. Что так долго смотреть тут?..

## **Был такой случай**

Чуть повыше Ледянки на правом отлогом берегу, густо теперь заросшем осинником, была в своё время дорога. Напротив неё — брод через Самарку. По этой вязкой песчаной дороге мы с дедом или мамой часто либо на рыдване, который тащил трудяга Карий, либо пешком поднимались вверх и держали путь на сенокосный лесной стан или на бахчи. По ней можно было добраться до села Малая Малышевка, или, как его ещё называли тогда — Башкирка.

...Помню, закончился сенокос на правой стороне Самары, недалеко от Башкирки. Дед поехал домой дальним путём через посёлок Крепость. Я решил добираться на велосипеде напрямик через реку. Так я делал несколько раз, когда меня посылали за провизией. Прихватив дедову двустовку, поехал туда, где можно было перейти по выверенному не раз броду на левый берег.

Мне трудно сейчас представить, чтобы моему сыну или внуку в двенадцати-тринадцатилетнем возрасте было доверено ружьё и они в одиночку бы охотились. Тогда же такое у нас было в порядке вещей. Ружьё являлось неременной частью быта, которым жила семья моего деда.

У меня была личная одностволка, кроме тех ружей, что имели дед и дядьки.

К ружьям относились исключительно бережно. Дробь катили сами. Заряжали латунные патроны сами. Оттого каждый патрон был на счету. Ружьё кормило.

В тот раз я перебрался через речку быстро. Положив велосипед себе на плечи так, что голова торчала в раме около цепи, сделал первую ходку. Раза два мне пришлось двигаться, поднимая велосипед над головой, по уши в воде. Когда после второго захода вышел на берег с ружьём в руках, на белой «Волге» подъехала весёлая компания. «Туристы», — определил я. Уже видел два раза таких. От них в прошлый раз осталась куча банок, битое стекло и большое горелое пятно у обрыва. Жгли костёр на самом верху. И, изображая по пьянке индейцев, дурачились, как могли.

Мы, деревенские мальчишки, относились к туристам как к праздным людям, которым делать нечего. Эти были похожи на таких.

— Ты откуда взялся? Водяной, что ли? — удивился рослый парень в белой рубахе.

— А ты откуда такой краснокожий? — спросил я, узнав в нём одного из тех «индейцев».

— Такой шкет и с ружьём! Тебе бы с рогаткой бегать, — осерчав, проговорил парень. — Аркадий, — обратился он к красивому смуглому своему приятелю, — давай заберём у него ружьё. Не имеет права.

И он пошёл на меня. Самоуверенный такой.

В следующий момент я увидел, как тот, которого он назвал Аркадием, двинулся в мою сторону.

«Аркадий, — пронеслось у меня в голове, — как здорово звучит, и какую глупость они делают. Не понимают... Не понимают, что я не могу отдать ружьё просто так. Я выстрелю. У меня нет выхода, это равносильно тому, что отнять у меня руку...»

Парни приближались.

— Положи ружьё на траву и отойди к велосипеду! — командовала «белая рубаха».

В ответ я быстро взвёл оба курка. Стволы держал опущенными в землю. Я уже хорошо тогда бил уток влёт, навскидку. Целиться мне было не нужно.

— Попужай, попужай, — уверенно шумнул «краснокожий».

В следующий момент он резко метнулся ко мне, но я предугадал этот его манёвр и, отскочив в сторону, выстрелил предупредительно вверх.

Парень, очумело сверкнув глазами, шарахнулся назад.

— Оставь его! — закричал Аркадий. — Видишь, парень серьёзный. — Саданёт!

Я не понял, говорил он это одобрительно или осуждал меня. Не до того было.

...Тот, который в белой рубахе, матерно выругался. Когда они отошли к машине, я не стал купаться. Боялся быть далеко от ружья. Надев на мокрые трусы брюки, с ружьём в руке погнал на велосипеде по песчаной дороге домой.

Я ещё не мог опомниться от того, что чудом избежал страшной беды. Второй раз я бы не стал стрелять в воздух.

\* \* \*

Теперь-то ещё пронзительней понимаю: не было бы у меня после второго выстрела этой моей жизни, которой живу. Была бы другая, такая, о которой страшно думать. Что меня спасло тогда?..

## **Мониторинг**

Самарка становится мельче, берега зарастают. Река сужается.

В детстве она для нас была огромна. И мир, окружающий нас со всех сторон, был велик. И желание узнать о нём было неудержимо.

Жили впроголодь, но читать всегда хотелось не менее сильно, чем есть. Книги брал с собой на рыбалку, сенокос. Они были со мной в шалаше на бахчах.

Где и чему только я не учился?! И в каких учёных и разных советах ни состоял, какие только лекции ни слушал... В том

числе в академии ФРГ. А помнятся до сих пор, будто сказанные вчера, слова деда моего, бабушки, мамы... сотен односельчан из моего послевоенного полунеграмотного детства.

Сколько было среди окружающих меня в детстве людей и достойных, и умелых. Самодостаточных. И мудрых. Они жили в безвестности, без суеты и амбиций. И ушли незаметно. Но сколько они вложили в нас!..

\* \* \*

Всего месяц назад, принимая зачёты у студентов, почувствовал некую двойственность, повторяемость событий. Ощущение того, что подобное со мной уже было.

И спохватился: занятия шли в той же аудитории, где когда-то наша студенческая группа сдавала зачёты. Вот здесь у окна сидел я, там, у двери, помню, разбитной Виталька, тут вот, около преподавателя, неугомонная Наташка, рядом с ней наш импозантный, неунывающий, рыжебородый староста Анатолий, всегда готовый внезапно выкинуть какую-нибудь шутку, которая разрядит ситуацию своей курьёзностью...

Сколько же всего утекло за это время?! Сколько неожиданных взлётов и падений вокруг. Старосты моей студенческой группы не стало. Лежит под широким волжским небом на новом кладбище около Тольятти. Из двух наших студенческих групп нас, ребят, в живых осталось всего трое.

Многих сверстников-однокашников по институту уже нет, а мои сельские одноклассники, которые в своё время ушли из села, почти все живы, а из оставшихся в селе — никого. Однокашники по институту были в основном ребята городские. Выходит, те, кто поднялись и выросли на реке Самарке, оказались более стойкими в нашей загаженной всевозможными выбросами и стрессами городской жизни?!

Какой странный мониторинг! Сейчас появилось такое жаргонное, бытовое: отмониторить. Вот и мне довелось коснуться чего-то подобного.

Время безоглядно и безжалостно расправилось с большинством моих сверстников, вышедших из крестьянства, — интеллигенцией «первого поколения». Индустриальный напор вытолкнул их когда-то из сёл и деревень, а годы перестройки вернули безжалостно доживать в приземистые отцовские по-

косившиеся саманные избёнки. И нехитрый быт, уклад жизни отцов и попорченная моим поколением более, чем когда-либо, но пока ещё живая природа, стали спасительными...

...И мой дядька Сергей, проработавший десятки лет главным инженером проекта, занимавшийся проектированием и строительством объектов промышленного, жилищного и сельского хозяйства, доживает теперь в саманной халупе. В городе на унизительно маленькую пенсию без огорода, погреба — трудно тянуть...

Что с нами произошло?

И что впереди?

### **У Полоузного ключа**

Полоузный ключ по весне от поллой воды бурно оживал. А к середине лета он превращался в этом сумрачном месте в болото или бучило, как говорил мой дед. Слабенький ручеёк, питаемый холодными родничками, вытекал из сумрака леса и, радуясь свету, встречался с Самаркой. У Полоузного ключа всегда росли осины. Огромные, с зелёной корой. Как те две, у Песчаного озера.

Тут таких было много. А у самого обрыва стояли подружки осины — три ольхи. Вокруг заросли крапивы, в ней скрывались крупные ягоды смородины. Кусты и деревья увиты хмелем. Непролазная чащоба. Но мы через неё продирались. Там была у нас «тарзанка». Была «тарзанка» около озера Лопушного, на Лещёвом озере. Но здесь — самая «классная».

Трос к наклонённой осине Колька Селезнёв привязал так, что он болтался другим своим концом над болотом. Чтобы «тарзануть», трос сначала надо было подтянуть к себе длинной хворостиной. А уж потом, разбежавшись с ним по расчищенной площадке, махнуть на ту сторону болота. И разбежаться, и оттолкнуться надо было ловко и удачно. Иначе ты либо не долетал до крутого противоположного берега и повисал, ткнувшись ногами в обрывистую стену над чашей с тиной, либо пролетал мимо желаемого пятючка земли — и, как маятник, болтаешься над вязкой тиной, ожидал помощи с берега.

Это называлось у нас «сделать колбаску». Дерзость и удачливость были здесь залогом успеха. Источный, гортанный

крик издавали особо азартные. Тот, кто чаще всех падал в тину, безоговорочно получал титул «колбаса номер один».

Был среди нас и хронический «колбасник». Худой, как штатетина, и настёрный Санька Капустин. Он несколько раз пытался «тарзануть», но каждый раз бесполезно. Однако не переставал делать попытки. Прослыть трусом было страшнее, чем окунуться с головой в холодную тину.

Тех «колбасок», которых не удавалось «загарпунить» хвостом с проволочным крюком на конце за трос и подтянуть к себе, кто срывался с «тарзанки» в бучило, отводили к реке отмываться от чёрной липкой жижи. Там из чернокожих они вновь превращались в бледнолицых.

А тут в сентябре, когда в лес мы ходили реже, осин не стало. И «тарзанка» исчезла. Огромные пни, кустарник, три неразлучницы ольхи у обрыва — вот всё, что осталось от осинового леса. Над обнажённой большой чашей с тинной висели рваные куски хмеля да нахально блестели невидимые раньше в темноте, налитые красным, пуговицы глаз волчьей ягоды. Сиротливо стало у Полоузного ключа. Неуютно.

...Часть тех осин обнаружилась внезапно, на первый или второй день после того, как мы побывали в лесу. Их привезли и свалили огромными кучами около клуба. Лежали теперь совсем недавно ещё живые трепетные шепотуньи, осины, странно мёртво мерцающая зелёными тушками, обречённые быть топливом. На одном, совсем не толстом бревне, я нашёл потёртое место. Похоже, это была верхушка того дерева, на котором крепилась наша «тарзанка». Я не мог спокойно ходить мимо этого кладбища осин в школу. Пробирался задами. Оттуда их было не видно. А вскоре около клуба заработали пилы, застучали топоры. И осин не стало. Все они, расчлнённые на поленья, к моему удивлению, уместились в небольшом приземистом деревянном сарае. Туда их сложили на зиму.

...Наступили холода, и у меня случилась новая встреча с осинами, росшими около Полоузного ключа.

Мама работала уборщицей в клубе. Заодно топила огромные четыре голландки в зрительном зале и ещё две в кабинетах. Я помогал ей таскать охапками из сарая осинового поленья. Голландки топили мы вперемежку с углём и дровами. Под-

сохшие осиновые поленья — лёгкие. Древесина у такой осины мягкая, никакой особой копоты от неё. И горят они ровно, осиновые полешки. Да тепла от них маловато. От огня такого нет радости, слабо он греет... Всё приходилось таскать в ведре уголь и подбрасывать в огонёк, чтоб теплее было...

Странное и неопределённое чувство испытывал я, когда по морозцу, по свежей утренней пороше, под бодрый хруст нетронутого ещё ничьими ногами снега, таскал охапки этих осиновых дров в помещение клуба. Жутковато смотреть в топку голландки, где, как обутленные части скелета, разваливались на глазах, превращались в труху бывшие дородные великаны. Хищное пиршество голландок. Чрева этих слоноподобных мрачных чудовищ были ненасытны. Каждый день они ждали очередную жертву. И я им помогал...

Я стал увиливать от того, чтобы топить эти огромные чёрные чудища.

«Большой становится, стесняется своих одноклассников, — услышал я, как мама за столом говорила отцу. — Мишка его кочегаром зовёт».

\* \* \*

Потом, когда мама топила голландки уже в школе, туда один раз привезли берёзовые дрова. Готовые.

Топить берёзами?!

Нести в охапку берёзовые полешки к топке, вдыхать берестяной запах!.. Мне кажется, что я и теперь, через пятьдесят с лишним лет, чувствую его.

...Огонь от берёзовых дров запомнился другим. Ладные берёзовые полешки горели споро. И было от такого огня необычайно светло.

\* \* \*

Полоузный ключ! Надо ещё было с нашими велосипедами его преодолеть. Мы решили взять вправо от реки, где топи обычно не было. Там через каждое лето после водополя сооружалась песчаная насыпь.

Вокруг нас и теперь был лес, но без могучих осин. Вязы да вездесущие клёны захватили жизненное пространство. Был и

осинник. Но разве он похож на прежний... Несравнимо! И этот непролазный кустарник...

...Положил велосипед на песчаную обочину и пошёл туда, где мы «тарзанили». Старался не шуметь. Помнил, как мы однажды обнаружили здесь лежащего в застоялой, но всё ещё подпираемой небольшими родничками, холодной тине, рогача. Лось пытался спрятаться в бучило от жары.

...Сейчас на болоте было всё тихо, сонно, душно. Дремотно и диковато смотрело на меня зелёным оком сузившееся, похожее на корытце, болото. Я чувствовал себя чужеземцем в этой чащобе. Туча комаров так обрадовалась моему появлению, что я панически поспешил на свет, к внуку.

«Тарзанку» здесь теперь вряд ли кто соорудит, — мысленно отметил я. И тут же добавилось: — И такой ребячьей ватаги, какая гомонила на нашей одной улице, нынче не соберёшь со всего села...»

## **Мелочь на кино**

Довольно уже прилично прошагав по направлению к внуку, невольно остановился: «А мысок, тот мысок, где однажды, по-нурый, сидел я в одиночестве? Отчего же я не прошёл к нему? Цел ли он?» С этим безымянным мыском у Полоузного ключа меня связывала тайна. Теперь-то к чему её скрывать?..

Билеты в кино в моём детстве стоили копейки. Но где взять и такие деньги?

Когда отец лежал в госпитале, деньги, кажется, совсем не водились у нас. Как пенсионер-колхозник, а не инвалид войны, он получал очень мало. Потом, когда немного поправился, стал работать в сельском клубе сторожем, туда устроилась работать и моя мама.

Было молчаливое согласие руководства клуба с тем, что ребятишки его работников ходили в кино бесплатно, без билетов. Казалось, радуйся. Но как я мог не как все остальные? Для меня это было то ли предательством нашего ребячьего сообщества, то ли... Я не знал чем... Без билетов в кино ходить не смел.

Другое дело на летней площадке около озера, где крутили кино, со своими дружками смотреть в дырочку от сучка в доске



забора. Или — забравшись рядом на дерево. Это да! Но зимой кино крутили в закрытом помещении.

— Иди, Шурка, иди в зал, смотри! — шумела контролёр на входе — властная Чугуниха. — Если опять возьмёшь билет, скажу матери.

Я всё равно покупал билеты! Помогала мне с деньгами моя бабушка Груня.

— На-ка вот, — встретив меня на задах, говорила она. — Возьми на кино.

Она знала, что я покупаю билеты.

— Только матери с отцом не говори. Раз уж ты такой карахтерный, — и протягивала медяки. — Сегодня, сказывают, опять этот «Тарзан» ваш будет.

Брал деньги со смешанным чувством. И неловко было за своё упрямство, которое заставляло раскошелиться бабку, и кино хотелось посмотреть.

Досадно было, что в клубе такие порядки. Не было бы этого разрешения бесплатно смотреть, не показывали бы на меня тогда пальцем...

\* \* \*

В конце лета баба Груня взяла меня с собой в поездку к своей сестре Машурке.

Сестра моей бабушки жила в посёлке под Самарой. Муж Машурки работал каким-то начальником. Теперь уже не помню где. Жили они, кажется, не бедно.

В первый же вечер мы сели играть в лото. Человек пять или шесть. Я тоже играл. Мне сразу пододвинули стопку мелочи. Такие стопки возвышались перед каждым играющим. Играли весело, посмеивались друг над другом, если кто не успевал следить за своими картами.

Легли поздно. Не спалось. Перед глазами у меня стояли улыбчивые лица игроков, удивительное их добродушие и... эти стопки с монетками на столе... Они так и остались возвышаться против каждого освободившегося стула.

У нас такого никогда не было. Деньги знали своё место. Их всегда было мало... Чтобы вот так, в несколько стопок?..

«Там их на столе так много! Если взять по две-три монетки из каждой стопки, то никто и не заметит. Да и не так уж их

здесь считают... Видно, дядька Максим много зарабатывает... Одной такой стопки хватило бы ещё раз посмотреть и «Тарзана», и «Чапая», — рассуждал я. — Куда им столько? Лишь для игры. А мне...»

Мы ещё раза три весело играли в лото. И всё также после игры сдвигали каждый свою кучку монет, не считая, в центр стола, чтобы примерно поровну поделить и поставить столбиками перед каждым для следующей игры.

Наступил день, когда мы должны были с бабушкой уезжать домой. Перед самым отъездом, не чувствуя под собой ног, я вошёл в горницу, где мы играли в лото. Не веря в свою решительность, приблизился к столу. На белой скатерти всё так же, по-прежнему возвышались стопки монет. На удивление самому себе, я быстро взял из каждой по две-три серебряных монетки. Аккуратно выровнял покосившиеся столбики и... был таков.

...Страшно сильно захотелось уйти как можно дальше от горницы, где возвышались эти притягательные столбики. Я не знал, что делать дальше.

...Забрался в пустующую прохладную погребницу. И там, среди плетениц лука, горок мелких арбузов «Огонёк», рассыпанной по полу белой крупной картошки, в полумраке лихорадочно соображал, как поступить. Монеты жгли руку. Возвращаться в горницу, чтобы всё вернуть на своё место, было рискованно, могли заметить. В какой-то миг они, эти монеты, мне стали противны, не нужны совсем.

«Если их закопать в погребнице? От греха подальше, а то хватятся хозяева и найдут у меня. Что тогда?.. Что моя бабушка скажет?»

Так было уже и собрался сделать...

Но тут пришла другая мысль: «Спрячь их в манжеты штанов: они двойные. Никто сроду не найдёт».

Как подумал, так исполнил, опасливо поглядывая на дверь: вдруг кто её раскроет и войдёт, а тут...

...Приехав домой, пошёл посмотреть фильм «Смелые люди», потом, кажется, «Школа», потом...

И тут, когда в очередной раз шёл из клуба, у своих ворот меня окликнула баба Груня:

— Шур, Чугуниха говорит, что ты в кино зачастил? А я и за была, когда на кино тебе давала... И не заходишь к нам?..

Добрые, большие глаза бабушки смотрели на меня спокойно и внимательно. А слова её обожгли меня всего разом:

— Клад, что ли, отыскал?

«Она всё про меня знает, — ужаснулся я, — раз так говорит... Не зря мне показалось, что, когда брал деньги со стола у тёти Маши, она всё видела. Бабушка была в сених, когда я выбежал, что-то там делала...»

— Мне Мишка в долг дал, — соврал я. И ужаснулся своему вранью. Но отступить было некуда! Поздно... Одно цеплялось за другое...

— Ну раз так, то надо отдать долг. Сколько ты должен?

Я летел в пропасть. Надо было назвать величину долга. И я назвал.

— На вот, у меня приготовлена тебе мелочь...

Она протянула мне несколько медных монет.

Когда шёл домой, всё лицо моё было в слезах. Такой для меня оказалась эта мелочь.

Остатки злополучных монет, привезённых от бабушкиной сестры, я обронил в Самарку случайно, когда рыбачил с лодки в затончике за этим мыском и Ледянкой. Потянул неловко брюки, брошенные в жару на корму — монетки и булькнули из кармана в глубокий омут.

В первый момент мелькнула досада, а когда причаливал уже к берегу, пришло неожиданное облегчение. Будто долго и тяжело плыл через омут саженьками и наконец я на суше.

\* \* \*

Мне тогда казалось, что Самарка, приняв в свои волны серебро, как моя бабушка, заботливо и бережно старается хранить нашу тайну. Жалеет меня, доверяет мне... До сих пор верит, что успею, сумею сделать что-то такое, что оправдает мои проступки. Неспроста так по-особенному в этом месте серебрятся её волны...

\* \* \*

Вспомнился теперь ещё один случай на Самарке.

С крупного мыска Ледянки мой брат Пётр, когда ему было лет десять, зацепил огромного леща. Брат рыбачил на сомят, насаживая на крючок целый пучок червей. Леска была сом-

ная, толстая, из суровой нитки, поэтому он без опасения, безо всякого подсачика, выволок огромную рыбину. Таких лещей я потом и на Волге не видел.

Я сидел у кусточка напротив, через завадину, поэтому видел всё до мелочей. Но помочь не мог. Он уже снял добычу с крючка, прислонив её обеими руками к себе, соображал, что делать дальше. В сумку из кирзы, которая лежала около его ног, лещ поместиться не мог.

Он так и стоял какое-то время, почти весь закрытый от меня этой рыбиной. Произошло всё мгновенно и одновременно. Брат дёрнулся с места, рассчитывая шагнуть вверх на крутой берег, и скользкая добыча, спружинив, обрушилась в воду...

Потом, когда мы шли с рыбалки домой, я помогал ему отдирать от одежды огромную, не менее пятака, рыбную чешую. А он всё уверял меня: «Я обязательно его поймаю. Только никому не говори, что он такой там водится. Ладно?»

Чешуя у рыбы была похожа на чуть омеднённые оброненные мной серебряные монеты. Будто река одарила ими леща. Каким-то образом умножив их, давала непонятный мне знак из своей глубины. То ли дразнила, то ли укоряла... Может, напоминала...

«Хорошо ему, — думалось мне, когда мы с братом уже возвращались в сумерках домой, — он не ведаёт того, что со мной сейчас происходит. Шагает себе... Сдирает прилипшую чешую с рубашки своей и всё... И она отлетает из его рук в песок дороги, потускневшая и ставшая неживой...»

Давно это было. Теперь русло у реки в этом месте спрямилось. Каменистого мыска нет. Течение выровнялось...

## **Два моих отца**

Следуя логике воспоминаний, я невольно подошёл к моменту, когда впору сказать о моём отце Станиславе.

...Сюда, к Лопушному озеру, чуть правее Ледянки, по рассказам мамы, она с моим польским отцом приезжала несколько раз на корове, запряжённой в рыдванку, за дровами. Мама собирала сушняк, а отец, как говорила она (это меня в детстве особенно поразило), валил без топора и пилы сухой. Так был мой отец крепок!

Всегда я помнил и отмечал это место, освещённое некогда присутствием моего отца. От которого на все мои последующие с рождения пятьдесят с лишком лет не осталось ни малейшего материального признака бытия. Кроме меня самого...

И мы с дедом Иваном ездили к Лопушному за дровами. И каждый раз при приближении к Лушкиной поляне я чутко вздрагивал. Призрачное присутствие моего польского отца в этой луговине лишало меня душевного равновесия.

Подобное случилось со мной, когда уже учился на первом курсе института. Я обнаружил в Самаре (тогда Куйбышев) небольшой особнячок на улице Чапаевской. Согласно укреплённой на его стене табличке значилось, что в 1941-43 годах в нём находилось посольство Республики Польша в СССР.

Первые дни после такого моего открытия я был сам не свой. Несколько раз безотчётно приходил к этому дому. Здесь должен был бывать и мой отец. Ведь он же оформлял какие-то документы, состоял на учёте, призывался в Войско Польское. Он был здесь! Этот дом, эти холодные, жёлтые стены видели его... Он смотрел на них. Говорил что-то здесь. Смеялся. Мама говорила, что он был красивый и весёлый. Тогда, в эти дни, я пылко дал себе слово, что буду искать отца всю жизнь! Пока не найду! А если он погиб, попытаюсь как можно больше узнать о нём.

Сведений об отце было совсем мало. Всего лишь имя, год рождения. Мама знала, что он варшавянин. Брак их не был зарегистрирован. Он — иностранец. Она — русская. К моменту, когда отец Станислав появился в Утёвке, от первого мужа мамы, Василия, призванного на службу в 1938 году, не было с фронта писем более трёх лет. Вернувшиеся искалеченные однополчане Василия мотали головами, не веря собственному возвращению. По их словам, Василий Шадрин погиб при разгроме армии Власова.

Мама и отец Станислав, попавший в Россию вместе с отступавшими войсками, стали жить в доме моего деда одной общей семьёй. Пока не пришла и его очередь. Призванный в Войско Польское в конце сорок третьего, и он пропал без вести.

Вернувшийся после плена из Германии рядовой Василий Шадрин привёл за руку жить мою маму со мной на руках в дом своей матери Прасковьи Шадринной. Не смогла Прасковья

смириться с тем, что её сноха не дождалась законного мужа. Родила от поляка...

«Лучше бы тебя убило на войне», — так встретила она сына на пороге своего дома.

Василий Шадрин не стал жить в родительском доме. Ушёл. Приютили нас троих мой дед Иван и баба Груня.

И об этом я писал в одной из своих повестей. Упоминаю вновь лишь для того, чтобы восстановить цепочку событий.

\* \* \*

По молодости я недооценил сложность поставленной перед собой задачи найти отца. Обращался письменно и устно куда только мог. И у нас, и за границей. У меня было очень мало сведений. Все поиски были безуспешны. Активно работая на нефтехимическом производстве и в науке, я до 2000 года побывал за границей по долгу службы более двух десятков раз. И всегда, где только было можно, пытался наводить хоть какие-то справки. Во Франции, США, Швейцарии, Германии были надёживающие знакомства с поляками, но увы... Последнее моё обращение было у нас в адрес популярной телепередачи «Жди меня», которую вёл Игорь Кваша. Не работало.

Я уже было начал готовиться к поездке в Польшу, намереваясь методично, посещая костёлы в Варшаве и её окрестностях, попробовать отыскать хотя бы какие-то записи. Одновременно помнил о гигантском, чудовищном разрушении немцами Варшавы. И костёлов в том числе. Но всё же... Это было похоже на намерение искать иголку в стоге сена. А что мне оставалось делать?..

Помог случай.

Франтишек — польский инженер, учёный — вот кто свершил то, что не получалось более чем сорок лет у меня. Мой теперешний польский друг Франтишек оказался тогда, в 2004 году, участником научной конференции, проходившей на теплоходе, следовавшем по маршруту «Самара — Астрахань». Моя дочь Юлия — одна из участниц этой конференции, узнав, что на пароходе будут трое учёных-поляков, взяла у меня на авось скудные сведения об отце, отпечатанные на одной страничке. Франтишек пообещал попробовать начать поиски.

И вот через два месяца после конференции держу с трепетом в руках присланную по электронной почте выписку из

Центрального Войскового архива Польши: «Станислав Малиновский, сын Михайла, 1919 года рождения. Призван в Войско Польское во 2-й артиллерийский полк девятого сентября 1943 года. Служил до 19 ноября 1945 г. Звание: капрал. Национальность: поляк». Всё в выписке разнесено по графам, с армейской чёткостью. В графе «Адрес постоянного проживания до ухода в армию» значится: «Куйбышевская обл., село Утёвка, ул. Центральная». Всё сходилось! В графе «Семейное положение» с трепетом читаю: «Женат. Жена: Малиновская Катерина». Всё так! Только имя мамы моей далёкий писарь несколько переименовал. Вместо русского «Катерина» записал латиницей «Катарина». Это притом, что отец с мамой не были расписаны. Когда Станислава призвали в Войско Польское, она была беременна мной, на четвёртом месяце. Оказалось, что отец Станислав участвовал в освобождении родного города Варшавы, где проживали его мать, отец, старший брат. Уволен был капрал Малиновский по ранению.

Вот тут-то, как рассказывал позже о своих поисках Франтишек, после увольнения следы отца затерялись. И тогда Франтишек, понимая, что возраст моего отца преклонный, методично, как я намеревался искать когда-то записи о рождении в костёлах, начал искать имя моего родителя в списках захоронений на кладбищах.

...Он нашёл могилу моего отца на старинном Брудновском кладбище. Рядом покоится вторая жена Станислава — Барбара. Чуть поодаль младшая дочь Юола. Здравствующая ныне старшая дочь (моя сестра по отцу) Ханна рассказывала мне, что женитьба отца проходила, как ей говорили, скромно. Без белого платья невесты. И без венчания в костёле.

В середине августа 2005-го я, моя жена Лариса и мой внук Саша уже были в Варшаве. Я всегда представлял себе отца Станислава красивым, крепким и ладным. С самого раннего детства. Так складывалось из рассказов моей мамы и бабушки Груни.

И теперь не могу сказать, было ли педагогической ошибкой моей бабушки, сказавшей мне, что мой родной отец — поляк? Или только так и должно быть... Но понимаю теперь ясно, что с того дня, когда я это узнал, по-иному стал глядеть на многое, что окружало меня. И обычно, как раньше, и как бы со стороны, как наполовину чужак... сам не свой...

Глядя на отца Василия, получившего увечья на фронте, на его мужественное преодоление и нездоровья, и нужды, всячески помогал ему. А где-то в глубине сознания сверкало: там, далеко, у меня ещё один отец есть, красивый и сильный! И мне ничего от него не надо. Нам не надо! Пусть хотя бы он живёт красивым и сильным! Хоть ему повезло! В то, что он жив, всегда верил. А раз жив, то уж в Варшаве-то жизнь не должна быть такой тяжёлой, как наша... в Утёвке...

\* \* \*

...На кладбище Ханна рассказала мне, что в 1968 году, когда отцу Станиславу не было и 50 лет, около дома на автобусной остановке его сбили трое пьяных на автомобиле. Был суд. У отца оказались множественные переломы обеих ног. Около года он пробыл в больнице. В одну ногу ему ниже бедра вставили металлический стержень, на другую наложили двенадцать скоб. Ходить он стал только с костылём. Жена Барбара с горя заболела и вскоре умерла. Капрал Малиновский, прошедший почти пол-Европы два раза, туда и обратно, освобождавший Варшаву, получил увечье около своего дома. И прожил инвалидом 31 год.

Когда я это узнал, встали, как живые, перед глазами на костылях оба моих отца: русский и польский. И не сдержался. Там, у могилы отца, впервые за последние лет сорок внезапно заплакал. На глазах у женщин и у внука.

...Моя мама пережила обоих своих мужей.

## **Мамины руки**

Давно написал я это стихотворение. Оно и об отцах моих, и о маме:

*Два светлых имени, два моих отца —  
Войною соединённых два кольца.  
Отечеству по-своему служили  
И мне в безвременье оплотом были.  
А матушка, в любви своей святая,  
Неугомонная и молодая,  
С руками жёсткими, как два весла,  
Она мне родину мою дала.*



*До боли в сердце и до песни звонкой  
Люблю тебя, родимая сторонка!  
Люблю и мучаюсь порой при этом:  
Боюсь казаться странною кометой,  
Мелькнувшей лишь на миг во тьме кромешной,  
С фамилией красивой и нездешней...*

Когда составлял сборник стихов «Окошко с геранью», не без колебаний решил поместить и это незамысловатое стихотворение. В нём редактор тут же зацепился за строчку: «С руками жёсткими, как два весла».

— Ну что это? Александр! Ни в какие ворота!.. Руки — вёсла? Да ещё жёсткие? И это о матери?..

И он, как казалось, вполне искренне недоумённо покачивал головой. Не забывая интеллигентно поглаживать указательным белым пальчиком левой руки холёные усики, настоятельно советовал: «Надо поправить...»

Я возражал как мог.

Мама для меня всегда живая. Она была такой.

И я вижу её руки. Сколько они выдержали в жизни! Сколько переносили одних вёдер с водой из колодца! Чтобы была вода в избе, чтобы напоить нас, напоить скотину... Мы все помогали родителям. Но столько было всяких забот...

В летнюю пору она вставала в четвёртом часу утра. Надо было подоить и проводить нашу кормилицу корову в стадо. И с этой рани до темна, пока не вернётся корова во двор, пока она её не подоит, не утомит всех нас, четверых ребяташек, хлопотала по дому. А потом, когда мы подросли, стала работать ещё и уборщицей в клубе.

Я помню её руки, вижу их. Большой палец на правой руке у мамы был сантиметра на полтора-два, почти до сустава, отрезан. И выглядел, разбухший и раздвоенный, как клешня. Таким он стал после того, как мама напоролась им при мытье пола в клубе на ржавый гвоздь. Пошло сильное заражение.

Руки мамы. Руки, отяжелённые непосильной, изнурительной работой. Они были у неё несоразмерно большие при её малом росте. И выглядели как механизмы, как зацепы для захвата и перемещения тяжестей.

Она и носила руки свои как бы отдельно от себя: чуть вывернув локти в стороны. Отчего кисти рук висели ладонями назад. Как у штангиста-тяжелоатлета.

И при этом она была такой весёлой! Часто смеялась. В облике её так много было светлого. Моя маленькая мама походила на большую птицу... Так порой в ней проглядывало голубиное... И этот её говор! Щебечущий, уютный. Мы, дети, редко когда слышали от неё окрик... Нам всегда хотелось ей помочь...

Когда она ложилась отдохнуть, то клала руки свои, как большие инструменты или механизмы, вдоль туловища. И они отдыхали. Как бы сами по себе.

Руки у неё, как она говорила, часто «гудели». От напряжения. Тогда мама ими мерно помахивала, не поднимая выше пояса. Успокаивала так. Или готовила к новой работе...

\* \* \*

Здесь, напротив Полоузного ключа, мама, не умеющая плавать, перешла вброд Самарку и перенесла меня на руках, словно на крыльях, гонимая бедой, через реку. И в военное лихолетье от горя в неиспелимой материнской вере и надежде на моё прозрение в Мало-Мальшевском храме Святого Архангела Михаила окрестила меня.

...И на мамином обратном тогда пути в Утёвку оказался как бы случайно калика-старичок, подсказавший, как лечить меня от слепоты, страшного недуга, оставшегося после кори. И она, многое уже перепробовав — от заговоров до настоев из голубинового помёта, начала лечить меня заново. Настоем дождевых червей смазывала каждый день мои глаза... Наступили холода, земля замёрзла, и дядька Сергей стал добывать червей в погребах. И на удивление врачей, тех, которые из сельской больницы выписали (читай: выпроводили в своём бессилии) меня незрячим, постепенно я начал видеть.

\* \* \*

Мамины руки!

«С руками жёсткими, как два весла».

Я сопротивлялся тогда, при составлении книжки стихов. Противился потере правды. Но новая строчка, явившаяся мне

в сопротивлении редактору: «С руками лёгкими, как два крыла», закрывала прежнюю, отодвигала её куда-то на второй план. Я не сразу её принял. Сам вначале противился своему. Но она открывшейся своей сокровенной правдой, истинным смыслом, брала верх.

И я сдался, поменял строчку.

У поэзии своё зрение.

\* \* \*

Мама просветлённо и скупо рассказывала о том, как произошло моё выздоровление в тот раз. Будто опасалась расплескать, не сберечь в себе тихую радость и благодарность за данную ей благодать.

...В один из сенокосов, когда косили сено за Самаркой, у Малой Мальшевки, я увязался за дедом. Во мне вспыхнуло неодолимое желание увидеть, как мама говорила, «кипенно-белоснежный» храм с колокольней в честь Святого Архангела Михаила.

...Михайловский храм в отличие от многострадального храма Святой Троицы в моей Утёвке никогда со времени его постройки в 1836 году не закрывался для прихожан, оглашая округу радостным для души звоном. Разве что в 1884 году, когда он перестраивался. Тогда, как знаю, его изнутри обшили оцинкованными листами. Церковь пытались потом в лихие годы не раз поджечь. Металлическая обшивка спасала. Эти подробности узнал уже много позже, взрослым. А знала ли мама тогда, явившаяся на руках со мной перед ликом Архангела Михаила, выступавшего главой святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закона, что она одна из многих тысяч, которые обращаются к святому с просьбой об исцелении? Знала ли, когда молила за меня, незрячего, что Михаил Архангел почитается как победитель злых духов, которые в христианстве считаются источником болезней, что он прославлен своими чудесами по всей Руси! И ему посвящено большое количество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов? Возможно, и не знала. Была одна со своей бедой. Но, преодолевая нелёгкие эти пятнадцать километров, несла в себе великую материнскую веру в поддержку. С верой и надеждой оказалась она в храме! Молилась в окружении «афонских икон» — спи-

сков со святых образов, выполненных в иконописных мастерских русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне и принесённых паломниками, побывавшими там на богомолье. В храме есть копия иконы Табынской Божьей Матери! Иконы чудотворной, крестный ход с которой, по преданию, остановил в 1848 году эпидемию холеры в самом Табынске, а потом в почти вымершем тогда Оренбурге. Крестный ход с иконой Табынской Божьей Матери был самым продолжительным по времени и расстоянию в России.

«Разве могла я в своих молитвах оказаться неуслышанной?.. А уж там как Богу угодно...» — эти слова мамы до сих пор помню.

### **Тканый ковёр**

...Множество раз побывал я в своей жизни у окулистов. И так получилось, что только один из них в начале восьмидесятых годов признал врачебный рецепт лечения глаз, данный седовласым странником моей маме в лесу под Мало-Малышевкой. И назвал его автора — Авиценна.

Пытаюсь теперь вспомнить имя участкового врача Новокуйбышевской поликлиники, открывшего мне по-иному Авиценну... И не могу. Помню только его знаменитую фамилию: Ворошилов...

«Авиценна» — сколько раз в жизни мне попадалось это странное имя. Кое-что читал о нём. Но так, на бегу... И только после встречи с врачом Ворошиловым, на пятидесятом году своей жизни, потянулся к этому имени. Авиценна — латинизированная форма от Ибн Сина. Выдающийся среднеазиатский учёный, философ, врач (настоящее его имя Абу Али Хусейн Абдаллах Ибн Сина) родился в селении Авшана, недалеко от Бухары. Жил он около тысячи лет назад. Первый описал чуму, холеру, желтуху. Проанализировал причины, признаки и способы лечения таких тяжёлых болезней, как язва желудка, менингит и многих других.

Подробно описал, объяснил строение мышц глаза. Гениальный врач, знаменитый философ и вынужденный скиталец по караванным путям, порой писавший в седле, он и умер в дороге...

Его «Канон врачебной науки», состоящий из пяти томов, стал в своё время энциклопедией во всех странах мира. Когда был изобретён печатный станок, «Канон» напечатали сразу вслед за Библией.

Авиценна написал более 450 трудов в 29 областях науки. Фантастическая работоспособность. По легенде смерть великого врача таинственна и поразительна. Как сама его жизнь!

Предание гласит, что, почувствовав близкий конец, Ибн Сина решил дать смерти бой. Великий врач изготовил сорок снадобий. Правила их использования он продиктовал своему ближайшему ученику, на случай собственной смерти. Когда Ибн Сина умер, ученик приступил к оживлению. Изумлённо он видел, как появляется у его учителя дыхание, розовеют щёки. Оставалось последнее снадобье, которое надо было влить в рот Учителю. Оно должно было закрепить жизнь, восстановленную предыдущим лекарством. В волнении, поражённый происходящим возвращением жизни, ученик выронил последний сосуд. Смесь впиталась в песок, и через несколько минут перед учеником лежало дряхлое тело Учителя...

Великий Авиценна и моя мама?! И этот старичок-лесовичок, встретившийся маме, когда она со мной на руках после молитвы об исцелении возвращалась из храма в Малой Мальшевке... Я и сейчас, когда пишу эти строчки, не скрою, пребываю в плену этих событий.

И видится наша жизнь: общая и жизнь каждого из нас, ныне живущих, одним общим «тканым ковром», узоры которого идут от самого изначала жизни на Земле... и стремительно уплывают в необозримое будущее. Непредсказуемо и судьбоносно...

## **Пески**

Есть слова в нашем русском языке, которые не тускнеют, не затираются от употребления. Они, если и не звучат часто, то всё равно постоянно в твоём сознании. Порой вот-вот готовые быть произнесёнными, иногда — как в глубоком колодце: мерцают таинственной силой. Пришли они с молоком матери. Среди таких слов у меня: река, поречье, заречье! С ними так много связано в жизни. Произносишь эти завораживающие

слова и всем существом своим осознаёшь, что основа их — вода! Вода — основа всего живого! И её всегда не хватает, воды...

Здесь, в поречье, где, казалось бы, так много воды, где целая река, помощь неба желанна всегда! Каждой травинкой и веточкой! Дождь всегда здесь особенный и всегда кстати. Иссущенная песчаная равнина поречья ждёт, жаждет влаги. Дождь и река — объединяющее начало в этом песчаном пространстве. Начало и продолжение жизни. Помощник и посланник той силы, которая особенно ощущается, как ни странно, здесь в безветрие. Когда вокруг ещё далеко до дождя и природные таинственные силы в равновесии. И ты криком ли, стуком железа, ещё чем-то вот-вот можешь нарушить это таинство. Поречье очнётся от дремоты! И мощная стихия дождя обрушится разом... Божественно и благодатно...

...Мы приближались к тому месту в нашем поречье, которое издавна зовётся Песками. Пески — это песчаная береговая полоса вдоль Самарки и огромное, прилегающее к ней пространство, отделяемое от реки осинником, а от леса справа — дорогой, идущей под Крепость. Здесь, в этом обширном пространстве, поболее уже двух десятков лет росли медноствольные сосны. В рукотворном бору сосёнки стояли стройные, ровные. Дружно стремились они вверх, к свету. Отстанешь в росте от других — сомкнутся вверху макушки над головой и не догнать, будешь без света худосочной и неказистой... Кого это порадует?.. Оттого-то они здесь росли споро, наперегонки. Веселили душу и себе, и всем, кто около них бывал...

...Мы резво вильнули на своих велосипедах с тропинки на дорогу и были ошеломлены: широченные, разъезженные колеса, помятые с боков дороги кусты краснотала и крушины... Было похоже, что здесь побывали многократно большие грузовые машины. Но какая необходимость в этом? Дорога к мосту намного правее, за озёрами Лопушное, Старица, Подстёпное... Впереди поворот к самой Самарке. Ещё небольшой подъём, поворот вправо, и окажемся в молодом сосновом бору!

Повернув, мы ввыскочили за поворот и... оказались не в бору, а на... пепелище, на пожарище. Бора не было. Лишь кое-где либо лежали, либо вкривь стояли горелые сосновые лесины. Очевидно, прошлым летом либо осенью здесь случился

верховой пожар. Для такого пожара преград практически нет. Пламя, как крылатый косматый зверь, прыгает с одного дерева на другое...

Как же не повезло вам, мои повзрослевшие сосёнки! От вас теперь остались только вот эти чёткие ряды пеньков. В чьих-то руках бензопилы поработали отменно. Как жутко теперь здесь. Всё практически вывезено. Малые обрубки, обрезки, кора... Только они, вмятые в податливую почву мощными колёсами и остались. Копоть и гарь теперь на поляне. Тихо вокруг. Ни зверя какого, ни птицы...

По дороге ехать нельзя. Её нет. Она только угадывается. Всё перемешано колёсами: грунт, зола, обломки лесин...

Внук, попытавшийся было поехать, тут же наскочив на приземистый сосновый пень, повалился вместе с велосипедом на землю. Когда я подошёл, он разглядывал большую царапину на голени. Там алыми капельками просачивалась кровь. Взяв щепоть золы, внук поднёс её к ноге.

— Не смей! — опередил я.

— Почему? Ты же сам говорил, что в детстве так раны лечил, золой.

— Когда это было?.. Мало ли чего?

— Дед, ты суеверный?

— Нет, цивилизованный. Что потом твоим родителям, твоей бабке буду говорить? Вдруг заражение? Что она сказала: «Не заболейте там!» Раз на раз не приходится, — ворчал я, пытаюсь в рюкзаке отыскать аптечку с йодом.

...Мы сидели у края дороги под узловатым, кручёным вязом, сморённые жарой. Справа темнела огромная песчаная поляна, захламлённая древесными сосновыми обломками, обрубками, обгорелыми стволами сосняка. Это всё, что осталось от молодого бора...

## **Ваня Тюм-Ля-Ля**

Были когда-то, ещё до посадки сосёнок, здесь, где посвободнее от краснотала, на Песках, бахчи. Года два всего. Потом они перекочевали за Самарку. Но память об этих бахчах осталась. Благодаря дяде Ване Тюм-ля-ля.

Дядя Петя Мордвинов рассказывал так:

— С ним, с Ванькой-то, ни украсть, ни покараулить. «Ля-ля» только. А его бахчи поставили сторожить... А эти, которые на Ветлянку понаехали, — нефтяники — повадились в Утёвку. То на танцы в клуб, то на бахчи. Ребята молодые, отчаянные. Особо, правда, не баловали. Ночью подъедут потихоньку. Дверь у шалаша, где сторож спит, закроют, подопрут колом и айда хозяйничать. Катай — не хочу арбузы. Сколько хочешь — в машину.

Ванька-то и сообразил. На ночь лёг не в шалаше, а прямо меж арбузов. Пристроился у копёшки, одностволку свою приткнул. Говорит: «Постращать задумал. Пальну пару раз, чтоб не повадно было».

Так он говорил. А я кумекаю: из шалаша-то он от беды подалее чтоб... Мало ли чего? Ночь. Лес. И люди не свои, не местные. Не знай, какие?..

«Заснул, — говорит, — и сквозь сон чувствую, что кто-то навроде гладит головёнку лысую мою ладошкой. Так аккуратненько... А потом, шельмец, как крутанёт мне её справа-налево, слева-направо. Головушку мою с арбузом спутал. Луна хоть и светит, но так — слюняво».

Оно и правда! На голове-то у него три волосинки в шесть рядов. «Больше на тыковку похожа, но ночью-то можно спутать и с арбузом», — строил свои умозаключения Мордвинов. И продолжал:

— Как же не оторвали от вешки-то? — спрашиваю Ваньку. — Шею-то?..

— Как? Как? — отвечает. — Когда сообразил, что к чему, и пропажу одностволки обнаружил. Она ж у меня промеж ног была вложена!.. А тут нету! Как заору на всю бахчу! На весь лес! Как какой Тарзан! Манёвр такой избрал. Ну, они кто куды, ребятня ведь... сыпанули, как горох... А у меня лёгкие знаешь какие? Меха! Не только заорать могу! Я такой в молодости бегун был, хоть куда!.. И сичас мог бы любого достигнуть! Хоть до самой Ветлянки мог гнаться. Пожалел их, однако... Меня не удержишь... Я самого себя поостерегся, не побежал... Дерба-лызни меня драндулетом!

Так ли было на бахчах с Ваней Тюм-ля-ля или нет, дядя Петя и сам не знал. Но рассказывал об этом несколько раз. И каждый раз похахатывал, мне казалось, что он это всё сам наполовину придумал.



Был и другой вариант случившегося на бахче с Тюм-ля-ля.

Его излагал большой приятель дяди Вани на почве выпивки, но и не меньший любитель резануть правду-матку, когда это надо, Гриша Комулятор. Дело было чуток иначе.

Вовсе ребята и не побежали к машине, обнаружив сторожа под копной, а оставив его голову в покое, мирно поговорили с ним. Туда-сюда... Подзатарились арбузами. Вернули сторожу одностволку, выкинув патрон. И потихонечку съехали с бахчей.

Кому верить?.. Будто Ванька даже подсоблял им выбирать арбузы. Плохо видно, ночью-то...

— Угнаться за Ванькими придумками — невмочь... — жаловался Гриша Комулятор. — Рассказал мне про свои опыты. Я, говорит, науку постиг по арбузам. Засёк, сколько дней арбуз растёт, сколько потом поспевает.

— Как жеть, это ты засёк? — спрашиваю. — Интересно.

— Очинно просто, — отвечает. — Я, говорит, измерял арбуз каждое утро шнурком. По кругу. Арбуз растёт две недели. И цельных две недели потом зреет.

Ну я и загорелся проверить.

Тожа опыты провёл у себя на огороде. Как какой Мичурин, вёл науку. Не сошлась моя наука. Сроки роста и созревания не одинаковые. И это: половину арбузов перевёл. Чтоб, значит, удостовериться: в срок спеют? Или как?..

Сказал Ваньке об его никудышной науке, а он:

— Ты, голова, не те арбузы проверял. Надо «Победитель» или «Огонёк». Они местные, тутошнему закону подчиняются! А ты камьшинские посадил. Ещё ба какие бразильские учудил. Голова?!

Я ему:

— Балабонишь ведь!

А он:

— Опыт важно делать несколько раз. Чтоб никаких и ничего!.. Возьми у меня семена «Огонька».

Тырлычит себе. И лыбится так...

Сашка Мазилин говорит, что он ходит к Тюм-ля-ля на подзарядку настроения, когда пасмурно на душе. Сам не хуже его!

Когда они вместе, никакого кина не надо. Клубный наш кино-механик Колька Горин может отдыхать.

Этот второй вариант событий на бахчах обстоятельного вроде на вид и серьёзного Мордвинова не устраивал: «Нету никакой антиресной приправы к рассказу. Ну что это? Приехали — набрали арбузов — уехали... Скучно!

Про Ваню Тюм-ля-ля у нас любили рассказывать.

Чтобы хоть как-то развеять никудышное своё настроение, рассказал и я внуку про этот случай на бахче. Думал, что ему это будет совсем не интересно с его компьютерами, скайпами и айфонами... Сам первый, рассказав, засмеялся.

А внук вполне серьёзно и живо спросил:

— А как взаправду было? Кому верить? Арбузы действительно так растут?

### **Осина выручала...**

Будут ли когда вновь здесь, на Песках, шуметь сосны? Они не очень любят селиться на горях. Света здесь много, кое-где объявилась уже поросль осины. Растёт осина быстро. На неё надежда: под её защитой часто теплолюбивые сосёнки и вырастают. Может, и здесь такое случится. А пока, как сказал бы мой дед, кнутовище вырезать негде.

Осина часто выручала.

Дед, задумав строиться у себя на задах, начал с сыновьями рубить сруб из осиновых брёвен. Не захотел лепить из самана. Я недоумевал. Осиновый дом? Надолго ли его хватит?

Дед мой знал, что делал. Другого-то подходящего материала, кроме осины, не было. А сосновые брёвна цену имели кусачую. Осина оказалась и долговечной в срубе, и тёплой. И деду, и нам — всем нравился новый дом. За наличниками его окон, обращённых в Ильмень, в луговое раздолье, быстро обжились голуби.

Теперь весной мой дед ловил карасей прямо под окнами своего нового осинового дома, в огороде, в речке Утёвочке. Говорили, что он рыбу поймать мог и в колодце — такой умелец!

И то правда: в водополе, прорвав плотину Ветлянского водохранилища, вешняя вода с лугов и Ильменя шла нашими огородами. Карася было много... И в колодец рыбка попадала...

Уже более полусотни лет прошло с тех пор, а стоит ещё этот срубленный из чернолесья дом. Теперь невидимый с проулка, потеснённый новостроем. Ни вишен, ни яблонь, ни ранетки перед его окнами нет уже...Сейчас это никому не надо.

Новый хозяин, работающий где-то на северах, воздвиг рядом огромный серый кирпичный дом, закрыв прежний. И двор маленький, теперь стал совсем уж съёжившимся. Ворота для въезда телеги либо машины нет. Одна калитка. Новая, из профнастила. И такая узкая, что корове через неё не пройти...

...В прошлое лето я был в доме деда. И хорошо, что один... Я бы не смог говорить...

Что же это за время такое наступило? Или мой возраст такой?.. Потери идут за мной по пятам. А то и обгоняют...

### **Старая ранетка**

Не знаю, каким образом попала к моему деду эта толстенная книга. Обнаружил я её в ларе с отрубями и пшеницей в приземистой мазанке.

Это был один из томов собрания сочинений Ивана Владимировича Мичурина. Книга называлась: «Избранные сочинения». Я недоумевал. Почему «сочинения»? В ней же учёный рассказывал о деле всей своей жизни, без вымысла, фантазии. Не сочинял, а излагал. Как было!

Книга поражала. В ней было столько всего о плодовых растениях, об огромном, фантастическом труде автора.

С первых же строк автобиографии дохнуло ароматом, прелестью изложения. Основательность, неторопливость, сдержанность и в то же время такая ёмкость каждого слова!

Я стал пленником этой книги. Совсем не художественной, но такой проникновенной. Читал этот толстенный том часто под старой ранеткой у деда в огороде.

Ранетка была здоровущая. На высоте около полутора метров ствол её делился на три чуть меньшей толщины. Было будто три больших дерева, сплошь усыпанных кисло-сладки-

ми ядрёными ярко-красными плодами. В развилке была площадочка из досок. На ней можно было спать. А внизу стояла кровать. Я часто ночевал под скрипучей ранеткой.

...Каких только, оказалось, нет сортов яблонь! Антоновка шестисотграммовая, Антоновка шафранная, Китайка анисовая, Китайка золотая ранняя. Искал я в толстенной книге и ранетку, как наша! Но такой не было. Был, помню, Ранет бергамотный. Загорелся посадить такое дерево. Любопытно, что из этого получится?..

До сих пор помню прочитанное название сорта груши: Русская молдавка! Так хотелось увидеть такую!

Позже со страниц Аксаковских повестей «Записки об уже-ные рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» повеяло на меня такой же прелестью безыскусного изложения былого.

Помню, при чтении мне пришла совсем уж неожиданная мысль. Будь мой дед образован, он мог бы написать такие книги! Мне порой казалось: дед потому такой иногда грустный, что не может вслух сказать то, о чём думает, знает... Выразить не может. Не постиг грамоту... Не может подобрать слов. Эти книги Аксакова и Мичурина — художественные и научная, равно-велико подействовали на меня.

Надо ли говорить, что когда мой отец, располовинив огород, затеял посадку сада, я не отходил от него. Был первым его помощником. Избрали мы для посадки в первую очередь Антоновку шестисотграммовую и две Китайки золотистых ранних. Посадили и Ранет бергамотный.

...Иногда как бы ненароком, по ходу разговора на лекциях, спрашиваю своих студентов, какая литература им интересна? Спросил недавно, читал ли кто Аксакова? Попросил поднять руки. Ни одной руки не всплеснулось. То же случилось, когда спросил о книжках Гарина-Михайловского. Удивлённые глаза в ответ... Но пара рук поднялась.

Ну, да, понятно, студенты мои технари. Автоматика, телемеханика, химическая технология — вот сфера их будущей деятельности. Зачем им Аксаков?! Они дети середины 90-х годов, когда в школе, в семьях наших было так много того, что не позволяло уделять воспитанию и образованию достаточно внимания. Но всё же?! Всё же?..

Чуть было на лекции не спросил: не попадалась ли кому замечательная книга Ивана Владимировича Мичурина? Читал ли кто этого великого труженика? Но вовремя остановился: «Куда меня понесло?»

Недавно отыскал «Автобиографические сведения», написанные Иваном Владимировичем Мичуриным, так когда-то поразившие меня. Вновь прочитал признание человека, свершившего великое:

«...А между тем, как теперь вдумаешься, сколько потрачено мною сил, сколько положено тяжёлого ручного труда и перенесено различных лишений вследствие крайнего недостатка материальных средств к достижению намеченных целей...

Теперь даже самому не верится, как я, со своим слабым болезненным сложением, не приученный с детства к тяжёлому ручному труду, мог вынести всё это? Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения могла дать ту невероятную стойкость организма, при которой человек становится способным выполнить непосильный для него труд...»

Страсть...

Страсть, способная погубить человека и дающая невероятную стойкость, — она и наказание, и дар! Награда природы! Как, по каким меркам она выбирает человека?..

\* \* \*

Непосильного труда в детстве было через край. Наша сельская жизнь держалась на повседневном невероятном физическом напряжении. Страсти в таком труде, дающей толчок к подобной жизни, как у Мичурина, не было. Была необходимость, изнуряющая и выматывающая силы.

В этом, может, и причина того, что наша жизнь на земле не расцвела садом. В который раз уж подумалось, что причина не в том ли, что предчувствовалась обречённость такого образа жизни моих соплеменников на земле. Причина в усталости и вслед за этим отчуждённости от земли...

...В ту осень я приехал в село и сразу направился в дом деда. Оба — и дед Иван, и бабка моя Груня — были в саду. Баба Груня собирала под навес картофельную подсохшую ботву, а дед Иван сидел на земле около только что спиленной им старой ранетки.

Нехитрая работа утомила его. Лоб покрылся испариной.

— Сердце совсем не даёт работать. Сколько раз отдышал, пока одолел, — будто извиняясь передо мной, произнёс он. — Все яблони давно повысохли. Одна ранетка держалась. И ей пришёл срок...

Снял фуражку и, поискав устало глазами место, положил её на низкий, мертвенно белеющий свежим спилом, пенёк ранетки. Той самой ранетки, с которой связано было так много в моём детстве. Я вздрогнул от этого его жеста. Столько увиделось безысходности в нём и... усталости от жизни.

Без ранетки осиротел не только огород деда. Осиротела вся наша улица, все ребятишки моего поколения, которые любили около неё крутиться.

— Дед, давай на следующий выходной привезу штуки три яблони. И посадим! А то ничего в саду не осталось. Эта ранетка...

Отрешённо глядя мимо меня, он отозвался спокойно:

— Зачем? Для кого? Нам с бабой Груней уж ни к чему теперь... Наши сады отцвели. А вы все вон где, в городах... Вам не до этого...

## **Вопрос китайского профессора**

Сколько раз в моей жизни спрашивали меня, почему я стал химиком-технологом. В разные годы отвечал по-разному.

Теперь впервые задал сам себе вопрос: почему не стал садоводом? Сколько успел посадить деревьев, а мне всё мало... И не нахожу определённого ответа на этот вопрос.

Как не нашёл более-менее внятного объяснения, когда в Шанхайском университете, куда прибыла наша делегация российских писателей во главе с директором института мировой литературы, членом-корреспондентом РАН Феликсом Феодосьевичем Кузнецовым. На конференции, посвящённой состоянию российской литературы постперестроечного периода, Феликс Феодосьевич делал небольшой доклад. Это было в 2000 году.

Интерес китайских учёных к русской литературе огромен. Знание её нас тогда поразило. Студенты, аспиранты, профессора и до, и после конференции, живо, говоря замечательно на русском языке, атаковали нас вопросами.

Потом в неформальной обстановке студенты свободно читали стихи Есенина, Пушкина, Гумилёва, Заболоцкого... А когда начали вместе мы петь наши русские песни, оказалось, что китайцы знают их намного больше, чем мы.

Но вопрос! Его задал мне после моего выступления на конференции седой профессор.

— Скажите, — спросил он, — как могло получиться, что вы, проработав около тридцати лет на нефтехимических заводах, вредных и опасных для природы, стали писателем? Не комплекс ли это вины за содеянное?

Что я мог ответить внятного? Если до конца не осознаю, каким образом возникло в своё время это моё спонтанное желание стать химиком-технологом. Гипнотизировала грандиозность задач, масштабность зарождающейся отрасли промышленности...

И не успокаивает теперь то, что не только меня, всё человечество вывихнуло на этом резком повороте.

Какой огромный энтузиазм проявлен! Вместо того чтобы украшать Землю садами, мы начали бурить, ковырять её тело, всеми способами пробиваясь, как казалось тогда, к несметным запасам. А теперь, как стало очевидно, приближая экологическую катастрофу...

Мы тогда, в начале 60-х, и слов таких не знали. Не знали, что станем все заложниками своей такой бурной деятельности...

Почему всё-таки не стал садоводом? Я не чувствую в этом своей личной потери... И в то же время ловлю себя на том, что будто пытаюсь спрятаться от некоего пристального взгляда за чью-то широкую спину...

## Не успел

...Встающий потихоньку на ноги мой племянник, который живёт в саманном нашем доме, задумал его снести и построить новый, из силикатных блоков. Попросил его предупредить меня о назначенном дне сноса, чтобы успеть приехать. Я участвовал в постройке отцовского дома, жил в нём до своего ухода в город. Хотелось принять участие и теперь в его судьбе.

Не получилось.

Позвонил одноклассник моего брата Анатолий:

— Александр, ты знаешь, что племяш дом ваш рушит?

— Как? Когда?

— Прямо сейчас! Говорю: очумел, что ли? Без Сашки?! Бульдозер уже половину своротил. Не мог остановить...

Я бросился на стоянку за машиной, в чём был одет, не предупредив домашних.

Когда приехал, всё было кончено.

Груда толстенных обломков саманных стен вперемежку с ломким хворостом, который мы когда-то с отцом клали для связки, — это всё, что осталось от отцовского дома.

— А крыша, двери, окна? Где всё? — кажется, невпопад в замешательстве прокричал я появившемуся племяннику.

— Где? Заранее выбрали всё. На задах лежат.

— А почему так сразу? Мы же договорились, что предупредишь!..

— Как предупредишь?! — с досадой ответил племянник. — Договорился с Жолтиковым, а он то пьяный, то с похмелья! Устал бегать за ним. Вечером сам пришёл: «Давай завтра с утра, а то к сеструхе в Домашку на свадьбу уеду». В суматохе обо всём забыл. «На свадьбу уеду»! Это, считай, его неделю не будет.

Не в силах успокоиться, я заходил кругами по обезображенному двору.

...И тут увидел матицу, тускло мерцавшую вдоль забора в пыльной траве. Она была целёхонькой, простояла бы ещё столько! Оба конца её, которыми она лежала на саманных стенах, были крепкими, без гнили. Когда-то мы с отцом мастерили её из длинной прогонистой осины. Матица должна была лежать посередине потолка, служить опорой для досок с обеих сторон. Для этого отец топором вначале по всей длине её прорубил соответствующие уступы. Потом двуручным рубанком и большим долотом мы начали её обработку.

Подошёл ближе. Наклонился, чтобы потрогать покрытую серой краской, отслужившую своё труженицу и... увидел кованое кольцо, вбитое отцом для зыбки. В этой зыбке я качал когда-то обеих своих младших сестёр: Любу и Надю.

Невольно вырвалось:

— А зыбка где? На подволоке под крышей зыбка была, мои самодельные ещё лыжи, коньки старые «дутьши»? Там отцовы костыли были, его кожаный корсет?..



Не успев получить ответ, вновь спохватился:

— А большой зелёный чемодан? Я с ним уезжал в Самару учиться! Где он?

— Где-где! — произнёс племянник, не глядя в глаза. — Рухлядь же всё...

По-другому-то как?

...Враз обессилев от случившегося, я ушёл в соседский палисадник. Долго сидел там на ветхой полуистлевшей лавочке под пыльным карагачём. Закономерное вроде бы дело обернулось порухой. Когда поостыл, не спеша пошёл через двор, заваленный останками дома, к сестре. Глядя на бесформенные груды на пути, подумал странно спокойно, то ли от явной безысходности, то ли от закономерности вершившегося: «Вырос саманный наш дом из земли, в землю и ушёл...»

И когда я уже шёл задами, стало как-то неловко, что так горячился.

«...Они намеренно меня не предупредили. Понимают, что значит для меня мой дом. Пожалели...» — мерцало в сознании.

...Эти слова моей сестры: «Я сама-то ушла, спряталась... И тебе?.. К чему сердце-то рвать?..»

\* \* \*

Потом оказалось, что в городе, торопясь, я не взял с собой сумочку с водительскими правами. Ехал нарушителем. При моей-то аккуратности со всем, что связано с автомобилем.

И запоздало сообразил, что расстояние в восемьдесят километров я проскочил минут за сорок. Это для меня необычно. И всё равно не успел. Не увидел в последний раз своего дома.

Не попрощался с ним.

## **Душа выгорает**

...Мы поторопились к тому краю поляны, где должен был стоять развесистый дуб. Кто-то, очевидно, когда высаживали сосёнки, для пробы или по ошибке посадил около него пихту. Увидел дуб издали. Обгоревший наполовину, он выглядел инвалидом.

Я устремился к могучему дереву, почувствовав, как у меня оживились глаза.

...Вот он, бывший широколистный крепьш! Обугленный, но живой! Жестяной шелест идёт от той части листвы, которую опалил огонь...

Пихты не было. Пихта — дерево редкое и на особинку. Помнил её светло-серую гладкую кору. Пузырьки помнил на стволе её. С пахучей клейкой смолой. Торчащие вверх шишки её всегда хотелось потрогать.

Теперь от неё остался только пень, сантиметров около тридцати диаметром. Древесина пихты не пропитывается смолой, как ель, потому недолговечна. Пройдёт ещё пара лет, и пня не будет. Огляделся вокруг. А вдруг?

Знал, что пихта может размножаться отводками, как крыжовник, например. Стоит только нижним веткам прижаться к земле... Нет, отводков не было. Не успела, бедолага.

— Дед, ты что там шарить? — окликнул внук.

— Да вот, без очков не очень видно, — отозвался я, вставая с колен.

— Разве пихта здесь растёт? — удивился Саша, выслушав меня.

— Да вот, получается, ты прав. Не растёт...

\* \* \*

Мы некоторое время двигались молча. Мне трудно в полной мере знать, что переживал мой внук.

Я продолжал быть в смятении. Размягчённый воспоминаниями, по дороге на Пески, при встрече с ними получил такой удар... И внезапный, и ошеломляющий... Как же так, что не смогли уберечь такое сокровище? Ещё года три назад я был здесь, в этом бору. Не о рыжиках речь. Тогда мы набрали их прилично. Дело... дело... сразу и не скажешь в чём. Оно в потере самих себя. Выгорает душа...

Чуда становится меньше. Нас становится меньше от таких потерь. Отлетает, уносится в никуда самая сокровенная часть нас, самая дорогая...

...И этот котлован, песчаный карьер, обезобразивший всё вокруг. Перекрывший дорогу к реке... Что это? Необходимость такая?.. Но почему именно здесь надо разворачивать добычу песка, уничтожая дорогу, остатки деревьев?.. Оголяя берег реки?..

Или уже кем-то решено: всё тут бросовое теперь. Не восстанавливать, не возродить... Чего уж церемониться.

Но если человек отступил, есть ещё сама природа?! Вспомнил про кулижки маленьких трепетных осинок на горельнике, про лилово-розовую пену цветущего иван-чая на чудовищном пожарище. Они первые поселяются в таких горелых местах. Хватит ли им сил?..

И на берёзу надежда ещё. Она в таких случаях помощница, кроме осины. Но берёз так мало вокруг...

### **С кувалдой**

Совсем ещё недавно, лет пять назад, ректор нашего университета, подвигая меня к чтению лекций по экологии, убеждённо говорил:

— Мы кабинетные люди, а вы с производства. Притом с крестьянскими корнями. Практик! Вот побольше и давайте вместе с академическими знаниями практических примеров из жизни. Что они видели? Ребятам всего по двадцать лет! Делитесь опытом жизни — увидите, это ребята ценят. Вспомните себя студентом! Экологизация мышления, экологизация образования и воспитания нужна!. И экологизация технологий — вот что всех нас может спасти! Экология — синтез всех наук, взятый на вооружение во имя спасения человечества! Вот где выход! А мы всё шаманим, спекулируя вокруг да около... Не боремся за природу, а только делаем вид! «Будить в человеке человека», — когда ещё сказано!

Я решил не «шаманить»!

За лето просмотрев более полутора десятков учебников, пособий, статей в научных журналах и в периодике, подготовил положенные семнадцать необходимых лекций.

Даже написал одну сверх того под названием «Искусство — среда обитания». Дал душе отдохнуть на стихотворениях наших классиков, связанных так или иначе с природой.

Как я мог начать говорить в аудитории не с Фёдора Ивановича Тютчева?

*Не то, что мните вы, природа:  
Не слепок, не бездушный лик —*

*В ней есть душа, в ней есть свобода,  
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

...И пока писал лекции, всплыл в памяти уже забытый давнишний-предавнишний страшный случай, свидетелем которого я оказался в детстве, лет пятьдесят пять назад.

Тогда, помню, пришло время Манаковым резать быка. Отец послал меня отнести им тяжеленную кувалду. Захар Манаков просил. Я поволок страшный груз, пребывая в смятении от его предназначения во дворе Манаковых.

Полуторник стоял на калде, спокойно глядя через ограждение из серых некрашенных штакетин.

...Приготовления были просты и мной едва уловимы. Наискосок по двору мелькнула жена Захара — молчаливая тётка Ганя, оставив около изгороди большое корыто, а чуть позже — таз с тёплой водой. Неопределённо махнув рукой, удалился со двора хозяин. Захар не мог смотреть, как забивают любую животину, а тут — бык-полуторник.

Похрустывая свежим ноябрьским снежком, в подшитых резиной серых валенках, в жёлтой добротной фуфайке (у нас в селе таких ни у кого не было, видать, армейская), дядя Ваня Слепушкин короткими крепкими руками прикинул на вес кувалду и удовлетворённо мотнул головой. Вершил он всё немногословно и сосредоточенно. Катался, как приземистый бочонок по двору. Во дворе остались только дядя Ваня, пришедший с ним его порывистый сын Матвей да я — любопытствующий. Для меня такое событие было первым.

Матвей вынул большой крепкий нож и держал его в руках.

— Воткни тесак в соху, — кратко сказал Слепушкин-старший. Матвей по-своему быстро исполнил команду, вложив нож между двумя продольными рейками, скрепляющими штакетины.

...Быка вывели и привязали к сохе. Матвей встал рядом, притворно ласково поглаживая рогатую голову жертвы. Бык, настороженно пятясь, начал валить шаткий штакетник. Когда Слепушкин замахнулся кувалдой, я зажмурился...

— Нож, где нож? — услышал я голос Слепушкина.

Я раскрыл глаза и увидел, как он нашаривает провалившийся меж штакетин тесак...

И глаз быка увидел: залитый кровью с остановившимся взглядом...

...Заваливаясь на бок, животина несколько раз судорожно ударила копытом о мёрзлую землю. Потом утихла.

Остро запахло калом.

И тут случилось самое страшное. То ли дядька Иван намеревался отодвинуть тазик, то ли он поскользнулся, но, неосторожно приблизившись к возвышающейся, казалось, бездыханной туше, он попал под сильнейший удар, нанесённый последним судорожным движением задней левой ноги быка. Удар пришёлся в пах.

Слепушкин скончался, не приходя в сознание.

\* \* \*

Так много прошло времени с той поры, а случай этот не забылся. И видится он мне теперь в несколько других красках, нежели в детстве. В более жёстких и трагических. Хотя вроде бы должен я огрубеть за долгую жизнь.

Теперь для меня тот бык из детства, хотя существо и мужского рода, — это истерзанная природа, потерявшая способность не только помогать нам, сглаживать беды, которые мы своими руками (и конечно, неразумностью) наносим себе, но утратившая под нашим натиском силы для собственного восстановления. Для залечивания тех ран, которые мы ей наносим. Оглушённая нами природа, породившая человека на свою, кажется, погибель — на грани выживания.

А Иван, вначале с кувалдой, а потом с жутким тесаком — это ставшие теперешними мы все: мужикастые, интеллигентствующие, высоколобые и не совсем. Витийствующие в политике, в искусстве, умные и не очень... Порядочные и те, которых сейчас ой как много, с совершенно пустыми глазами: лишь только хапануть и утащить в свою норку. Все мы!

И не тесак в руках у нас, а сотовые телефоны, компьютеры... атомные электростанции, нанотехнологии... Но чтобы человечество ни изобрело, ни придумало, — всё в конечном итоге используется потом как орудие войны между людьми, нациями и народами, а в результате — против природы. Таков опыт человечества. Но, увы, кто о нём всерьёз помнит?..

...Человек как раз и отличается от остального живого мира тем, что, развиваясь, создаёт вокруг себя культурную среду. Не будем путать цивилизацию с культурой. Но и... «культура,

если она развивается стихийно, а не направляется сознательно... оставляет после себя пустыню». Эти слова принадлежат Карлу Марксу.

Но разве события на Чернобыльской АЭС в 1986 году, трагедия в Японии, после которых огромные территории становятся опасными для проживания человека, — не предупреждение? Неужели кто-то может утверждать, что это неповторимые события? Что больше такого не будет?

Те, кто апеллирует к высокому уровню технологий в этой области, увы, забывают о природе. А она, хоть и усталая, истерзанная, потерявшая былую силушку, былую устойчивость в ногах, скосив на нас налитый гневом и предсмертной тоской взгляд, — не шарахнет ли напоследок в пах или куда ещё? Как в случае с Иваном Слепушкиным. Мало не покажется...

...Мы так давно уже усердно бьём по природе кувалдой...

\* \* \*

Неожиданно для себя начал занятие со студентами по курсу экологии не с академического изложения заготовленного, а вот с этого случая из детства, со смерти Ивана Слепушкина. С возможной катастрофы для человечества, загнавшего природу в судорожные конвульсии. Видел, когда рассказывал, какие были внимательно-настороженные взгляды. Не всякая лекция так начинается...

Когда закончилась лекция, сидевшая на первом ряду девочка — совсем юное, прелестное создание, в элегантных джинсах и лёгкой розовой кофточке, по длине своей никак не рассчитанной на то, чтобы прикрыть с любопытством глазающий на окружающий мир, крошечный пупок на бледном животике, подошла к моему столу и произнесла бесцветным голосом:

— Вы научно-технический прогресс действительно считаете этой... ну, кувалдой? Или это так? Метафора?..

— И так, и эдак, — ответил я, кажется, не очень удачно, ожидая диалога.

— Да уж! — сказала она, отходя в сторону.

И больше ни слова.

И я не успел ничего сказать. Её легко подхватил и увлёк за собой неудержимый поток...

Надо было всем перебираться в другую аудиторию.

## Сам

Всплыл в памяти другой летний день из моего детства. Такой же, как сегодня, знойный. Не могу сказать точно, сколько было мне лет. Около четырёх, не более...

Над головой, в низком, ставшим тёмным, устрашающе огромном широком небе — жуткие сполохи и гром, от которого никуда не спрячешься.

Гроза! Скорее всего, это слово я услышал впервые тогда.

Крепко сжав мою ладонь, мама нетерпеливо подёргивает меня:

— Ну быстрее, быстрее!

Мы бежим, мне кажется, очень быстро. Но мама торопит:

— Не успеем! Беда! Не закрыла заслонку у печи. Ударит молонья в трубу и — нет дома! Или шар этот залетит... Летось у Микляевых в том конце было так! Дотла всё сгорело. Ничего не уцелело. Маруся забыла трубу закрыть, ушла корову доить в стойло... Так полыхнуло...

Мама, кажется, так говорит, чтобы я не обижался на то, что она заставляет меня бежать, когда при моей болячке на ступне я еле до того ходил.

Она уже не говорит, причитает:

— Боже! Сгорит дом! Помоги и сохрани! Боже!..

Она крестится. Мы бежим уже по улице. Она непривычно пустынна. Бежим с Ильменя, близ которого мама ворошила скошенную траву в рядках, а я сидел около сухонького песчаного бугорка в окружении кремовых верхушек таволги. Наблюдал за красивыми солдатиками в песке.

...Я не успеваю за мамой. Ей бы одной побежать! Но меня одного оставить ей ещё страшнее.

— Вдруг тебя молонья-то одного!..

Маме надо и дом спасти, и меня уберечь!

Она хватает меня на руки. Тут же чувствую, как ей тяжело меня нести. Такого большого.

Я снова на земле.

— Ну, ну! Сам! Сам! Быстрее!

Вижу её карие, красивые, испуганные глаза совсем рядом. Лицом к лицу.

— Бежим, родненький!

Она плачет...

Бегу как могу, сняв сандайки. Стреляет мысль: «Почему именно в наш дом ударит? Вон сколько их разных! Целых два длинных порядка домов... И должна ли обязательно ударить молонья, если труба у печи не закрыта?..»

Но мама плачет...

И я, что есть сил, бегу, бегу!.. Сам!..

Я не видел, как сгорел дом у Микляевых. В то лето наш дом уцелел.

Как бежали мы тогда, как причитала мама, до сих пор остро помню. Как будто вчера это случилось...

Теперь, когда вспомнилась та летняя жуткая гроза, показалось мне, что это вовсе и не мы с мамой бежали...

...Всё человечество семимиллиардным скопом, не думая, не заботясь всерьёз о последствиях опрометчивых поступков своих, методично и самоуверенно вершит свою победу над природой. И совсем недалеко та грань, нарушив которую, мы ринемся закрывать ту самую заслонку, которая авось окажется спасительной...

Только вот успеем ли?..

\* \* \*

...Подъезжая с внуком к Пескам, мы намеревались сходить к Самарке, посмотреть: какая она теперь тут! Каким стал Кунаев ключ на том берегу? Но после увиденного на пепелище пробираться к реке через навороченные песчаные бугры, через глубокий песчаный карьер, охота пропала.

Не было уже на то сил.

## **Калачики**

...В тот раз, когда мы с мамой в грозу бежали домой из Ильменя, пожара в селе не случилось.

...Пожар запылал через несколько дней на другой, Центральной улице, куда мы перебрались в саманную избу, чтобы быть ближе к деду с бабой Груней. Так легче было выжить.

Пожары тогда вспыхивали часто. В середине нашего села стояла около Приказного озера высокая деревянная пожар-



ная каланча. Внизу её пожарная команда с конным выездом несла постоянно службу. Иногда нам позволяли подниматься на вышку. Но не всякому. Пожары тушили всем миром. Хозяин каждого двора знал, с каким необходимым предметом для тушения (топором, вилами, ведром) он должен был бежать на общую беду. Висели на домах специальные таблички с изображением таких необходимых предметов.

\* \* \*

Дом Иноземцевых стоял на невезучем месте. Не в ряду домов. На отшибе. Перед самую гатью. На эту гать чего только ни выбрасывали.

Мы жили уже не так голодно, как совсем недавно. Отцу вместо второй группы инвалидности дали первую, связав её с участием в войне. Прибавили пенсию. Я это хорошо помню. Были уже теперь у нас не только мелкая картошка в мундире и затируха.

С Ванькой Иноземцевым мы учились вместе в четвёртом классе. У Иноземцевых часто нечего было есть. Шаром покати. Отец умер год назад, мать болела.

...Беда случилась под утро. Потушить в третий раз загоревшийся Ванькин дом не успели. Всё, что не саманное, сгорело. Ванька с матерью переселились жить на дальнюю улицу, рядом, как говорили, с полоумной Ньюрой-дурочкой.

Нюра-дурочка жила в мазанке на краю села. Когда мы, ребяташки, шли к реке, то всегда озирались. Торопились скорее прошмыгнуть мимо её мазанки. Было страшновато. То ли дурочка, то ли колдунья, кто её знает...

— Там никак Ванька в золе ковыряется? — сказала мама.

— Да.

— Сходи, позови его поесть, голодный чать...

Когда мы вошли с другом в наш дом, Ванька деловито осмотрелся, будто был у нас впервые.

— Хорошая изба, — глядя под конёк на соломенную крышу, сказал он задумчиво. — Хоть и без потолка, зато просторная. Вот у тёти Поли Юрьевой — совсем маленькая. И пол земляной, глиной обмазанный. Позвала меня. «На, — говорит, — куртку Юркину, а то вырос и уехал. Тебе согдится. Только смотри, чтоб мать не продала».

Он говорил и говорил, Ванька. Его что-то подталкивало к этому:

— Наша изба была тёплая, у неё и потолок, и пол были деревянные. А в сарае ласточки жили. Ласточата сгорели.

Мама стояла около затопленной голландки и задумчиво так смотрела на него.

— Мам, а мы будем есть? — спросил я.

— А что вам сделать? Калачики или рваньцы?

Меня удивил её вопрос. Вчера ещё у нас не было муки, а тут калачики! Всю последнюю неделю мы ели, и то не каждый день, картошку. Иногда с постным маслом...

Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

— Калачики подольше делать, чем рваньцы. Но вы можете?

Мы оба с готовностью подтвердили, что готовы помогать. Рваньцы мама готовила так: брала кусок теста, отрывала маленькие шматочки от него и бросала в кипяток. Затируху она делала, растирая тесто в мелкие-мелкие затирки. И тоже бросала в чугунок с кипятком.

Мама варила рваньцы, калачи, затируху, если не было никакой начинки: щавеля, лука, вороняжки, картошки...

Какой сейчас щавель или вороняжка, если на дворе ещё только начало мая? Если щавель и вылез, то Самарка так разлилась, что к лесу не подойти. Лес не давал сильно голодать, но не всегда.

Уйдёт вода, тогда и щавель, и дикий лук, дикая мука будут. А сейчас...

— Мы сговорились с Коньковыми и Петькой Сидоркиным идти в воскресенье за сусликами. Пир устроим в Ильмене на славу! — бодро объявил Ванька. — Шурк, пойдёшь?

— Пойду, — с готовностью заверил я.

Мама всё умела делать быстро! И ходить, и говорить, и работать. «Самолёт», — говорили про неё, улыбаясь. Она нарезала кусочками тесто, и мы стали из них скатывать толщиной в мизинец жгутики. Соединил оба конца такого жгутика в единое — и готов калачик!. Конечно, калачики хорошо есть с молоком. Но у нас коровы нет теперь. Как её держать?

Отец снова, как мама говорит, «угодил» в военный госпиталь.

— Шурк, а помнишь, сколько мы прошлым летом щавеля у Лопушного озера напудили? Скорей бы вода ушла, тогда красотень, — мечтал вслух Ванька.

— Натек-ка вам! Осторожно, горяченькие! Подуйте!

Мама вылавливает нам большой деревянной ложкой из чунка в наши миски калачики. Каждому по пять штук! Ванька сильно и деловито дует. Он вообще всё сейчас делает деловито и собранно. Независимый такой.

«Погорельцы, погорельцы, — сказал он на днях. — Все нас жалеют вокруг, а сами же кто-то подожгли. То ли золу с непотухшими углями не донесли до гати, то ли папироску кто бросил. Если б я знал, кто это сделал!..»

— Больно ты боевой, — говорит мама. — Не надо так на всех, это нехорошо. Кто-то один виноват.

Ванька будто не слышит её слов.

— Мы с мамкой в Ташкент уезжаем. Что тут делать? А там у неё тётка!

Не успел я удивиться такой новости, как Ванька произнёс:

— Вот наемся там селёдки. До отвала!

— А разве есть там, в Ташкенте, селёдка? — сомневаюсь я.

— Ещё какая! Её там ешь — не хочу! Море!

— Какое же море в Ташкенте? — покачивая головой, с грустной улыбкой говорит мама.

— Не море там, а море селёдки! — уверенно поясняет Ванька.

Мама больше не возражает. А я верю своему другу. Безоговорочно. Ванька у нас в классе «книголюбивейший», — так про него говорит наша учительница Любовь Николаевна. Все знают, что он её любимчик. Мы уже к этому привыкли. Когда на чистописании учительница сердится, она начинает хватать тетрадки и бросать их с криком себе на стол или ещё куда. У Ваньки она ни разу тетрадь не «схватила». Ни разу на него не закричала. Видно же, что он коряво пишет. Зато всегда больше всех обо всём знает. Не говоря уж об уроках. В классе мы зовем его «голова».

Спрашиваю его не оттого, что сомневаюсь, а чтобы уточнить:

— Вань, а откуда в Ташкенте завались селёдки, если там моря нет?

Ответ Ваньки меня сразил своей определённой:

— Есть такая книжка «Ташкент — город хлебный». Ты, конечно, не читал. Ты сказки любишь. Мишка Додонов ездил туда за хлебом. Хлеб точно есть, а вот ласточки водятся или нет — не знаю. Посмотрим!

— Вань, а селёдка? — говорю я.

— Где есть хлеб, там есть всё! Понял?!

Я понял, как вяло по сравнению с Ванькой мыслью и больше спрашивать не стал.

Он не только в нашем классе, он и сейчас, в нашем доме, был самый главный. Он знал больше нас с мамой.

— Вань, напиши мне потом, когда приедешь в Ташкент. Ну не сразу пусть, когда сможешь. Как там, в Ташкенте? Интересно, они все в тубетейках ходят...

— Конечно, напишу, — живо заверяет Ванька. — И селёдки пришлю в посылке. Она хоть за три тыщи километров дойдёт. Не испортится! Солёная же!

Я смотрю на Ваньку и радуюсь, что у меня есть такой друг.

— Не только мне, и вам надо попробовать ташкентской селёдки, — убеждает Ванька. И продолжает: — Селёдка — это что?! У меня есть мечта! Пока не скажу, какая! В Утёвке про неё смешно говорить. А вот там, в Ташкенте...

\* \* \*

Ни письма, ни посылки с селёдкой от Ваньки Иноземцева из Ташкента не пришло.

Поначалу в детские годы я всё думал: что-нибудь да будет! Нельзя же так, как в воду... На следующее лето ласточки поселились в нашей сельнице. Мне так тогда хотелось, чтобы об этом узнал Ванька. Но написать было некуда.

...И стал я верить, наивный, взял в голову, что объявится Иноземцев. Прогремит Ванька на всю страну как учёный! Не зря же все отмечали, что он «голова»... Да и он говорил про какую-то свою мечту...

...Так никто и не осмелился после пожара построить дом недалеко от гати. Место, где стояла когда-то саманная изба Ваньки, заросло высоченной польнью. И мало кто теперь у нас в селе помнит эту необычную фамилию — Иноземцевы.

## Мандариновый фейерверк

В тот день после уроков мы с Дудариным Вовкой у нас в отцовской мастерской ладили самострел. А потом мой одноклассник позвал меня к себе домой ночевать:

— Давай, приходи! Папаня опять уехал. Мы с мамкой одни.

Отец Вовки работал в нефтеразведке шофёром и часто уезжал далеко и надолго.

Весь зимний вечер мы резались с другом то в пашки, то в «балду». Он часто шельмовал, но тут же убедительно каялся и язвительно смеялся.

Спать легли поздно. Выпал первый обильный снег. Без вьюги и ветра. Стало так светло за окном! И необъяснимо радостно на душе. Среди ночи вернулся из командировки Вовкин отец. Как-то так получилось, что, когда я проснулся, все, включая Вовку, сидели за столом посредине комнаты, метрах в двух от меня. И что-то аппетитно ели.

Незнакомый тонкий, необычный запах заполнил всю большую переднюю. Сказочный аромат далёкой стороны, откуда вернулся дядя Коля, будоражил. Мне стало не по себе. Остро кольнула мысль: «...Вовка сидит за столом, а меня не разбудили?.. Выходит, что я лишний тут оказался... Не к месту?..»

Я потихоньку потянул одеяло, чтобы прикрыть нос. И чуть повернулся лицом к окну, к успокоительному нетронутому ни кем ещё снегу.

— Шурку бы разбудить надо. Пусть попробует мандарины, — сказал дядька Коля. Но как-то неуверенно, будто в гостях был.

«Мандарины! Это мандарины такие! Они так пахнут!..» — пронеслось в моей голове.

Мандарины я никогда ещё в своей жизни не видел. Баба Груня иногда из Самары, когда ездила на Троицкий рынок продавать яички или семечки, привозила яблоки. Но так, несколько штук на всех. Свои яблоки в селе появились много позже.

— Не трогайте его. Пускай спит, — прозвучал в следующий момент скрипучий голос тёти Веры, матери Вовки.

«Они же поняли, что я не сплю, все поняли?! Специально так сказали?.. Чтобы я не вставал или как бы заставляют себя поверить, что я сплю? Не приглашают?.. Украдкой... Какой

украдкой? У себя дома. Своё!.. Как же мне завтра быть? Как говорить с ними? Лучше меня бы не было здесь!.. Зачем пошевелился только...»

Я уже не мог заснуть. Ночь превратилась в пытку, надо было теперь казаться спящим.

Моя баба Груня часто ходила к столовой, которая около клуба, и приводила часто оттуда в дом кого-нибудь покормить. Покормит, перекрестит... и отпустит. Я привык к тому, что у нас всегда и работали, и ели артельно. Дружно. Зимой придёт кто христарадничать в одной какой лёгкой куртёнке на голое тело, бабушка хоть две картошки, луковицу какую, а даст на дорогу.

Теперь уж не христарадничают, не ходят по дворам.

Мама рассказывала, что и бабка моя Груня, когда была маленькая и осталась без отца, ходила попрошайничать в соседние сёла. В своём стеснялась. Но голод не тётка, а родная мать...

Лезли мне в голову всякие несуразные мысли в ту ночь.

«Тебя не угостили. Но ведь ты не голодный. И не голодный год... Тогда давали просящим сырую картошку, корку хлеба, а тут мандарины...»

И всё же было любопытно, какие они — эти фрукты?..

Я приподнял край одеяла и, скосив глаза, увидел то, что они ели.

Незнакомые фрукты были с виду похожи на наши помидоры. Только чуть приплюснутые, рыжие и мельче. Лежавшие горкой кожурки напоминали скорлупу сваренных в воде с луковичной шелухой пасхальных яиц. Поверхность у кожурок была не такая гладкая...

— Живут же люди! У них такая еда! Мандарины, хурьма! Как в сказке! — проговорила тётка Вера.

— Зато снега у них нету, как у нас! Скучно! — отозвался Вовкин отец.

— Ага, — тут же ввернула тётка Вера, — тока снегом сыт не будешь.

И она громко засмеялась, довольная тем, как сказала. Никто за столом не засмеялся вместе с ней. Мне так захотелось после её смеха на волю, на улицу. Где свежо, чисто! Где знакомые все запахи!

Захотелось в дом деда! В нём, когда смеялась моя бабка, тут же смеялись все присутствующие...

Захотелось туда, где во дворе, под навесом, стоял и спал теперь мой добрый друг — мерин Карий.

Глядя за окно на широкий заснеженный двор, наполовину закрытый тёмной машинной громадиной грузовика, я думал о том, как хорошо, что дедушка мой заставил три дня назад нас с дядькой Алексеем накатать дробь.

Мы возились с этим делом два вечера. Дядька Лёня резал свинец, протягивал с помощью плоскогубцев нарезанные полоски свинца через калибровочные отверстия в металлической пластине — получалась ровная свинцовая проволока.

Большими ножницами мы резали её на ровные кусочки. А уже после этого я засыпал их на штуковину, похожую на большую сковородку. И начинал катать дробь, водрузив на свинцовые нарезки тяжёлый круглый металлический груз с рукояткой.

Наверное, это приспособление для изготовления дроби как-то называлось, но я уже не помню теперь.

Потом дядька достал с подволоки<sup>1</sup> голенище от старого деда большого серого валенка и я, подложив крепенькую и толстенькую дощечку, начал рубить на пороге войлочные пыжи. А дядька, ловко орудуя новеньким барклаем, стал вставлять в жёлтые латунные гильзы капсули.

Мы набили патронами почти целый патронташ.

\* \* \*

...Я всё-таки тогда уснул в избе моего приятеля. Под утро мне приснился странный и сумбурный сон. Будто наше село почему-то стало большой крепостью. И весь люд в крепости празднует какое-то радостное событие! Мы с Вовкой, взобравшись на крепостную стену, всю палим, салютуя, из огромной чугунной пушки рыжими мандаринами. Они лопаются в воздухе, и корки, разлетаясь в воздухе с мелкими сочными брызгами, образуют завораживающий фейерверк. Как в кино! Народ ликует. Ребяшня, задрал головы, ловит падающие с неба мандариновые дольки кто шапками, кто чем... Красотень! Всем хватает!

Даже степенно-задумчивые, прилетевшие с первой порошей снегири, стали необычно резвы и азартны.

<sup>1</sup> Подловка — здесь: чердак.

Покинув у Чураева дома рябину с алеющим под ней снегом, ловят они мандариновые дольки в воздухе на лету, как щурки золотистых шмелей. Расклёвывают их, выбирая по своему обычаю только семена, а рыжую мякоть оставляют мышам и разной мелкой живности...

...Вовкин отец не успевает на своём грузовике подвозить мандарины: пальба идёт со всех бойниц крепости. А тут под самые её стены подъехал по синеватому снегу на розвальнях мой дед Иван.

Из сплетённой мной летом большой кошёлки, установленной в санях (такие три кошёлки изготовлены были мной и переданы в колхоз на скотный двор — это был мой заработок), моя бабка Груня начала раздавать ребятишкам мандарины.

Не забыла она и Карего. Мерин своими жёлтыми большими зубами цеплял с её ладоней диковинные фрукты и с удовольствием жевал их. А бабушка Груня смеялась. Как маленькая девочка...

То ли от незнакомого аромата, то ли в насмешку над тёткой Верой, которая в загвазданной тёмной фуфайке подбирала стреляные мандарины, мерин задорно ржал! А когда он хитро смотрел на меня своим огромным здоровым тёмным глазом, мне становилось ещё веселее. И я махал ему шапкой!..

Запах мандаринов на морозе из моего сна я до сих пор помню...

\* \* \*

...После того случая я никогда больше к Дудариным в дом не ходил. Вдруг опять дядька Коля мандарины привезёт! Или ещё что-нибудь... Хурьму, например, эту...

Теперь, во взрослой своей жизни, не могу начать есть, не пригласив того, кто рядом, в компанию. Не могу, и все дела...

## **Пережарило**

Легче стало на душе, когда выехали с внуком после Песков на поляну с лесными травами и редкими, раскидистыми кустами краснотала. Трава — желтоватая от знойного солнца. В воздухе стоит марево, но под колёсами уже не зола и пепел, а высохшая раскалённая твердь дороги. И то хорошо. Слои воз-



духа, нагретые горячей землёй, струятся, делают контуры деревьев, развесистых кустов зыбкими и непривычными.

Нестерпимо марит. Что же это за лето в этом году?! Беспощадное! Становится жутковато. Кажется, хватит одной искры, чьего-то горячего вдобавок дыхания, и всё вокруг воспламенится. Лесной безудержный пал займётся окрест моментально. Порой боязно столкнуться велосипедами. Встали неминуемо в один ряд в расплавленном сознании: железо, искра, пожар...

На солнце наверняка температура воздуха выше сорока градусов.

К реке, к воде!

\* \* \*

...Иногда нам разрешали с отцом косить здесь, между кустами краснотала вперемежку с земляникой, лесное разнотравье.

Я несколько раз бывал с дедом на правой стороне Самарки. Обычно в борах, на полянках непременно призывно манили к себе земляничные кулижки. Они были залиты солнцем, светом, оттого и радовали своими ягодными высыпками. Сосновый лес там часто застарелый, с большими и малыми прогалинами, будто специально оставленными для желанной ягоды.

В нашем молодом бору земляники не было. Ей негде было расти в нём. Стройные молодые сосны росли споро, наперегонки. Тянулись одна перед другой, закрывая небо своими макушками, оттого внизу среди медных стволов мало что росло.

Земляника у нас водилась, на полянках меж краснотала. И какая радость — это наша русская ягода! В сенокосную-то пору!.. Да не всякая радость живёт сама по себе, отдельно...

Нестерпимая жажда, запах пота, надоедливые слепни и мухи, и непосильный детский труд — вот чем был для меня сенокос, когда подрос и стал на равных трудиться со взрослыми.

Сенокос!.. Страдная пора... Праздничная работа! «Раззудись, плечо, размахнись, рука!» Да, всё так! Поэтично...

А для меня сенокос ещё и — надсадный труд. Вперемежку с радостями и удачами, которые неминуемо сопровождают любую работу. Работал-то на сенокосе в окружении либо очень пожилых, либо инвалидов войны...

Всё было: и свежая прохлада утреннего летнего луга, и жаворонки в небе. И перепела в скошенной траве, и усталость,

одеревенелая натруженность рук. И общее отупение к вечеру от нескончаемости предстоящей работы на завтра...

Здесь, на поляне с красноталом, напротив Песков произошло со мной лет в десять непонятное.

Явление, мираж ли... Не знаю, как назвать.

Случилось нечто похожее на то, что я почувствовал, когда, оказавшись уже в качестве преподавателя со студентами в той же классной комнате, аудитории, в которой около полувека назад сам сдавал зачёт. Мгновенно явились в памяти лица, жесты, фразы моих однокашников. Как ясные, чёткие кадры моего реального прошлого...

...В тот день мой дед Иван решил ехать на Самарку в район Песков набирать речные ракушки для корма свиньи, а заодно порыбачить бреднем. С бабой Груней они уехали в телеге, запряжённой Карим, а мы с дядькой Серёжей погнали туда на велосипедах.

Когда мы подъехали, дед Иван уже распряг Карего. Взяв путы, он повёл его в тень большого куста краснотала. Бабушка копошилась на телеге, извлекая мешки, посуду для ракушек.

К ней подошёл её сын Сергей. Достав из телеги бредень с привязанными ещё дома клячами, направился к реке. Резко тряхнув головой и загремев уздечкой, заржал Карий, и тут случилось со мной необъяснимое...

Я, никогда ещё не бывавший ранее здесь, на этой поляне с красноталом, ни разу не ездивший сюда за речными ракушками, вдруг почувствовал: всё, что вершится на поляне, что вижу сейчас и чувствую... уже было со мной. Всё уже было в какой-то моей очень далёкой, но реальной жизни... Только теперь повторялось заново. Дед, ведущий Карего наискосок по поляне, бабушка в белом платке, знакомо, до мельчайших подробностей повторившая все свои прежние движения у телеги, — всё было уже... Дядька Серёга с бреднем на плече — всё были со мной или я был с ними вместе здесь в каком-то далёком-далёком времени, где я жил, кажется, когда-то. Не зная, что это повторится когда-нибудь со мной ещё. Сколько же лет прошло? Сколько тогда мне лет сейчас?..

Чувствовал, что завис где-то, над чем-то огромным, необъяснимым... Был и там, и тут: в настоящем. Но и то, которое

было до того, оно тоже настоящее, оно словно где хранилось, забылось, могло тысячу лет не обнаружиться... А вот проявилось... И как две капли воды похоже на теперешнее.

Это одно и то же, только случайно будто кем-то повторённое... Я заранее знал в тот момент, кто какое движение сделает на этой странной поляне...

— Шура, ты что бледный такой сегодня? Рахманный. Ещё с утра заметила. Иди помогай!..

Я неуверенно подошёл к телеге.

— Пережарило, что ли, на солнце? Зря в такую жару надумали ехать! Марш быстрее в речку. Самарка всё с тебя смоем.

...Стоя по пояс в воде, смотрел, как дядька разматывает бредень. И не мог сказать ни слова. Во мне было как бы две жизни, накладывающихся одна на другую. И они делали меня невесомым, я был между ними... Как и река, видевшая-перевидевшая в своей невообразимо долгой жизни столько всего... столько лиц и событий. Я куда-то уплывал. Мне стало не по себе. Непривычно было чувствовать себя бесплотным. Случившееся выбивало меня из настоящего. Но река была светла, струи её мягкие и спокойные... И я успокоился, как бы вновь вынырнув из невесомости, обрёл опору.

И дала эту опору мне река! Права моя бабушка: река смыла с меня наваждение...

После того случая я впервые задумался, что такое земля, время, река... Ведь они свидетели рождения человека! Что они значат для человека? Кто мог мне тогда ответить на такое? Я и не задавал вопросов.

И сейчас, когда вспоминаю тот случай на Песках, у реки, чувствую себя... дикарём. Тоже мне, профессор!..

Только раз потом ещё случилось со мной подобное. Уже во взрослой жизни. И совсем в другой обстановке. Когда наконец-то многое узнал о своём отце-поляке, отыскал его могилу на Брудновском кладбище в Варшаве...

\* \* \*

Тогда, в ту ошеломившую меня поездку, когда столько сразу узнал о своём отце Станиславе, мы втроём — я, жена Лариса и внук Саша — успели побродить по улочкам и паркам Варшавы.

Можно долго перечислять замечательные уголки Варшавы. Несмотря на хаотичность районов, что объясняется такой непостоянной судьбой этого старинного города, который подвергался почти в каждом столетии разрушению, есть в нём замечательные исторические центры. Это и Старый город, и Королевский тракт, который начинается ренессансным замком, а заканчивается классицистическим Бельведером. Как не упомянуть о монументальном Большом театре — шедевре неоклассицизма, о площади Старый рынок, о прилегающих к ней улочках. Хотелось больше увидеть, больше узнать!

...Когда же мы оказались на Свентоянской улице у стен Королевского замка, в моём сознании вновь, как в утёвском детстве на поляне с красноталом, произошло странное. Нет, я не видел себя и кого-то ещё у стен этого странно знакомого замка, не угадывал движений и взглядов, которые вот-вот свершатся. Я поражён был тем, что... это уже всё видел когда-то. Много раз был здесь, ходил по этой улице. Ничего неожиданного вокруг будто не было теперь. Был в отлучке и... вот вернулся. Я, кажется, в те минуты верил, что вот-вот что-то приоткроется... сдвинется как в детстве на красноталовой поляне. Кадры, накладываясь друг на друга, замелькают — каждый из разного времени... и я увижу моего молодого отца-поляка, свою сестру-польку около этого трёхэтажного, совсем не величественного, но такого притягательного и знакомого мне сооружения...

Меня, кажется, как сказала тогда на поляне моя бабушка Груня, опять «пережарило». Так долго думал о своём отце-поляке, так неотступно искал его всю свою взрослую жизнь!.. Вот и сказалось. Не было рядом бабушки, не было светлой моей реки детства... Были незнакомые рядом люди, непривычный язык и расслабляющая, обволакивающая сознание истома... Некое погружение в прошлое... Тягучее и неподдающееся до конца осмыслению...

### **На лесной делянке**

За Кунаевым ключом часто «давали» утёвским инвалидам войны делянки для заготовки дров. Петяниха на пару со своим безногим мужем Петром Макарычем работала как могла. А мы с мамой вдвоём вместо отца. Я как довесок был.

Когда в бригаде был дядя Ваня Тюм-ля-ля, легче работалось. Работать он умел, но и поговорить — Москва.

В то лето мы артельно зарабатывали тут грыжу. Небольшой перерыв на отдых. Кто куда. Бабы налево в кусточки, мужики — направо. Некоторые остались. Кто повалился на травку, кто притулился на брёвнах. Тюм-ля-ля в центре внимания.

— Не знай как, а с городскими мы коммунизм не построим, — рассуждал он, сидя на кряжистом, поваленном только что осокоре. — Их же почти половина страны у нас, а они не вперёд тянут!..

— Это эткель жа у тебя такая теория родилась? — интересовался дотошный дед Проняй.

— Откель? — удивлённо переспрашивал дядя Ваня, и сам же основательно так, не сразу, с расстановкой продолжал: — У тебя сын шишкой на авиационном заводе, говорят, стал?

— Главным анжинером, — уточнял Проняй.

— Ездишь к нему?

— Бывает, — отвечал тот.

— И я прошлый разок к своему ездил. Он хоть в техникуме учится, но тожа по самолётам. Захотел я посмотреть, что это за техникум его. Ну и поехал с ним в транвае утречком, как ему на занятия эти. А тут в вагон цельная толпа ввалилась весёлых ребят, с ним которые учатся. Смеются, шум от них. Понятное дело, молодёжь. Девчонки промеж них... А места все в транвае заняты. Сидят взрослые, все серьёзные такие. Трамвай едет, как положено, ему что? Шум от ребят. Которые сидят, стали на ребят оборачиваться, глядеть. Лица серые такие у всех. И тут одна женщина говорит. За всех сказала, обращаясь к ребятам:

— Ну что вы, на самом деле? Люди на работу едут, а вы смешётесь...

Наступила тишина. Все переваривали, как могли, сказанное Тюм-ля-ля.

Проняй молчал, морща лоб.

Не выдержала первой такого напряжения Дуся Мерлушкина.

— И де ж тут разница меж городскими и деревенскими? — спросила она, свешивая крепкие свои загорелые ноги по разные стороны только что поваленного толстеного осокоря. И стала похожа на всадницу.

— Где ж? — удивился почти натурально Тюм-ля-ля.

И ответил, глядя на Дусю, как на малолетнюю:

— А разница в том, что в городе трамваи есть, а у нас тут нету их!

— Ну и что? — поглаживая ладошкой тело огромной лесины под собой, словно спину лошади, продолжала недоумевать Дуся. — Зато и там, и тут, везде, больна много начальников на работе. Вот и скучные потому.

— Избалован народ на трамваях-то... И скушный. Построй с такими, — тянул своё Иван.

Видно было, что продолжение разговора Тюм-ля-ля ждёт от Проняя. У него заготовлены ловушки для разговора с более серьёзным оппонентом. Что ему Мерлушкина? Не тот калибр. Но дед Проняй был не промах в таких делах. Знал себе цену. Потому помалкивал. Охота, что ли, у всех на глазах выпарываться из ловчей ямы, куда Тюм-ля-ля мог заловить любого в своём каляканье. Голого разденет...

Проняй сказал не совсем понятное:

— Любишь жизнь, не насильничай её своими вопросами...

И умолк.

— Ловок ты, Ваня, языком молоть. Не устаю удивляца! В работе б так, — задиристо произнесла Нюра Мижавова.

— А я и в работе... что? Рази нет? — безобидно отозвался Тюм-ля-ля.

— Ага, мы вон с Шуркой за комель бревнину тянем, а ты рядом: «Ты подымай, а я буду пыхтеть» — такой у тебя закон, что ли?.. С тобой в коммунизм?..

Тюм-ля-ля не успел ответить.

— Скорей бышь этот коммунизм настал. Антиресно дожить, — мечтательно произнесла Мерлушкина.

Все в задумчивости молчали.

А Нюра Мижавова сказала Мерлушкиной звучно так и ядрёно, не обращая внимания на остальных:

— Слезь с холодного бревна-то, девка! Застудишь — ни до какого коммунизма не доживёшь! А тебе рожать ещё надо...

## Русак в краснотале

Вспомнился мне зимний краснотал.

В тот день мы с дядькой Сергеем поставили силки и добыли первого в моей жизни зайца. Был и такой в моей жизни грех.

Накануне на погребнице, где у деда была небольшая мастерская, мы отыскивали сталистую тонкую проволоку, отожгли её, сунув вечером в голландку на жаркие угли. Утром, изготовив из неё, ставшей мягкой и податливой, три силка, отправились на лыжах в лес.

Мороз крепко щипал щёки. Спасали нас плотные фуфайки и варежки, в которые мы насовали верблюжью шерсть. Шерсть сбивалась в комки, но всё равно с ней было теплее.

Как тяжёл и неподвижен на морозе воздух! Холод сжимает лицо, дыхание. Солнце впереди, чуть справа, в поднимающейся от земли дымке только едва угадывается. Давящая сила холода держит в напряжении, не позволяет расслабляться. Заставляет усиленно работать лыжными палками.

Мороз можно любить, когда ты рядом с жилищем, когда до тепла, до печурки с огнём — рукой подать. С морозца — да к огоньку! Здесь же, за селом, да ещё на пустыре, мороз приходится терпеть.

Когда, обернувшись, смотришь назад, на село, видишь, с каким трудом дым над крышами побелевших от инея домов поднимается вверх. Как тяжело летят, невзвешенно откуда взявшиеся сейчас здесь, вороны над головой...

...И вот мы прокладываем лыжню уже через седой от мороза ветельник к поляне с красноталом.

На ходу дядька поясняет:

— Тут в ветельнике деревья старые, а там — мягкий краснотал. Зайцы кормятся его корой.

— Мы их увидим? — допытываюсь я.

— Не знаю, — отвечает дядька, — зайцы выходят на кормёжку ночью. День проводят, затаясь в лёжке. Близко к себе не подпускают. Лёжки делают на просторе. Если кто приближается, дают стрекоча. В очень сильный мороз, бывает, в снежные норы прячутся.

— А что ещё они едят?

— Грызут всякую кору, мало ли чего ещё...

Задаю и главный вопрос:

— Если их днём трудно обнаружить, где же мы будем ставить силки?

— От своих лежанок до места кормёжки они ночью протаптывают тропы. Там мы и поставим силки, — поясняет основательный мой дядька.

...Мы уже миновали ветельник и вышли на поляну. К разросшимся редким кулигам краснотала.

«Где-то здесь спрячутся и волки, — возникает у меня мысль, — не одни же зайцы... Может, они за нами наблюдают, а мы их не видим?»

Невольно останавливаюсь и смотрю вокруг. Дух захватывает от простора.

— Волков боишься? — усмехается дядька Сергей.

— А почему мы не взяли ружьё? — откликаюсь я. — Дядя Лёня говорит, что волки начали пошалить. Подходят к селу, где ферма со скотиной.

— Ружьёцо можно было бы взять, да неохота таскать его, — как-то, на мой взгляд, легкомысленно отзывается дядька.

— Два дня назад, — продолжаю, как могу бодрым голосом, опасаясь, что дядька подумает, будто и впрямь трушу, — когда приходил Коля Большак, они с дядей Лёней катали картечь и договорились пойти ночью на ферму. Приготовили, видел, ещё бутылку с керосином и котях<sup>1</sup> на всякий случай...

— Ну поугагать поугагают! А подстрелить? Вряд ли! — уверенно говорит мой попутчик. — Волки на выстрел не подпустят. И сами первыми на человека не нападают.

Последние слова он, так мне показалось, сказал специально. Чтобы я больно не оглядывался. Верю дядьке Сергею, но... всё равно посматриваю по сторонам, мало ли чего?! И сильнее сжимаю лыжные палки с острыми металлическими наконечниками — единственное возможное оружие, если вдруг... Ходили же на зверя древние люди с копьями...

...Мы быстро нашли удивившую меня крепко утоптанную заячью тропу. Она вела к тальнику.

<sup>1</sup> Котях (утёвское) — здесь: кизяк, формованный из навоза кирпич для топлива.



Не торопясь, примериваясь, поставили мы силки, закрепив концы проволоки за нависшие ветки. Опустили петли чуть ли не до самого снега. Силки расставили на тропе метрах в пятнадцать друг от друга.

— Такой тройной заслон, — довольно говорил дядька, — куда им деться?!

\* \* \*

На другой день, помню, это было воскресенье, по остро пахнувшей конским свежим помётом дороге, вдоль домов с альмами пятнами снегирей на снегу под рябиной у дома Чураевых, мы направились проверять нашу снасть.

Первый силок оказался оборванным. Видно, мы от усердия проволоку в жарких углях пережгли. Второй — сбит с тропы. Петля болталась сбоку от неё. Зато с третьим силком нам повезло. Поперёк тропы, затянув туго петлю на шее, лежал здоровенный русак.

— Отбегался, голубчик! — деловито вынимая из петли добычу, улыбался дядька.

Я попробовал поднять тушку. Заяц был замёрзший и тяжёлый.

— Килограмма на четыре! — определил дядька Сергей. — Нам повезло.

Мы переставили два силка на другое место, чуть ближе к реке. Дядька Сергей привязал к передним и задним ногам зайца обрывок верёвочных вожжей, приладил добычу за спину. И мы тронулись по искрящейся на солнце снежной равнине в обратный путь.

Мороз чуть отпустил. Солнце стало угадываться чётче. Оно словно ожило к полудню. Снег в лыжне отдаёт голубым. Скрипучий и жёсткий. Он напоминает о себе ежеминутно, не даёт твоему сознанию отвлечься от холодного снегового раздолья. Ты — пленник этой снежной, холодной, таинственной, затаившейся стихии... Пленник, скользящий по грани, разделяющей живое от неживого...

...До сих пор я особо чётко помню этот момент. Едва мы вошли в село и свернули на улицу, где жили мой друг Витька, наша учительница по географии и красивая одноклассница Верочка Рогожинская, недавно приехавшая из города, дядька Сергей снял со своей спины русака и скомандовал:

— Давай грузись, ты!

— Зачем? — не понял я.

— Как зачем?! — переспросил озорно дядька. И сам же ответил, улыбаясь:

— Тебе надо! Пройдись вдоль порядка! И не как-нибудь!.. А с форсом!

И я зашагал как было велено!

Правда, до этого с трудом водрузив нашу добычу за спину. За-костенелая тушка била по спине, ремень давил на плечо, но...

— Своя ноша не тянет, — сверкая глазами, подбадривал на ходу дядька.

\* \* \*

В самом начале Саратовской улицы нас тормознула Витькина бабушка — старая Петяниха. Она шагала в белых большущих валенках, явно с чужой ноги, так решительно, что мятая чёрная сумка моталась в её руке из стороны в сторону. Поправляя тёмный полушалок, остановилась, глядя в упор на нас. Неожиданно приветливым голосом, чуть нараспев заговорила:

— А я восейка<sup>1</sup> вот так же иду в магазин, а Ванька Тюм-ляля нёсет откель-то зайца. В мешке. Я ему: ты где жа это его? А он: «В школьном саду. Директор Салихов попросил поймать. Я и поймал. А то, поясняет, яблони начал грызть. Ты, говорит, сделай так, чтоб ребятишки не видели нельзя, эта, трамвировать ребятёнков. Сделал как велено».

Махнув рукой вместе с пустой сумкой, спросила:

— А вы где такого? У Ваньки поменьше был...

— Он его показывал, зайца-то? — уточняет для чего-то дядька Сергей.

— Нет, не показывал, — отвечает Петяниха, — стреканёт, говорит, если мешок развязать! Попробуй догони!

После этих её слов на моего дядьку напала весёлость. Бело-зубо ощерив рот, ответил:

— Где, где? Мы своего в клубе поймали, ага!

— Чё городишь? — не поверила Петяниха.

— Правда! Он, косой-то, пристроился в очередь в кассу за билетиком. Ну, на вечерний сеанс. Захотел, видать, очень кино

---

<sup>1</sup> Восейка — на днях.

посмотреть «Подводная лодка в степях Украины», как все нормальные люди... А мы его хватя за уши: не положено кино-то до шестнадцати лет!..

Петяниха протянула, вроде как удивившись:

— Тюм-ля-ля — балабон известный. Балалайка! И ты туда же? Не был раньше таким! К нему в заместители метишь?.. Но всё равно: молодцы! Пойду своим мужикам скажу. Они догадуются, где поймали... Не вы одни... Промёрзнешь с вами тут.

Она двинулась своей дорогой наискосок по улице, чуть припадая на левую ногу. Худая и длинная, как стропилина.

— Тюм-ля-ля не переплюнешь, — изрёк дядька Сергей. И пояснил: — У него в мешке-то, скорее всего, ягнёнок был. Или кот какой...

— Зачем это ему надо? — удивился я. — Врать бабке?..

— Зачем?! — гоготнул дядька. — Это ж Тюм-ля-ля! Просто так ему скучно, без загогулины...

Он молча подтолкнул меня, и мы поскользили напрямик вдоль домов.

Я заметил, что в окне голубенького дома, где жила теперь наша новенькая Верочка Рогожинская, несколько раз шевельнулись занавески...

...На следующее утро весь наш пятый «А» класс засыпал меня вопросами. Я был в центре внимания. И отвечал на расспросы не торопясь, не сразу... Как и положено бывалым людям.

## **Неожиданная встреча**

...Мы приближались с внуком к самому дремучему месту на левом берегу Самарки. К Урёме. Урёма — так я когда-то переименовал Кунаев ключ, который впадает весной в Самару на правом берегу, напротив. Там летом в овраге, заросшем ежевикой и смородиной, всегда пасмурно и жутковато. Эта его дремучесть как бы переключалась на противоположный берег, в старый скрипучий ветельник. Вместе с его названием.

— Живёшь в своей Москве между кирпичных глыб. Много ли там увидишь? А тут лесная нетронутость. Порой необходимо одиночество, чтоб остаться один на один с природой... — так я говорил внуку, когда мы под горку съезжали в лесной полумрак.

Всего метров сто предстояло проехать нам под таинственным навесом деревьев, где впервые с дедом Иваном увидел я лося, а потом услышал странный голос неизвестной мне птицы. Прежде думал, что это скрипит какое-то кривое и сухое дерево. Или едет кто-то за кустами на поскрипывающей с несмазанными колёсами телеге. Оказалось, что так кричит птица дергач.

...Мы едва не столкнулись с ними. Они выскочили на середину дороги из-под навеса старинных вётел и вязов, прямо нам навстречу. Мы еле успели уклониться в разные стороны узкой дороги. Колючие ветки шиповника и боярышника остро царапнули по одежде, по рукам.

— Ничего себе! — обескураженно вырвалось у внука. — Лихо!

Вот тебе Урёма! Никого нет?..

Китайцы, их было трое, на юрком мотороллере с тележкой, бодро проскочили мимо нас. На подъёме у них там что-то произошло. Они соскочили на землю и в своих тёмно-синих одинаковых комбинезонах начали дружно, как муравьи, копошиться около жёлтенького притихшего чуда техники. На нас они не обращали никакого внимания. Будто мы были в параллельных мирах.

— Это, наверное, те, что с теплицами... Разведку ведут, — высказал предположение внук.

— Возможно, — отозвался я уныло. В который уже раз усмехнувшись по поводу своей академичности преподавателя. Не я ли, проповедуя на лекциях студентам плодотворность сохранения традиции, опору на опыт и мудрость своих предков, ставил китайцев в пример. И в помощники себе брал их великого мудреца Конфуция:

«Если у тебя есть телега — сожги её, есть лодка — проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить своё поле...»

Пришло время, и сами же китайцы опровергают своей жизнью древних своих мудрецов. Что делать?..

Жизнь слишком быстро меняется, мудрецы стали не поспевать за ней. Другая жизнь на дворе. Мы другие, и нас так много стало...

Способны ли вдогонку нашей теперешней стремительной жизни, сжимающемуся времени, родиться мудрецы. Те, кото-

рые дадут нам истинное... Способны ли они за короткую жизнь охватить мир, ставший необъятным от знаний и проблем?..

А если нет? Так мы и будем, не успевая сами за собой, барахтаться в противоречиях?..

\* \* \*

В тот раз с внуком никого больше в Урёме мы не обнаружили... Всё будто попряталось от посторонних глаз. Чернолесье в Урёме стояло молчаливо-настороженное, затаившееся... Будто чувствовало чужаков...

...На выезде из этого мрачного лесного туннеля, за основательной корякой — опорой высоковольтной линии, где-то в белющем сухостое бодро застучал дятел.

Мы остановились.

«Вот он — вечный работник, истинный мудрец, — невольно думалось мне. И я порадовался такой простой мысли. И недоверчиво прислушался к себе. — Все суетятся, а он... Работает, чтобы жить самому, и помогает жить всякой мелкоте птичьей, которая потом обоснуется в этих дуплах... Нет, он не старьёвщик! Он даёт новую жизнь! У него надо учиться настойчивости и самодостаточности...»

...Мы подъезжали к мосту. Справа, где-то совсем рядом, хоронилась Зимняя старица.

### **«То-то и оно...»**

Это был первый мой сенокос с отцом у Зимней старицы. У отца после туберкулёза костей не гнулась в колене левая нога и срослись позвонки в пояснице. Ездить ему было нельзя. Ходил он медленно.

Чтобы нам косить у Зимней старицы, он вышел в тот день рано утром и пошёл пешком. Часа через два я выехал на велосипеде. Нагнал я его у ближнего конечка озера.

Я понимал, какой необычный у отца сегодня день. Впервые за последние шесть лет, которые он провёл в военном госпитале, взяться за косьбу!..

Он уже пробовал косить у Лопушного озера. И здесь, у Зимней старицы, тоже. Но то были как бы прикидки. А теперь было решено запасти сена на всю зиму.

Отец настроил дома себе косу на особицу. Она была насажена под таким углом, чтобы можно было косить с прямой спиной. Он и мне приготовил косу особенную — облегчённую. Окосиво у неё — из тальника, и сама — вся лёгкая, с коротким полотном.

Отец уже месяца два ходил без костылей, с маленьким бадиком. И ничего! Даже штаны надевал теперь по утрам без нашей помощи. Сам! Становясь около кровати, чтобы сзади была подстраховка, он бросал их, не нагибаясь, на пол. Бадиком расправлял штанины. Так, чтобы получилось из них два кольца на полу. Затем ступал обеими ногами в штанины. Не спеша, ручкой бадика, как крючком, тянул левой рукой вверх сначала штанину на левую негнущуюся ногу. Перехватывал штаны с крючка бадика с помощью правой руки в левую. Потом переключившись в правую руку бадиком подбирал к поясу правую штанину... Я видел, как он посередине двора несколько раз, отставляя далеко от себя левую ногу и, найдя такое положение правой ноге, при котором не было необходимости сгибать спину, наклонялся и подбирал с земли брусок для косы. Подбирал без помощи бадика! Он готовился на случай, если обронит брусок в траву... Бадиком, когда надо, он подшвыривал обувь к ногам. Поднимал свой оброненный белый картуз с земли.

Мама, наблюдая за приготовлениями отца, украдкой вздыхала. И была непривычно молчалива.

...И вот мы на месте нашего сенокоса.

У самой Зимней старицы травостой вперемежку с тальником, разнежившись, непроходимым заслоном, перекрыл подходы к воде. Трава не такая, как на красноталовой солнечной поляне. Нет неподатливого пырея, не видно злого чертополоха. Густая и тучная зелёная масса. Июньское тепло и приозёрная влага свершили своё.

...Но и здесь видны знакомые лица: меж кустов красуются кремовые метёлки таволги, чуть в сторонке забрёл и остановился высокий мятлик. Всё окружающее как бы в полусонной истоме. Едва шевелит листочки свои сероватый осинник. Стоят в три обхвата великанши вётылы. За ними — сизоватая полоска озера. В тени вётел меж кустов нежатся в дрёме шёлковистые, выше пояса, травы.

Празднично взглянув на меня, отец принялся готовить косу. За ним последовал и я.

В завадинке зашумели, захлопали крыльями кряковые утки. Я инстинктивно пригнулся, забыв, что не на охоте, без ружья.

...И вот два древних своенравных стальных существа готовы. Блеснуло диковато жало отцовской косы.

Чётким, незабытым движением поймал он пятку косы подмышку, успокоил её. Взялся левой рукой за самый кончик полотна, а правой полоснул по стали жёлтоватым, стёртым наполовину, ещё довоенным бруском.

Сбочив голову, отец прислушался... Вновь махнул правой рукой... И пошёл! Пошёл гулять по поляне чистый, тонкий звук ожившей стали. Новое вязовое окосиво, схваченное сырмятным ремнём, ядрёно растопырившись, нетерпеливо ждало крепкой руки хозяина.

Я, радостно дёрнувшись, достал свой новенький, не трогавший ещё жгучее лезвие своими жесткими щеками, серый брусок.

Отпыхиваясь от комаров, отец шагнул в траву. Вначале короткими взмахами пробил себе маленькую площадочку, и уж на ней, встал, как приноровился загодя во дворе дома, потом сделал первый настоящий замах.

Всего несколько махов понадобилось отцу, чтобы он нащупал нужный ритм. Вначале отец косил как будто впервые. Но уже на втором ряду он начал двигаться, как отлаженный, необычный механизм. Левую негнувшуюся ногу он подволакивал за собой. Она была словно подпорка, а правой, нащупывая путь вперёд, мелкими шажками делал поступательное движение.

Как уверенно начал отец двигаться вперёд! С остановками, переступами. Неуклонно вперёд!

Как дружно ложилась высокая трава под его жёсткими махами! Влажная трава, если не брать помногу, поддавалась легко и мне. Мешали кусты. Коса, ныряя в гущину, тянула за собой широкий валок.

Отец, почувствовав мой взгляд, остановился. Обернулся. И я увидел, как сосредоточенное лицо его озарила радостная улыбка.

— А ты как, Сашок, думал?!. Ядрёна кочерыжка! Всё идёт, как я и планировал.

Я улыбался в ответ.

У отца столько разных непривычных слов. И всегда он вовремя что-нибудь да скажет по-своему...

Отцу нравилось, как всё ладно получается.

— Не пропадём теперь, — лицо его непривычно светилось.

Он ещё напористой начал наступать на высокую траву, раздвигая покосиво.

Я последовал за ним. Звенели надоедливые комары. На Старце пошумливали вшивки и лысухи. Порой подавали голос криквы. А мы запойно косили!

И тут появился лесник. Он остановил свой мотоцикл у дороги наверху. И окликнул:

— Фёдрыч! Ты, что ли?

— Точно, он, — отозвался отец.

И остановившись, досадливо взглянул на человека в форменном пиджаке с дубовыми листочками в петлицах.

— А ты, — человек с листочками в петлицах махнул рукой в мою сторону, — обожди! Отдохни покамест... Не части.

Я пошёл к ветле, где стоял бидончик с разведённым родниковой водой кислым молоком, искоса наблюдая за обоими.

Отец, опираясь на черенок косы, медленно пошёл к дороге.

«Зачем он взял с собой косу, — недобро подумалось мне, — просто вместо бадика?»

Настороженно обошёл дерево и увидел их обоих вновь.

Они стояли поодаль от мотоцикла и о чём-то говорили. Слышно было, как лесник довольно рассеялся.

Коса мирно висела на сучке сухого вяза, рядом с форменной фуражкой лесника.

Когда гроза всего местного люда, лесной начальник уехал, отец вернулся к нашему стану. Неспеша напился из белого бидончика. Прислонился спиной к огромному дереву. Над непокрытой головой его, над мокрой рубахой звенело комарьё.

— Чё, пап, он? — спросил я как можно небрежней. — Весёлый вроде такой...

Глядя задумчиво поверх моей головы в синюю глубь неба, отец ответил, как мне показалось, до обидного спокойно и... обречённо:

— Голос у него соловьиный, да рыло свиное. Сказал, чтобы я пришёл пособлять, отработать два дня...



— За что? — вырвалось у меня. — Ведь мы косим по кустам. Там, куда никто не полезет?!

— За что? За самовольство. Куда деваться? Земля-то кругом либо колхозная, либо лесничества. Ему для пособу семерых мало.

Я подавленно молчал.

— Схожу, — скорее, как показалось, успокаивая меня, чем себя, произнёс отец. — Куда деваться... Ядох...

Во мне кипела обида. На всех, на всё!

Как можно такое терпеть?! Отца на фронте изувечили... А тут?.. Как батрак к леснику...

Сами собой вспомнились слова из моей роли Чацкого: «Служить бы рад — прислуживаться тошно». Это ж когда ещё сказано!.. «Но отец, конечно, Грибоедова не читал», — уныло думал я.

...Взяв косы, мы пошли в сторону валков.

— Что нос повесил? — обронил отец. — Весна придёт, не надо будет корову за хвост поднимать! Что ещё тебе?! Голова! Сенокос-то какой!..

У самого осинника, остановившись, отец произносит:

— Сашок, придётся наверх траву выносить. В кустах она долго не высохнет. Темнотища.

Я понимаю, о чём он думает. Он таскать траву не сможет. Так еле ходит.

— Перетаскаем, — говорю как можно беспечней, — раз уж взялись!

— То-то и оно, — откликается в своей обычной манере отец, — раз уж взялись...

## **Запахи летнего леса**

Мы потом ещё несколько раз косили у Зимней старицы. А однажды косили здесь после того, как я с месяц назад познакомился с Ларисой — теперешней бабушкой моего внука. Уже после окончания учёбы в институте.

Лариса! Это имя непохоже было на наши утёвские. Искрящееся, несущее прохладу и свежесть, оно было в те сенокосные дни постоянно со мной.

В перерыве между косьбой пришло ко мне неожиданно оставшееся со мной навсегда четверостишие:

*Немало в голову идёт сравнений,  
Но все сравнения напрасны.  
В неуловимой смене выражений  
Твоё лицо прекрасно!*

Много раз после пытался я удлинить стихотворение, дописать что-то сверхважное. Не получалось. Не было потом подобного состояния. Эти четыре строчки — как единый неповторимый выдох...

Лицо Ларисы — оно и сейчас для меня излучает необычный свет.

Здесь, под воркование в пышной зелени горлицы, впервые так остро задумался я о сомнительных достоинствах своей затнувшейся холостяцкой жизни.

Те сенокосные дни отчётливо впечатались в моё сознание лесным ароматом земляничных полей, разнежившихся чуть повыше от Старицы, около Самарки. Туда я устремлялся в короткие перерывы на отдых от косьбы.

На земляничных полянах не было густых шелковистых трав, в лёгкой истоме падающих под косой, не было завораживающего шума кряковых уток в куртинах рогоза. Там царила щедрость июльского солнца. Бездна света и ощущений. Царили запахи самой желанной, самой первой ягоды нашего леса — земляники. Повесив мокрую от работы майку сушиться на ветку, я нагибался над щедрой земляничной высьпшкой...

...Теперь для меня все запахи того летнего леса в поречье, запахи лесного разнотравья, моих тогдашних стихотворных строчек, запахи изумрудных земляничин слились в один невыразимый аромат моей так давно уже отлетевшей молодости...

\* \* \*

В детстве нас не учили тому, как держать топор, как ловчее пилить ножовкой, как сноровистой работать долотом. Умение приходило и развивалось само собой. Из наблюдений, из потребности что-то сделать, помочь родителям. Теперь у большинства из нас нет необходимости в таких навыках. И очевидно, новому поколению или поколениям, идущим нам на смену, сноровисто работать руками, как работали наши отцы и деды, явно не понадобится. Крепко пока сидим на нефтегазовой игле...

Но почему же так настойчиво подсовываю внуку на даче то ножовку, то рубанок? Всё хочется, чтобы не ушли никуда трудовые навыки, рождённые поколениями.

Боялся же когда-то, лет тридцать тому назад, мой отец того, что иссякнет многое при нашей безалаберности, что всё невечное: останутся на земле опять, как он говорил, «конёк да ванёк». А я порой опасаясь, что и этого-то может не остаться. И ведь прошло-то с того времени, когда отец горевал за нас за всех, — всего ничего...

Успеет ли понять мой внук и увидеть то, что я теперь увидел и что не замечал по молодости своей, в пору ликующего летнего разнотравья на лесных полянах?..

### **Мой сенокос!**

Уехав учиться, а потом и работать в город, около полувека назад, в село я, конечно, наезжал часто. Особенно когда живы были родители. Гостевал. Но жил-то?.. Жил далеко отсюда, а все важные для жизни решения принимал, приехав в родительский дом. Непроизвольно так случалось. Уже и потом, когда и отца, и мать похоронил. Там, на стороне, я проживал свою жизнь, а здесь осмысливал. Что-то подобное происходит со мной и сейчас!

Так много уже позади! «Только не заболейте там! Вернитесь здоровыми! — так нас провожала Лариса. — Вернитесь здоровыми!..»

Часто просьшается во мне тот, кого порой так недолюбиваю в себе: подпорченный техническим образованием, унылый рациональный аналитик.

Ни куража, ни фанатизма...

«Ты таким рассудочным стал не только из-за своих болячек, — доедал я себя. — Устал от многого, а признаться не хочешь... Радуйся. Какой день сегодня! Отвлечься надо! Всё, как в торбе, несколько раз в тебе перевернулось, перемешалось... В город приедешь — разберёшься... К мосту подъезжаем!»

...Словно наяву звучал отцовский голос. Как тогда у Зимней старицы:

«Сенокос какой! Какое небо! Что ещё надо? Голова!..»

Я невольно озирался вокруг. На некошеные травы, заросшую дорогу... Так и казалось, что вот-вот вновь прозвучит его призывное:

— Не мешкай, Сашок! До дождя надо убрать! А то промочит, канители будет...

Так много всего в детстве надо было успеть. Нелегко это давалось. Но какую при этом мы приобретали закалку. Так она и осталась во мне до сих пор, эта готовность успеть, взяться там, где потяжелее. За комель. А иначе кому же?..

Наверное, заложенная с детства энергия вот этого отцовского «надо успеть» меня всю жизнь потом и подгоняла. Чаще всего делал одновременно несколько дел. До сих пор не научился выстраивать некую монотонную очерёдность в выполнении того, что задумано. Стараюсь.

Успеть надо! Успеть многое! Особенно когда есть и некоторый опыт, и силы, и пришло понимание, как надо делать...

...Обычные дела, вершимые ранее так непринуждённо, теперь берут на себя значительно больше времени. Заново обучаюсь управлять временем! Как когда-то под рамку учился выкруливать на взрослом велосипеде. Так и живу, отчётливо, зримо чувствуя одобряющий взгляд мамы и мобилизующую команду отца из далёких тех лет.

И всё дороже и дороже становятся и уплывающий взгляд мамы, и ускользающие слово или жест отца...

...На реке отчётливее вижу и слышу своих родителей...

Теперь, на исходе седьмого десятка жизни, у меня всё больше и больше возникает вопросов, на которые не могу подобрать, найти однозначные ответы. Задумываюсь часто над тем, что же было главное в жизни моих родителей, большинства окружающих меня в детстве дорогих мне людей? В моей жизни?

...Успеть додумать, успеть понять...

Бесхитростные, постоянно озабоченные нуждой, родители наши несли в себе, не ведая сами, бесценное сокровище: они умели трудиться! Труд и дети — вот что двигало ими! И как радостны, искромётны, непосредственны порой бывали они в редкие праздники! Среди постоянной нескончаемой работы. Работая для детей, не отдавая себе отчёта в любви своей, они трудились на будущее.

Будучи, кажется, не в меру благоразумным, лишённым и доли фанатизма, как бы ни трудился упорно, особой известности и славы не добьюсь. К этому выводу я пришёл, ещё читая Гельвеция. Понял и принял как данное. Было это тогда, когда и слава, и известность волновали. Теперь волнует, и давно уже, сам труд... Радостно оттого, что умею и это, и это, и это... И умею, и могу вершить пока ещё, с Божьей помощью! Могу теперь быть неторопливым за письменным столом... И ценю терпение и умение работать...

Помогли понять мне себя и Гельвеций, и мои труженики родители... Такой теперь он — мой сенокос.

### **Мост под крепостью**

Куда только судьба меня не забрасывала. И везде в первую очередь притягивали к себе, как магнитом, реки. Реки и мосты! Названия их мерцают незатухающими огоньками в моей памяти.

Легко вспоминается Тауэрский мост — самый знаменитый в Лондоне. Символ города. Массивные речные опоры держат на себе две готические башни, соединённые разводными пролётами и двумя пешеходными галереями. Самый низкорасположенный в течении Темзы и, насколько помню, единственный из всех мостов, который здесь разводится. Мост, в музее которого можно посмотреть механизмы, управляющие движением огромных пролётов.

Лондонский мост, Железнодорожный мост, Саутворкский мост... у каждого из более чем тридцати мостов через Темзу своя история.

Оказывается, первый мост через Темзу построен был ещё римлянами, когда они завоевали Британию, перебравшись через Темзу на её северный берег. Основали там своё поселение — Лондиниум, давшее начало Лондону.

Первый каменный мост через Темзу, старый Лондонский, строился в конце двенадцатого — начале тринадцатого века при жизни трёх королей.

...Мосты Парижа лучше не начинать перечислять. Их, кажется, тоже более тридцати. Париж — город мостов. И затруднительно в Париже найти мосты, похожие друг на друга.

Мост Нотр-Дам, мост Сен-Мишель, мост Шарля де Голля...  
Мосты — моя слабость.

Мост Александра III украшен позолоченными колоннами с бронзовыми светильниками, херувимами, крылатыми конями. Этот мост самый, кажется, богатый в Париже. Он был построен в 1896 году в память о заключении франко-русского соглашения.

В основание моста заложил камень сам Александр III, а на открытии моста присутствовал его сын Николай II. Длина моста — более ста метров.

В Америке был только на одном мосту. Но на каком! На Бруклинском!

Его строили около тринадцати лет. Открытие моста свершилось в 1883 году. Этот висячий мост — на то время самый большой. Первый стальной висячий балочный Бруклинский мост, соединяющий два района города — Манхеттен и Бруклин — давно стал символом Нью-Йорка.

А наши мосты! Российские... Мосты города на Неве!.. До сих пор жалею, что побывал в нашей северной столице всего лишь два раза...

Но пора оторваться от воспоминаний о великолепных мостах, известных очень и очень многим. И сказать слово о мосте, мало, совсем мало кому известном за пределами Невфтегорского района. Сказать про свой мост! Для меня у него есть неопровержимое достоинство и отличие от всех величайших мостов планеты! С него, задрав до колен штанины и свесив ноги, ловили мы с ребятами на удочки осторожных подустов и завораживающих, стремительных голавлей. Такого со мной не было ни на одном мосту мира!.. И может ли быть такое?!

И настало время, когда я проплыл на рыбацкой одноместной резиновой лодке под всеми мостами реки моего детства — Самарки. Из всего полутора десятка самарских мостов этот, у посёлка Красная Самарка, Крепостной, как в округе всегда его называли, для меня — особенный.

Он — достопримечательность детства на всю тутошнюю Самарку и на всю мою последующую жизнь. Как паровая мельница на краю села. Мост и мельница — эти два сооружения были самыми внушительными в нашем детстве.

Крепостной мост всегда был без перил. Вместо них на концах толстых досок уложены поперёк толстые брёвна. Сидя на них, удобно рыбачить. Есть куда удочку приткнуть. Банку с червями можно ставить на широченные надёжные плахи. На мосту всегда илюдно, и шумно! И клевала рыбка порой лучше, чем где-либо! Свесив босые ноги с брёвен, ребяшня с выгоревшими вихрами на головёнках, словно подсолнухи, желтела над водой. Чуть выше моста Сашка Ракчеев (по уличному Стрепеток) один из самых умелых наших рыбаков, часто ловил крупных голавлей. Он иногда брал меня с собой. Это было как награда. Крепостной мост соединяет два таких разных берега.

По левый берег Самары, где наше село, раскинулась широченная равнина, степь-матушка! А на правом — сразу почти от Крепости, на приличном возвышении над рекой, начинаются сосновые боры да берёзовые рощи.

Без моста эти два мира — степной да лесной — как бы разлучены. Нет, без моста тут никак нельзя! По обе стороны его две половинки нашего лесостепного края, населённые работающим, общительным, дружным людом.

В детстве казалось, что по нашему мосту непременно в гражданскую войну должен промчаться комдив Чапаев. На тачанке! Крепость Бузулук — это ж всё рядом! Он здесь гулял! Так для этого под Крепостной горой всё здорово подходит! Как в кино: и мост, и река! И косогоры с обеих сторон с извилистыми песчаными спусками. Белые на мосту растележились, а тут на косогоре объявится Чапай на тачанке! И тогда!.. Что здесь было? Успел он развернуться на песке, не увязли колёса тачанки?! Вдарил как надо Чапай? Или нет? Такая выгодная позиция! Тогда для нас Чапай был герой. Причём наш, тутошний.

Какая романтическая, золотая и наивная пора! И как-то невдомёк было, что белые-то — все тоже нашеньские, не откуда-то издалека. С наших самарских берегов, с волжских...

...Никогда не думал, что, побывав не менее чем в полутора десятка стран и кое-что повидав, буду так трепетно ждать встречи с неказистым, скрипучим, едва держащимся на позеленевших, покрытых тёмной плесенью сваях, мостом.

Он и сейчас не кажется мне маленьким. Мост вырос в моих глазах до значительных размеров, стал символом. Крепостной

мост ведёт, как когда-то, к моим Красносамарским родникам! К манящим сосновым борам! Песенным березнякам, встречавшим по весне клейкими маленькими листочками! Ведёт к реликтовому Бузулукскому бору.

Здесь прилепился я душой к песенному и былинному ладу породившей меня сторонюшки...

\* \* \*

Тут под бугром, едва минуешь мост, всегда, пока посёлок жил своей нормальной жизнью, были огороды. Капустные грядки, огурцы, помидоры, тыква, мешая зелёное с красным огромного склона, делали его живописным и неповторимым.

Красно-коричневое и зелёное в соединении с серебристой лентой реки и необозримой синью небес: такого места на реке в округе больше не было. Теперь от огородов нет и следа. Склон странно потемнел. И сам мост, раньше бодро и гулко отзывавшийся пешему, конному ли, сейчас одряхлел в забытии...

И лишь когда какой смельчак проезжает на автомобиле с несколькими остановками, переваливаясь на его неровностях и рискуя попасть в дыры, прикрытые чем попало, мост отзывается по-стариковски ворчливо и нехотя...

\* \* \*

В студенческие годы восхищался Алексеем Толстым, особенно после того, когда прочитал «Шумное захолустье» Оклянского. Но всегда рядом стояла фигура другого писателя — Николая Гарина-Михайловского, также значительное время жившего в наших краях в Бугурусланском уезде, в селе Гундоровка.

Инженер-путеец, он участвовал в изысканиях и строительстве железных дорог, в том числе Кротово-Сергиевского участка Самара-Златоустовской железной дороги и Транссибирской магистрали. И как-то само собой получилось, что имя его связал с руководством строительства самого длинного в Европе и шестого в мире моста через нашу Волгу под Сызранью.

Проектировал Александровский мост 30-летний мостостроитель Николай Аполлонович Белелюбский, а руководил строительством инженер Михайловский.



Задумываясь о своей судьбе, простодушно тогда размышлял: как здорово сложилось у Михайловского. Построил мост через Волгу и написал «Детство Тёмы». Так тогда, в первые годы после окончания института, в моей молодой головушке (плохо это или хорошо — до сих пор не могу определённо сказать) и сложилось: сначала надо что-то стоящее в жизни сделать, потом писать.

Когда позже обнаружил, что инженер-путеец Михайловский, взявший себе литературное имя Гарин, и К.Я. Михайловский — разные люди, не сильно расстроился. «Если всё, что успел сделать Николай Гарин-Михайловский как инженер, собрать в единое — это будет не менее чем мост», — так я мысленно ревностно защищал своего земляка-писателя.

Пишу сейчас с улыбкой, вспомнив и эти мои студенческие раздумья, и то, что мои изобретения как некий результат моей тридцатилетней работы на заводах как-то разлетелись, внедрённые более чем на ста промышленных установках нефтехимии тогдашнего СССР. И не видны! Хотя и отмечены Правительственными наградами, и Премией того же уровня. Но моста-то нет! Не выстраивается. Что сумел, то и успел...

## **Красная Самарка**

На мосту сторбленный, с крепко загорелыми по локоть руками, в одних плавках рыбачил «пауком» старик.

Мы с внуком подошли.

— Растоварился, сейчас уберу, — как мог поспешил рыбак к лежавшей поперёк дыроватых досок старой, выдавшей виды бамбуковой удочке. — А ты осторожней, — предостерёг он ступившего на мост Сашу, — вильнёшь меж досок — митькой звали.

Продирание с велосипедом через заросли меня растомило. Опустив велосипед на влажный песок, наклонился над речной гладью. Обеими руками начал плескать пригоршнями себе на лицо, на голову водицу. Облюбовав затишек, подул, отгоняя соринки, и испил жадно, с удовольствием.

— От сразу видно свой, здешний! Хоть и не признаю чей, — прозвучал голос старика. — Чужой сразу так пить не станет из реки. Изнатужил, видать. За ними, молодыми, не угнаться, — он махнул рукой в сторону Саши.

— Как рыбалка, отец? — спросил я, ступив на почерневший, массивный, деревянный, шаткий брус.

Старик ответил не сразу. Приглядываясь подслеповато, приподнял свою мелкоячеистую нехитрую снасть. Она была пуста. Аккуратно опустил в воду.

— Марево какое... Коварный денёк. Обрушится эта жара обмочливым дождём, — подтверждая мои прогнозы, сказал старик. — Утром трава сухая была — верный признак.

— А что нам-то? Мы не сахарные, —отреагировал мой внук.

— И то верно! — бодро согласился старик и улыбнулся ясно.

Вспомнил про мой вопрос:

— Какая рыбалка? Вон в полиэтиленовом мешочке две со-рожки всего-то. Балуюсь. Продышаться на вольном воздухе приехал. Спозаранку. Счастье по утрам раздают...

— Откуда? — поинтересовался я.

— С Нефтегорска. С соседом.

— Его «жигулёнок»?

— Мишкин! Я у него вроде сторожа. Он на дачку сюда, в бывший родительский дом, я — с ним. Частенько так.

— Постоянно кто-нибудь живёт в Крепости?

— Только один лесник. А так... Нет... было когда-то поболее ста дворов. И школа, и магазин...

— Годков-то сколько?

Старик не расслышал вопроса. Улыбнулся виновато, показав скрюченным указательным пальцем на правое ухо. Полу-обернулся, сбочив голову, чтобы слышать левым.

— Лет-то сколько? — повторил я.

— А! — отозвался старик. — С двадцать второго. Давниш-ний...

Взглянул на Сашу.

— Где, кучумка, успел загореть-то? Городской, по всему вид-но, а успел...

— Так, нигде... Кожа такая, быстро темнеет.

— А то сейчас все в Турцию да в Африку летают. Мой вот правнук в Египте. Говорю: приезжай ко мне... На подольше как-нибудь. Тоже ему велосипед купил да Мишкин ещё... Ни в какую. А ты молодец! Деда уважил.

Глаза его, неестественно большие за сильными стёклами оч-ков, часто и ритмично моргали.

— А для меня, — голос старика прозвучал молодо, — как была Самарка Красной, самой красивой моей рекой, так и осталась. Хотя цвет свой малость и потеряла. Берега уж не красные, заросли. Но ведь и мы стареем! Ты, — он с интересом смотрел на Сашин велосипед, — рви кочки, ровный бугры, пока молодой!.. Тут в сторону Покровки простору!..

Внук при таких словах его, хихикнув, потрепал собственные вихры и неожиданно для меня сконфузился. Напутствие старика показалось ему слишком лихим, что ли....

— А сколько лет Крепости? — спросил Саша.

— Не помню, сынок. Люди знающие сказывают, что в середине XVIII века ещё по Самарке в 30–40 вёрстах друг от дружки были построены и Красносамарская Крепость, и Борская, Бузулукская, Тоцкая. Много ещё... Для охраны границ. Екатерина II владычествовала. Крепила Русь! Когда ещё!.. Вот человечице была! А сейчас?

— Где про это написано? — с интересом спросил внук.

— Где, где? Так, по растолкам разным знаю. Ты найди, у вас там в городе чай есть где!.. Почитай. Жив буду, мне расскажешь! Приезжай почаще. Есть что и у нас посмотреть. Смотри! А то, чего не знаешь, туда и не тянет.

Взгляд у рыбака внимательный, изучающий.

«Непростой старик», — подумалось мне.

И не ошибся.

— И вы их видели? — произнёс старик.

— Кого? — спросил я.

— Тех, которые на мотороллере?..

— Китайцев-то? — переспросил внук. — Они чуть в нас не врезались там.

— Около наших родников топчутся, — глухо проговорил старик. — Не только дороги зачепыжили, вся наша жизнь...

Мы ещё побыли чуток около рыбака и направились на правый берег Самарки.

После нашего путешествия, покопавшись в архивных документах, мы с внуком уточнили для себя, что Красносамарская Крепость была основана по решению сената в 1736 году флотским поручиком Петром Семёновичем Бахметьевым. Для защиты оседлых поселенцев от набегов кочевников, а также чтобы обезопасить речной путь по реке Самаре.

Крепость была защищена земляным валом, деревянными стенами. На её башнях были чугунные пушки. Стоявшая на возвышении деревянная церковь являлась для офицеров, солдат, переселенцев святым местом.

Линия крепостей в Заволжье, куда входила и наша Красносамарская, после подавления Пугачёвского восстания утратила своё былое назначение. Крепости стали обычными поселениями, а некогда служивые люди превратились в государственных крестьян.

...И стала крепость на песчаном косогоре называться посёлком Красная Самарка.

## Не судьба

Мы уже прошли неспеша почти по всему мосту, когда прозвучало за спиной:

— Не скажете, чьи будете? Я всё приглядывался исподтиха...

Мы оглянулись. Старик стоял почти рядом.

— Мой дед — Рябцев Иван Дмитриевич, — ответил я, почувствовав, что вопрос не дежурный.

— Всё сходится тогда. Утёвские! Это вы написали про художника Журавлёва, безрукого?

— Да.

— Ваша книжка у меня дома на тумбочке лежит.

Я невольно приблизился к старику. Тот продолжал:

— Значит, вы племянник Алексея Рябцева, сына Ивана Дмитрича?

— Выходит, так.

Старик просиял лицом:

— Мы друзьями были, с Алексеем-то. Вместе воевали, хотя я-то на чуток постарше. Трегубова, Дятлова по-уличному, Сергея Илларионьча знали?

— Ну как же! — поторопился я. Дятловы в Утёвке — легендарные люди.

— Так я сын его — Константин.

Я стушевался. Имя Дятловых на меня действовало завораживающе.

— Расскажите что-нибудь об Алексее Ивановиче поподробнее, — попросил я, — его уже давно нет.

— Что особо рассказывать?.. Дали слово: останемся живы, будем поступать в художественное училище. Мы оба рисовали до войны. В школе ещё. Но не судьба. Его тяжело ранило. Потом меня контузило под Сталинградом. Так-то ничего, но зрение нарушилось. Какое училище?.. Очеченило меня тогда здорово. Вначале, было вернувшись в село, запил. И крепко... Но вовремя опомнился. В сорок седьмом завязал насовсем.

— Неужели насовсем?

— Ни капли с той поры. Поболее шестидесяти лет...

\* \* \*

Мой любимый дядька Алексей, о котором говорил старик, мечтал быть художником и даже намеревался поступать в Пензенское художественное училище. Такое я слышал впервые. Всё моё детство прошло большей частью в дедовом доме, который мои дядья Алексей и Сергей превратили в некую художественную мастерскую. Они были заражены рисованием.

В избе, в кладовке, в мазанке висели копии известных картин, нарисованные ими. Писали они только маслом. Процесс написания картин меня завораживал. Затаив дыхание, следил я, как дядька Алексей на моих глазах вырисовывал голову здоровенному полуобнажённому казаку в компании таких же вольных, разудалых людей, пишущих письмо турецкому султану.

Я рос среди копий таких картин, как: «Охотники на привале» Перова, «Три богатыря» Васнецова, «Грачи прилетели» Саврасова, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Неизвестная» Крамского, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Оттепель» Васильева, «Тройка» Перова... Всего не перечесть. Картины висели, лежали, стояли везде. Разных размеров. Их было много. Когда дядья рисовали казаков, пишущих письмо султану, холст клали на два больших стола в передней комнате.

А сколько было всяких открыток, журналов с репродукциями, картин разных художников! И всё это в дедовой избе. Я немел от всего этого.

Эти годы — золотая пора моего детства, сверкающая красками, завораживающая одухотворёнными лицами глядящих на меня с картин людей. Ничто, думаю, тогда не повлияло на

меня, на моё восприятие мира так сильно, как эти лица с картин великих русских мастеров! Попасть в Третьяковскую галерею, увидеть знакомое с детства в полную меру в студенческие годы — было моим острым, неистребимым желанием. И оно, это желание, сбылось вскоре.

...Много позже удалось мне побывать и в Лувре, и в Дрезденской галерее, видеть и Джаконду Леонардо да Винчи, и Сикстинскую Мадонну Рафаэля... Но эти детские впечатления от картин!.. Они грандиозны!

Мне-то думалось раньше, что любительство Алексея, его страсть рисовать — это так, что-то вроде красивой забавы...

Оказалось, это — осколки придушенной, придавленной войной мечты стать художником. Настоящим! Теперь мне кажется, из него мог получиться художник. Мой дядька был незаурядный человек. Он никогда не говорил громко. Не переносил мата. Это он пристрастил меня к чтению книг. Всё, что бы он ни делал: по плотницкому делу, по слесарному, по столярному — делал с выдумкой, особинкой.

Его любовь к Сибири (дядья мои родились там) вылилась в запойное чтение всего, что можно было достать о Сибири. Он приобщил меня к «Библиотеке сибирского романа». «Угрюм-реку» Шишкова я прочитал лет в двенадцать. Прикоснулся и почувствовал грандиозность искусства, ещё не отведав сполна самой жизни...

...Ничто не уходит бесследно. Единственный сын Алексея Ивановича Владимир стал профессиональным художником, членом Союза художников России. Пробился росточек! В другом поколении, но пробился! Талант не отпустит!..

...Когда уходили, Константин Сергеич смотрел в нашу сторону так же, как и Женька Давыдов. Там, в Углу. Так и не так... Разбередили мы его своими вопросами...

\* \* \*

Надо же: не были с Константином Дятловым знакомы, а река соединила нас... Общие у нас истоки! Как он сказал: «Не могу без Самарки, мила та сторонюшка, где пупок резан».

И я не могу представить свою судьбу без Самары, озёр Лещёвое, Бобровое, Латинское... Всегда, как магнитом, тянуло к ним. Теперь-то понимаю: оторвись душой от них, суше бы стал.

Иссохла бы душа. Они — исток жизни. Сколько раз была возможность перебраться и на юг страны, и на север, но что-то удерживало...

Я родился под водным знаком зодиака — Рыбы. Известно, что «Рыбы» любят селиться и жить около водоёмов, вблизи озёр и рек. Только там им уютно и любо. Выходит, на роду написана такая моя счастливая доля... Не судьба жить на безводной чужбине...

### **Охранная грамота**

На Крепостном мосту между утёвскими и крепостными ребятами иногда возникали потасовки, но так, без особых последствий.

А сейчас мне вспомнился случай, когда в разборку вовлечены были взрослые. Дело было не на мосту, а на нашей утёвской улице.

В тот февральский метельный вечер я вышел из клуба, где только что шла репетиция отрывков из комедии «Горе от ума», и направился домой. Около столовой, которая была совсем рядом с клубом, заметил стайку ребятни из Тягаловки — дальней нашей улицы, которая всегда славилась своими бедовыми обитателями.

У коновязи, меж лошадьми и санями, волной прошлись они... и быстро схлынули. Подались косячком в Зубарев переулок. Нетрудно было догадаться, что они срезали поперечники, или по-другому черезседельники — ремни, стягивающие оглобли на седёлке в конной упряжи. Эти ремни, будучи разрезанными вдоль на несколько более узких, хороши для крепления коньков к валенкам. Коньков на ботинках тогда ни у кого в селе не было. Их даже никто не видел из нас.

Много чего по глупости было сделано в детстве. Особенно в азартной компании. Но я никогда не резал поперечники. И не одобрял тех, кто это позволял себе. Была причина.

Мой дед Иван шорничал: готовил хомуты, седёлки, подпруги, уздечки и всякую другую сбрую. Кроме того, он потихоньку, тогда это запрещалось, выдeldывал овчины. К нему в дом часто приезжали мужики из соседних деревень. Привозили для выделки шкуры. Он был нужен многим.

Я видел, знал, какого труда стоило изготовление сбруи. И потом, поперечник в конской сбруе, как ремень у штанов: далеко без него не ускачешь. А мужики, оставлявшие свои подводы у коновязи возле столовой, часто приезжали из дальних сёл.

Нужды резать чужие поперечники у меня просто не было. Мой дед из всякой кожаной обрести мог мне выделить ремни на коньки всегда.

...Я едва миновал столовую, когда из неё вывалились трое подвыпивших, разгорячённых парней и направились к своим повозкам.

Понимая остроту момента, то, что они сейчас обнаружат пропажу поперечников и начнут искать злоумышленников, я невольно убыстрил шаг, намереваясь скрыться в переулке. Там стоял дом моего деда. Я, кажется, сделал ошибку. Не тут-то было — это только парней подстегнуло. В спину понеслось:

— Вон он! Врёшь — не уйдёшь!..

Я разом оказался в их окружении.

— Верни ремни! — прозвучал грозный окрик одного из них.

— Я ничего не брал, — отвечая так, я попятился к забору, но тут один из них сзади крепко толкнул меня в спину. Я, стараясь не упасть, размахивая руками, отлетел в сторону окликнувшего меня парня в бараньей шапке. Поймав меня кнутовищем поперёк груди, он резко отшвырнул тут же назад.

— Куда ты их выкинул, говори! Зверёньш!..

Они стали швырять меня от одного к другому. Как мячик. Шапка моя отлетела в сторону. Я понимал, что всё это может кончиться для меня плохо. Но что я должен был делать? Тот, который был в бараньей светлой шапке, два раза хлестанул меня кнутом. На мне была плотная стёганая отцовская фуфайка. Было не больно, но...

Я испугался за лицо. Только что я играл пылкого Чацкого, жил на сцене. Нет, не на сцене, в большом московском доме, жил иной жизнью, далёкой и завораживающей. Там звучала непривычная музыка фраз, миллионом терзаний мучился бескорыстный Чацкий. Бился против лжи! Руководительница нашего драмкружка шумливо, прямо на сцене, хвалила меня, утверждая, что я будущий народный артист СССР. Не менее. А тут?

«А что, если он высекнет кнутом мне глаз, как случилось в пьяной драке между Васькой Забаштой и Минькой Коршуно-



вым? Какой из меня тогда артист, с изуродованным лицом?..» — пронеслась в голове мысль.

Парень широко замахнулся. Я выкинул полусогнутую в локте левую руку вперёд, надеясь успеть перехватить конец ременного кнута перед лицом. И тут прозвучало хрипло и властно:

— Погодь чуток!..

Передо мной в сумраке, в метельной снежной пыли вырос кряжистый в тулупе человек. Намного старше остальных. В руках у него был кнут с толстым таким кнутовищем.

— Верни ремни, — сказал он голосом Лазаря Баукина, которого играл в фильме «Жестокость» Борис Андреев. Он произнёс слово «ремни» с ударением на первый слог. У нас так не говорили в селе. Мне такое произношение показалось диким и весь облик этого человека первобытным.

— Стёпка, сбегай, посмотри, где он шёл. Может, втоптал их в снег. А вы двое не дайте ему убежать.

Один из парней послушно метнулся в сторону.

— Ты соображаешь, что нам ещё до Крепости надо добираться? Без поперечников!

— Понимаю, — ответил я. — Но я их не резал.

— А кто? Говори!

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты же здесь шёл только что?

— Шёл. И что с того?

— А то! — рявкнул «Баукин».

И тут я произнёс совсем непроизвольно слова, которые только что говорил на сцене: «Длительные споры не моё желанье»<sup>1</sup>. Как я ещё не сложил театрально руки на груди при этом?!

Он странно посмотрел на меня и задал вопрос, который враз всё изменил:

— Чево? Ты чей такой будешь?

И я непроизвольно, сам не зная почему, ответил:

— Рябцев.

Назвал не свою фамилию «Малиновский», а фамилию моего деда. Что могла ему такому сказать моя совсем не здешняя фамилия?

---

<sup>1</sup> Слова Чацкого из комедии "горе от ума".

— Ивана Дмитриевича внук?! Не зря я подумал, что где-то тебя видел. Похож...

Он подошёл ко мне совсем близко. Из-под мохнатой шапки на меня смотрели дикие и умные глаза матёрого волка в человеческом облике.

— Верно говоришь, что внук его?

— Внук, — подтвердил я, почему-то смелея и чувствуя подобие доверия к этому человеку. — А они, — я мотнул рукой на стоявших рядом налётчиков, — дураки! Все, что ли, такие в вашей Крепости? Горе от отсутствия ума?

Последнее вылетело из меня безотчётно. И не успел я подумать о возможной реакции на слово «дураки» и остальное, как прозвучал его зычный голос:

— Отпустите его. Он не мог резать поперечники.

Парни расступились, а я всё ещё стоял на месте.

— Ничего нигде нет! Ни поперечников, ни ножа! — объявил, вернувшись, парень, которого называли Стёпкой.

— Пошли к лошадям, — повелительно произнёс тот, который был старшим. — Там мерекать будем...

И первый тяжёлой походкой, широченный в своём огромном бараньем тулупе с большущим воротником, зашагал в сторону столовой. Ремённый кнут волочился за ним по снегу...

Оставшись один, я нашёл втопанную в снег свою шапку и направился туда, куда мне и надо было. В дом к моему деду. Имя которого для меня, его внука, как охранная грамота...

## **Велосипед с багажником**

Всё-таки мой «пензяк» не выдержал. Сломалась поржавевшая самодельная стойка у багажника. Случилось это на дороге, но в таком густом лесу, где комарья как нигде... Пришлось спешно из твёрдой чилижины вырезать и накладывать шину, подвязывая её подвернувшейся под руку бечёвкой. Не впервой мне приходилось вот так на ходу ремонтировать велосипед. В моём детстве у меня их было несколько.

Их мой отец собирал из подвернувшегося хлама, который он добывал где попало. Часть их, в виде рамы, руля или шестерёнок, переходили последовательно от одного к другому. Был момент, когда родители решили было купить с рук мне детский

велосипед. Несколько дней я жил с трепещущим сердцем. Мне и верилось, и не верилось, что такое может произойти. Ни до того, ни после ни одной игрушки нам с братом в детстве не покупали.

Не случилось такого и в тот раз. Что-то не сладилось. Для меня было бы фантастикой, если бы в доме нашлись деньги на такую покупку. Так что я не сильно горевал. Продолжал ездить и за коровой, встречая её из стада, и на общий двор к отцу, к деду на бахчу, и в магазин за хлебом на взрослом велосипеде «под рамку».

Будь моя на то воля, соорудил бы велосипеду памятник. Он этого достоин! Какая рыбалка без велосипеда! Он давал возможность добираться к самым отдалённым нашим озёрам. Незаменим в сельской местности он и для взрослых. И раньше так было, и сейчас. Поставить бы надо памятник и стёганой фуфайке, чёсанкам с галошами, резиновым «калошам», без которых никуда в селе...

В седьмом классе мы впятером загорелись купить велосипед. Заработать и купить.

Дело обстояло так.

В первых числах сентября, едва начались в школе занятия, рыжая дылда Ленка Коврова — наша новая пионервожатая, объявила нам о создании в классе тимуровских команд. Сразу несколько команд отдельно из девчонок и мальчишек.

— Александр, ты будешь Тимур! Вот тебе в команду Раки-тин, Сарайкин, Белохвостиков и Давыдов.

— Почему я? — вырвалось у меня.

— Ты, и точка! Это поручение тебе как пионеру!

Я догадывался, почему назначен командиром. У моего отца всегда отлаженный инструмент. Ленка Коврова не промах, знает об этом. Её мать бегаёт к нам то ножницы поточить, то кастрюлю заклепать. А отец её как взял ножовку, так никак и не принесёт...

— Александр, объект вашей команды: Таликин дядя Ваня, он бывший чапаевец, боевой конник! Понятно? — напирала пионервожатая.

— Что нам делать-то? — спросил, беспричинно улыбаясь, Витька Сарайкин.

— Ему привезли брёвна, у ворот лежат. Их надо перепилить, переколоть чурбаки. Всё сложить в поленницы. Он покажет. Ясно?

— Ясно, — ответил за всех основательный Вовка Белохвостиков, — а к какому сроку?

У распорядительной Ленки язык подвешен, будь здоров! И шарики в голове как по маслу бегают. Божак!

— Ну не к Новому же году! Топить скоро, а у него одни котяхи. Что старому да безрукому делать?

\* \* \*

Маленький, аккуратненький старичок Таликин оказался приветливым и разговорчивым. И пила у него оказалась наготове своя. Да так хорошо наточена и разведена, что ветловые податливые и нетолстые брёвна мы пилили без натуги.

Ветла — это вам не вяз! Колется топором с одного маха, обнажая рыхловатую, светящуюся слегка розоватым светом древесину...

— С-сруб бы из-з т-такого д-добра д-д-делать! В-ветла — с-самое т-то д-для эт-т-того. А т-то в-в п-печку! Д-даже не-неловко. Г-г-говорил в с-сельсовете... А... а... вы не ш-ш-шибко го-о-о-ните. Р-р-работа не-не... в-волк... — говорил улыбочиво Таликин, совсем не удручённый своим заиканием. На лице его играла светлая улыбка. Он радовался тому, что у него во дворе работали такие разгорячённые молодые ребята. А мы, когда он говорил и смотрел так на нас, чувствовали какую-то вину в том, что он безрукий и заикается, а мы такие... здоровые...

Мы не ожидали эдакой прыти от себя. Больно уж дрова хороши! Играючи после уроков мы накидали целую кучу поленьев. Оставалось распилить два длинных, совсем нетолстых бревна и завтра сложить остатки поленьев под навес у погребицы.

Когда хозяин ушёл в сени, Колька удивился вслух:

— Неужели такой может быть чапаевцем?

— Какой? — спросил я.

— Ну, маленький такой. Заикается. И в чувяках этих ходит...

Он не договорил. Из сеней вышел дядя Ваня.

— М-ми-и-лости п-прошу ч-чай-куу па-папить. С ва-а-реньем смородиновым. С-с-а-ам варил, ст-т-т-арухи-то м-моей да-а-вно нет уж...

Мы озадаченно переглянулись. Ответил Женька Давыдов:

— Нет, дядь Вань, мы всё делаем «за так». В благодарность. Мы — тимуровцы. А Вы — герой!

— Спасибо! — отозвались вслед за Женькой и мы все.

— Э-э-т-то вы з-зря. Ч-чаёк-то у-у... м-меня с д-душицей. С-соби-би...рал за Самаркой.

Так мы и не попили душистого чайку в тот вечер у старика Таликина.

Когда шли домой мимо плетнёвого забора Курлыкиных на соседней улице, окликнула нас тётка Дарья:

— И чтой-то вы горбатитесь у Таликина? Тимуровцы!

— А вам какое дело? — отозвался Генка Ракитин. — Он — чапаец!

— Какое дело? — повторила Курлыкина, уперев белые полные руки туда, где должна была быть у неё талия. Она качнулась в проёме низкой калитки, и он закрылся почти весь широким халатом хозяйки.

— Никакой он не чапаец! Мой отец сказывал: он то за белых был, то за красных. Скрывает. Беляк он чистокровный. Теперь помалкивает. Добреньким старается казаться. Мой дед — вот кто настоящий чапаец! Я вот тоже почти одна, а у Таликина сын в Самаре. Приедет и вместе перепилят. Не баре чать...

— Это вы для чего нам всё говорите? — спросил конкретный Женька Давыдов.

— Для дела говорю! Идите посмотрите, сколько у меня работы во дворе.

У Курлыкиной тётки Дарьи оказались залежи старых брёвен.

— Напилите мне на зиму для баньки, а я вам заплачу. Чё бесплатно-то ухайдакиваться, — бодро говорила хозяйка брёвен.

Мы молчали в нерешительности.

Отреагировал Женька, да так неожиданно, по-деловому:

— Мы подумаем. Если решим, завтра после учёбы придём. Только, — он прицелился взглядом к вороху дров, — этот толстый тальник перерубим, берёзовые бревна перепилим, а вязовые не будем. Им сто лет, их не расколешь просто так.

— Вот и хорошо! Приходите. Пила-то у меня есть. Она, правда, того уж... но вы молодняк...

Когда мы вышли со двора Курлыкиной, Колька набросился на Женьку:

— Жень, ты спятил? Нас хотя бы спросил. Если Коврова узнает?

— А чё спрашивать? Ясно же: можно заработать. За два дня всё сделаем, потом вернёмся к Таликину деду. Никто знать не будет.

— Тебе деньги нужны? — спросил звенящим голосом Колька.

— А чё! — спокойно отреагировал Давыдов. — Поделим по-ровну, честно. Мне надо купить проявитель и закрепитель<sup>1</sup>. У меня две плёнки непроявленные.

— А мне крючков больших надо купить, на сомят, — будто сам себе протянул бесцветным голосом Витька Сарайкин.

— Стоп, ребята! У меня есть идея! — всегда отличавшийся деловитостью, заявил Вовка Белохвостиков.

— Давай свою идею, — почувствовав назревание какого-то важного для нас поворота, скомандовал я. И не ошибся.

Вовка выдал:

— Завтра Маляк (это про меня) берёт у отца пилу, ты, Женька, и я — топоры (хватит двух), и мы все идём после школы к Курлыкиной. Вкальваем. Получаем денежки и всё — в общий котёл. Кончится работа у Курлыкиной, дальше у других найдём работу. Работаем весь сентябрь. И не только дрова пилить...

— А дальше? — напирал Давыдов. — Деньги куда? Из котла?

Вовка набрал воздуха в лёгкие и выдохнул:

— Покупаем на всех велосипед! С багажником!

Мы были парализованы гениальным ходом мыслей Белохвостика. Никому из нас не пришло такое, а его осенило... Купить велосипед! На свои кровные! Это не закрепитель, проявитель...

Я смотрел на смуглое, азартное лицо Белохвостика, и мне было завидно, что не я такое придумал.

Все горячо и сразу согласились с такой идеей.

...Когда мы на третий день, закончив работу, присели на огромное, обросшее опятами бревно во дворе Курлыкиной, хозяйка вышла из серой мазанки с двумя большими сумками, набитыми бутылками.

<sup>1</sup> Проявитель, закрепитель — реагенты для обработки фотоплёнки.

— Вот, нате вам! Так уж старалась ради вас. Всё выгребла. Подчистую. Самого-то другой год нет, а бутылок от него...

— Что это? — упавшим голосом произнёс Белохвостик и закрутил головой.

Мы были обескуражены.

— Что? — переспросила наигранно удивлённо Курлыкина. — За труды ваши! Помоете: и в магазин. Вот и барыш! И вот ещё, — она протянула мне на ладони кучку мелких монет.

Я машинально принял их. Скрипело её, то ли насмешливо-издевательское, то ли и впрямь искреннее: «Где вы ещё столько бутылок соберёте?»

Она уже скрылась в сених, а мы всё ещё были в оцепенении...

Что было делать? Мы поволокли сумки с бутылками мыть к Зинину колодцу.

— Из-под керосина, что ли? Несёт так! А написано «Вермут», — в сердцах бросив бутылку в траву, выкрикнул Женька. — Сейчас фитиль приделаю к ней и пальну пойду Курлыкиной в поленницу. Гори синим огнём!..

Он пошёл за бутылкой.

— Ты что? Ошалел? Тоже мне «проявитель-закрепитель»! — урезонивал приятеля Сарайкин.

У нас вытянулись физиономии: прозвище родилось! Да какое!

— А что! Она контра! Самая настоящая буржуиниха, — не успокаивался Женька.

Он ещё что-то выкрикивал. Обида выпирала из него.

— А ты, — он уставился на Сарайкина. — Ты — «велосипед»! Вот ты кто!

— Нет, — хихикнув, возразил Сарайкин. — Велосипед у нас Белохвостик, — и, подняв вверх указательный палец, добавил: — С багажником!

На нас с Ракитиным напал смех. Мы повалились на траву и стали хохотать...

Когда тащились с сумками в магазин, Белохвостик пробасил:

— Надо было так договариваться сразу, чтобы только деньгами...

— Ага, откуда, например, я знал, — не успокаивался Давыдов, — после драки кулаками...

— Может, предупредить теперь надо? Морковкой и семечками, мол, не платить. Не берём! — предложил Ракитин, ухмыляясь.

— Я семечки люблю. Особенно тыквенные, — попробовал невинным тоном выправить общее настроение смешливый Сарайкин. Но его будто никто не слышал. Даже Ракитин молчал.

\* \* \*

— Где натырили-то? И не мытые как надо. Комулятор Ванька и то чище приносит. А эти три с разбитыми горлышками. Несите, где взяли. Не приму! — продавщица Зина Авдошина говорила, не глядя на нас.

— Как? Мы же... — Женька не находил слов, — это неправильно! Это наш заработок! И потом, мы мыли.

— Какой заработок? Чё плетёте? — удивилась розовощёкая тётя Зина.

— Берите, вам положено работать, а не характер проявлять, — решил вступить в перепалку Белохвостик.

И тут же получил:

— Ах так?! Убирайтесь сейчас же из магазина. Пузыри несчастные! Пионеры, а как ханыги... Не возьму!

— Почему? — не сдавался Белохвостик.

— По кочану! — отрезала продавщица. — У меня тары нет. Хопа! Вот и всё! — она надула розовые щёки и сделала круглые глаза. — Убирайтесь, а то в школу сообщу, что дебоширите.

— Пошли, ребята! — благоразумно скомандовал Белохвостик. — Бесплезно... Прогремим... Тимуровцы, тоже...

Когда выходили из магазина, услышали за спиной:

— Сумки, сумки заберите!

— Отдайте их Курлыкиной, — холодно, как завуч, произнёс Женька. — Это её имущество.

Когда мы все оказались на улице, он так же уверенно и хладнокровно предложил:

— Завтра идём после школы к Таликину деду. Доделать надо. Всего-то осталось распились два бревна. Делов-то... А то подумает, что мы слабаки. Или контра какая... Старик-то пугливый.

Мы не возражали.



## Под крепостной горой

Чтобы оказаться у заветных родников, нам оставалось всего ничего: перебравшись по мосту на левый берег Самарки, преодолеть, двигаясь вверх по течению, что-то чуть больше километра лесной дороги.

...Мы миновали заболоченный отрезок нашего пути и остановились. Посередине дороги, затерявшейся в густом ивняке и ветельнике, шёл, нет, скорее, величаво шествовал... индюк. Будто испугавшись столь начальственного вида случайного встречного, внук спросил шёпотом:

— Дед, кто это?

— Индюк. Не видел никогда?

— Откуда? — начав смеяться, ответил внук, наблюдая, как нарядная птица тем временем с достоинством, осанисто остановилась и внимательно глядела на нас. Искося. И как бы сверху...

— Важный какой! Индюк! — повторил внук, вслушиваясь в звучащее среди лесной дремоты слово. — Они что, водятся здесь? — и вновь смеясь, в удовольствие повторил: — Индюк!

— Ну, Саша, ты как маленький. Дачи наверху, кто-то держит, наверное. А этот удрал на время, погулять.

— Ничего себе, — не мог прийти в себя внук. — Смелый какой! А вдруг лиса? Или кто! Чик по шее и в багажник?!

— Или смелый, или глупый, — высказал я предположение. Мы дружно рассмеялись.

На индюка наш смех подействовал своеобразно. Он постоял, сохраняя достойный вид, посреди дороги ещё какое-то определённое время. Не спеша, всё же отошёл чуть в сторону к кустам крушины. Там птица расхохлилась, надулась ещё важнее, чем прежде. Она будто услышала это Сашино «чик по шее...» и негодовала молча.

...Сначала по сыроватой тропе, выложенной жёрдочками, потом по деревянному шаткому мосточку у высокой Крепостной горы поднялись мы под завораживающую мелодию водных струй к желаемым родникам.

Красносамарские родники бьют под самой кручей. Под огромным возвышающимся земляным массивом, успокоившимся под необъятным, просторным куполом голубого неба.

Под этим вселенским куполом пролегли далее, вверх по реке Самаре, село Покровка, Богатое, Бузулукский бор, отмеченный пребыванием в нём великого Пушкина!

— А какую воду пил Пушкин, когда добирался здесь до Оренбурга? — оглянувшись на меня, спросил внук. И я увидел его задумчивое лицо: — Может, из этих родников набирал воду?!

— Может, — согласился я, порадовавшись, что внуку пришла такая догадка.

Сколько уже сказано о родниках.

Не хочется суесловить. Но когда находишься вблизи родника, возникает неодолимое желание глубже понять, осознать необъяснимо таинственную суть их притягательной силы.

Тихий родник, отдающий водицу свою реке, не сразу и заметишь. Но их много здесь, в поречье. Много здесь и людей таких... как эти незаметные родники...

...Родники под Крепостной горой услышишь издали. Их несколько. И ручьи от них образовали чуть поодаль целое озеро. На редкость рыбное, спокойно светящееся в тальнике своей серебристой поверхностью.

Эти два, к которым мы сразу припали, сморённые долгой дорогой и жарой, — особенные. В полутьме косогора и ветвистых деревьев бьют они уверенно и гулко. Огромный массив возвышенности выдавливает из недр своих водицу, и она, наполненная целебными дарами, является на свет.

Работают земля и небо. Земля и небо — родители всех родников.

Отвесная круча в том месте, где бьют дружно эти два самых мощных ключа, твёрдой породы желтовато-красного цвета. Больше красного!

У этих родников когда-то не было имени.

Они мало кому были известны в Утёвке. Пешком до них далеко. Автотехники было мало. А дед мой работал конюхом. На гужевом транспорте мы с ним колесили по всей округе.

Красносамарские родники — так назвал их мой дед Иван Рябцев.

Как давно это было! Тогда и берега здесь, крутые, чаще отвесные, не заросшие зеленью, были все почти красными. И река Самара, особенно в закатных лучах, — красной.

Красносамарские родники... У меня от этого названия тихая радость на душе. Многие приняли такое название. И я принял. Но про себя я их всё-таки зову: дедовы родники.

Я никогда не говорил об этом своему внуку.

...Откуда у него такое неудержимое желание побыть здесь? Около этих родников? Где совсем ещё недавно был его степенный, приветливый прапрадед... Что движет им? Обычная страсть к путешествию, к новизне? Избыток молодой энергии? И то, и другое?

А может, и та таинственная и неодолимая сила, которая влечёт нас к своим первоистокам...

Сколько ни будь около Красносамарских родников, а уходить не хочется...

...И всё не выходила из головы встреча с китайцами там, на выезде из Урёмы. И внук думал об этом же:

— Выходит, они и воду из родников берут. В кузове у них штук пять бутылок с водой было, пятилитровых...

— Ну берут и берут, — угрюмовато откликнулся я, — все пить хотят.

А внук продолжал обдумывать увиденное:

— Приедем в следующий раз, а они огорожат родники. И не подойдёшь напиться... Торговать ей начнут. Ясашный угол уже заняли...

## Водонос

Я поднялся с намерением вернуться к реке, выйти на простор. Но тут сверху на крутом склоне появился человек. Он спускался по тропе к роднику с двумя пятилитровыми пластиковыми бутылками.

Проворно, не обращая на нас внимания, деловито сполоснул обе бутылки. Привычно поставил их под гулкие мощные струи. Когда они наполнились, аккуратно их переставил ближе к тропе на крохотную ровную площадочку. Присел рядом.

Мне показалось наше общее молчание неловким.

— Живёте в посёлке?

— Живу, — ответил человек тонким дребезжащим голосом. — Вот воду матери ношу, соседям заодно.

Мне интересно было поговорить с тем, кто живёт здесь. Узнать местные подробности жизни.

Спросил:

— Индюк ваш?

— Нет, — ответил водонос, — соседа.

— А «жигулёнок» по ту сторону моста? — тянул я на разговор незнакомца.

— Тоже его. Я езжу с Самары через Мало-Мальшевку.

— Но так дальше?

— А что делать? Мост вон какой. Чтоб не наводить его каждое лето заново, нефтяники возят вахтовиков через Богатое. Там мост серьёзнее.

— А люди, которые здесь живут?

— А кому они сейчас нужны, люди?.. Вначале перестройки взялись понтонный наводить, но потом оборзели... Увидели, что никому ни до чего... Никто не спросит!

Глядя на его довольно приличную одежонку, на курчавую аккуратную бородку, гадал, кто он? Не определив для себя, спросил, как можно дружески:

— А сами работаете?

— Работаю? Инженер по образованию. Завод в Самаре грохнулся — стал челноком. Потом — каким-никаким бизнесменом. Он замолчал, теребя прутик в руках.

— И что дальше?

— Дальше ничего, — последовал ответ. — До бомжа осталось недалеко.

Уже по его тону догадывался, что дальше «ничего». Но слушал.

— Невмоготу стало. Квартиру продал. Расплатился с долгами. Осточертело. Жена ушла. А я уехал с матерью сюда. В её саманные пенаты. В мазанку!

Хотел услышать я подробности местной жизни и услышал:

— Горит всё под ногами, горит!.. Вот воду ношу. Себе. И соседу. Теперь я водонос! А был ещё недавно главным специалистом. Сосед иногда подбрасывает мне мелочь «на сигареты». Я на эти деньги себе хлеб покупаю.

— Там же колодец был посреди посёлка. Мы, ребятня, пили из окованной, выдавшей вида тяжёлой бадьи. Глубокий такой!

— А... — неопределённо мотнул он рукой.

Мне было непонятно, цел колодец тот или нет? Кажется, ему надоело отвечать на мои вопросы. Он спросил с расстановкой:

— Говорите, что путешествуете по Самарке? Душу нянчите? Хорошенькое дело!

Он встал, наклонясь, поправил на земле бутылки, выпрямился во весь рост.

Его изнутри будто подпирало. Прямо чем-то упругим.

— Сосняки кругом горят! По всей России пожары! Вы знаете?

— Да! Мы всего один день на реке. В курсе.

— В курсе?! Москва задыхается от торфяников! Столица! Что творится?! Мало что мы сами вымираем! Нас выжигают!

Он глянул на меня сверху вниз. Не дождавшись моей реакции, почти выкрикнул:

— Когда такое было?!

Мы разговаривали, не назвавшись друг другу по имени. Будто осознавали, что это сейчас не главное. Главное — вот это: что говорит один и что думает другой. И нас таких тысячи, если не миллионы.

Мне показалось, что говорившему со мной человеку совсем и неважно, что я думаю:

— Пожары, к сожалению, будут ещё, — сказал я. — Мы, разрушив старое в лесном хозяйстве, оказались неготовыми к такой стихии.

— На Самарке душно и грязно. Загажено всё. Гроза! Или очистительное половодье необходимы! И на Самарке, и... везде, — с пафосом почти выкрикнул «водонос».

Я покачал головой:

— Но ведь в несколько лет один раз на Самарке бывает грандиозное половодье. Воды всклень до сёл. Бушующее море! А река чище от этого не становится. Два-три года, и опять загажено всё. Мы гадим... И с каждым годом сильнее. ...С нами так издавна, в нашей истории... Какой ценой всё, а итог? — произнёс я.

— По-вашему, терпеть?! — резко отреагировал мой собеседник.

— Не знаю...

— Вот это сонливое состояние и губит нас! Очнуться пора! — резко отреагировал «водонос». — И половодье будет! И пожары! Придёт час! Если всё будет так дальше, гроза разразится!

— Но кому она нужна? — отозвался я. — Будет от неё только разруха. Было у нас в нашей истории не раз такое. Об этом уже говорено сколько...

— Кому нужна? А кто её остановит? Вот в чём вопрос! И не сдерживать надо, а помогать...

Он поднял над головой руку. И стал похож на бронзовый памятник. Меж тёмных деревьев. Стал шире в плечах. И эта его борода дремучая...

«Даже здесь, в лесной чащобе, у родников, не уйти от митинговой волны, от ощущения надвигающейся беды», — саднила мысль.

А «водонос» продолжал:

— Вот вам простенькая арифметика: нас с каждым годом становится меньше на миллион. Помножьте на сто лет, будет сто миллионов. Кроме того, около трёхсот тысяч человек уезжают в год за кордон. Умножьте на сто! Будет ещё тридцать миллионов. Смекаете в арифметике? — он глянул на меня исподлобья. — Сложите эти две цифры: получится что?

— Сто тридцать миллионов получится, — произнёс внук.

Бородач будто не слышал. Сложив два пальца правой руки колючком, глядя сквозь них, почти выкрикнул:

— Ноль получится! Нас не станет! Мы — ноль! Нас нет! Римская империя за два-три века исчезла, а нам и одного хватит! Мы привыкли перевыполнять... перегонять...

Я молчал.

— Скажете, рожать надо! Да, когда русские хлынули потоком через Урал на Восток, рожали мы больше, чем китайцы.

Он яростно потряхнул головой. Его явно не устраивало моё молчание.

— Но кому сейчас это надо! — утвердительно произнёс он. — Китайцы не хуже нас знают арифметику. Посмотрели на нас и поняли, что от Дальнего Востока до Урала всё будет зачищено без них. Для них. И ждут своё спокойненько. Какие к ним претензии?

Диспут закончен!

Россия в очередной раз попала в капкан!

«Он так говорит, потому что сам по себе такой? Или я его провоцирую своим походным, пролетарским видом? Он меня наставляет? Но я так много думал о том, что он говорит. И столько

лучших умов России маялись над порядком русской жизни? И только ли русской?.. И только ли жизни? Человек и природа! Что может быть важнее в наше время этой взаимосвязи!

...Великий художник и учёный Леонардо да Винчи говорил, что наступит время, когда все учёные будут художниками...

А наш великий соотечественник Владимир Иванович Вернадский ставил во главу всего человеческий разум. Продолжая развивать учение о биосфере (живая оболочка Земли), выявляя геологическую роль жизни живого вещества в планетарных процессах в формировании биосферы и всего разнообразия живых существ в ней, он выделил человека как мощную геологическую силу. (Опять я заговорил языком преподавателя?)

Учёный сформулировал закон ноосферы (мыслящая оболочка Земли, сфера разума), считая, что биосфера неизбежно превратится в ноосферу, то есть в сферу, где разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы человек-природа...

Как далеко в сторону мы ушли от пожеланий и «предвидений» великих наших мыслителей прошлого. Мы идём по другому пути... Становится понятно, что пока люди не научатся управлять собой, им не до разумного управления природой... И надо ли ею управлять? Помогать надо...»

...Глядя в спину удалявшегося человека с двумя бутылками воды, уныло думал: «Не водонос вовсе ты, а едва ли не Емельян Пугачёв. И сколько бродит таких по нашим городам и весям, не только в чащобах лесных... Но как он, слава Богу, бережно наливал родниковую воду, как просветлённо глядел на неё... А ведь не в первый раз пришёл к источнику, к роднику. И разговор наш, может, неслучайно возник именно у родников...»

У внука своя реакция на происходящее:

— Трещит, как кузнечик, — сказал он, глядя вослед борода-тому.

Я ничего не ответил.

Мы шли низом под отрадное для меня сызмалу гульканье сбочь от тропинки родников поменьше, чем те, у которых только что сидели.

Невидимые в зарослях, они неустанно вершили свою животворную работу. И от этой работы вокруг было и зелено над головой, и прохладно.

## Даль неоглядная...

...Не хочу я пополнять ряды плакальчиков. И заранее хоронить нашу общую жизнь.

Но я хотел бы успеть понять что-то очень важное. То, после чего стало бы легче жить...

...Боль. Боль за окружающее... за общую судьбу нашу — вот состояние, в котором сейчас находится значительная часть моего поколения.

А может, так и бывает при смене поколений? При смене эпох? Мы так горазды круто менять одни заблуждения на другие.

...Сколько же нами совершено поступков, сколько принесено в жертву самого дорогого во имя, казалось, ещё более дорогого... Во имя движения, прорыва к лучшему... Всё ли оправдано? Пошло на пользу?.. Эта чередка потерь и потрясений и называется жизнью?! Когда не определишь: плата за них необходима? Или — это плод заблуждений гениальных, великих умов. У которых и замахи на новое, и ошибки столь велики, что не поддаются до конца осмыслению?..

...Мы поднимались от родников вверх в сторону Бариновой горы, к седому кургану. В такую жару непростое это дело.

В какой-то миг мне показалось, что в левой моей руке не руль велосипеда, а уздечка. И веду я в поводу своего степного скакуна. Мы шли меж нежно-розовых цветов вьюнков. Таких крохотных в этом огромном раскалённом пространстве. Но таких удивительно жизнестойких...

Внизу, у ног, словно граммофончики, чутко слушали они мелодию летнего дня, песню солнца, чтобы, едва лишь начнётся закат, собраться в тугие бутончики. А утром к восходу светила раскрыться вновь — и одарить полянку вокруг себя едва уловимым, тонким и нежным запахом, сходным с ароматом своих далёких сородичей по Земле, южан — ванили и миндаля...

...Отсюда, с высоты птичьего полёта в ясный день все окрестности старинных сёл Покровки, Утёвки — как на ладони!

В низине слева, щедро освещённая солнцем, видна отчётливо Покровская церковь. А там, за рекой, вдали: слился своими голубыми куполами с небесной лазурью Храм святой Троицы села Утёвки. Без куполов этих двух храмов трудно себе пред-



ставить развернувшуюся здесь русскую бескрайнюю равнину. Так они дополняют друг друга: и храмы, и река, и равнина.

А где-то, совсем недалеко, справа, Мало-Мальшевский храм Святого Архангела Михаила. Отсюда не видимый, притягивал он к себе, звал, напоминая о том времени, когда ко мне чудесным образом вернулось зрение. И я мог в жизни своей видеть и лицо моей мамы, и свою Отчину, вобравшую в себя невообразимое множество и ликов, и храмов, полутонов и оттенков этого великого света, дарованного нам Создателем...

Отраднo и празднично осознавать себя в радостном плену.

\* \* \*

Эти три храма, претерпевшие разрушение, надругательства, забвение, но сохранившие в себе животворную силу — для многих теперь как родники, несущие людям, округе всей, неиссякаемую веру и надежду, успокоение и так редко выпадающую душе благодать...

Как же мне повезло, что я родился и вырос на этом просторе! Отчего меня так отметила судьба, дав и бескрайнюю степь, и этот лес! И реку нашу, Самару. Дала возможность смотреть на храмы. Видеть их красоту!

Смогу ли я когда-нибудь выразить в благодарность всё то, что накопилось в душе моей?..

\* \* \*

Вспомнилось совсем недавно услышанное.

Мне нужно было выправить кое-какие справки в Пенсионном фонде. Насиделся в очереди. Куда деваться?

И наслушался...

Рядом сухонькая, маленькая старушка с тёмным лицом и натруженными, отяжелевшими руками. Очень похожа на мою маму. Такой свет идёт от неё, едва начнёт говорить...

«...Не только из Москвы приезжали в Самару работать на эвакуированных заводах, в войну-то...

По сёлам ездили, агитировали. Помню, как мы переезжали в город. Как очень долго жили зимой в подвале...

— Жалеете, — спросил, — что в город переехали? Или к лучшему?

— Что ж жалеть-то... Шило на мыло... И хорошее было в селе-то. Что говорить? Детство было... Из весёлого-то что? — повторяет она мой вопрос. — Было весёлое. Вот, когда церковь у нас закрыли, клуб там сделали. Веселее стало. А как же!..

Дед мой крестился, глядя на такое:

— Как можно эдак? Там Божья Матерь на стене плачет. А вам бы только потолкаться, посмеяться...

...А молодёжь валом валила в клуб. Там же и кино, и песни! Какие фильмы были! После каждого песни помнили. Идём по улице и только услышали, а уже поём. Такие песни!..

У мелкоты своя забава: когда колокол наши мужики снимали, не удержали. Он и упал. Наполовину, считай, в землю вошёл. Такой тяжёлый.

Зима настала. Мы снегу подгребли, утоптали да полили водой — отличная горка получилась!

Катались все с неё! Прямо аж до речки. Визгу было! Кроме стариков-то наших, мало кто соображал, что, глупые, делаем...

Но кто их слушает, стариков-то?

Не зря говорится: кабы нам тот разум наперёд, какой приходит опосля...»

\* \* \*

— Дед, а отсюда другие Утёвские курганы видно? — глядя из-под руки в раскинувшуюся широченную низину за рекой, спросил внук.

— Нет, не видно, — отвечаю.

Даже самые огромные когда-то, которых на юго-восточной окраине Утёвки четыре, не просматриваются теперь.

Хотя самый крупный из них имеет диаметр более ста метров и в высоту около четырёх.

Большой Утёвский курган самый грандиозный памятник эпохи бронзы в Восточной Европе.

— Непонятно, как такую махину можно было вручную насыпать. Не верится!

— Верь не верь. Учёные подсчитали, что трудиться должно было над созданием такого кургана около тысячи человек. Более сорока дней.

— А для чего всё это?

— Таков был обряд захоронения вождей или жрецов.

— И что-нибудь находили учёные в курганах?

— Конечно. В Большом Кургане нашли кости рук, ног, череп крупного мужчины, посыпанные охрой. В ногах его лежали медные предметы: топор, стилет, шило. Ещё что-то, не помню... У черепа погребённого были две массивные золотые подвески — серёжки.

— Интересно! Ни имён, ни надписей... Всё молчит... Покрывает тайной...

— Не всё молчит. Учёные многое научились разгадывать. Хотя ты прав. Найденный медный стилет из Большого Утёвского Кургана имел навершие, сделанное из железа. Загадка!

В египетской гробнице Тутанхамона было найдено железо, но обнаруженное недавно на окраине Утёвки оказалось по предварительным данным старше на 600-700 лет.

— Ничего себе! Ровное такое место. Казалось бы... И вдруг: Тутанхамон, бронзовый век...

\* \* \*

Потянуло под тень старинных дубов. Хотя бы на пять минут! Добравшись, минуя голубые озёрки цикория, до дерев-великанов, мы сели на круче в окружении жёлтой россыпи зверобоя. И притихли.

Сидели лицом к реке, попав в плен открывшейся нам красоте. Душа моя воспарила.

Как же я долго, непростительно долго, жил без этой необъятной равнины? Как долго был захвачен стихией городской жизни. В этом — азарт познания и покорения нового, недоступного ранее для моих деда, прадеда. Всех моих прародителей по материнской крестьянской линии.

Даже когда их уже не было в живых, часто казалось, что я физически чувствовал, как они продолжают дружно и одобрительно напутствовать меня: «Иди, иди вперёд! Познай, сумей!.. Сделай то, что мы не смогли по причине своей неграмотности, свалившихся на нас войн, революций, голода и мора... Иди!.. Мы в тебя верим! Ты наше оправдание. Оправдание наших жизней. Наша надежда...»

И я, кажется, что-то сделал на производстве, что-то в науке. Так было лет до сорока пяти.

Пока не прорвалось для меня самого вначале, а, может, и сейчас, необъяснимое до конца, но подготовленное мощно и неудержимо чем-то либо кем-то, дремавшее чувство...

Оно переключило моё устоявшееся «академическое» существование, дало вспышку. Дало иной свет...

И в этом свете по-другому увидел себя, своих родителей, жизнь свою.

Увидел обновлённо...

В это время я начал интенсивно писать.

Осознав в себе иные силы и иные возможности, перестал бояться искать ответы на вопросы, от которых ранее уклонялся... Я повернул к своим истокам...

И, несмотря на развал, распад вокруг, оскудение и быта, и душ, наперекор всему, эта — порой трудная, как крест, тяжёлая любовь к своим истокам крепит дух мой теперь...

Знаю, она неизбывна и неуничтожима...

\* \* \*

Я было уже встал, намереваясь уходить, но задержался. Вновь мои глаза, встретив необъятную даль, заставили вернуться к моим мыслям.

Кажется, я ходил в них по кругу. Мне, я чувствовал это сейчас острее, чем когда-либо, надо было внятнее разглядеть что-то в себе, попытаться уяснить...

Сильнее, разносторонней и проникновенней на меня ничто не влияло так с детства, как эта даль.

Она растворяла меня в себе. Магнетическое воздействие её на меня велико и сейчас...

## **На Бариновой горе**

Вся суть моя, где бы я ни был, навечно связана с этим необъятным, захватывающим дух пространством, открывающимся с Бариновой горы. В нём, в этом пространстве, до всех наших нынешних благ и гримас цивилизации, формировались навыки, характеры, традиции, глубоко связанные с природой, пропитанные её равнинной мощью и неохватностью... На этой русской равнине прорастал характер и образ жизни моих земляков, накрепко связанных в своё время с лесостепью и рекой

Самарой, приютивших когда-то переселенцев из многих центральных районов России.

В числе первопоселенцев были и прародители моего деда. Трудились на этой равнине.

Растили хлеб на земле. А земля растила их. В трудовой книжке моего деда в графе «Профессия» записано всего лишь: шорник-кожевник.

В кожевенном цехе нашего села дед проработал мастером с 1939 года по 1952 год. Все эти годы продукция цеха шла в наши войска. Единственная награда моего деда — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное время до выхода на пенсию у деда, хотя и в разных местах, была одна работа.

Так и указано в трудовой книжке: должность — «конюх». Мне странно было читать такую запись. Лошади, сбруя, сани, телеги, фургон, рыдван — всё это воспринималось органичной частью моего деда, его сутью. Без всего этого деда нельзя было представить! Какая тут должность? Он так много умел помимо этого... И ещё удивила одна запись в военном билете. В графе «Наименование военно-учётной специальности» проставлено: «стрелок автоматического и ручного пулемёта». И далее на другой странице: «Призван Бузулукским уездным военным комиссариатом в 1919 году. Зачислен в 34 стрелковый полк. Стрелок с июля 1919 года по сентябрь 1921 г.»

Мой дед — самый спокойный, невозмутимый и доброжелательный из всех, кого я знал в своём детстве — пулемётчик? Я узнал об этом, только когда он умер и его военный билет вместе с трудовой книжкой оказались у меня. Он никогда о своей военной службе при мне не рассказывал.

Я только от бабы Груни узнал потом, что его ещё в 18-м году во время мятежа белочехов в Поволжье забрали на службу белые. Ему с другом из Самары удалось бежать. Они переплыли реку Самарку и ушли степью в Утёвку. Не нужна им была война.

Другим я своего деда и не могу представить.

Но почему такими грустными глазами смотрел отсюда, с Бариновой горы, в даль мой дед?

Что он видел? Что знал о себе стрелок пулемётчик?..

За прошлое своё или будущее наше переживал?..

...Я рос около деда шорника и конюха и около моего отца — увечного инвалида войны. Рос как многие в селе. У некоторых моих сверстников ни деда, ни отца после войн вообще не было.

Рос, не осознавая того, что жизнь моя течёт среди величия простой жизни, среди простодушия, которого теперь почти уже нет.

Но оно было? И в нашей когда-то жизни российской, и в литературе.

Не зря «Капитанскую дочку» в доме моего деда читали вечерами вслух...

Дед любил подолгу быть на Бариновой горе.

Ему это надо было: молча посидеть и посмотреть вокруг. Молча и отрешённо.

Мне всегда в такие минуты казалось, что он вот-вот запоёт. Запоёт своим несильным, спокойным, умным голосом. Но он молчал.

Он пел обычно тогда, когда ехал на подводе на открытой местности. Всегда вполголоса...

Бывало пел и в застолье. Тоже негромко и отстранённо. Как бы никого не замечая. И какие бы певуны не были рядом, все замолкали. Такая была в нём внутренняя правота. Он будто бы был на Бариновой горе, а остальные внизу. И они, слушая его, словно бы пытались понять, что он видит с этой своей высоты? Что нас всех ждёт...

Теперь из нашего времени, дожив до его возраста, мог бы я объяснить: чего мы дождались, что нас настигло?..

Мой утёвский отец Василий Шадрин никогда не поднимался на Баринову гору, на эту высоту...

С перебитой войной ногой и изуродованной спиной ему было не до высоты...

Был недугом своим и нуждой так стиснут, так грузно прижат к земле...

\* \* \*

В последнюю мою поездку в Москву, в разговоре с издателем четырёхтомника моей прозы Николаем Ивановичем Дорошенко говорили мы о многом. Вспоминали Утёвку, его Сухиновку в Курской области.

Говорили о детстве. О радостном и печальном. Порой трагическом. Я тогда начинал подумывать о повести, которую сейчас пишу.

И у меня невольно вырвалось: «Как было бы здорово сказать полновесно читателю, откуда мы пришли!»

На что он откликнулся небывало для него мрачно:

— Вопрос сейчас не в том «откуда»? Вопрос: «Куда пришли?! Куда все идём?»

Вопросы повисли в воздухе. Мы оба молчали.

Эти вопросы не давали мне покоя и когда мы попрощались. Николай Иванович вошёл в здание Правления Союза писателей России, а я подался к метро. И скоро человеческий поток подхватил меня и понёс, не давая зацепиться в одиночестве в толпе хоть за какую-нибудь соломинку, чтобы поймать равновесие в себе...

Всё-то мерцали в памяти, в сознании заключительные строчки из его не то повести, не то притчи «Прохожий» о странном человеке: «...осталась у нас только одна забота: истоять с лица земли, как влага, оставшаяся после давно отшумевшего дождя».

Неужто это так?.. Этот выплак, это неверие в самих себя — последнее, что у нас теперь есть? Мы ведь столько сумели преодолеть...

Дико чувствовать себя частицей исчезающей цивилизации...

...Когда я вернулся из столицы и оказался здесь, на Бариновой горе, вспомнилось, как в один из горемычных моих дней, в детстве, среди бесконечных забот и унижительной нужды, среди повседневной занятости моих родителей, забот о том, чем накормить и как бы нас во что приодеть, терзался, что, кроме этого, никому не нужен со своими подростковыми мыслями и переживаниями. Не нужен. Не до того.

Как в том столичном кафе, где мы сидели с Николаем Дорошенко.

Там, в зальчике, погуливала молодёжь, стоял пивной дух. Было мелькание лиц и клубок спутавшихся звуков и запахов, едкого сигаретного дыма. И также не было главного: не было ответов на мучившие вопросы...

...Вновь вспомнились те давнишние, теперь кажущиеся такими наивными, терзания из детства: «Вот жизнь была у Чац-

кого! — размышлял я тогда понуро. — Он мог мечтать, рвался к «свободной жизни», к занятиям наукой и искусством», а тут бесконечная работа до ломоты в руках и в лесу на сенокосе, и дома: то в огороде, то на случайных заработках с отцом, когда он подряжался либо забор где ставить, либо ещё что. Отец умел находить работу... Нужда заставляла...»

Я тогда чувствовал, читая Грибоедова, что становлюсь другим. Смотрю на окружающее как бы со стороны.

Комедию мы осваивали кусками. Но я прочёл её несколько раз от корки до корки. «И не комедия это вовсе...» — думалось мне. Эта чудо-книга учила мыслить и знать. Учила тому, чего мне постоянно не хватало. И в школе, и дома.

...«Горе от ума» мы так и не поставили на клубной сцене, хотя бы в отрывках... А замахивались и на «Гамлета».

Валентина Яковлевна уехала из села. И драматический кружок наш распался.

Без драмкружка я осиротел. Без клубной сцены всё стало неинтересным. ...И пришло время, когда, несмотря на подбитые крылья, захотелось взлететь! Наперекор!

И не было боязни разбиться.

Я тогда «взлетел». И не разбился. Вернее, оторвался от земли. И всю почти жизнь свою провёл вдали от дома. Но почему теперь, когда, как говорится, уже не еду на ярмарку, а возвращаюсь с неё, вновь чувствую ту же заброшенность свою. И неприкаянность. Ту же... придавленность...

Хотя и полагал раньше, что прожил свою прежнюю жизнь (хотя бы часть её) в осознанной необходимости, в осознании своего предназначения, дававшего внутреннюю свободу... Внутреннюю...

...Почему вновь ищу спасительную соломинку? Мне теперь много уже и не надо для себя... Что станется с Россией? Вот он, главный вопрос! Он не отпускает. Что знает о судьбе моей Родины это широкое небо? Где сокрыто, где заложено то, что определит наше общее будущее?..

Каким оно будет? Как встретит и примет моего беспокойного внука?

...Здесь, встретившись взглядом с необозримым пространством, как в детстве, начинаешь чувствовать, что ты не одинок... Казалось бы, ты — невидимая песчинка, в огромном



мире. Ан нет, ты перед взором Его. Кажется, вот-вот и... откроется истина. Пусть даже уже не тебе...

Здесь, под открытыми небесами, возрождается непосредственность, желание жить без самокопания, дышать полной грудью. Многократно усиливается доверие к жизни, вера в неё...

\* \* \*

...Возвращались мы по мосту пешком. Ехать на велосипедах, лавируя меж огромных щелей и дыр, уставшим нам стало не под силу. Старика уже не было на мосту.

Вниз по течению, метрах в пятидесяти, у песчаного мыска, появилась палатка. Рядом на плёсе шумно плескалась ребятня. На самой середине обмелевшей реки белотелый, как цапля, стоял человек. Он умывался. Воды в реке было столько, что ему приходилось низко наклоняться и опускать руки, черпая её.

Ребятишкам на мелководье было радостно. Они беззаботно смеялись. А девочка — худенькая, стройная, как балеринка, в юбочке из сизых лопухов, всё выкрикивала:

— Папа, папа! Смотри, какая я! У меня корона из одуванчиков и ромашек. Я лесная принцесса!..

— Что она кричит? — не выдержал мой нетерпеливый внук.  
— Разве может быть такое: лесная принцесса?!

— В детстве может быть всё! — улыбаясь, отвечал я.

### **«Как из лука стрела...»**

После моста мы ехали в село по когда-то грейдерной, широченной дороге. Теперь-то она не была таковой. Сузившаяся втрое, ухабистая, потерявшая свою привлекательную прямизну, она стала зарастать. После того, как прошло укрупнение сёл, Утёвка перестала быть районным центром. «Дорстрой», следивший за дорогами, со всей своей техникой перекочевал в Нефтегорск.

Я ехал впереди внука, на какое-то время забыв о нём. Подводил как бы итог. «Мы столько проехали, а ничего не увидели необычного. Для внука это не очень. Выходит, не оправдал ожиданий?»

— Постой, постой, — урезонивал себя. — Они же есть, есть впечатления!.. Их только надо помножить на ту остроту восприятия, которую ты уже утрачиваешь. Между тобой и внуком — столько лет жизни!

Ты хотел, чтобы было всё неизменно, как раньше? И в то же время радоваться новому. Но только тому, что нравится тебе?..

Это у тебя старческое.

Раньше?! Те, которые раньше тебя жили, тоже в своё время вздыхали: «Вот раньше было...»

И внук твой, придёт время, когда-нибудь, да скажет: «Помню, мы с дедом...»

Всё зависит от того, как он запомнит нашу поездку! Вернее, как увиденное тронет его сердце...

...Родники памяти. Они у всех разные... Каждый помнит своё. А есть, которые живут... без памяти. Таких становится всё больше и больше.

Внук сейчас рвётся вперёд даже там, где не следует этого делать...

Но ведь и я таким когда-то был.

Не один велосипед загнал...

Это теперь я опасуюсь за крутым поворотом то обрыва, то бревна. А то лося! Пуганый! Было однажды осенью такое со мной в лесу. Столкнувшись неожиданно с сохатым на узкой тропе, только, может быть, и спасся тем, что инстинктивно бросил велосипед поперёк тропы. Вовремя ретировался... Тот старенький, дребезжащий велосипед, упавший поперёк лесной тропы, истоптанный сохатым, — оказался моим спасителем.

И потом... Как не было у нас с внуком открытий? А индюк с вельможной походкой! Ведь я стоял, кажется, с открытым ртом, когда наблюдал его...

Самодовольный индюк. Мне показалось, что это мы... да... большая часть человечества, возмнившая себя вершиной всего. Уверовавшая в свою безнаказанность. Будто мы в полной безопасности, в полной независимости от того, что вершим безоглядно. От того, что забираемся так далеко (будь то страны света, космические дали или глубины науки), что балансируем на страшной трагической, апокалипсической грани...

\* \* \*

Мы двигались по просёлочной дороге, не сворачивая на большак, по которому бойко сновали машины. Помню поразившие меня в детстве слова отца об этой дороге. «Как из лука стрела». Не ожидал, что про дорогу можно так сказать!

\* \* \*

С этой широкой, теперь хорошо заасфальтированной, прямой дорогой, идущей от Утёвки в Покровку, связано немало.

По праздникам на ней когда-то устраивали скачки на лошадях. Всё необычно! И лошади: стройные, лоснящиеся! Беговые! Не то, что наши колхозные клячи! И наездники! Сухопарые, уверенные ребята, холодно поглядывающие на толпу вдоль дороги! И коляски, на которых они восседали! Двухколёсные, лёгкие, на резиновом ходу! Казалось, ненадёжные по сравнению с колхозными фургонами и дрожками, они выдерживали к нашему ребячьему восхищению такие вихревые скорости!

А как захватывающи были верховые скачки на лошадях молодых кавалеристов! С будёновками на головах!

Не обходилось и без курьёзов.

Когда была показательная рубка всадниками на скаку лозы, установленной вдоль дороги, один боец с маху, поигрывая шашкой, умудрился отсечь своей же лошади ухо...

Это я слышал со слов моего дядьки. Он замечательный, но ведь и мастер на всякие придумки...

Один случай, достоверный и страшный, случился в небе над лугом. Здесь, совсем недалеко от этой знаменитой дороги.

...Лётная школа, которая базировалась на окраине села, проводила обучение курсантов парашютному делу.

К парашютным грибам в небе за селом все уже привыкли. В тот день одного из лётчиков местный парень — доброволец, которому невтерпёж загорелось прыгнуть с парашютом, всё-таки уговорил. Всё бы ничего, но парень замешкался там, в самолёте. И так получилось, что его парашют, раскрывшись, зацепился за хвостовое оперение. Хвост у самолёта отвалился. Кукурузник рухнул на землю. Парашютист остался жив, лётчик — погиб.

## Замыкание круга

— Дед, ты с Бариновой горы показывал мне огромный треугольник, состоящий из линий, соединяющих Покровку, Утёвку, Бариновую гору. Мы сейчас внутри этого треугольника, получается? Да?

— Так точно!

— Странный треугольник.

— Отчего же?

— Бермуды какие-то! Бермудский треугольник!

— Почему?

— А всё здесь исчезает. Бесследно! Пшеничное поле, Ледянка, мост через Самарку, посёлок этот Красносамарский...

Было, было, говоришь. И нет... А нового-то что появилось?

Я замешкался, не зная, что сказать. Я над этим уже нагоревался.

Ответил с усмешкой, так, что и самому не понравилось:

— На выезде из села в сторону областного центра, там, где обычно сеяли озимые, собираются, говорят, обустроить поля для игры в гольф. На заграничный манер, значит...

Внук неопределённо молчал.

\* \* \*

...По этой просёлочной дороге я возвращался однажды домой, неся солидный заработок.

Это были не первые мной заработанные деньги. Первыми были — гонорар или, точнее, может быть, премия за моё выступление перед Новым годом в районном тогда доме культуры, где я читал стихи.

Но деньги, заработанные на сцене, не показались мне тогда серьёзным заработком. А вот те, что я получил вместе со своими школьными друзьями, имели особую цену. Они были результатом важной работы — посадкой яблонь, которую вёл местный плодоовощной питомник.

В степи, в облюбованной широченной ложбине должен был зацвести огромный, больше сотни гектаров, сад.

Деньги от меня родители не приняли, хотя сумма превышала пенсию отца. Мне посоветовали купить часы. Так появились у меня в десятом классе новенькие надёжные часы марки «Победа».

Всё-таки что же сейчас происходит со мной в этом нашем путешествии?..

Будто снята с меня вся тяжесть того, что я приобрёл, насобирав, как липучие репы, за долгую свою жизнь на стороне. И теперь, вернувшись на свои берега, к родному, переживая заново прежнее, часто с разбуженной дремавшей во мне болью, замыкаю этим как бы некий свой круг.

Нахожу, кажется, смысл в этом своём возвращении. И успокоение.

Но плодотворно и созидательно ли это моё возвращение, такое замыкание круга? Сейчас? Когда, кажется, что есть и силы, и не пропала жажда жизни?..

Нашептали мне мои Красносамарские родники потаённое и глубинное. На древнем своём первородном языке. И мне суметь надо теперь понять многое...

Успокоение и жажда жизни!.. Как они в моём возрасте, соприкасаясь друг с другом, проявят себя? Помощники ли они друг другу?

Притом всё то, родное, неизбежное, что я вспомнил и пережил заново за эту свою поездку, многим не ведомо...

А, может, уже и ненужное для большинства? Даже для тех, кто живёт теперь недалеко от родников своих.

Новое время!

...Изменившее, убивающее прежнюю жизнь и обесценивающее настоящую...

Уничтожающее порой корневые основы жизни...

Какие уж тут традиции, преемственность?!

Они, если и есть, то только внешние, поверхностные. Образ нашей жизни, её дух, питаемые таинством взаимосвязи Бог — человек — природа, давно под угрозой.

Нас так много стало на земле, но мы становимся на ней одиоки...

...Так думалось мне на песчаной самарской дороженьке. Всё-то казалось, что вот чуть-чуть, одна ещё мысль, один ещё её неожиданный поворот и... я пойму великий и невостреманный до сих пор смысл, как всегда мне верилось прежде, неистребимой нашей жизни...

Думалось мне так, и в то же время мелькала через столетия холодная усмешка Монтеня:

«Нет занятия более пустого и вместе с тем более сложного, чем беседовать со своими мыслями...»

Я всё, кажется, продолжал гнать по кругу, барахтаясь в своём неотвязном...

## **Коршун над степью**

— Дед, смотри, смотри! — прокричал внук.

Я остановился.

Вдоль дороги, отяжелевший от притихшей в его когтях добычи, совсем низко, метрах в двух-трёх над сухой, пожелтевшей от зноя травой, летел огромный коршун.

Его жертва, то ли большой хомяк, то ли барсучок, надёжно охваченный когтями, обвиснув безжизненно, болтался под огромными, мерно работающими с машинной размеренностью крыльями хищника.

— Поехали, догоним, — встрепенулся внук.

— Как догонишь? Вон овраг рядом! Он повернёт, перелетит через него, и что ты будешь делать со своим велосипедом?

— Не подумал, — и провожая взглядом коршуна, то ли удивился, то ли одобрил: — Хитрый какой, знает, что недосыгаем, потому и не торопится.

— Опытный, — согласился я.

— Не знает он про того надутого индюка на дороге... А то бы...

Мы долго ещё наблюдали, как хищник летел вдоль дороги, не в силах подняться выше. Потом его не стало видно...

И тут внук беспечно подвёл итог увиденного во фразе, заставившей меня вздрогнуть:

— Сильный поглощает слабого — закон природы!

Я не нашёлся что ответить.

«Он что, сознательно так сказал?.. Глобально... Или не подумав? Не поедает, не уничтожает, а поглощает...»

Мы, выходит, опять думаем об одном и том же?..»

Посмотрел на внука. Он возился с заскрипевшей педалью.

Я налёг на свои и, объезжая внука, прыгая на кочках, погнался свой велосипед навстречу колеблющимся в знойном дневном мареве крайним домам.

...Повернувшись, увидел, как внук, опрокинув резко велосипед на заднее колесо, приподнял переднее и с места в карьер метнулся за мной, пытаюсь нагнать и ехать рядом, чтобы уйти от пыли из-под колёс моего велосипеда. Я начал притормаживать.

«Тут всегда была пашня? — спохватился я, глядя на поросшее бурьяном поле по обеим сторонам дороги. — Шумела колосьями пшеница, а потом кукуруза...»

Мы остановились.

Внук устремился к старице, манящей узкой полоской воды. Я присел на раму велосипеда.

«Старик сказал на мосту сегодня: «Если с Богом мы будем, то и Бог будет с нами». Верно, всё верно, — с готовностью согласился я. — Но достаточно ли этого? Что я сам должен сделать? Сам?..»

\* \* \*

...Не могу спокойно пройти, не остановившись, у края пашни. Манит она к себе неодолимой силой. А ведь ходил-то я за плугом, покрикивая на мерина Карего, не более трёх-четырёх раз в своей жизни. Пахота лежала на плечах моего деда. И трактористом-то я работал на слабосильном ДТ-54 всего ничего... одно лето. Не этим только прикипело сердце к земле. Идёт это не от моего детства, не от деда. Из далёкого далека, от самого образа жизни. Издревле. Пашня! Это — святое и целомудренное, как беременная женщина. Пашня — это радостная надежда, вера, ожидание. Это потраченная, вложенная часть тебя, главная твоя суть, обещающая в свою зрелую пору принести радостные плоды, продление жизни.

Пашня — как жизнь! Всё связанное с ней — сама жизнь! Появление первого ростка, его рост, выхаживание, сбережение... И зрелые плоды её. Разве это не циклы человеческой жизни!..

Пашня, поле всегда звали на труд.

Почему же теперь мы не слышим этот зов? Почему допустили запустение? Потеряли способность слышать? И себя не слышим? Почему так получилось?..

Оглохли и ослепли? Вопросы, вопросы...

Ответы где?

Окружённый роем вопросов, сидел я на обочине, машинально наблюдая за копошившимися под передним колесом вело-

сипеда роющими осами. Осы обычно труженицы, они усердно опыляют цветы. Эти же, роющие, ловят мух, кормят ими своё потомство. На моих глазах под спицами усердная добытчица под одобрительное жужжание подрут волочила большую зелёную муху в земляную норку. Тучная муха едва шевелила единственным крылом...

Внук у воды ополаскивал лицо, сморённый тягучим зноем.

Потом он поднялся на пологий берег и пошёл по сухой траве ко мне. Шёл, там, где в моей юности всегда дышала в своё время пашня, а потом зеленело и золотилось поле.

— Какое-то безжизненное озеро, — произнёс внук.

— Почему? — спросил машинально. Потом дёрнулся: — Что, и следов нет?

— Каких, дед?

— Каких?! Коровьих. Там всегда коровье стойло было.

В полдень они стояли по брюхо в воде.

— Нет там никаких коров. Одни лягушки квакают.

— Ты им что-нибудь ответил? Они же наверняка спрашивали: «Трава — какова, трава — какова?» Они так с коровами разговаривали тут...

\* \* \*

Уже мчась по обочине (мало ему дороги), внук прокричал:

— Опять бермуды!

— Где?

Внук пояснил:

— Эти коровы были и исчезли? Вместе с колхозами... Какое-то зазеркалье! И этот питомник, о котором ты рассказывал, нет его!

Я молчал.

Внук продолжал:

— Мне кажется, когда-нибудь приедем, а Красносамарских родников — нет! Исчезли...

— Этому не бывать! — насколько бодро мог, ответил я.

— Почему?

Я остановился. Чуть поодаль притормозил и внук.

«Почему?» — саднило во мне.

Посмотрел туда, откуда мы ехали, где вдали вершилось космическое слияние неба и земли.



Указывая на эту неохватную панораму широченной возвышенности над рекой, на сине-зелёное волшебство красок, искал ответ:

— Смотри! Это всё работает на родники! Понимаешь? Это такая силища. И она не сама по себе! Это... космос! Земля и небо — единое!..

— А это что? — он указал на еле угадываемое земляное возвышение впереди. — Курган?

— Это, как учёные его называют, шестой Утёвский могильник. В нём археологи откопали остатки колесниц. Бронзовый век. Как ты его заметил? Он же почти ровень с дорогой.

— Ничего себе! Целое колхозное коровье стадо исчезло, а древние колесницы остались?

— Остались всего лишь отпечатки деревянных колесниц в грунте, — с научной педантичностью уточняю я.

Учёные исследовали черепа коней, найденные в могильнике. На конских зубах они обнаружили следы трения от удил. Утверждают, что на сегодня эти раскопки — самое древнее свидетельство использования коней в качестве тягловой силы.

— Вот это да! — внук удивлённо оглядывает вполне унылую окрестность, словно только что спустился сюда на парашюте.

— Учёные предполагают, что и величайшее изобретение человечества — колесо, сделали именно наши предки, самарские степняки.

— А как же греки? Где Утёвка, а где — Афины?

— Наши изобрели, как считается, не плоское колесо, а со спицами. Со спицами более упругое и крепче. На колесницах через Подонье, Приднепровье и Подунавье примчали в Древнюю Грецию.

— Да, любили наши самарские предки быструю езду. Даже старик на мосту, помнишь, как сказал: ровняй бугры!..

— Как и ты! Поберегись. Второй раз может не повезти так. Болит ссадина?

— Она на голени. На ровном месте. Терпимо.

— Терпимо, — не удержался я. — Смотри у меня. Гарцуешь!.. Не на гаревой дорожке.

Я показал на противоположный берег старицы:

— Когда уезжал в город учиться, берег был голым. Сразу почти от воды было поле.

Теперь высокий лес стоит. Не всё только пропадает...

— Этим деревьям, выходит, уже почти пятьдесят лет! — удивлялся внук.

— Выходит...

## В дороге

Здесь, на снежной равнине, едва миновав озеро Осиновое и пробиваясь в сторону Утёвки, мы с моим дедом Иваном давным-давно попали в метель.

В обрушившейся стихии мы сбились с дороги и оказались в вечерних сумерках в непреодолимом снегу.

Лошадь встала. Помню моё смятение. Парень я был начитанный. Вмиг перед глазами явились картины Пушкинской метели. Все, казалось, неправдоподобные события маленькой повести стали возможными в реальной стихии.

Это была моя первая метель, которая захватила меня в открытом поле.

Страшное явление! И магическое...

Сумеречное освещение, возникшее загодя, не дождавшись своего положенного вечернего часа, угроза стихии жестокостью своей, белёсой пылью на твёрдом снежном покрове перейти в буран, милости от которого ждать странно — всё против тебя.

Гибельная сила! Неукротимая! Но почему она так завораживает?.. Уже и начинающийся косой снегопад, сугробы, пугающие своей дородностью, всё, кажется, готово сомкнуться над тобой. Стать снежным куполом, отделив тебя от неба, лишив тебя всей твоей прежней жизни...

Всё становится значительным, наполненным таинственным содержанием.

Твоя жизнь сейчас висит на волоске всего лишь твоего внутреннего сопротивления. Трагизм, кажется, ещё и в том, что ни небо, которого уже почти не видно, ни земля, которая вроде бы и рядом, уже не согреют. И непонятно, в чём спасение? Что тебя выхватит из этого снежного мавзолея?

...Вот он, снегопад! Уже вовсю повалил. Теперь уж точно: и дед, и Карий, и я можем оказаться навсегда в белом плену, под толщей, обрушившейся, спрессованной из миллиардов снежи-

нок, снежной лавины. В плену всеисильной стихии теряется понимание где ты. В какой точке находишься? Где юг, а где север? «И зачем тебе знать это? — мелькает мысль. — Ведь всё равно теперь...» Мысли ходят по кругу...

...Но почему в тебе возникает непонятно откуда... веселье... Странно и жутковато. Это противоречит нормальному разуму... Почему начинаешь казаться себе сильнее всего того, что только сейчас тебя повергло в замешательство?

Ведь не от того же вся твоя сила, что ты знаешь, читал у гениального писателя: Метель такая уже была. Но всё более-менее обошлось... Почему мне должно быть отказано в удаче...

...Веселье готово вырваться в крике, в хохоте... То ли в протесте необузданной силе, то ли от нерастраченной собственной силы, заложенной в тебя и становящейся до крайности несоизмеримой с той, которая повстречалась тебе и оттого стала ненужной... Которую можно теперь, эту силу, а вернее, свою жизнь, швырнуть с насмешкой...

Или, ещё не осознавая до конца, почувствовал, что всё это безмерное напряжение схлынет разом. И перед тобой совсем недалеко откроется окраина села, как дрейфующий остров в снежном океане, за который ты непременно зацепишься и останешься жив... и всё случившееся в дороге останется в тебе как сновидение...

Что же всё это? Просто испытание? Проверка!.. Какой ты? Кто ты в твои четырнадцать лет?

...Тогда нам повезло. Метель оказалась не столь затяжной, а у моего деда достало терпения переждать.

Позже, перечитывая повесть классика, каждый раз воспринимал написанное уже через это событие в моём детстве. По-другому не мог.

Зима музыкальна, а метель — особенно...

...Когда впервые услышал романс Георгия Свиридова из его музыкальной иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель», был ошеломлён.

Не верилось, что эту музыку кто-то написал, пусть даже гений! Эта музыка, казалось, была всегда!

Она не в сознании, в подсознании каждого русского живёт извечно! Кажется, что она существовала, когда ещё не было Георгия Свиридова. Он появился — и будто извлёк её из на-

родного фольклора, из народного стихийного духа. Освободил, и она зазвучала в полный голос. Отчётливо и завораживающе. Он взял её у природы!.. В последнее время меня преследует мысль, что весь наш русский путь — дорога через заснеженную равнину в метель...

Слушая «Метель» Свиридова, готов согласиться, что музыка действительно в основе всех видов искусств. Она — высшее проявление искусства.

И это название: «Музыкальные иллюстрации...» Он и не помышлял быть на одном уровне с Пушкиным... Всего лишь «иллюстрации»... Встретились два истинно русских скромных гения!

«...Страна простора, страна песни, страна печали. Страна минора, страна Христа» — так определил Георгий Свиридов для себя Россию. Он сказал так за нас за многих. Музыкой своей сказал!

\* \* \*

Не могу уйти от мысли, что хотя и смертельно опасным был тот случай в дороге, когда метель застала нас с моим дедом в степи, хотя всё было значительно и даже губительно, воздействие на сознание снежной стихии и связанные с ней пронзительные чувства после того, как вновь, уже взрослым, прочитал «Метель» Пушкина и услышал музыку Свиридова, приобрели для меня небывало до того могучую окраску, вырастая до грандиозных, вселенских масштабов...

Связано ли это с эффектом наложения художественного и фактического? Или всё дело в гениальности авторов?

Мысли о таком наложении, взаимопроникновении одного в другое меня не отпускают давно...

## **Спецоперация**

Этой весной купил я дорожный велосипед. После нашего с внуком прошлогоднего путешествия мне стало его не хватать. И когда бываю на даче, делаю прогулки на косу, расположенную между посёлком Гранным и озером Двубратным. Чаще всего около семи часов утра, пока не жарко. Эту косу и тем более посёлок Гранный многие в округе знают. По последним на-

ходкам краеведов получается, что Гранный когда-то положил начало образованию поселения Самара.

Теперь в нём живут, если не считать дачников, около 600 человек. Коса меня притягивает тем, что на ней растут огромные осокори вдоль озера, а чуть повыше шумит небольшая дубрава из могучих великанов деревьев.

Осокорей с каждым годом становится всё меньше и меньше. Образуется большая прогалина, а поросли мало. Дубы стоят как законсервированные. Ни один за последние несколько лет не погиб, но и молодняка нет. Хотя желудей под ногами предостаточно.

Я уже хотел заняться пересадкой. Отвезти с дачи три дубочка-крепыша со своего газона. Посмотреть для начала, что будет? Очевидно, жёлуди попали на газон, когда я принёс из леса несколько вёдер земли из-под дубов. Полив газона свершил своё, жёлуди проросли. Влаги в дубраве не хватает для молодняка! Влаги! Солнце выжаривает землю, и жёлуди не прорастают.

«Если даже и посадить свои дубки, они могут там не прижиться», — размышлял я.

...И тут свершилось чудо. Обыкновенное чудо — по-другому не скажешь.

Лето 2010 года было страшно жарким. Но странное дело, осенью было очень много желудей. Они лежали везде: в траве, на дороге...

«Как всё напрасно, — горевал я. — Зачем столько плодов, если за несколько лет не поднялось ни одного дубочка в округе? Похоже, дубрава обречена на вымирание».

Зря я так думал и печалился.

Весь июнь этого лета лили дожди. Безостановочно. Месяц выдался редкий по количеству осадков.

Таким он был и в Москве.

— Как хорошо, — говорили родственники. — В Москве дышать будет легче, торфяники не так будут гореть...

\* \* \*

В июне на косу не ездил. Дорога расквасилась. На велосипеде не одолеть.

Когда в первых числах июля выбрался на прогулку, был ошеломлён увиденным.

Обочины дороги, сама дорога, не говоря уж о прогалинах меж дубами, вся земля под дубами — везде поднялось молодое воинство — крепенькие дубочки.

Попробовал под одним дубом посчитать новобранцев и оставившихся.

Понял: их в округе сотни, если не тысячи.

А я горевал. Как будто кто-то услышал меня!

Когда встретился знакомый коровий пастух Владимир, недавно демобилизовавшийся прапорщик, не удержал восторга:

— Видел?!

— Конечно! — с ходу поняв о чём говорю, широко улыбнулся он. — А вы хотели посадкой заняться...

Природа, когда надо, сама...

— А коровы? — спохватился я. — Они едят их?

— Едят, заразы! Но я прикинул, всё равно не меньше полтыщи останется!

«Он тоже считал», — отметил я про себя. И не удержался:

— Ты пойми, Владимир, того, что мы наблюдаем, может потом сто лет не быть. Это явление! Будет непростительно...

— Не волнуйтесь, Станиславич! Коров по кромке буду гонять, где осокори.

«Как он будет гонять их, чем? Кнута даже нет», — спохватился я, удаляясь вдоль озера.

Но, обернувшись на лай, увидел, как две собаки дружно по его команде теснят стадо из дубравы к протоке.

И успокоился было...

Но тут вспомнилось опять несчастье, случившееся с молодым бором в самарском поречье на Песках. «Как там дела? Что весной проклюнулось на пожарище?.. Надо бы выкроить денёк, поглядеть хоть краем глаза...»

Думая так, в следующий миг невольно отметил, что воспринимаю свершившееся чудо на косе — появление сотен молодых дубочков — как знак! Как некую щедрость, отпущенную мне в утешение, в успокоение. Как освобождение от того гнетущего состояния, которое возникло у меня, когда я оказался в выгоревшем поречье у Самары. На месте погибшего молодого соснового бора. На косе поднималась будущая широкошумная дубрава. Пусть эта дубрава зашумит не скоро, без меня уже...

Но она зашумит! Тронет чьё-то сердце...

Меж этих тоненьких дубочков уже сейчас идёт вдоль земли таинственное шевеление... И если нагнуться пониже, почувствуешь волны едва уловимого, но такого крепкого лесного молодого духа.

...И показала мне замечательной мысль, возникшая когда уже выезжал с косы:

«Надо взять и перевезти этой осенью десятка три маленьких дубочков отсюда в поречье на Пески. К Самарке!»

Не сохранился сосновый бор — может, разрастётся со временем там дубрава!»

Подумав так, запланировал эту свою спецоперацию как особо важную для себя.

И теперь жду с нетерпением осени...

## **Меж крутых берегов**

С каким восторгом открывал я для себя поэта Илью Сельвинского.

Было это на третьем курсе института.

Началось всё с толстенной, в зелёной обложке, книги, которая называлась, кажется, «Илья Сельвинский». Купил её на деньги, которые заработал, копая землю на садовых участках поляны имени Фрунзе, под Самарой.

Эпопея «Уляляевщина», роман в стихах «Пушторг», трагедия «Пао-Пао» — ошеломляли. Ничего подобного после Маяковского я не знал. Стихи поражали! Не вмещались в меня даже частью. Поэмы — айсберги, проплывали мимо меня. Запораживали, восхищали своей грандиозностью:

*Вокруг, не зная печали,  
Пеструшки резвятся наспех.  
А я покидаю причалы,  
Вмурованный в синий айсберг.*

Так бы эти айсберги и проплыли мимо, обдав холодом льдин, заслонив собой человека-оркестра, человека-тигра, в сердце которого «воркуют голуби и щёлкают соловьи». Если бы не тоненькие книжечки его стихов:

Оказывается, это его:

*Черноглазая казачка  
Подковала мне коня,  
Серебро с меня спросила,  
Труд не дорого ценя.  
Как зовут тебя, молодка?..*

Такая песня!

Не верилось, что она написана за столом. Эта песня должна родиться в походе, на просторе!

Начал искать другие стихи Ильи Сельвинского. И попал в неистовый, рокочущий, многоголосый мир! Да это не человек — это оркестр!

*Какая мощь в моей руке,  
Какое волшебство  
Вот в этих жилах, кулаке  
И теплоте его!*

Или:

*Годами голодаю по тебе.  
С мольбою о недоступном засыпаю.*

И тут же:

*Если взять на ладонь рыбёшку,  
Обжигает её ладонь:  
Рыбке надо тепла немножко.  
А у нас по жилам огонь.  
Значит, я тебя, обжигая,  
Не прильну к твоему рту:  
Жизни наши, моя дорогая,  
Разных температур.*

Оказывается, можно так огненно и жгуче говорить о том, что ещё огненней в тебе и жгучей. Так мог говорить только он, выступавший (работавший) в цирке борцом. Под маской «Лурих I».

В таланте многое от избытка энергии. А здесь энергия фон-танировала.

Стихи заражали. Но было ещё и другое. Играла и во мне силушка! Я занимался одновременно и борьбой, и штангой. И такое было чувство удачи, и «в каждой кровинке, — как он сказал, — такой магнит, что прикажи вот этому стулу: «Взлететь!» — и он дивлённо... взлетит!»



И я загорелся! Нет, не стихи писать, статью... цирковым артистом! И непременно силовым эквилибристом. А тут ещё увидел на Куйбышевской улице (ныне Дворянская) около кафе «Три вяза» объявление о наборе в цирковое училище. Такой пример поэта! Это объявление — путёвка совсем в иную жизнь! Сверкающую, манящую, как звенящая в синем небе, под огромным куполом, песнь... Так думал я, уныло вспоминая все эти скучные колбы, пробирки в химической лаборатории нашей кафедры.

Я решил всё разрубить одним взмахом борцовской руки.

Ребята, с которыми жил в студенческом общежитии, как один, были против моего намерения уйти из института, назвав это ненужным трюком. В отделе кадров, куда я заявился, посчитали за ненормального...

...Несколько дней, остывая, ходил сам не свой. Не решившись уйти из института, чувствовал себя слабаком.

\* \* \*

Прошло более сорока пяти лет с тех пор, когда заразительный поэт чуть было не увёл меня в другую жизнь. И не было бы той, которой я живу сейчас. Теперь он мне помогает своими мудрыми строками. Их я раньше не встречал у него:

*Наука беспощадна и узка,  
Искусство простодушно и широко.*

...На встречах читатели часто задают мне вопрос по сути тот же, что задал мне китайский профессор в Шанхайском университете. Только он говорил не о науке, а о производстве, наносящем конкретный вред природе.

«Как я умудряюсь быть и учёным, и писателем?»

Можно ли такое совмещать, да ещё почти всю жизнь проработавшему в нефтехимии? Ответ (вернее: нечто близкое к ответу) мне пришёл в нашем путешествии на велосипедах, когда я в который раз смотрел на серебристый поток реки.

Теперь на встречах с читателями привожу эти две строки поэта, сам не зная, как попал в поток между двух берегов. И эти два берега — производство, наука и литература — близки мне очень. Но я дрейфую меж них — всего-то! Ничего не совмещая. Не в силах причалить навсегда к какому-то одному. И это моё

состояние в потоке меж берегов, проявление некоего моего безволия. Возможно так...

Оттуда, из заводской жизни, связанной с химическим производством, исходит немало. Но это теперешнее моё растворение в моих истоках?.. Оно освещает всё иным светом.

...Максимилиан Волошин сказал:

«Быть многогранным, интересоваться разнообразным, прожить себя во многом — лучшее средство сохранить свою неизвестность». А что важнее? Обязательная известность (допустим, в «узком и беспощадном», — читай — в науке) или полнокровие и разнообразие захлестнувшего тебя живого потока. Не литературы — жизни?..

...Некогда было читать столько, сколько всегда хотелось и во взрослой жизни...

Если не в силах был вернуть книгу на прилавок, покупал её. Полагал: на пенсии прочту. Так собралась приличная библиотека, безмолвно укоряющая меня в том, что так мало прочитал и мало знаю.

Теперь на вопрос читателей, над чем работаю, часто отвечаю: над собой, искренне полагая, что пишущий, кроме множества качеств, которые он обязан иметь, должен всё-таки много читать. Больше чем писать....

Это очевидно. И более всего он должен мыслить. Независимо.

Однажды непроизвольно вырвалось:

*Больше чувствую, чем знаю.*

*И в этом вся штукавина.*

С тех пор стремлюсь к некоему сомнительному и призрачному балансу...

## **Сандальки где?**

Кто из местных не знает эту дорогу...

Она ведёт туда, где Лещёвое, Осиновое, Таловая яма, Дубовое. Дорога к озёрам, без которых трудно представить утёвское детство.

Теперь эта дорога ухабиста и извилиста. Вряд ли на ней сильно теперь разгонишься даже на велосипеде.

Помнится случай: мой дядька Сергей, которому было лет пятнадцать, и я, совсем ещё зелёный, прихватив банку с чер-

вями и по удочке, вышли к мосту на выезде из села. Мост был тогда неказистый, деревянный, с покосившимися перилами. Машины перед ним всегда резко сбавляли скорость.

Когда подъехал огромный ЗИС с прицепом для перевозки труб, мы встали на изготовку.

Едва он, медленно переваливаясь и гремя, проехал на малой скорости по мосту, мы вцепились в металлическую раму прицепа.

Нам захотелось хотя бы треть пути прокатиться до Осинового озера. Но водитель так поддал, что мы начали болтаться, как подвешенные колбаски.

— Держись, а то голова оторвётся! Отцепимся, когда затормозит! — услышал я команду моего дядьки.

Но дорога была такая ровная и прямая!

Водитель только прибавил скорость.

Он сбавил газ на спуске к озеру Осиновое. Мы отлетели от прицепа, упав на песчаную обочину. Пальцы рук у меня оставались полусогнуты.

— Сань, сандальки где? Где твои сандальки? — нервно смеюсь, произнёс мой дядька, выправляя согнутый козырёк фуражки.

— Отлетели, — озадаченно сказал я. — От скорости!

Он стал громко смеяться, а я, притихший, соображал: сейчас вернуться за обувкой или потом? После рыбалки на обратном пути поискать? А вдруг их уже нет на дороге?..

Что деду скажу?

Он так их заботливо шил мне. Подошвы у них чуть не в мой палец толщиной...

\* \* \*

Прекратили ремонтировать мост через реку, изменилась дорога к нему.

Давно уж не урчал на ней широкозахватный грейдер. При эдаком сокращении поселений и численности населения, как теперь, сохраняются ли вообще наши дороги? Не превратятся ли в козьи тропы? А мы тогда кем будем на них?

«Скорее бы выскочить нам на автостраду, стрельнувшую на Покровку. На ней просторно...» — уводил я себя от тоскливых мыслей.

...Вспомнился опять огромный коршун, уверенно вершивший свой полёт вдоль дороги.

Сделав над глазами козырьком ладонь, стал всматриваться туда, где скрылся со своей жертвой зловещий хищник.

Его не было видно.

А я всё смотрел и смотрел... Будто хотел убедиться, что ничего и не было... померещилось...

— Дед, ты сейчас похож на Илью Муромца. Так смотришь!.. Только ты на велосипеде, а он...

— Есть разница, — согласился я.

\* \* \*

— Дед, мне Лёша сказал, что есть велосипедный маршрут от села Рождествено до Ширяево! Представляешь? В оба конца километров пятьдесят.

— И что?

— Вот бы нам с ним стонять через неделю. Одобряешь?

— А вдруг поломка какая у велосипеда? Что тогда?

— Да там же водные трамвайчики ходят по Волге, до дома музея Репина. Доберёмся.

— Через неделю? А что будешь делать на следующее лето? Через год поедете.

— У меня план созрел на следующее лето.

— Ну, и?..

— Едем с тобой к истоку Самарки, в село Кариновку под Оренбург!

— Ты представляешь себе эту поездку? Полтыщи километров?! — поторопился я охладить пыл внука. — Ты же в Богатое собирался, в Бузулук?

У внука доводы свои: «Это же всё на одной трассе Самара — Оренбург!

Пушкин на лошадях по бездорожью проехал. Вон когда ещё! За «Капитанской дочкой». А нам по автостраде, по асфальтовой дороге?! Слабо? Это такой маршрут!

— Доживём до следующего лета, там посмотрим! — отгораживаюсь я от такой его затеи.

Если бы мне знать, что меня так потянет ко всему, что окружало в детстве и давали, сами того не сознавая, мне мои неграмотные, бесхитростные родители! Если бы знать! Сколько бы я скопил, сберёг из той своей жизни. Но не знал! И не сберёг. Сейчас по крохам, по песчинкам стараюсь восстановить для себя тот мир. Хотя бы частицу его. Но разве это возможно? Души тех, кто любил меня, оберегал, растил, отлетели. А моя душа? Она зачерствела в далёком пути, огрубела и отдалилась от родников своих. И куда я шёл? Я долго не отдавал себе отчёта: куда? Пока вдруг не обнаружилось: к самому себе, к родникам своим шёл. Работал и в малых, и в огромных аудиториях. При большом скоплении людей. Желал всё какого-то чрезвычайного действия, а оказалось, необходимо прислушаться в тишине, в одиночестве, к самому себе...

Чтобы не потерять себя. Не потерять мир, дарованный тебе судьбой твоей. Не потерять свою дорогу... дороженьку...

Как же так получилось в нашей общей судьбе, что не вкладывали в нас привязанность к своему дому, к своим корням? Наоборот, многое стиралось, вырывалось. Да так усердно! И самими! То ли были зачумлённые слепыми поводырями, то ли совращённые негодьями...

У внука своё. Едва остановились передохнуть, раздумывает вслух:

— Дед! А вот родники?! Вода в них! Она же с неба! Круговорот в природе... Как очистит эта гора воду, упавшую с неба или от таяния снега, такой она и будет. Физика. Никакой тайны!

— Ты о чём?

— Вода всё грязнее с неба падает. Мы её выбросами гадим. И гора меньше становится, сам говорил... Когда-нибудь этой толщи не хватит. Ослабнет фильтр... Что тогда?

— Эка ты хватанул!

— Ну, по логике так ведь? На сколько хватит? А потом что? Вопрос — так вопрос!

Он, как мои студенты, которых я растормошил, пусть не с первого раза на лекциях по экологии, но растормошил!..

Начали думать! А коли начали думать — потянулись к знаниям. «Круговорот», — усмехнулся я про себя.

Теперь мы на лекциях часто ведём диалог. Многие, практически ничего не знавшие о малых реках нашей губернии, добровольно написали добротные авторефераты по этой теме.

Побывали в местных музеях, о которых раньше и не слышали.

В местном выставочном зале «Радуга», где находятся компьютерные копии многих мировых шедевров живописи, ребята открыли для себя Рерихов, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Клода Моне... Потом состоялось у нас стихийно возникшее обсуждение. И моя внеплановая лекция «Искусство — среда обитания» пришлась к месту.

Кажется, кто-то из английских писателей сказал, что преподавать надо начать хотя бы для того, чтобы увидеть: ни твои знания, ни опыт, ни старания не способны изменить тот поток молодой жизни, к которому ты уже не принадлежишь.

У этого потока своя правда! Своё право, своя энергия...

Может быть.

И мои наблюдения не так уж безоблачны...

Но всё же...

...Они, мои студенты, всего-то лет на пять старше меня тогдашнего, из того времени, когда я, ухватившись за прицеп огромной машины и подхваченный гудящей машиной, понёсся навстречу ветру.

Наш нынешний технический прогресс — гигантская машина, оторвавшая нас всех от земли. Как помочь им?.. Они так крепко ухватились за прицеп!..

Где тот момент, когда надо разжать пальцы и соскочить, не разбив лицо...

Так и звенит в ушах голос моего дядьки из детства:

«Сань, сандальки где?»

## **Сами себя!..**

У околицы села, метрах в двухстах от крайних её изб, перед мостом, открылось глазам невообразимое. На огромной площадке, равной хорошему стадиону, на степном просторе горела свалка. Вокруг было всё занавешено белесым жутковатым дымом.

Мы остановились.

— Что они делают! — выкрикнул внук, ошалело поводя головой. — Смотри, дед! Тут же кучи пластика! Эти бутылки, банки, мешочки — все из поливинилхлорида. Они дают при горении диоксины — самые страшные для человека отравляющие вещества. Допустимые их дозы для человека измеряются миллион-миллионными долями грамма. Мы по химии проходили. Это самый страшный в мире яд.

Поражённый увиденным, я стоял молча. Ветер дул ровно от нас на сонно раскинувшееся на равнине с шеститысячным населением село.

— Весь продвинутый Запад давно уже сжигает эту дрянь на специальных заводах. Но и от них отравы столько, что рождаемость вокруг резко упала. Поняли и взялись разбираться?

Я продолжал молчать. Совсем недавно читал я целую лекцию своим студентам об этой страшной отраве.

— Дед, они безумные!

— Кто? — невольно вырвалось у меня. — На свалке никого!

— Они! — повторял он. — Кто поджёт!

— Мы, — поправил я. — Мы все!

Внук, кажется, принял такой ответ. Но, озираясь, крутил вокруг головой. Словно искал другого ответа...

Потом он прокричал неистово:

— Может быть массовое отравление!

Белесый дым тянулся уже по дороге. Было ощущение нереальности. Будто мы оказались на чужой планете. Вокруг, кроме нас, никого. И вот-вот эта планета, когда тление дойдёт до своего предела, взорвётся и разлетится на куски.

— Надо что-то делать! Дед!..

Чтобы вернуться в село другим путём, надо было описать крюк не менее пяти километров.

— Делай как я! — прокричав так, я, зажал рот и нос ладонью левой руки, правой — резко махнув призывно вперёд, взялся за руль.

Мы выскочили на мост.

Промчались по дороге метров сто и оказались в селе. Остановились. Внук, нервно дыша, ткнул колесо своего велосипеда в мою раму. Указал на свалку:

— Выпррем все так! Сами себя... Кто тут будет жить? Кому жить?

«Сами себя...» — опять это. В начале нашей поездки — от Давыдова. Сейчас вот внук...

«Есть кому, найдутся», — уныло подумал я, припомнив дружно копошащихся, как муравьи, в синих комбинезонах людей на лесной дороге. Не самый худший вариант... в мировом масштабе...

— Что-то надо делать!

— Поехали пока в сельсовет, то бишь в администрацию поселения, — скомандовал я.

— Какого поселения? — не понял внук. — Села, наверное?

— Да... — глухо отозвался я. — Вроде бы так... Села...

Мы мчали по асфальтовой дороге, пронизывающей Утёвку с края до края.

Хотелось верить в разумное...

Вот дорога! Когда-то она была покрыта всего лишь гравием. Была щербатая, с глубокими выбоинами, а теперь! Прекрасная, высоко поднятая, обустроенная сливами.

Можем же! Многое можем! Надо работать, дело делать!.. И верить в свою дорогу!

— Смотри, — внук указал на свалку, — ветер повернул к лесу, видишь, дым как идёт... И дождь закапал! Как Дятлов обещал...

— Кажется, обошлось!.. — отметил я. — Дождь потушит.

\* \* \*

Колёса наших велосипедов, дружно шипя шинами по мокрому асфальту, несли нас вперёд! Встречный ветер развеивал ветровку внука, делая его похожим на нахохлившуюся птицу. Казалось, что он вот-вот преодолеет земное притяжение и взлетит. Дождь спасительно напирал с поречья стеной.

...И продолжал звенеть вдогонку нам, фиолетовым колокольчиком услышанный на реке, напоённый радостью и доверием к жизни голос:

«Папа, папа! Смотри, какая я!

Я — лесная принцесса!»

Вспомнит ли когда-нибудь в своей взрослой жизни эта светлая девочка речку Самарку? Этот наш общий светлый июльский день, уходящий в вечность?



Как смотрела на девочку её мать, подобрав рукой подол цветастой юбки и осторожно ступая в воду. Как слушал я родниковой свежести голос девочки!..

Случайна ли речка Самарка у неё в судьбе? Или девочка с детства принадлежит ей, как и я!

Этот голос её! Живительный родничок, пробьётся ли он в будущее...

Мой внук растормошил меня... Конечно, он по-своему чувствует. И резче реагирует... Дай-то Бог ему содержательной и доброй жизни. И не утратить интереса к живой ещё природе.

Вижу, как многие его сверстники в больших городах равнодушны к ней.

...И откуда взяться интересу, если таких родников, к которым мы сумели добраться, у большинства из них, у многих их родителей уже и нет?

Давно уж так много вокруг живого закатано в асфальт.

...Так думал я, уверовав в свою правоту. Внук разом поколебал её равновесие всего несколькими фразами:

— Дед, а у нас в Покровско-Стрешнево, куда мы переехали, тоже родники бьют! Их там несколько. И озёра есть, здоровущие! За родниковой водой почти все из нашей высотки ходят. Мы тоже. И другие москвичи...

— Покажешь, когда приеду в гости?

— Нет вопросов!

## **Светлеют лица**

...Как мне дорого то, что живо до сих пор во мне желание общаться со всем простым с виду, незатейливым. Вроде бы примелькавшимся...

Как светлеют лица тех, кто смотрит на воду! Как я теперь тянусь к моей реке! Кажется: иссякнет это моё желание — пропаду и я.

...Наступила такая моя пора, когда для меня человек, близкий к природе, знающий травы, разбирающийся в них, стал интереснее владеющего, допустим, английским языком, но не читающий русскую литературу...

И ничего тут не поделаешь.

\* \* \*

...Каждый день под моё окно, у которого я пишу о нашем путешествии, на грушу прилетает дрозд. Один и тот же. Я его уже немножко изучил. Другие не прилетают, а ему — надо! Он спокойно сидит среди наливающихся засочивших плодов. И всё-то не спеша клювиком своим работает.

Когда его нет, мне становится беспокойно. И не пишется. А прилетит, мы начинаем оба, каждый по-своему, трудиться. Изредка поглядывая друг на друга...

\* \* \*

Пора заканчивать мои сентиментальные записки о нашем с внуком неожиданным путешествии. Он приехал и в это лето к нам. И агитирует меня повторить нашу прошлогоднюю вылазку на велосипедах. Но удлинить маршрут до самого Бузулука, как он задумал ещё прошлым летом. Что ж, можно.

Вот только с болячками разберусь...

Их не становится меньше!..

Уйти от скучного дряхления!..

Так хочется продолжать активно работать!

Опять вспомнился пронзительный француз Мишель Монтень: «Я хотел бы умереть за работой в поле», — так, кажется, он сказал.

— И мне хотелось бы нечто подобное, — добавлю я. — Коли уж умирать, так живым!..

И чтобы последние мои ощущения от жизни на земле застали меня на сенокосе.

И было бы под ногами луговое разнотравье! Синее небо над головой... И я в сиреновой майке. Как в детстве!.. У реки!

2012 г.



# **В плену светоносном**

*Посвящается внуку Саше*

## Глава 1. На Ледянке

В самом начале прошлого лета мой брат Петр, едва оправившись от тяжелой болезни, предложил съездить на реку Самару. Сам он еще не решался садиться за руль своего автомобиля.

— Соскучился, понимаешь ли, давай махнем!

Брат говорил тихо и просветленно. Он перенес две серьезных операции, и я понимал его состояние.

Мы созвонились с однокашником Петра, школьным учителем истории Анатолием Плаксиным, живущим в селе Утевка, и отправились из города Самары в первый же выходной день на свидание с нашей рекой.

Сколько раз в детстве мы рыбачили в этих местах! И какое это было радостное времечко!

...Не спеша, в старинном и самом любимом нашем озере Латинском, наловили мы с полведра сорожки и красноперки. Столько же раков начерпали раколовкой, которую забрасывали прямо с берега. И поехали на Ледянку — местечко на реке, где когда-то был большой каменистый мыс.

Место выбрали такое, где речка, выгнувшись подковой, хорошо просматривалась с места нашего привала в обе стороны. Серебряная подкова сверкала под полуденным солнцем завораживающе.

Говорили немного. Все было знакомо и предсказуемо. Слов не требовалось. Угадывались и наши движения, и взгляды, и жесты.

Домовитый и расторопный мой брат и площадочку в траве хорошо вытоптал, и удобные рогульки для котелка нашел, и сушняк солидной горкой был сложен в таком количестве, что еще на две ухи хватило бы.

В охотку все делалось.

Тишина стояла такая, что самые громкие звуки исходили из ведра от копошащихся в начинающей нагреваться воде раков. Один из них вдруг вылетел, нам на удивление, из ведра и

плюхнулся возле котелка, стоявшего посередине нашего хлебосольного «стола».

— Сроду такого не бывало, — удивился Анатолий.

— Не судьба ему, значитца, — глуховато произнес Петр. — Пойду отпущу — заслужил. — Поднялся, и пошел к обрыву.

Мы с Анатолием невольно переглянулись.

— Воду надо немножко слить, лишнего, — деловито определил Анатолий.

Уже снизу от воды Петр подал голос:

— Смотрите, там от Кунаева ключа, по течению кто-то плывет..

Сверху, с обрыва, нам было видней. Кажется, плыли на двух лодках. Мы с Анатолием посмотрели и забыли про них.

Почему-то вспомнился рассказ мамы о том, как отчим и она, взяв меня на руки, ушли из дома, не стерпев попреков отчимо-вой матери, которая никак не могла смириться с тем, что сын, вернувшийся с войны, привел в дом жену с чужим ребенком.

Им негде было жить, негде ночевать. И они пришли сюда, на Самару.

... — Смотри! Они уплывают! — воскликнул Анатолий.

И точно, двое на резиновых лодках миновали наш крутой бережок и плыли левее по течению уже метрах в ста от нас.

— Эге-ге... ге... эй, станишники! Плывите к нашему шалашу, — зычно прокричал Анатолий.

— Давай, мужики, заруливайте к нашему столу, — не удержался и я, громко присоединившись к Анатолию. — У нас есть чем угостить!

То, что они плыли издалека, видно было по всему. На носу каждой лодки лежало по большому рюкзаку. Да и двигались они очень уверенно, по-спортивно работая веслами без видимых усилий. Зрим был во всем замах на большие расстояния.

Плывший вторым повернул к берегу и причалил. Закрепив лодку на песчаном мыске, пошел неспешно к нам.

Подавая руку, чтобы помочь незнакомцу подняться на кручу, я спросил:

— Что же приятель ваш не остановился?

— А он глухой напрочь...

Мы все с удивлением смотрели на своего нечаянного гостя. Худенький и невысокий, тонкое трико с пузырями на коленях,

легонькая, выцветшая, белесого цвета майка с рукавами — совсем как подросток.

Он не отказался от ухи. Ел стоя, держа миску странно близко к лицу. Водку пить не стал, резонно сославшись на жару.

— Откуда же вы плывете и куда? — спросил я.

Он ответил буднично:

— От поселка Переволоцкого до города Самары.

— А где этот Переволоцкий? — спросил Петр.

Анатолий, так звали нашего нового знакомого, пояснил:

— Это в Оренбургской области, расположен недалеко от родника, с которого начинается река Самара.

Мы были ошеломлены.

— Это ж сколько вы проплыли? От самого родника ведь почти, — удивился Плаксин.

— Поболее четырехсот километров.

— Как же вы решились? — спросил я.

— Да я уже более десятка раз проплывал этим маршрутом, привычное дело.

«Что же это такое? — думал я. — Я с детства об этом мечтал и до сих пор не сумел сделать этого, а он уже сплавал более десятка раз! Наша река дала название огромному, теперь миллионному городу! Сколько раз в день мы, жители этого города, так или иначе повторяем светлое имя: «Самара». А много ли знаем о ней?»

Не было бы ничего этого, если бы не ее истоки...

В детстве я делал несколько попыток добраться до ее верховья, но они не осуществились. Уже взрослым я не раз уговаривал подрастающих племянников проплыть по Самаре: заехать к истоку с лодками на машине и — по воле волн... плыви моя ладья! И лодку я деревянную уже было подобрал, и даже дату отплытия определил, и скорость движения рассчитал. Но домашние восстали: «Куда в такую глухомань, а если заболели ребята, что будешь делать один с ними?». Так и не осуществилась моя затея. Племянники и сын подросли. У них теперь свои заботы. А я так и остался со своей мечтой детства...

— А карта у вас есть? — спросил я гостя упавшим голосом.

— А как же, — охотно ответил Анатолий. — Большая часть Самары протекает по Оренбуржью. Я склеил карты двух обла-

стей и получилась карта всей реки. Правда, масштабы разные, но это не так уж важно.

— А на следующее лето куда поплывете? — поинтересовался Пётр.

— Мы с ребятами хотим Жигулевской кругосветкой пройти, но и этот маршрут у нас запланирован. Мы все лето плаваем, до октября.

— Возьмете нас? — внезапно для самого себя сказал я.

— Если лодки резиновые есть, возьмем.

— Так просто? — вырвалось у меня.

Я подошел к машине, достал две свои визитки.

— Анатолий, вот ручка, напишите на одной визитке ваши координаты, а вторую возьмите себе.

— Я не могу четко написать. Пишите вы.

— Почему?

— Я слепой.

— Как так?

— Мы с Борисом, который поплыл дальше, оба инвалиды первой группы по зрению. У каждого из нас около двух процентов... Боря еще и глухой.

Понятно стало, почему он держал столь близко у лица миску, когда ел, и так странно смотрел на собеседника, когда разговаривал.

...Когда он уже возвращался к лодке, Петр поинтересовался вежливо:

— Послушай, Анатолий, а почему ты подплыл и вышел на берег, а? Ведь могли просто накостылять и лодку отобрать.

— Так по голосам же видно, что свои мужики! А раз свои — почему не причалить?

## **Глава 2. Мое заочное путешествие**

Я приехал домой и несколько дней не мог не думать о нашей встрече с Анатолием Березиным на реке. Теперь я постоянно носил в себе возродившееся нестерпимое желание добраться до истока Самары. И сплавиться оттуда до моего села Утёвка. «Как же так, два инвалида по зрению, один из них еще и совсем глухой, могут то, что для меня стало почти неосуществимым?»



Я дал себе слово, что обязательно проплыву заветным маршрутом. Пусть даже в одиночку. До лета было еще далеко. И чтобы как-то унять нетерпение, я стал собирать сведения о реке, давшей имя губернскому городу.

Центральная библиотека Самары, областная библиотека в первые же недели дали столько интересного!

Справка из Большой советской энциклопедии:

«Самара, Самарка, река в Оренбургской и Куйбышевской областях РСФСР, левый приток р. Волга. Длина 594 км, площадь бассейна 46500 км<sup>2</sup>, берет начало на возвышенности Общій Сырт; впадает в Саратовское водохранилище. Питание, в основном, снеговое. Средний расход воды в 236 км от устья 47 м<sup>3</sup>/сек. Половодье в апреле-начале мая. Замерзает в ноябре-начале декабря, вскрывается в апреле. Главный приток — Большой Кинель (правый). На Самаре города: Сорочинск, Бузулук, в устье — Куйбышев. В бассейне Самары — месторождения нефти».

...Кроме «Самары, Самарки» в области протекает более 200 рек и речек длиной 10 и более километров. Из них наиболее крупные: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Большой Кинель, Чапаевка, Чагра, Большой Ирғиз, Уса, Сызрань.

Самара — самый крупный левобережный приток Волги от Камы до Астрахани.

...Оказалось, что и название реки несет в себе тайну. Гидроним «Самара» есть в бассейнах Днепра и Дона. В Крыму — Самаргин и Самарли. Один из притоков Амура тоже называется Самарой. В Приморском крае есть речка Самарга. А название среднеазиатского города Самарканд созвучно с речным гидронимом.

В средневековых источниках, посвященных Среднево́лжью, упоминается и река Самара, и поселение Самара. Тот факт, что когда-то Северное Причерноземье было занято ираноязычными скифами, дает право ученым говорить о том, что имя днепровской Самары по происхождению связана с иранскими языками, как и названия рек Днепр и Дон.

Исходя из того, что Среднево́лжье длительное время входило в состав Золотой Орды, ученые не отвергают возможность связи названия реки с монгольским языком. У монголов нарицательное «самар» используется со значением «орех, ореховый».

В научных статьях отмечается, что Ахмед ибн Фадлан (921 г.) называет реку Самур. А в некоторых иранских языках, с одним из которых были связаны и древние сарматы, некогда обитавшие в самарской части Средневожья, нарицательное «саму» до сих пор используется со значением «бобр, выдра».

На картах Пицигани (1367 г.) и Фра Мауро (1459 г.) обозначен и г. Самар. При этом у Фра Мауро река названа Хой Су (тюркское Хое су — «мутная вода»). Как видим, не только Ахмед ибн Фадлан, но и средневековые карты свидетельствуют о том, что река Самара имела и другие названия.

Наша светлая река словно играет с нами, не желая раскрывать свою тайну. Похоже, в ее светлопесчаной, а вовсе не «мутной» воде скрыта истина, доступная ей одной.

...Доказано, что бассейн Самары был заселен еще в эпоху каменного века (Нурская стоянка). По ее берегам на протяжении многих тысячелетий жили в близком соседстве различные по происхождению племена.

Известно, что с III века до н.э. и до IV века н.э. полными хозяевами Великой степи были сарматы, которые представляли большую силу не только в Волго-Уральском бассейне, но и за его пределами.

В конце IV века н.э. сарматы оказались разгромлены гуннами. Часть сарматов, примкнув к гуннам, пошла с ними в Западную Европу и покорила ее. Оставшиеся в южно-русских степях смешались с другими народами.

В конце VII века в южную часть Среднего Поволжья пришли первые тюркоязычные племена булгар. Тогда же и образовалось государство, средоточием которого сделался город Итиль, лежавший в нижнем течении Волги. Оно вошло в историю под названием Хазарского царства.

В 965 году киевский князь Святослав вступив в упорную борьбу с хазарами, разгромил их. Походом на север по Волге были побеждены и булгары. Как гласят «Летописные отрывки», через реки Самару и Кинель переправлялись дружины князя. В 1006 году там прошли дружины другого князя — Владимира. В 1241 году по нынешним землям Кинеля прошла татаро-монгольская конница Субэдай-хана. А в 1556 году тем же путем двигались сводные полки Ивана Грозного — на покорение Астраханского царства.

Уже в 1697 году по берегам рек Самары и Кинеля селятся беглые крестьяне, чаще всего старообрядцы. В 1700 году для защиты юго-восточных рубежей города Самары от набегов ногайцев и калмыков в устье реки Большой Кинель, при слиянии с рекой Самарой, на высоком холме под наблюдением уфимского воеводы Александра Сергеева строится Алексеевская крепость. Через шесть лет в крепости была возведена первая в этих краях православная церковь. Потом нашли в окрестностях серу, пригодную для производства пороха, и наладилось пороховое дело.

Вот что пишет профессор СамГУ Петр Серафимович Кабытов:

«Окраинная земледельческая Самарская губерния Европейской России была создана указом Николая I в 1851 году. В нее вошли Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, Ставропольский, Самарский, Николаевский и Новокузнецкий уезды. Она занимала территорию в 132306 кв. верст, или 136689190 десятин земли на левобережьи реки Волги... Свыше 70% территории края приходилось на степные районы Поволжья, куда входили южные части Самарского, Бузулукского, Бугурусланского, а также Николаевский и Новокузнецкий уезды. Центральные и северные уезды находились в лесостепной зоне. Естественной границей между лесостепью и степью была река Самара».

И далее:

«...Высота отдельных горных складов — отрогов Уральского хребта достигает 370 метров. К югу от рек Самары и Иргиза проходит Общий Сырт. Он невысок и полог (от 100 до 280 метров над уровнем моря)».

Этот Сырт и дает толчок реке Самаре. Высота его не так уж и велика, но в сочетании со множеством рек и речушек Самара приобретает, особенно весной и в начале лета, завидную силушку.

Я так увлекся поисками, связанными с историей реки, что в моем библиографическом списке оказалось более двух десятков наименований книг и статей.

Не желая утомлять читателя учеными премудростями, постараюсь выбраться из этих зарослей. Но порой попадаются такие интересные факты!

На языках тюркских народов, некогда кочевавших в заволжских степях, «Самара» — степная река. А название города «Самара», по одной из версий, происходит от греческих слов «Samar» — купец, торговец и «Ra» — древнего названия Волги.

Мне больше все же по душе утверждение, что губернский город когда-то, давным-давно, был назван по имени реки нашей — Самары.

С XVI века стали появляться в Самарском крае русские люди.

Порой кажется, что где-то в этом месиве-крошewe, в людском потоке переселенцев, нет-нет да и тускло мелькнут лики моих предков по материнской линии, по линии деда моего Рябцева Ивана Дмитриевича и бабки Аграфены Федоровны Лобачевой. Я нашел в заметках утевского краеведа Данилова, что дед мой (точнее, его предки) могли быть выходцами из Пензенской губернии.

Установлено, что в село Утевка переселялись большей частью из Тамбовской и Смоленской губерний. В Заволжье большой приток пришельцев был во второй половине XVII века и первой четверти XVIII-го. Переселялись на левобережье реки Самары, гонимые тяжелой жизнью и из Симбирской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тверской, Орловской и других губерний России.

«Колонизация» Заволжья, как и всех окраин тогдашней России имела одну замечательную особенность. Цивилизованные западно-европейские державы вели обычно истребительные войны, очищая от «дикарей» целые континенты. Заселение Заволжья шло мирным путем. Мирное «сожитие» дало особый ход жизни многонационального Заволжья.

Когда-то Л. Н. Гумилев с радостью сказал:

«К счастью для России, в ее истории не было тотального уничтожения слабых народов по принципу расы или идеологии, и этой заслугой предков можно гордиться».

Самарский край был своеобразным плацдармом в освоении Урала и Сибири. Отмена крепостного права усилила волну «колонизации» Поволжья, Урала и Сибири.

В доме моего деда, охотника и рыбака любили Сибирь. Передалось это и нам, его внукам. Очевидно, предки наши, не добравшись до заветной цели переселения, осев в Заволжье, на генном уровне передали нам свое заветное чувство к Сибири.

Поселение — пристань Самара впервые отмечено на карте Волги венецианских купцов Франческо и Доменико Пицигано.

До наших дней дошло предание, согласно которому святой Алексей, митрополит Московский, наставник и друг преподобного Сергия Радонежского, один из вдохновителей Куликовской битвы, воспитатель князя Дмитрия Донского, в 1357 году во время плавания по Волге остановился в устьи реки Самара и предсказал: «будет воздвигнут тут град великий, в котором просияет благочестие и который никакому разорению подвержен не будет».

В 1586 году по Указу царя Федора Иоанновича начала строиться крепость на Волге, названная Самарским городком, для прикрытия Руси от набегов кочевников и обеспечения водного пути от Казани до Астрахани. Крепость сооружалась на месте нынешней Хлебной площади, на холме. Вначале возводились стены из остро заточенных вверху бревен, сторожевые башни с бойницами — защита от стрел степняков-кочевников. Затем поставили кремль, церковь, приказные и жилые избы, лабазы. В 1688 году крепость Самара была преобразована в город, ставший не только военным форпостом на краю земли русской, но и крупным торговым центром.

Через Самару много раз следовали русские и иноземные посольства. Среди иностранных дипломатов и путешественников были и немец Адам Олеарий, и голландец Корнилий де Бруи, сделавшие самые ранние описания Самары. Олеарию принадлежит и первый рисунок самарского городка.

...Огромно было значение великой русской реки Волги в развитии Самарского края, да и всей России. Волга кормила миллионы.

По Волге пролегал Великий торговый путь, который был известен еще древним грекам.

Но и река Самара издавна работала на процветание Заволжья.

Когда-то на ней располагалось 20 салганов . И на них были городские бойни. Убой скота производился с начала сентября до глубокой осени. Обычно в день забивали 30-50 голов крупного рогатого скота и до тысячи овец. Тушки сразу пускались в обработку, отделялась шкура, мясо, кости. Сало перетапливалось в огромных чанах и сливалось в бочки. Обслуживающий пер-

сонал получал в день 4 фунта свежей баранины на 1 человека. Кормили рабочих три раза в день наваристыми щами, пшенной кашей с салом и пшеничным хлебом самых лучших сортов. Работали с 5 утра до 20 вечера. Рабочие салганов считались в городе самыми крепкими, здоровыми мужчинами. Даже во время холерной эпидемии в Самаре в 1870 г. никто из них не заболел.

Главными скотопромышленниками в Самаре были братья Шихобаловы и братья Курлины. Антон, Емельян и Михай Шихобаловы построили на реке Самаре 10 скотобоен. Однако самарского сырья не хватало, и они закупали целые стада у оренбургских и уральских казаков и у киргизов на территории нынешнего Казахстана. Местные купцы скупали сало на ярмарках и базарах в других городах. Регулярно с городских причалов шли баржи на Москву, до отказа груженные бочками. В городе возникает кустарное производство, напрямую связанное с животноводством. Скорняки-калмыки мастерски обрабатывали овечьи шкуры и делали из них замечательные тёплые тулупы. А касимовские татары развозили эту продукцию по всей России. Бараньи шкурки здесь назывались мерлушками. Татары установили к восьмидесятым годам XIX века свою полную мерлушковую монополию. За изготовление тулупов они часто платили мерлушковыми лапками. Тулупы из целых овчин за большие деньги продавались в столицах, а сшитые из мерлушковых лапок недорого шли на местные рынки.

Для крестьян, извозчиков, ямщиков зимой мерлушковые тулупы были незаменимой одеждой. А еще ремесленники шили фуражки, шапки, перчатки, резали ремни, изготавливали кошельки, чемоданы, саквояжи.

Животноводство в губернии процветало недолго. Уже в 90-е годы XIX века в Старый Свет хлынул поток пальмового и кокосового масла, которое оказалось дешевле русского сала. Выгоднее стало выращивать пшеницу твердых сортов, всегда имеющую спрос на мировом рынке. Шихобаловы одними из первых принялись распаивать свои огромные земельные владения.

Животноводство стало второстепенной отраслью хозяйства. В салотопенное и кожевенное дело перестали вкладывать капиталы. Затухла слава самарских мерлушек.

Но бурно развернувшаяся хлебная торговля создала город таким, что впоследствии его называли приволжским Орлеаном.

«...по количеству собираемой пшеницы и вообще хлеба, — писал П. В. Алабин, — по расчету на душу населения, Самарская стоит на первом месте между губерниями империи, а по среднему годовому избытку зерна, поступающему на вывоз за границу — на втором месте».

Самара становится центром хлебной торговли задолго до основания губернии. Были тому обстоятельства и условия. К Самаре, расположенной на главном водном пути, исстари тяготели Бузулукский, Бугурусланский, Бугульминский уезды Оренбургской губернии, Николаевский и Новокузнецкий — Саратовской, Ставропольский — Симбирской, которые и вошли позднее в ее состав. Везли в город хлеб и уральские казаки. Сюда вел возникший много лет назад скотопрогонный Уральский тракт.

Поставка хлеба в Самару до постройки железной дороги велась только гужевым транспортом: с осени до весны. В иные дни сотни подвод выстраивались в очередь, ожидая переправы через Самару. Зимой торговля хлебом разворачивалась прямо на льду реки.

По самой реке, хотя она и брала начало в Оренбуржье, хлеб не подвозили. Только дважды, в 1851 и 1852 годах, по весне спустили несколько барж из Бузулука и Борской крепости. Мельничные плотины, мелководье, большая извилистость мешали судоходству. И дело не пошло.

Но река Самара, как могла, помогала людям. Она вскрывалась на две недели раньше Волги, ледоход короткий — менее трех суток. В верховьях было много плотин. Талые воды через каждую из них спускали постепенно, по мере накопления. Далее, в средней части реки, равнинной и извилистой, течение прибавало лед к берегам, ледоход наблюдался только в устье на протяжении около пяти верст. Если суда зимовали на реке Самаре, их можно было сразу ставить под погрузку. И, как только очищалась от льда сама Волга, отправлять в рейс. Это бывало, как правило, в первой половине апреля, когда верховые суда только спускались к городу Самаре.

А первый хлеб всегда был дороже.

Это преимущество быстро оценили местные купцы. Они успевали сделать за навигацию до Рыбинска на два-три рейса больше, чем другие...

### Глава 3. К истокам

С тех пор, как мой внук, приехавший из Москвы, узнал, что я собираюсь сплавиться по Самаре, спокойная жизнь кончилась.

У него роились в голове свои планы.

— А давай... — и он начинал перечислять, что мы должны взять с собой, что сделать...

— Весь в деда, — смеялась жена.

Он даже завел записную книжку для этого. Семилетний возраст, видимо, давал ему полную уверенность, что я непременно возьму его с собой.

— Бинокль, дед, у меня есть, маленький. Я тебе его могу дать. Он раздвигается. Плавать умею.

Или вдруг загорелся:

— Надо тент для лодки сделать. Я знаю, как! И от солнца, и от комарищев! А давай мы возьмем толстую мою тетрадь и все туда запишем, что с нами будет! Каждый день с утра до вечера! Всех, кого увидим, любую букашку — запишем в тетрадь.

— Как же я не догадался? Конечно, надо это сделать.

В конце долгих деликатных переговоров было условлено, что, возможно, сын и внук встретят меня у поселка Красная Самарка, который стоит в четырех километрах от Утевки, и дальше поплывем вместе.

\* \* \*

В начале марта Анатолий Березин позвонил мне и объявил, что пора готовиться к походу. И начались неторопливые сборы, прелесть которых понятна только людям, зараженным сладкими недугами: рыбалкой и охотой.

Оказалось, что моя одноместная самодельная лодка, по мнению Анатолия, не подходит для нашего плавания.

Мы съездили с Анатолием на рынок и, не найдя подходящей, вроде бы, удачно сговорились с одним из местных умельцев. К маю нужная лодка была обещана.

\* \* \*

Поход начался от подъезда моего дома на Волжском проспекте города Самары утром девятого июля. Поочередно захав за всеми членами нашей команды, основательно загрузи-



ли микроавтобус «Газель». Стратегия относительно поклажи и запасов еды была проста: раз уж у нас есть техника и нам не надо добираться поездом — берем все необходимое, разумеется, в разумных пределах, чтобы в походе совершать вылазки в населенные пункты только за водой и хлебом.

Мы отправились во вторник, потеряв субботу, воскресенье и понедельник — и все оттого, что на эти дни пришелся пик известного Грушинского фестиваля. Анатолий должен был быть там. Оказалось, что он один из тех специалистов, которые вот уже около двух десятков лет отвечают за звукорежиссуру.

Потеря этих трех дней была для меня большой досадой, ибо в запасе оставалось всего восемнадцать суток моего отпуска, которые я и так-то еле-еле выкроил для похода.

— Стоит ли держаться за Грушинский, ведь попса одна осталась? — пытался я спасти свои три дня. — Неужели это вам так важно? Да и платят-то поди с гулькин нос...

— А мне память дорога. О Валере и о нас всех. Я ведь Грушина знал, еще когда он занимался у меня в секции туризма. Я вообще-то сказал Борису Кейльману, что, наверное, на следующее лето буду в последний раз на «Грушеньке» заниматься звуком. Через год — тридцатилетие фестиваля. А там посмотрю.

Я встречался с Березиным во время подготовки к походу три раза: когда заказывали лодку и два раза потом, когда ее выкупали в Смышляевке у того самого умельца с рынка, оказавшегося изрядным пьянчужкой.

Когда приехали за лодкой, тот вначале никак не мог признать в нас заказчиков. Но потом, разобравшись что к чему, разводил руками и обезоруживающе невинно бубнил:

— Б-б-бери, земляк, любую, раз так быстро надо, любую... потом разберемся, пыняешь...

К концу нашего с ним общения он завалился между двух лодок и пытался вести разговор уже оттуда.

Любая лодка была не нужна, а нашей не было. Через неделю мы должны выезжать, и надо было исправлять ситуацию. В конце концов удалось найти какого-то дальнего его родственника, весьма интеллигентного на вид. Он пообещал лодку отыскать, закончить несделанное и через три дня отдать.

— Вот видите: все устроилось, — говорил мне Анатолий. — Все хорошо, не надо было отдавать аванс — глядишь, и не напился бы. Но он заверил, что необходимо покупать материал, я и дал ему ваши деньги.

Я кивал согласно головой, лишь только, чтобы Анатолий успокоился, а сам недоумевал: можно ли за три дня сделать хорошую лодку?

Сомнения оказались оправданными. Но это стало очевидным на реке...

...Сидя в «Газели», я приглядывался к своим спутникам. Коренастого, невозмутимого Константина Баруздина пригласил я, зная, что он хороший фотограф.

И Константин с удовольствием согласился: оказалось, что он давний любитель туристских походов.

С двумя остальными я не был знаком. Один из них, Борис, был тот самый глухой и почти слепой спутник Анатолия, с которым мы его видели в первый раз на реке. Другой — Юрий Грачев, худенький и низкорослый, похожий на муравья, с белесой бородкой и голубыми глазами, по словам Анатолия — опытный турист.

— Я взял его еще и потому, что он неплохо видит. Правда, у него прошлым летом был инсульт. Он на инвалидности.

«Ничего себе, — подумалось мне, — команда собралась...»

Водитель Саша попросил у меня еще за неделю до поездки карту, которую я, по примеру Анатолия, склеил из карт Самарской и Оренбургской областей.

Карта получилась красивой. Я обозначил русло реки Самары со всеми ее притоками от истока до устья голубым фломастером, а населенные пункты — светло-желтым. Получалось, что река, как голубая светоносная артерия, объединила огромное количество населенных пунктов. А рядом с ней пролегли железнодорожная (Самара-Оренбург) и автомобильная магистрали.

...Конечно же, водный турист я никакой. Да никогда и не собирался им быть. Когда Анатолий заговорил о предстоящем сплаве, я, привыкший к упорядоченности во всем, что касается командных действий, предложил:

— Очевидно, чтобы было больше порядка, надо выбрать старшего.

Анатолий ответил сразу и категорично:

— Я подбираю команду. Я — самый опытный среди вас и есть старший.

Это меня и удивило, и порадовало. «Командор!» — отметил я про себя.

\* \* \*

В свои пятьдесят с лишним лет я побывал в пятнадцати странах мира. В одни города и страны меня заносило из любопытства, в другие — по служебной надобности. И каждая поездка давала повод для размышлений на самые неожиданные темы. Не обходилось и без приключений.

...Желая почувствовать то, что творится с нашими русскими при игре в рулетку, помня страсть к этой игре Федора Михайловича Достоевского, еще пятнадцать лет назад в игорных домах Монте-Карло я наблюдал несколько раз игроков. И сам пытался играть, но удовольствия получил не больше, а может, и меньше, чем от игры в волейбол под палящим солнцем на берегу океана на пляжах Рио-де-Жанейро с местными бразильскими парнями.

Правда, итог той игры на пляже был грустный: нас обокрали. Мы с приятелем остались в одних шортах и почти без денег...

...В Милане, в гостинице на прикроватной тумбочке, забыл я подаренный мне Василием Ивановичем Беловым с дарственной надписью томик его «Вологодских бухтин». Я иногда фантазировал: что бы сказал Кузьма Иванович Барахвостов, будучи со мной в Милане? Что дало бы в этом случае вечное противостояние между городом и человеком, да еще таким, как Барахвостов?!

Восхитился бы он городом известных бессмертных памятников? Подметил бы длинные водостоки крыши церкви св. Амброзио, и высокие шпили Дуомо, гордости не только Ломбардии, но и всей Италии?..

Он бы, наверное, увидел то, чего я не заметил...

Какими бы они, Барахвостов и другой герой Василия Белова — Иван Африканович, стояли перед Тайной Вечерей великого Леонардо?

...В каких бы заповедных залах я ни был, всегда хотелось после них попасть в свободный поток вершившейся сиюминут-

но жизни. Туда, где человек предоставлен сам себе, где живет не по этикету, а как хочет и может. Тянуло под открытое небо. И мне несколько раз удавалось это сделать.

Так было, когда мы плавали с компанией парижан по реке Сене мимо Лувра, собора Парижской Богоматери. Нечто похожее было и во время путешествия по немецкой реке Изар на нашем, искусно и прочно сработанном из сосновых золотистых бревен плоту, в кругу шумливых немцев, как осы облепивших бочку с баварским пивом...

...Я поражен был, увидев в Германии почти такие же, как на моей родине, березы. Долго ходил вокруг них, недоумевая: почему они здесь, ведь березы должны быть только у нас, в России?

...И в нью-йоркском пригороде Блумфельде я обнаружил в небольшом парке три березы. Они несколько отличались от наших. Американцы зовут свои березы «серебристыми». Наши березы — белые. На самом деле они почти одинаковые.

Эти неупорядоченные воспоминания во мне сидят прочно. Я даже собирался их подробно записать. Но все они меркнут перед встречами и впечатлениями, которые были у меня во время путешествия по реке в лесостепной и степной моей Самарской сторонushке.

#### **Глава 4. У истоков**

...Слева от моста через Самару на станции «Переволоцкое» мне приглянулось местечко, где захотелось остановиться. Ширина быстрого мутно-желтого потока — метров пять-шесть. Берега высокие, обрывистые, местами до трех метров. Течение норовистое, русло извилистое. Не река, а ручей, но мощный, как крепко и надежно скрученный жгут. Этот жгут так своеволен, что может и свернуться, и расправиться неожиданно, подчиняясь своим, только ему понятным желаниям.

Река-ручей, насколько вверх и вниз доставал глаз, укрыта была зарослями. Клен, ветла, ольха, осинник надежно прятали животворный поток от палящего солнца. Лесная полоса, извивавшаяся на всем протяжении нашего семичасового пути вдоль реки с обеих сторон ее, четко обозначала речной путь, уходивший за нашими спинами в северо-западном направле-

нии, к Волге. «Но не на север стремится река, а вместе с Волгой — на юг. Не оттого ли она так изначально смугла и темпераментна», — подумал я.

Мы вышли из автобуса. Прошли чуть вверх по течению метров тридцать и увидели внизу, у воды, в конце тропинки, извилисто спустившейся с травянистого высокого берега, рыбака. В ногах у него — три поплавочные неказистые удочки из тальника длиной всего метра по два. Поплавки — из ветловой коры.

Самара, извиваясь, делала до и после этого укромного местечка резкие повороты. Вода пенится, течение стремительное, быстрое, а он у маленькой завадинки, у омутка, спокойно сидит себе, покуривает.

— Как рыбалка? — спросил я и, спохватившись, добавил: — Добрый вечер.

Старик повернул бородатое, темное от степного солнца лицо с детскими синими чистыми глазами.

— Только пришел. Вон, одного поймал.

— Посмотрю?

— Смотри, коль охота.

В холщовом мешочке, надетом ручками на коряжинку в воде у его ног, оказался желтый карась граммов на триста, не менее. Он затрепыхался, когда я приподнял мешочек, смешно чмокая губами.

Я был удивлен. Караси обычно водятся в озерах. На Самарке карасей мы использовали в качестве наживы. А ловили их в водоемах со стоячей водой.

Я высказал свое недоумение вслух.

Старик отозвался:

— У нас тут так. Мой свояк вчера, вон повыше, где плотинка есть и воды поболее, поймал утром двадцать таких, не вру. Там вода теплее.

Я взял карася в руки. Опасаясь, что упругий красавец вмиг может спружинить и оказаться в воде, я повернулся спиной к речке, и солнце осветило это неожиданное чудо. Красные его перья и золотая чешуя, покрывающая крепкое тело, заиграли в лучах летнего солнышка. Я приподнял карася над головой, показывая его своим спутникам, стоящим наверху.

— Ребята, это же золотой приз за нашу решимость сплавиться именно отсюда, где так узко!

Мои спутники заулыбались.

Когда осторожно положил рыбу в мешок, спросил:

— На червя берет?

— Не-е, на хлеб, и только на белый.

Я спрашивал, желая продолжения разговора, о рыбалке, хотя и понимал, что рыбаку это помеха. Какое ему дело, что мы соскучились. Мало ли всяких чудаков. Но он приветливо отзывался. И его замечательный улов, и добродушие показались хорошим знаком.

Река увиделась тут домашней и своей, только в несколько раз меньше, чем я ее знал. Она была похожа на подростка. Это было непривычно.

Я пожалел, что мой внук Саша не с нами.

— В первый раз видишь такого?

Я повернул голову — старик смотрел снисходительно.

Спустился к воде и Анатолий, потрогал ладонью карася.

— Хорошая добычка!

— И то, — согласился старик.

Анатолий сходу начал:

— Помните, как говорил Аркадий Райкин: эпоха была жуткая, время мерзопакостное, но рыбка в Каме водилась! Так, кажется. Это и про Самарку тоже. Вот мы с Борисом, вернее, он, два года назад под Тоцком во время сплава поймали щуку на блесну, ну, небольшую, кэгэ на два. Потрошить стали — нашли зажигалку. Помыли, посушили — работает нормально. С бензином была.

— Сказки рассказываешь, — обронил рыбачок и засмеялся.

— Нет, — роясь в карманах, отвечал Командор. — Она у меня с собой, вот только, наверное, в рюкзаке лежит. Теперь постоянно в походах при мне.

Старик больше не реагировал на слова Березина, а тот продолжал:

— А в другой раз в полутораметровой щуке, пойманной на Сорочинском водохранилище, в брюхе обнаружили полуметровую.

— Ну, эт-т бывает, эт-т сколько разов, — тихо согласился старик, не оборачиваясь. После добавил: — Вам выше по течению забираться не надо. Там плыть нельзя — сплошные завалы.

Мы почувствовали, что рыбачку все-таки мешаем, и пошли к машине.

— Старик прав, мы так далеко забрались. Я ни разу отсюда не сплавлился — всегда сплошные коряжины были, — подтвердил Березин.

К «Газели» подъехал на бойком, низкорослом кауром меринке калмыковатый всадник-пастух и тут же, узнав, что мы собираемся сплавлиаться, вызвался показать родник, чтобы сделать запас воды.

Попрощались с водителем Сашей и вскоре его беленькая машина, мелькая в осиннике и высокой траве, скрылась из глаз.

Мы начали распределять багаж, натягивать самодельные тенты на лодки, чтобы утром отчалить.

Но место было, как нам показалось, не очень уютное: заросли кустарника, высокая трава на берегу речки, крутые подходы к воде. Хотелось ночевать так, чтоб был рядом речной песочек, плес и поменьше комаров. Чтобы была не духота, а легкий ветерок на просторе.

Когда лодки оказались вполне готовыми, я предложил начать сплав.

— Всего девять вечера, часа два можно плыть, за это время выберем хорошее место для стоянки. Да и опробуем лодки...

...Хотя мы и забрались далеко в верховье реки, но все же значительная часть Оренбуржья — около пятидесяти километров от села Переволоцкое до Кариновки — к сожалению, оставалась за нашими спинами. Там-то, у Кариновки, на равнине и начинается река Самара...

Мы дали себе слово, что на следующее лето обязательно побываем у истока нашей реки.

За спиной оказались и единственный в России Заповедник Степи, и соленое озеро Развал, по концентрации солей идентичное Мертвому морю в Палестине, и многое другое...

\* \* \*

Едва мы оттолкнулись от заросшего густой высокой травой и камышом берега, быстрый поток подхватил наши лодки. Грести веслами нельзя — не успеваешь принаравливаться, своенравный пенящийся поток крутит лодки. Пытаешься веслами бессистемно выправить движение, но бесполезно. Нависшие

деревья и кустарники хватают ветвями лодку, плечи, голову. В воде много коряг. Меняющаяся глубина: от «по колено» до полутора-двух метров. Водовороты играют с лодкой, как с оброненным птичьим пером.

Раздался хлопок — лопнула перегородка у моей лодки. Невольно вспомнился умелец-пьянчужка.

Но это не остановило. Хотелось плыть!

Мы прошли два завала.

Первый завал Константин, стоя по пояс в воде, прорубил топором. Три осины толщиной у комеля сантиметров по тридцать, обрубив сучки, мы прижали к берегам и закрепили свисавшими к воде ветками. Другой — разобрали, выбравшись на берег и сплавив застрявшие бревна длинными кольями.

Непривычно видеть такое на реке: у завалов греются на солнце огромные листья белой кувшинки. Между ними проглядывают яркие звезды цветков. Такое у нас в Заволжье бывает только на озерах. В жаркую погоду кувшинки обычно широко раскрыты, а вечером плотно смыкаются. Так растение бережет тепло.

А рядышком его скромная сестра — желтая кубышка. И надо всем этим по берегу — частые султанчики рогоза...

Третий завал, имевший проход с метр шириной, мы прошли, не выходя из лодок, но на таком же, четвертом, лодку нашего Командора проткнула коряга.

Одна секция лодки «стравила», часть продуктов ушла под воду, часть удалось спасти, все намокло.

Выбрались на берег.

Неутомимый Константин, вернувшись из разведки, сообщил, что впереди метрах в пятидесяти от нас — еще два завала.

— Там такие коряги нанесло, что их сразу не разобрать, лучше обойти по берегу.

Уже втроем — Командор, Константин и я — обследовали ближайший завал.

— Была бы лебедочка, все бы растащили, — убежденно говорил Командор. — Зря не взяли.

Было уже совсем темно.

Решили сделать привал. Вытащили лодки на берег. Место оказалось заросшим густой, высокой травой с несметным количеством комаров. Стоянка оказалась такой же неудачной, как та, от которой уплыли, если не хуже.



Помогая Командору вытаскивать лодку и мокрые вещи, Константин недоумевал:

— Анатолий, в чем дело, коряга, которая пропорола вашу лодку, торчала посередине на самом виду, да еще она белая, как сабля? Можно было увернуться.

Командор молчал.

Только потом в сторонке Юрий вполголоса пояснил:

— Они же оба с Борисом в сумерках совсем ничего не видят. Все на ощупь да по догадкам.

Пока вытаскивали лодки, наспех разбирали поклажу, готовили ночлег, наступила полночь. Костер мы все-таки развели и отметили начало сплава спиртом с какими-то непонятными по вкусу, но весьма полезными, по заверению Юры, добавками из его алюминиевой битой баклажки. И легли спать.

Я и Борис устроились в своих палатках, остальные — в лодках. Как я ни уговаривал, Командор улегся в лодке. Хотя он ее и основательно протер, но она все же была влажной. Переубедить его было невозможно. Свои привычки, как мы уже поняли, он менял редко.

...Не спалось. Будто «заплыл» в детство.

Вышел из палатки, вернее, выполз — палатка настолько миниатюрна, что вход, закрывающийся на молнию, высотой не более полуметра.

Под комариный гул, раздевшись догола, выкупался в парной водиче. То стоя по колени в воде, то падая в ямы по самый подбородок, смотрел на небо, отяжелевшее от огромных звезд. Было в происходящем что-то древнее, дремучее. Возвращение блудного сына, уставшего от многолюдья в больших городах.

Мелькало в памяти совсем недавно прочитанное и в суете, в роде, забытое:

*Недаром в потаенной глубине,  
И вовсе не по прихоти искусства,  
Живут непредсказуемо во мне  
Забывшие языческие чувства.*

«Мы забыли, кто мы. Нам помогают забыть, кто мы. Мы оторвались от природы. Человека зомбируют, скоро будут, пожалуй, и клонировать... В человеке разжигают страсти, — думал я, путаясь в мыслях. — А где страсть — там разрыв. Страсти

не соединяют людей. Где страсть — там нет свободы. Сейчас в стране — разгул именно страстей, разгул темной силы, дьявольски срежиссированный кем-то...»

...Дурманил запах невидимых глазу цветов и трав.

Все пытался отогнать тяжелые мысли, внезапно пришедшие при купании. Хотелось, чтобы было все, как в детстве. Вот ведь все рядом: речка, бесконечная степь, запахи цветов и трав. Что еще надо?..

«Ведь и раньше, в моем детстве, темные силы были, да еще какие. Именно тогда, когда я был маленьким, они и родились. Или еще раньше. Они были всегда. Только мы в детстве не знали это так, как знаем сейчас. Мы просто жили, и все. И мои родители, и родители моих сверстников, в большинстве неграмотные, они не знали так, как мы это сейчас знаем. И жили себе, как могли, радуясь жизни...»

Жили радостней, жили коллективней, а теперь начинаем не понимать самих себя.

«Современный коллективизм — это последний барьер, который возводится человеком на пути встречи с самим собой», — утверждал еще пятьдесят лет назад Мартин Бубер.

Неужто действительно так?

Уединение лечит, когда самыми тяжелыми формами одиночества страдают те, кто находится среди людей?

Может, для сохранения здоровой психики необходимо чередовать общение с себе подобными и погружение в себя. Но как это сделать в наше-то время?.. Может, так, как я сейчас, вырвавшись к своей речке?.. Как мне повезло с моим походом...»

...Под утро странный звук — металлический и резкий вначале, потом рыхляющий, но быстро усиливающийся и разрастающийся вширь неимоверно, надвигался на мою палатку. Я лежал, пытаюсь понять, что происходит: откуда этот звук? Похоже, он принадлежал огромному механизму, который вот-вот подомнет меня под себя. В какой-то момент показалось, что это отдаленно похоже на звук проходящего мимо поезда. Но почему он так упрямо идет на палатку?

А что, если не выскочу? Не будет ли это непростительной оплошностью, которую потом ничем не объяснить и которая будет стоить мне слишком дорого?

Я рванул «молнию» и раскрыл выход.

В тот момент, когда я оказался снаружи, звук значительно стих, но был все же силен. Конечно же, это звук от проходившего где-то в двух-трех километрах от речки поезда. Но почему он был все-таки таким устрашающе громким, бесформенным и будоражаще близким?

Я огляделся. Туман и роса неимоверные. Палатка снаружи вся мокрая.

Все вокруг: уходящая от меня, от речки в сторону железной дороги степь-матушка, сама речка в трех десятках метров, вытянувшийся влево-вправо лесок вдоль нее — все тонуло в тумане. Все было размыто в белесо-сине-зеленом. Такого я никогда прежде не видел. И солнце показалось из-за леса, словно выплавок-яйцо, снесенное без скорлупы.

Утренний туман, низина и намокшая палатка, очевидно, создавали такой звуковой эффект.

Потом все подтвердили, что вскакивали ночью от странного шума. Все, кроме глухого Бориса.

Я вновь залез в свою палатку. Там уже хозяйничали с десятков комаров. Они и определили мой дальнейший суматошный сон.

Разбудил меня крик перепела — настоящей птички-степнячки: «Встать пора... встать пора!..»

Я нашарил в изголовье фонарик-«жучок». Посветил на часы — было четверть седьмого. Встал, как велела птичка, вернее, вывалился из палатки. Туман стал реже, но было очень зябко. Дождь затих. Трава отяжелела от росы.

Осторожно пошел в направлении островка густого ковыля, откуда доносился голос птицы. В сладострастном томлении вожделенно вел свою звучную, чистую, мелодию невидимый мне в траве перепел.

— ...Встать пора... встать пора... — призывно продолжало звучать в утреннем вольном воздухе под открытым утренним небом.

Вожделение, с которым перепел призывал к себе подружку свою, было и во всем окружающем. Слоистый туман, разнеживший ковыльную равнину, ложбинка слева, собравшая в себя отяжелевший увлажненный синеватый воздух, древесная, зримая, волнующая плоть раскидистых ветел и стройных осокорей, чуть поодаль от них трогательно-трепетные, белоствольные, будто нагие березки — все было открыто по-

утреннему чувственному приятию продолжения жизни. Все желало оставить себя в потомстве... в жизни... в вечности...

Я знал с детства, что перепела любят скрытно держаться в траве. Летают редко — им лучше убежать в траву, поэтому-то не очень ожидал увидеть птицу. А хотелось. Я боялся, что могу наступить на гнездо в высокой траве, поэтому шел медленно, ожидая каждый момент внезапного резкого вертикального взлета птицы, так она обычно делает в момент явной опасности.

Мне показалось, что я видел что-то, мелькнувшее в траве. Комочек охристо-буроватой окраски скрылся быстро и бесшумно.

— У меня в детстве дядька охотился на перепелов, он в Курской области жил. Их и разводят дома. Некоторые — для пения, другие — из-за очень полезных перепелиных яиц. Они очень сильно влияют на умственное развитие детей, — проговорил Юрий, когда я вернулся к палатке.

— Тебя, Юра, в детстве такими яичками кормили, да? — не удержался Костя: уж очень удобный момент для шутки.

— Ага, — согласился Юра. — Кстати, тебе за сорок, имей в виду: содержимое перепелиных яиц способствует оздоровлению и улучшению работы предстательной железы, лечит импотенцию, а также сердце, печень, почки, поджелудочную железу.

— Жалко птичку, — отозвался Константин. — Птичка поет, а вам бы лишь съесть чего-либо. Желудочки вы, а не лирики.

Они еще что-то для разминки, видимо, слежавшихся за ночь мозгов говорили друг другу, но я уже не слушал их. Нырнув в палатку, пытался разобраться в своих вещах. Вспомнить, в каком рюкзаке что лежит, в первый день похода было непросто.

## **Глава 5. Завалы, завалы...**

Когда собрались все вместе у костерка, возник вопрос: как поступить? Ждать солнца, сушиться и сплавляться по воде дальше, прорубая завалы, или обходить их по суше?

Пока грелся чай, мы с Константином пошли посмотреть обнаруженные впереди завалы. Они оказались настолько мощными, что было очевидно: рубить их — только терять время.

Лесины лежали поперек речки. Четыре штуки, и каждая не менее тридцати-сорока сантиметров толщиной, кроме того, та-

кое нагромождение веток и коряг, что разбирать их в воде пришлось бы очень долго.

— Смотри, это же все искусственное, — воскликнул Константин. — Смотри, что они вытворяют!

Он показывал на три пенька, белеющих в кустарнике, откуда упали большущие осины.

Они торчали из земли, как заточенные толстые карандаши, а рядом — комли осин, образующих завал. И они с конца имели форму заточенного карандаша. Будто кто-то громадной точилкой прошелся или обрезал на конус на огромном токарном станке.

— Бобры, — высказал Константин вслух очевидное.

— Да, бобры, — согласился я.

И как искусно все сработано! Деревья уложены одно к одному поперек реки. Осина, которая повалена с противоположного берега, тоже лежит аккуратно, как и эти — поперек русла.

— Мы их не перебором, — произнес Константин. — Их тут, наверное, тьма, а нас — только пятеро. И на всех — два топора.

Было ясно: пока русло Самары значительно меньше в поперечнике, чем высота деревьев, растущих вдоль реки, запруды будут нам преградой.

После такого нехитрого вывода стало ясно, что мы забрались действительно чересчур далеко в верховье и нормальный сплав будет, когда речка вырвется из бобровых владений.

...У следующего завала мы увидели этих диковинных и умных зверей. По всем признакам, они занимались строительством запруды. Близко подойти не удалось. Заслышав шум наших шагов, они не спеша ушли под воду, и нам оставалось только рассматривать плоды их усердной работы — массивную запруду из таких же осин, как и в предыдущем завале.

На берегу обнаружили кучи сушняка, колмики из земли и песка. Было ясно, что все это дело лап и зубов наших новых знакомых.

Позже, после похода, я с интересом читал все, что смог найти о бобрах.

У поваленного дерева они отгрызают ветки и разделяют на части. Одни ветки поедают на месте, а другие уносят и сплавляют по воде к жилищу или к месту строительства плотины. Дерево диаметром 10-12 сантиметров бобр валит и разделяет

за одну ночь, так что к утру на месте работы зверька остается лишь пенек и куча характерных стружек.

...После второго завала, пройдя с Константином по суше метров пятьсот, мы обнаружили еще три подобных запруды и решили вернуться на стоянку.

После нашего доклада Командор определил:

— Надо искать грузовик в селах, грузиться и ехать до Гамалеевки, после этого поселка точно завалов нет. Мы слишком далеко забрались в верховье.

Решили, что искать машину отправимся мы с Константином.

Солнце уже пригревало ощутимо. Договорились, что в наше отсутствие они втроем подсушат вещи, вынесут их на опушку леса и будут дожидаться нас.

Мы переоделись в сухое, попили чаю с печеньем и отправились в путь.

И степь-матушка приняла нас. Растворила в себе.

Я постоянно оглядывался назад, в ту сторону, где была река, где остались наши спутники. Все старался зафиксировать взглядом какую-либо приметку, по которой можно было бы определить на обратном пути, где наши товарищи. Но взгляду не за что было зацепиться: однообразная волнистая поверхность была вокруг.

А за рекой поднимались довольно высокие холмы, по ним змейками тянулись лесные полосы.

Напротив того места, где был наш первый привал и, которое я уже еле угадывал, за рекой холмистая местность прерывалась, образуя среди леса низкую пролысину. Это место я и взял на приметку.

Кругом пестрело от разнотравья. Все перемешалось: красноватый ковыль, тысячелистник, полынь, василек, шалфей.

Здравствуйте, давние знакомые! Цветы зазывают остановиться, приглядеться, приняться к каждому. Настой запахов таков, что порой невозможно выделить какой-либо.

— А вон пижма, рядом медуница, Иван-чай, чертополох, подорожник, дикая мальва, татарник, — перечислял Константин.

Песня цветов чудесным образом была разлита вокруг нас, и тихий восторг переполнял душу.

Вокруг, словно в далеком детстве, искрился мир, полный новизны открытий, света и теплоты... Не хватало рядом только

деда, мамы, сестреноч... И еще я все искал глазами где-либо свои особо любимые цветы — желтенькие, беленькие, фиолетовые колокольчики. Но этих милых спутников моего детства не было. Не их время — лето уже в разгаре.

Мой спутник опускается в благоухающее царство, стоит на коленях. Над ним, около него порхают разноцветные бабочки.

— На, — протягивает мне фотоаппарат. — Щелкни пару раз, пожалуйста.

Он сидит в траве, похожий на большую древнюю, давно исчезнувшую птицу и вот в этой сказке вновь обьявившуюся, и удивляется тому, что все реально, как раньше. Все, как в прошлом. И нету этому миру и этому цветению конца и края. Все вечно и остается навсегда. Нас не будет, наших потомков не будет, а это чудо — степь-матушка русская будет вечно!

А может ли так думать человек-птица, сидящая передо мною в этом райском уголке?

— Может, может, — говорю вслух, и Константин глядит на меня, недоумевая: я говорю сам с собой в этом благоуханьи воздуха и света.

Пожалуй, впервые тогда, как нигде, я благоговейно ощущал божественность мира...

...Мы отделились от реки, наверное, уже километров на пять, поднимаясь все выше и выше. Открывшаяся перед нами степь не давала оторваться взгляду.

...Этот край заселяли смелые люди. Открытые пространства, снега и лютые морозы зимой, суховеи летом, набег ордынцев — все требовало характеров твердых и решительных.

Еще до нашего похода я прочитал у Бажанова в книге «Вольный город пионеров Дикого поля», что многочисленные стада сайгаков, диких лошадей, а позже и одичавших лошадей домашних пород поселенцы отстреливали порой не только ради мяса, но и для защиты посевов хлеба. В пойме Волги, Иргиза, Самары, Сока и других рек водилось множество водоплавающей дичи: несколько видов уток, гуси, даже пеликаны и розовые фламинго. В степи стреляли стрепетов, журавлей, перепелов. А «русского страуса» — дрофу, чье мясо высоко ценилось, пытались даже одомашнить.

Теперь этот край был перед нами.

...Сказочный, космический по своим масштабам пейзаж. Остро ощущаешь себя малой частичкой огромного, сотворенного Богом на радость мира. Благодатно на душе.

Для русской духовности горы, видимо, не самая родная стихия. У русской души неутолимая, связанная с желанием обрести покой, тяга к степному простору...

Мы вышли тогда на крепко утоптанную, песчаную дорогу с двумя машинными колеями и муравой посередине.

Брели по ней около часа и оказались у очистных сооружений села Переволоцкое. Вскоре мы уже пили чай в комнатке дежурного насосной станции.

Наш новый знакомый Володя, узнав, кто мы, охотно пообещал нас отвезти до Гамалеевки на бортовом «братнином» КамАЗе. Но надо узнать: дома ли жена брата, у которой ключи от машины (брат приболел, лежит в больнице). И, пока Владимир нас будет возить, надо было, чтобы кто-то его подменил.

— Скоро приедет начальство, я как-нибудь улажу это дело.

Отсутствовал он недолго. Вернувшись, сказал, что все складывается удачно.

Мы покинули помещение и присели в тенечке на крылечке. Марило так, что хотелось лечь и не двигаться. Стоял полдень. Большой двор с разбегающимися полукругом свежими валками скошенной травы залит солнечным светом. Над головой висит, словно на невидимой нитке, пустельга. Праздно у стены стоит коса с поблескивающим металлическим черенком и приваренной подковой вместо окосива.

— Да, такой косой много не накопишь, — говорю я.

— Дак нам много и не надо, — весело отзывается Владимир. — Начальство вот определило нам кулигу, — он махнул рукой в сторону валков, — и — хорош... «А струмент сами гоншите», — так приказано. Оно, начальство, у нас молодое, да строгое, увидите.

Попробовал покосить, вспомнив всегдашнюю легкую радость, которую испытывал вначале косьбы, держа в руках отцовскую легкую, выверенно насаженную, с ловким, вязовым окосивом, косу.

«Струмент», конечно, был не тот. Быстро уступил его Константину. Пошел в помещение конторы посмотреть, где при-



ютилась ласточка, которая бесстрашно сновала над нашими головами.

Ласточкино гнездо прилепилось в раздевалке, в углу под потолком, прямо над шкапами. Чтобы попасть туда, ей приходилось пролетать по узкому коридору метров десять. Отчаянная.

Когда я вышел во двор, Владимир рассказывал Константи-ну, как он ловит сазанов в Самаре.

— Эitto вы зря не ловите, особенно ночью...

— Ну да. Мы вчера вечером одурели от комаров...

— Эitto да, — согласился рассказчик. — Но надо в штанах и рубахе, одетому. Так и рыбу собирать лучше.

— Чем ловить-то одному ночью? — интересуюсь я.

— А вот! — Он растопыривает пальцы обеих рук. — Ручками!

— Чудно! — недоверчиво восклицает Константин.

— Ага, чудно, — соглашается Владимир. — Но результат! Вот смотрите!

Он оттягивает тугую резинку и закатывает штанину, оголив ногу выше колена. От самой ступни она вся в ссадинах и порезах.

— Это они — сазаны, я их кладу в шаровары, больше некуда, когда ловлю.

— Ловишь-то как? — не выдерживает Константин.

— Ну как, сказал же: руками. В коряжках стоят. Надо замереть. Они к тебе привыкают, как к дереву. Потом — хоп, ладошками ко дну прижимаешь — и все!

— Ширина-то речки всего пять метров! — говорю я.

— А где ж ее шире взять-то? Какая есть. Это у вас там Каспийское море.

...Приехавшее начальство — молодой крепкий парень — оказалось редкостно строгим.

Не вступая ни в какие переговоры, поигрывая внушительной связкой ключей, оно потребовало немедленно «очистить территорию».

— Наверное, освободить, — попытался уточнить Константин.

— Как хотите, а чтобы вас не было здесь, посторонних! А тебя, Владимир Иванович, накажу. Везде норовишь на свой карман заработать...

— Игорь Петрович, нехорошо. Они люди не просто так. Они аж в город Самару плывут, смекаешь?..

— Накажу!..

Чтобы хоть как-то отвести угрозу от Владимира, потихоньку «очистили» территорию. Двухчасовое ожидание оказалось напрасным.

...Машину, бортовой ЗИЛ, нашли только около трех часов пополудни. Владелец ее, подрабатывающий частным извозом, долго не соглашался, пытая нас, кто мы такие и куда плывем?

— Чудно, конечно! — делал он вывод. — Просто так три недели ничего не делать?

«И впрямь, — соглашался я мысленно. — Со стороны мы кажемся странными и подозрительными». Константин — дремучий на вид, огромная, черная, прямо-таки смоляная борода. Напугать любого можно. Очевидно, водитель оттого так долго и не соглашался ехать. Да и мой видок — тоже... Большая с широкими полями пятнистая шляпа, тельняшка и цветастый платок, схваченный узлом на шее. Прямо-таки персонажи «Острова сокровищ».

В конце концов за триста рублей мы сговорились.

## **Глава 6. Характеры**

...О нашем Командоре Анатолии Григорьевиче Березине, может, лучше не рассказывать, а привести отрывки из небольшой статьи в самарской газете «Свежий ветер» — «Самарский «левша» с душою романтика».

«...Кто он и кто его родители? Как случилось, что детский дом чуть ли не с самого рождения стал для него родным домом? — эти вопросы волновали Анатолия с тех самых пор, как он научился самостоятельно мыслить. Воспитатели рассказали ему, что в Новозыбковский детдом Брянской области его сдали в шестимесячном возрасте. В 1941 году детдом эвакуировали в Оренбург. Состав, в котором везли раненых солдат и детей, разбомбили, только десятая часть пассажиров в живых и осталась.

Толю нашли после бомбежки полумертвым. Тело мальчика, во многих местах изрешеченное осколками снарядов, еле подавало признаки жизни. И все-таки его выходили...

Закончив школу и выйдя из стен Оренбургского детдома, Анатолий поступил на завод рабочим. В свободное время увле-

кался фотографией. Однажды он принял участие в кинофото-конкурсе и победил!

Наградой стала рекомендация во ВГИК. Не мечтавший об этом престижном вузе и никогда о нем не слышавший Анатолий, тем не менее, поступил в него. Успешно закончил, получив специальность оператора-документалиста...

...И опять заболел. Настолько серьезно, что брянские врачи отказались его лечить. Анатолий совсем перестал ходить. Из-за атрофии зрительного нерва все хуже и хуже видел...

Но он не собирался сдаваться. Добился направления в госпиталь имени Бурденко. Там, просветив рентгеновскими лучами позвоночник Анатолия, медики обнаружили в нем три осколка от фашистских снарядов.

Он перенес две операции, из его позвоночника хирурги извлекли два осколка. С третьим Анатолий живет до сих пор.

Пока он лечился, от него ушла жена. Инвалид ей был не нужен.

Давно уже Анатолий, вняв рекомендациям столичных врачей, верящих в целительность средневожского климата, возвратился в Самару. Он, слава Богу, ходит сам. И ходит безо всяких там костылей. Вот только ничего почти не видит. Но Анатолий не одинок. У него есть друзья. И жена (нашлась-таки женщина, не побоявшаяся его инвалидности!). Да это и неудивительно. Ведь в чем-то Анатолию Григорьевичу могут позавидовать молодые и здоровые. Он, например, не пропустил ни одного Грушинского фестиваля.

...Много лет занимается изобретательством. На областной выставке «Левша», проводившейся в «Экспо-Волге», он был удостоен диплома и ценного подарка. Жюри отметило высокий профессиональный уровень представленных им изделий. Его приборы заинтересовали тогда многих. Например, мини-примус «Шмель», который работает на любом виде топлива».

...У меня хранятся записи из дневника Анатолия, сделанные одним из его товарищей после сплава «на резине» в 1999 году.

Они хорошо характеризуют и самого Анатолия, и его верно-го спутника Бориса, которого мы в течение всего нашего сплава звали Пятницей. Он не обижался, только неопределенно улыбнулся, когда мы ему об этом в первый же день написали на его рыжей коробке.

...Когда смотришь на Бориса, невольно вспоминается Николай Гумилев:

*В чащах, в болотах огромных,  
У оловянной реки,  
В срубках мохнатых и темных  
Странные есть мужики.*

Борис — из «странных». Он мало говорит. Если начинает разговор, то делает это так, как будто рассуждает сам с собой. Очевидно, ему так легче, он не слышит, что говорят в это время окружающие, не знает ответов.

В микроавтобусе он всю дорогу молчал. Темные очки скрывали глаза. В очках он похож на сову или филина. Мудрого и древнего.

Анатолий и Борис познакомились в клинике Бурденко. Борису пятьдесят лет. Зрение и слух потерял в детстве от взрыва найденного с друзьями снаряда. У него и левая рука повреждена.

Жена — слепая с детства. Полностью оглох Борис пять лет назад. После чего крепко запил. В первый год знакомства Анатолий предложил приятелю пройти на лодках по маршруту «Жигулевской кругосветки». Тот согласился. Очень понравилось. Пить бросил совсем.

С тех пор каждый год в майские праздники они идут этим маршрутом.

За лето преодолевают несколько маршрутов по разным местам.

— Это же тяжело! — недоумеваю я.

— Он очень вынослив, наш Боря, — утверждал Анатолий. — Знаете, в прошлом году перенес операцию, ему вырезали желчный пузырь, и на четвертый день он ушел в поход.

\* \* \*

Реальная опасность и успешное ее преодоление — действительно большая роскошь, ради которой стоило отправиться в подобный, как наш, поход.

В наш техногенный век, несущий множество неприятного человеку, есть островки первозданной опасности природной стихии, которые завораживают и притягивают. Это я почувствовал сам. И часто видел в нашем походе, каким задором ос-

вещались лица попутчиков в предчувствии нестандартных ситуаций. Хотя наш Командор и проповедовал неприятие авантюрных поступков...

Пятница же самые неожиданные ситуации воспринимал как неизбежные и невозмутимо их преодолевал.

Чем объяснялось это его внешнее спокойствие: отсутствием ли слуха и зрения? Умением все принимать как должное? Не знаю. Но мне с первых минут знакомства с ним показалось, что он все о нас знает. Ему ведомо наперед, что будет в походе, какими мы будем в нем. И даже после него...

## **Глава 7. Под Гамалеевкой**

Итак, мы миновали села Мамалаевку, Верхнюю Платовку и Покровку по воде. А под Новосергиевкой, не добравшись до правого притока Самары — Кувай, погрузили снаряжение в грузовик и, проехав по суше мимо Барабановки, оказались под селом Гамалеевка на высоком берегу реки.

В Новосергиевске есть краеведческий музей, и я жалел, что мы в суматохе дел не попали в него, хотя и намеревались в начале похода.

День оказался нелегким. Было жарко. Разгрузив машину, пошли с Анатолием в детский дом, в котором он когда-то жил. В большом просторном зале беседовали с ребятами. Анатолий вспоминал детство:

— Здесь мы начинали свою школьную жизнь, — волнуясь, говорил он. — В этом детском доме в семилетнем возрасте и начался отсчет моих пеших и водных походов. В течение трех каникулярных месяцев нас учили собирать грибы, ягоды и растения, пригодные в пищу. Учили самостоятельно готовить еду. Приучали нас и к работе. Пололи картошку, просо, заготавливали сено, дрова. Ослабленных малышней, которые не могли долго идти пешком, подвозили на бычьих упряжках. Во время походов спали на сеновалах, в шалашах, на чердаках. Иногда стояли очень жаркие дни. Но мы шли, плыли, работали, преодолевая трудности походного быта...

Поговорили с детьми, я прочитал им стихи. Ребята трогательно и внимательно слушали. Поражал дух коллективизма, царивший в детском доме. Ребятишки жалась ко взрослым,

особенно маленькие, которым по семь-восемь лет. Они ловили каждое наше слово. Мы были из большой, взрослой жизни и не совсем похожей на ту, которая была вокруг них. Провожали они нас дружной стайкой и все не хотели возвращаться.

...Ночевать мы расположились на высоком берегу реки, около огромной старинной ветлы. Повечерничали, когда уже от ало-золотого широкого края неба остался узенький ободок.

Самара здесь очень быстрая, но мелкая и узкая, не более десяти метров в ширину. Поплывать негде, глубина по пояс. Тем не менее я искупался и поспешил к костру.

Когда уже укладывались спать, на том берегу в подбугорном леске, в осокорях, где еле просматривались в сумеречи сухие сучья, заворковал витютень. Совсем как в детстве!

Витютня не было видно, но его унылая вековечная песня, его грудной стон густо разливался вокруг.

Мне еще с детства казалось, что эта красивая и сильная птица, дымчатый сизарь с красными ножками, всегда на что-то жалуется. Будто он и не поет вовсе, а завывает. Хотелось пожалеть его.

Я пробовал несколько раз, когда жил у своего деда на бахче, приблизиться к дереву с сухими сучьями, где часто сидел витютень. Но он каждый раз с шумом, хлопая крыльями, круто взлетал вверх. И быстро исчезал.

Витютни обычно кормятся на хлебных полях. Мои дядья-охотники били эту птицу, как правило, затаившись в лежанке на пути перелета. Стреляли влет.

Я ни разу не добыл эту птицу. Вначале это было для меня непростым делом. Потом, повзрослев, понял, что не пересилю себя — не нажму на курок. И уже не делал попыток.

...На том берегу, левее осокорей с витютнем, темнели таинственно кусты таволги и чилиги. И все, что я видел и слышал в вечернем сумраке, невыразимо волновало меня.

Под грудное пение витютня я и уснул.

...Наутро проснулся от голоса женщины:

— Это вы кто же такие? Вчера не было никого, каждый день пасу тут своих милашек, а теперь: ба — целый табор...

Я выглянул из палатки: вокруг было десятка полтора коз, и часть этих «милашек» уже обнюхивали наши лодки.

Так начался этот день.

Во всем селе не могли найти воды. Колонки не работали. Решили искать родники вдоль речки.

Юрий уже прошелся по правому берегу и пока родника не обнаружил, надо было начать поиск на левом.

Константин развел костер, вырубил быстро рогульки под котелок. Но был чем-то озабочен.

— Ребята, если каждый будет топить свою поклажу в речке раз в день — мы останемся без провизии ровно через четыре дня. Нас пятеро — Командор уже растерял почти все свое.

— Ты должен понять, Константин, — невозмутимо произнес Юрий, роясь в рюкзаке в поисках соли, — в походе все, что может рассыпаться, обязательно рассыплется, что может разлиться, непременно разольется.

— Вот я и говорю, — отреагировал спокойно Решительный (так мы стали называть Константина после борьбы с завалами). — Надо как следует все упаковывать. И с заранее составленным меню по дням дежурств. В отдельных полиэтиленовых мешочках.

— Голова, — согласился Юрий. — Но уйдет столько времени!

— Ничего, — поддержал Костю подошедший Командор. — Зато будет порядок.

И мы начали паковать запасы.

— Мужики, а вот, действительно, если вдруг окажемся без продуктов и до жилья далеко, что будем делать? — спросил я, совсем не рассчитывая на продолжение разговора.

Юрий мои слова оценил, очевидно, как возможность заявить о себе — бывалом и опытным туристе.

— Коллеги, мы где находимся? — Он сказал это, как на кафедре, академическим голосом и окинул нас, не подготовленных к самостоятельной жизни вдали от дома, случайно собравшихся в одну команду людей, ироническим взглядом.

Мы не успели сообразить с ответом. Он помог:

— Мы находимся с вами в степи, где могут быть кузнечики или нашествие саранчи. Если даже утопим все наше продовольствие, потеряем деньги — и тогда не пропадем. Саранча — даже не пища, многие народы в пустынях и степях почитают ее за лакомство. Саранча раньше для кочевников была как манна небесная. А мы идем их путями.

— Ты всерьез хочешь перевести нас на кузнечиков? — спросил Константин.

Юрий невозмутим:

— Для людей, привыкших есть ящериц и грызунов, саранча — лакомое блюдо.

— Ее начнешь глотать, а она в ноздри или в ухо выпрыгнет! — попробовал пошутить Константин.

— Ее надо вначале поджарить, затем оторвать поросшие колючками задние лапки, остатки необгоревших крыльев, а уж потом отделить голову, извлекая одновременно кишечник. Все! Можно, похрустывая, есть. Как креветки!

— Ты что, действительно ел? — все еще не верит Решительный.

— Креветок? — вяло переспрашивает рассказчик.

— Да нет, саранчу эту?

— Спрашиваешь тоже, — тоном бывалого человека отвечал Юрий.

— И много таких гадостных блюд ты еще знаешь? — спросил Константин.

— Наши с тобой предки, жившие не в таких тепличных условиях, как мы, считали пищей все, что бегаёт, ползает, летает и плавает. Если во всем мире насчитывается около четырех тысяч видов млекопитающих, то, как видишь, выбор есть... Хотя, — он почесал затылок, — может случиться, что наступит время, когда не станет особо большого выбора, и люди будут есть личинок и куколок, жуков-короедов, пауков, термитов.

— Ну, до этого не дойдет, — запротестовал Константин.

— Почему?

— Да, если животные все повымрут, значит и человек, — того... вместе с ними...

Под такой диалог я чищу почерневший котелок речным песком, усевшись на толстое бревно, застрявшее на мели.

Вспомнился эпизод из поездки в Китай. После утки попекински, которой нас угощали накануне в ресторане и, которую мы все с удовольствием ели, заворачивая лакомые кусочки птицы в тонкие лепешки с зеленью, мне захотелось попробовать мясо змеи и лягушки.

Лягушачьи бедрышки я пробовал в Париже несколько лет тому назад. С тех пор искал случая попробовать мясо североа-



мериканской лягушки-быка, которая бывает до двадцати сантиметров и весом до шестисот граммов.

...Мясо лягушки показалось мне похожим на куриное, разве что посуше и жестче. Змеиное мясо, лежавшее на моей тарелке, было несколько схоже по форме с разрезанным по длине небольшим, сантиметров пять, легким, эластичным развернутым резиновым шлангом. Запаха я никакого не ощутил. Легко порезав на кусочки, я съел это пугающее, но завораживающее блюдо. Мясо по вкусу, как мне показалось, было похоже, скорее, на какую-то рыбу. Но вполне не ручаюсь за свое ощущение, ибо проглатывал я эти кусочки, пребывая в каком-то мистическом состоянии духа.

Все, вроде бы, прошло хорошо. Присутствующие за столом соотечественники так и не решились последовать моему примеру. Таким образом, я выбился из общего ряда и рейтинг мой, говоря чужеродным, но ныне модным языком, значительно вырос.

Расплата наступила, когда выходили из ресторана. То ли так задумано было или получилось случайно, но входили мы в ресторан через нормальный вход, а выходили там, где в больших стеклянных коробках кишели те самые гады, змеи, лягушки, тритоны, рыбы, которых в жареном, пареном, вареном виде подавали на стол.

Я шел, а они все смотрели на меня, словно теперь уже зная, что я их могу съесть. Казалось, что это дурной, адский сон...

Меня затошнило. Опережая своих спутников, рванулся я на свежий воздух. Когда я, раб своего желудка или, вернее, любопытства, оказался на улице и присел на скамеечку, шум от шин многочисленных велосипедов, которыми китайцы заполнили добрую половину улицы, мне показался шипеньем множества гадюк...

«Боже мой, они еще и собак с кошками едят...»

Меня подташнивало и поламывало в висках. Непривычные мысли теснились в голове. Стало страшно за все человечество.

«Имя ему, к которому отношусь и я, — пожиратель, самый большой зверь на земле. И самый страшный: у него ум и оружие, созданное его умом. Во что бы ни проникал ум, что бы ни изучали ученые — самые, казалось бы, умные из всего человечества, известно уже давно: в результате получается оружие, которым человечество убивает и себя, и «братьев наших меньших»...

Разве так должно быть?!»

Недалеко возникли мои соотечественники. Два китайца, сопровождавшие их, чему-то улыбаясь, оживленно по-своему разговаривали меж собой... Когда они увидели меня, их лица враз стали другими.

Они направились ко мне. Я поднялся со скамейки. Надо было выправляться. Некогда думать за все человечество, предстояло персонально продолжать суетиться. Так кем-то заведено...

## **Глава 8. Добровольные пленники**

Сразу за Гамалеевкой, где-то через полчаса, мы обошли завал по суше. Два огромных тополя аккуратно лежали поперек речки. Вернее, это был не завал, а пешеходная переправа, которую сделали жители окрестных деревень.

Пока мы переносили снаряжение, за нами с любопытством наблюдали два подростка, которые купались там, где заросли неожиданно расступались и желтел бережок.

Один из ребят подошел. Оказалось, он из Гамалеевского детского дома, был на нашей встрече. Звать его Дима. Родом из Феодосии, но кто его родители, не знает. Ему уже пятнадцатый год. Он помог перенести вещи. Когда прощались, я дал ему денег и, написав домашний адрес и текст, попросил послать телеграмму жене с сообщением, что у нас все в порядке. (Сотовая связь не срабатывала — оставалась надежда на телеграф.)

В тот день мы преодолели больше тридцати километров. Самара здесь особо крутоберегая. То левый берег обрывист, то правый: так и извивается она, так и стремится туда, куда ей надо...

Закончился день тяжело. Пришлось около десяти часов вечера остановиться ночевать на заросшем густой травой и кустарником берегу. Причиной тому был массивный завал. Будто кто-то крепко и намеренно пошалил: до десятка огромных осин лежали поперек узкой ленты реки. Причем все связаны между собой мелкими корягами так, что разрубить и растащить просто невозможно и за несколько дней. Не завал, а плотина. А на высоком песчаном берегу, готовом обрушиться в следующее половодье, стоят еще несколько неохватных осин.

Легко представить, что будет здесь на следующий год: каждого такого дерева хватит на два-три раза, чтобы перекрыть поперек реку.

Сил на то, чтобы развязать снаряжение на лодках, перенести, затем снова упаковать и увязать, уже не оставалось. Мы остановились...

Из записок, которые я все-таки иногда делал:

«Сегодня 12 июля. Вчера прошли путь от Гамалеевки до села Бурдыгино. Преодолели три завала: один рубили, два обошли по берегу. Прошли металлический низкий мост под Бурдыгино. Ночевали у завала ниже села. Ужин готовили около двадцати трех часов, когда было уже темно.

Мы с Костей ночью рыбачили бреднем. Река глубокая, берега крутые, рыбачить неудобно. Поймали одну щучку и несколько сорожек.

Песок, осины, лопухи — в изобилии. Вода изумительная. Все есть, о чем я мечтал, отправляясь в поход. Но комаров столько, что спасения от них нет.

Спали, как в предыдущие ночи: мы с Борисом, каждый в своей палатке, остальные в лодках, которые вытаскивали на сухой песчаный пяточок среди прибрежного краснотала и шелестящих осин. Противоположный берег, весь поросший высокими осинами и ветлами, кажется труднопроходимым.

С первых же дней я понял, как важны для меня вновь те навыки, которыми я владел, когда с дедом жили то в лесу, то в степи...

Мое умение по-дедовски вязать узлы, ладно починить бредень, взять лыко с вяза, сварить «сливную» кашу, в которой сразу и первое, и второе, поставить на перекате бечевочный перетяг между кольями для ловли подустов — все пригодилось вдруг. Каждый раз обнаруживалось умение, которое удивляло теперь моих спутников.

Полузабытые навыки радовали. Они роднили с окружающим.

А если бы нас окружали лошадь, рыдван, косы, конные грабли, крестьянская утварь — сколько бы открылось забытого...

Проснулся я от того, что ладони мои горели от долгой работы накануне веслами. Хотя был, как и все, в перчатках.

Неугомонный Анатолий разжигает костер. Слышу, как будит Юрия, напоминая ему, что его очередь готовить завтрак.

Бориса он не трогает. Борис на примусе готовил себе ночью в палатке еду — это его странность. Он варит и ест в одиночку. Еще перед поездкой Анатолий обнародовал это его непереносимое условие. Мы приняли его, недоумевая. Все запасы продовольствия были заранее сделаны на пять человек. И в поход взяли провизии на пятерых. Но Борис своих установок не изменил. Он не подчинялся и требованиям Командора в отношении воды. И пищу готовил на речной воде. Завел из самарской водицы в пятилитровой канистре и квас.

Я заметил, что больше всех работаю веслами и, кажется, понял, почему. Лодка моя, изготовленная на скорую руку, имеет задранные сверху нос и корму. Таков раскрой. Очень часто течение реки меняется, направление ветра — тоже. Иногда течение еле заметно, а ветер силен и, если не грести усиленно, несет назад. А поскольку парусность у моей лодки больше всех, то и трудиться приходится крепче остальных.

К слову сказать, Самара течет почти строго в северо-западном направлении, но петляет, и чаще всего ветер дует в лицо.

Побаливают, и сильно, не только руки, но и кости... «пятой точки». Постоянное ерзанье на доске при гребле дает знать.

Юрий показал, как он разрешил этот вопрос. Оказывается, он сидит на прямоугольном лоскутке из синтетического материала, который надевает на себя. Этот лоскут крепится на «пятую точку» простой широкой резинкой, охватывающей туловище внизу живота. Он, лукаво ухмыляясь, порылся в своем рюкзаке и, достав такое же устройство, протянул мне:

— Это называется «пендель» — изобретение туриста-водника.

Я взял, примерил. Действительно стало легче. Движения на сиденье теперь не связаны были так сильно с болями в костях.

Думаю, он специально не сразу дал мне «пендель», а чуть позже, чтобы я по достоинству оценил.

За лукавство он был отомщен, хотя и без моего участия.

Я еще в своей палатке. В сетчатое окошечко своего убежища вижу, что происходит у костра. Там уже трое. Вылез из своей берлоги и Борис.

— В жилах комаров течет человеческая кровь, — громко провозглашает Юрий, заслоняя рукой лицо от костра.

— Ну что ты, Юрий, жалуешься, — успокаивал Константин. — Прелесть турпоходов в том, что любая самая тяжелая работа после них — отдых.

— Эт-то мы знаем, что турист живет дольше человека, но все же... Жрут, окаяннные!

...Когда завтракали, Юрий рассказывал:

— Раньше за огромными сомами охотились в больших омутах Волги. Брали, к примеру, маленького утенка и пускали его в то место, где могла водиться «речная свинья». Если сом хватал и проглатывал утенка, тем самым обнаруживая себя, то рыбаки тут же быстро подплывали к тому месту и из приготовленного большого глиняного горшка бросали в воду ком горячей каши. Сомина обжигался, хватанув каши, и выплывал на поверхность. Тут его острогой и брали.

— Это рыбацкая байка, — уверенно подытожил Командор. — Какая каша-то была, гречневая, как у нас?

Он стоял напротив Юрия. Оба маленькие, сухонькие, в общем-то старики уже, и оба по-молодому «упертые»; будь то в деле, в каком-либо разговоре — между ними постоянно велась некая дуэль. Но это соперничество они не проявляли явно.

— Какая байка, если рыбы в Волге еще в начале XX века было столько, что когда человека в первый раз брали на рыбалку, предупреждали: «Не болтай ногами в воде, особенно на глубине». Вишь, было как: из водной бездны могла подняться огромная рыбина и оторвать ногу.

— Ну, сом ногу не оторвет, зубов нету.

— Сом заглатывал пловцов, а щука рвала ноги, — разъяснил Юрий. — Рыба не была дешевой, но самарцы были разборчивы и некоторые сорта рыбы считали сорными. Мелкоту использовали как удобрение для полей, а сушеной воблой топили паровозные котлы.

— Куда ж это все подевалось? — не удержался Константин.

— Куда-куда. — Юрий, нагнувшись, поставил пустую миску на пенек около костра. — Распяли красавицу-Волгу плотинами ГЭС — и все дела. Щуки наподобие градусников стали из-за повышенного содержания ртути. Тоже ведь дела рук наших.

Разговор еще долго мог бы продолжаться, но Командор торопил.

Мы попили чаю и взялись за укладку снаряжения.

Таская вещи в лодку, невольно рассуждал про себя: «Который уже день находясь на реке, я замечаю, что мне важно здесь все. И река! И люди! Что они говорят? Как говорят? Все интересно! Человек на реке, сама река, и все, что вокруг до самой маленькой букашки — интересно. Будто заранее знаю, что не скоро все это увижу вновь. Словно вижу: это все мое, принадлежащее по какому-то праву мне, но долго не виданное. И мне от этого радостно.

Подумалось: «Эти бесхитростные разговоры, встречи, взгляды, рукопожатия, события — все некий только аккомпанемент к чему-то очень серьезному, тому, что во мне рождается или родится? Или это — самая важная часть того, что мне нужно сейчас? Смогу ли когда-нибудь объяснить смысл своего похода другому человеку?.. Смогу ли так понять себя, чтобы рассказать другому?..

И надо ли это другому кому-то, кроме меня?

Наверное, надо! Вот ведь около меня сейчас еще четыре человека, они тоже — пленники реки.

Пленники. Из них один человек с детства связан с Самарой — Анатолий. А родился на ней — только я».

И опять всплыл в памяти рассказ мамы, как ее и меня отчим привел ночевать на Самарку. Тогда прошедший пол-Европы бездомный солдат Василий Шадрин сидел у реки и думал невеселую думу.

О чем он безмолвно говорил с рекой? И что он понял тогда? Неизвестно... Уносились вдаль воды Самары, а впереди — была жизнь.

\* \* \*

Два течения влекут меня по реке Самаре в моем путешествии. Одно идет от истоков к устью: из заводей, сутемья, прибрежной ольхи и ветельника, зарослей таволги и чилиги, по мелям и перекатам, выныривая порой из глубоких темных омутов и неодолимых завалов, оно вырывается на простор.

Другое, не менее сильное — встречное течение, влечет меня от многошумных городов и цивилизации, от устья реки к истоку ее. К небольшому родничку. К той завораживающей силе, которая вытолкнула этот ручеек из недр земли и сделала его

рекой. Она притягивает к себе и манит, эта таинственная сила. И этой силе нету меры.

И вновь я даю себе слово побывать у заветного родничка.

И в памяти своей в который уже раз возвращаюсь к детству, плыву вспять по реке моего детства.

Эти два противоположных, казалось бы, течения несут меня в моем легком суденышке, и я весь — в их власти.

\* \* \*

К тому, что я веду дневник, мои спутники относились спокойно, правда, с некоторым налетом иронии.

Я слышал, как Костя в разговоре с Анатолием, кивнув в мою сторону, обронил: «Наш летописец».

Пусть кивает, память теряет подробности, которые иногда так хочется осмыслить заново, а записки можно ворошить многократно.

— Послушай, — обратился я к Анатолию, — а что, если я задумаю повесть написать о нашем сплаве и везде упомяну настоящие фамилии?

— Делай, как надо.

— Но вдруг где-нибудь будет какая неточность? Можете обидеться?

— Да пиши, мы все равно слепые, кто из нас будет читать... Разве Юра, да и ему не до этого...

\* \* \*

Сейчас в январский денек сижу я, разглаживая крепенькую свою тетрадочку, с листочками, помеченными карандашом. Прелесть — эти листочки! От них идет аромат июльского солнца, воды, света. Из тетрадочки этой, нет-нет, да и выпадают золотистые речные песчинки.

Вышав на белые листы писчей бумаги, они так и лежат. И я не убираю их. Руки не поднимаются, да и зачем? Это похоже на особый знак.

Несколько штук задержалось на краю стола, прямо у окна.

Поймав солнечные лучи, прорвавшиеся в комнату через толщу морозного воздуха в оконное стекло, песчинки светятся — каждая по-своему.

## Глава 9. У села Бурдыгино

Мы проплыли чуть больше часа после нашей последней стоянки, когда встретили на берегу крепкого усатого мужика, а с ним десяток ребят, примерно восьми-девяти лет.купаются шумно и весело в обласканной солнцем речке. Потрескивает на песчаном мысочке костерок. Еще не жарко. Утреннее солнце едва выкатилось на чистое синее небесное поле над осинником. Оказалось, что ребята — из трудового лагеря. «Трудных» ребят свезли со всего района, и теперь они живут в селе Бурдыгино. Ребята как ребята. Любознательные. Пришлось рассказать, кто мы да откуда.

«Усатый» оказался воспитателем, а заодно, по совместительству, трактористом в лагере.

Он намеревался ехать в село Бурдыгино, оставляя подопечных на время со своим помощником, высоким белобрысом парнем Виктором. Мы попросились с ним. Он охотно согласился. Хотелось посмотреть село и купить молока.

Трое — Борис, Костя и я — забрались в тракторную тележку и, проехав километра три, оказались в селе. Отчаянно хотелось пить. В селе всего одна работающая колонка. Вода еле течет. Пекло. Температура, как нам сказали, выше тридцати пяти градусов.

У ближайшей саманной избенки сидят две молодки. Лавочка сохранилась, за оградой палисадника, кроме лебеды, ничего не растет. Заросли лебеды и серая тяжелая пыль царствуют там.

— Отчего плохо с водой? — спрашиваю.

— Так уж давно, насос сломался один, а этот вот плохо качает... на одну колонку... — отвечает та, что постарше.

— Железом отдает, как же вы пьете?

— А что делать-то?

— Как что? — удивился Константин. — Давно вырыли бы колодец! Ни одного колодца не видно. И это в селе, где около тысячи жителей!.. А где работаете?

— Нигде. А кто работает, тот не получает за работу.

— Чем же живете? — спрашиваю.

— Огородами да скотиной.

— Отчего село называется Бурдыгино?

— А не знай, — отвечает равнодушно.

— Может, первый, кто жил тут, Бурдыгин был. — Это опять говорит та, что постарше.



Помоложе, в серой косынке, надвинутой низко на глаза, безразлично глядит перед собой на траву.

Из переулка выехали парни на велосипедах и остановились у палисадника. Очевидно, мужья.

— Мы, эта, на бахчи — туда и обратно, арбузы прополоть, ага?

Они о чем-то поговорили вполголоса меж собой, искоса поглядывая на нас, копошащихся у колонки, и уехали.

А мы направились в столовую, в которой женщина по имени Люба, пожалев нас, продала четыре буханки хлеба. И она жаловалась, что зарплату не выдавали уже три месяца.

Когда сидели в зале и ели с удовольствием «докторскую» колбасу и белый с хрустящей горбушкой хлеб, она принесла горячий чайник. Поинтересовалась насмешливо:

— Жен, что ли, у вас там дома нету? В такую далицу умкнулись? Или прячетесь от кого?

— Нет, — пытался отвечать я. — И не прячемся, и жены есть.

Она смотрит на меня и покачивает удивленно головой.

— Люба, вы не думайте о нем плохого ничего, — вмешался Константин. — Не глядите, что в тельняшке с косыночкой и похож на пирата. Он, если наденет фрак и бабочку нацепит, вылитый Раймонд Паулс.

Смотрю удивленно на Константина и думаю: «Зачем ему это надо, прыткость эта? Поговорить охота?.. И потом, я, скорее, похож на Жана Габена, чем на Паулса, если уж на то пошло».

Только мы вышли из столовой, столкнулись с трактористом, который нас привез в село.

— Вот, мужики, вам! Жена велела подхарчить. — Он вынул три бутылки с молоком из кабины и протянул нам, довольный. — Моя сказала, чтоб больше тридцати рублей не брал за все. А это, — он протянул поллитровую стеклянную банку сметаны, — в довесок, бесплатно.

Крепко пожав нам руки, вскочил в кабину. И «Беларусь» запылил на другой край села, грохоча в ленивой тишине скрипучим железом прицепа.

Мы остались стоять посреди улицы с шестью пятилитровыми канистрами воды, молоком, сметаной и четырьмя буханками хлеба.

Константин подобрал брошенный кем-то на дороге кривоватый черенок, как коромысло водрузил его на шею. Повесив

на каждый конец по канистре, стал примеряться к остальной поклаже.

— Турист ослаб — ему осла б! — изрек он глубокомысленно.

— А куда нам идти-то? — невольно оглядываясь, спросил я.

— Э-э, дорогой мой друг, коль заблудился, примени старинный способ ориентирования на местности, — отвечал Константин, ловя выпрыгивающие из свертков буханки хлеба и пытаюсь одновременно удержать раскачивающееся коромысло на плече.

— Какой? — спрашиваю.

Константин с напускной солидностью поучает:

— Надо первого же попавшегося, желательнее не глухого прохожего спросить: а скажите, пожалуйста...

Мы шли по сонной сельской улице и я думал: «Хорошо, что в селах Оренбуржья свой газ. Дома зимой надежно отоплены. Замечательно! Но это же малость. В крае открыто более двух тысяч месторождений семидесяти пяти видов полезных ископаемых, среди которых природный газ, нефть, железные, никелевые и медные руды, золото, серебро, поваренная соль, бурый уголь, даже мрамор. Ведущие отрасли: черная, цветная металлургия, машиностроение, химия и нефтехимия, электроэнергетика. И при этом мы, россияне, умудряемся жить в нищете и неустроенности. Воды нет, вместо магазина — закуток. Пыль и бездорожье... Пьянство... И разве так в одном Оренбуржье? Нет же, конечно. Выживаем, но не живем! Выживает вся Россия. Россия, русская земля погружена, как и встарь, в страдание...

Мы, россияне, перешли ту допустимую границу, за которой человек лишается созидательной роли в обществе.

Без излечения нашей социальной болезни — бедности мы можем погибнуть все: и бедные, и богатые.

Какие мы? Как мы живем? — эти вопросы терзают душу...

И будем ли мы русскими через пятьдесят лет?

Нас, россиян, каждый год становится на семьсот-восемьсот тысяч человек меньше. Американцы утверждают, что их в 2050 году будет около 349 миллионов человек. А нас сколько?

Остается надеяться. Нет, не надеяться — верить, что мы выдюжим! Верить, что и у Оренбуржья, и у Самарской области, у России — все еще впереди! Вера, только она и дает энергию выживания. Она и щит — Вера!

Когда-то И. С. Аксаков, любивший эти края, главную задачу русского общества видел в том, чтобы «трудным подвигом самосознания расторгнуть оковы народного духа, воссоединить разрозненные слои... возратить русской народной жизни свободу, цельность, правильность и плодотворность самобытного органического роста».

О росте ли сейчас идет речь? Увы, о самосохранении!

...Я шел, пошатываясь, под палящим солнцем в ближайший переулок, который уходил в сторону реки, и невольно озирался на пустые, словно вымершие улицы.

Совсем еще недавно, чуть более десятка лет назад, Оренбуржье считалось одной из самых крупных житниц России. Ее хлебное поле было четыре миллиона гектаров, второе после Алтая.

И наш самарский край, и Оренбургская область, и Алтай связаны воедино именем и талантом Василия Шукшина. Как теперь уже известно, прадед писателя Павел Павлович Шукшин приехал в Сибирь вместе с родителями из Самарской губернии в десятилетнем возрасте. Было это в далеком 1867 году. А дед Василия Шукшина по матери Сергей Федорович Попов, мордвин по национальности, по утверждению Василия Гришаева, алтайского краеведа, приехал в Сростки из села Толкаевка Сорочинского уезда Оренбургской губернии. Я вспомнил об этом и невольно остановился. Остановились и мои спутники, тут же опустив неудобную поклажу на землю.

— Ребята, помните, где село Толкаевка? Я на карте отметил, но она в лодке.

Константин не помнил. Мы написали «оранжевое послание» Борису.

Он тут же ответил:

— Пройдем Сорочинское водохранилище, там слева — Сорочинск, по правому берегу будет Толкаевка. Я там был.

— Большое село? — пишу на коробке.

— Как Бурдыгино, там хлеб хуже, чем здесь.

— Тут Лев Толстой жил, — спохватился Константин. — Где-то здесь...

— Жил, но ближе к Бузулуку, — отвечаю я, а в голове: «Так вот, возможно, откуда пришла неизбывная любовь Шукшина к разинской теме — предки его с самарско-волжской земли, наполненной сказаньями и былинами о Степане Разине».

Я все оборачивался, ища взглядом саманную избенку, возле которой сидели две молоденькие женщины с потухшими глазами.

— Вань, хоть сегодня-то не напейтесь, — крикнула тогда вдогонку мужу та, которая постарше.

— Да че пить-то? И на что? — отозвался один из них, не оборачиваясь.

— Вы найдете что, знаем...

— Кричи, не кричи — все равно напьются, — безысходно проговорила та, которая в серой косынке.

Она сказала это, не поднимая головы.

\* \* \*

Таает на глазах крестьянство, единственная верная сила, которая могла бы вывести русского человека на спасительную дорогу православной народной жизни.

Это же бессмыслица: в стране с огромными посевными площадями, с суровым климатом, отсутствием необходимой инфраструктуры возвращаться к хуторскому хозяйствованию.

Абсурд это или злой умысел?

Имея в стране избыток собственных энергоносителей, с их же помощью создавать адский механизм разрушения своей экономики и, в первую очередь, сельскохозяйственной промышленности.

В 2002 году урожай в Оренбуржье был неплохой, почти на полмиллиона тонн хлеба больше, чем в прошлом году. Но ведь почти все добытое сельчанам придется отдать за горюче-смазочные материалы, за кредиты, за налоги. За тонну горючего — шесть тонн хлеба!

В нормальный незаосушливый год область обычно собирала более пяти миллионов тонн зерна.

А в наши годы? Вынуждены закупать тысячи тонн у французов, чтобы дотянуть до нового урожая. Что это?

Если бы в одной только области такое вершилось!..

Потеря продовольственной независимости — это начало утраты державной силы. Это же ясно всем. Но маховик крутится, сопровождается хором и праведных, и зломудрых голосов.

И потонуло в этом разноголосье шукшинское: «Ванька, смотри!» — сказанное вовремя, да не услышанное нами...

## Глава 10. На Сорочинском водохранилище

После села Бурдыгино плыть стало тяжелее. Весь день гребли почти в стоячей воде и против ветра. Впереди Сорочинское водохранилище, и Анатолий говорит, что, очевидно, сливы на дамбе закрыты. Руки поламывало до плеч. Ладони горели. В придачу ко всему у меня одна перчатка, вторую где-то обронил.

Река разливается шире и шире. Какой-то человек на берегу кричал нам, сложив ладони рупором, что по радио передано штормовое предупреждение. Мы не придали крикам должного значения.

Берега густо заросли травой и кустарником. В них неизменные полчища комарья. Вот уж где понятен смысл непобедимого: «камарилья». Причалить к берегу и искупаться — негде. Незаметно река превратилась в большую водную гладь из нескольких, разделенных огромными кулигами камыша протоков.

Еще у села Бурдыгино договорились, что как только выйдем к водохранилищу, остановимся и обсудим не спеша на берегу обстановку: если волна большая, надо будет остановиться на ночлег, а уж утром пойти через большую воду. Но какое там! Мы пропустили момент и оказались посередине водного пространства, где до берега не менее двух километров. Не понять, где основное русло. Волна бьет навстречу движению лодки.

Быстро опорожнил от воды и привязал пустую пятилитровую канистру к длинной, метров шесть, веревке, а ее — к лодке, соорудив тем самым буй, по которому можно, в случае, если все потонет, искать имущество.

К левой ноге приторочил такую же пустую канистру.

«Будем надеяться, что эта — не буй, а спасательное средство», — подумал я.

Посмотрел на часы — было чуть больше двадцати. Юра, шедший до того уверенно первым, остановился и зычно, словно команду, объявил:

— Все! Заблудился. Не знаю, куда плыть, честно скажу...

Мы сгрудились, насколько можно, выдерживая дистанцию. На крутой волне это нелегко.

Огляделись. Тяжелые, нависшие тучи, сумерки не давали отыскать заходящее солнце. Наконец, мы определили западное направление и двинулись с места.

Вокруг властвовало необозримое водное пространство, берега еле угадывались дальней, темной расплывшейся полоской.

Юрий затравленно озирался вокруг.

Неожиданно он воскликнул:

— Я знаю, куда плыть. Вон она, вон там!..

Он указывал в направлении чуть правее нашего курса. Там что-то темнело на воде.

— Это баржа! — выкрикнул возбужденно Юрий. — Я ее вспомнил в прошлый раз. Надо плыть прямо на нее — за ней основной вход в водохранилище.

Он оживленно заработал веслами. По тому, как Юрий обрадовался барже и как заспешил к ней, я мог догадываться о степени достигшей нас опасности.

— На барже заночуем, — объявил Анатолий.

«Понятна теперь радость потерпевших крушение в настоящем море при виде земли», — невольно подумалось мне.

С трудом пришвартовались к барже, вернее, к металлическому понтону, невесть откуда занесенному сюда. Там оказалось гнездовье белокрылых крачек. Хорошая сотня потревоженных шумных птиц стали виться над нашими головами. Некоторые пролетали совсем рядом. Ни одна не осмелилась сесть при нас на понтон.

На понтоне много мертвых птиц. Яичная скорлупа, невысиженные пестренькие с темными пятнышками яички лежали прямо на металле. Шустро бегали пушистые, желтенькие с белой грудкой птенцы. Кое-где на понтоне кулижками росла на комках грязи трава. Много сухой низкорослой растительности — в ней прячутся совсем еще маленькие обитатели шумной колонии.

Один из птенцов, проворно подбежав к краю понтона, смело плюхнулся в большую волну. Хорошая сотня его взрослых сородичей металась над нашими головами, беспокойно крича. И было непонятно, то ли они одобряют смелый поступок, то ли осуждают. А он упорно продвигался по волнам к камышам, темневшим метрах в тридцати от нас.

— Они его найдут и выкормят в камышах, — успокоил нас Анатолий.

— Жди, пожалуй: либо сом, либо щука сегодня же его и проглотит, — возразил Юрий.

Жаль было смельчака, не ведавшего об опасности, которая скрывалась в камышах, принятых им за спасительные. Хоть плыви-догоняй неразумного...

А птенец, вдохнув обманчивой свободы, упрямо плыл к камышам...

Он до сих пор у меня перед глазами.

...Я взял одного такого на понтоне в руки. Как цыпленок. Светло-коричневый комочек спокойно и доверчиво сидел в моих ладонях.

Дикое дитя природы. Я протянул Константину фотоаппарат. И теперь этот снимок — один из лучших в моей коллекции.

Устойчивый запах помета и нескончаемый крик не располагали к ночлегу. Да и птиц не хотелось беспокоить, и мы решились заночевать на берегу.

Это оказалось непросто. Еще на понтоне Константин определил силу волны в три балла. Мы засомневались, но он опытнее нас: пять морей за плечами. Однако все согласились, что таких волн на Волге из нас никто не видел.

Мы поплыли по самой короткой прямой к берегу, стремясь скорее туда, где камышовые заросли гасят волну. Уже метров через тридцать вещи в лодке вымокли. Наконец-то пошли по камышовой протоке. Стало спокойнее. Но тут из камыша появились трое на лодках. Явно браконьеры. Мы помешали их промыслу. Осерчав, один из них все стращал карабином:

— Всех перешлепаю!

Другие, зло поглядывая на нас, пытались его успокоить.

Мы не свернули. Так протокой, вдоль их снастей, и пошли к берегу.

— Я вас ночью перешлепаю, обещаю, — неслось из камышей.

— Давай-давай, только порох не замочи, — дерзким оказался наш Юрий. — Не истявкался еще? — поинтересовался он. — Не трогают, и сиди в кустах. Охальный больно. Набузынился, поди, с утра — троится в глазах. Не бойсь... нас мало...

Я видел, как он достал из рюкзака и положил в карман куртки газовый пистолет.

«Газовый пистолет против карабина? Нормально! Ай да Юрий!»

Метрах в ста от берега лодка Командора оказалась на коряге. Пока снимали, сдулся один отсек лодки. Константин быстро

перехватил из лодки часть вещей и поспешно отбуксировал Анатолия в камыши от волны и коряг.

Там Командор подкачал свое судно, и мы, не останавливаясь, пошли к берегу.

Нельзя сказать, что мы причалили. Скорее, нас выбросило на берег.

Я достал фонарик и посветил: на часах — половина двенадцатого. А надо еще готовить ужин (есть хотелось невероятно), ставить палатку.

Анатолий заартачился — ему не понравился берег.

— Там, километра через два в сторону дамбы, есть пологий мыс — мы на нем всегда ночевали.

Уговоры оказались напрасными. Когда мы выгружали и таскали вещи, он вновь подкачал лодку. Волны играли с его посудинной, как со скорлупой, пока он не начал грести.

— Я не даю «добро» оставаться здесь, следуйте за мной! — прокричал он, уже работая веслами.

— Это каприз, и он нам непонятен, мы остаемся! — ответил за всех нас Юрий.

Так прорвалось наружу сдержанное соперничество формального лидера — Командора и неофициального — Юрия.

Наш командир Анатолий опытен. К сожалению, мы неудачно начали: у него на старте случился прокол лодки. Потом, по определению Юрия, зря Анатолий поддался на мое предложение «заехать как можно ближе к истокам»: в результате мы «собрали» все мыслимые и немыслимые завалы и порядком устали.

— С ним может случиться беда, как можно? — Я не мог успокоиться.

— Ты не знаешь Командора, — отвечал Юрий.

Я же про себя подумал: «Не привезти бы в Самару утопленного...».

Действительно, связь с окружающим у Анатолия своя, особенная.

— Александр, вот тут смотрите, справа от нас, речушка впадает, маленький безымянный приток, — кричал он мне, когда мы отчалили от Бурдыгино.

Смотрю: никакой речки нет.

Докладываю Командору:



— Нет речки!

— Плохо смотришь, должна быть!

Речушка действительно была, но метров через пятьдесят. Он знает очень много по памяти. Когда был еще зрячим, зафиксировал на всю жизнь. Ведь половину из двадцати сплавов по Самарке он проплыл до того, как потерял зрение.

Помню, в первый день обронил на берегу булавку, которой застегивал карман пиджака с документами. Я искал ее и не мог найти. Он подошел и, узнав, в чем дело, тут же присел на колени и, ладонями поведя по сторонам, как мне показалось, даже не дотронувшись до песка, вмиг обнаружил ее и протянул мне булавку, как ни в чем ни бывало.

...Костя долго стоял и смотрел в бинокль. Когда он сообщил, что какая-то темная точка километрах в двух от нас появилась и, обогнув косу, исчезла, мы несколько успокоились.

— Да, разыграло у Командора ретивое, — высказался перед сном Юрий.

Мы с Костей промолчали. Не хотелось вслух обсуждать поступок Анатолия.

Борис давно был в палатке. Огонек от примуса поблескивал в его логове. Он отказался есть нашу гречку и готовил сам, как обычно.

— Еще один ненормальный, — перехватив мой взгляд, проговорил Константин. — Чудят ребята...

— Нормально, Константин, — отвечал я.

Ночью спалось плохо. Думалось о Командоре. «Как он мог переступить одно из правил: не делиться, не бросать членов команды без нужды? Но кто кого бросил? Тоже вопрос».

...Утром, часа в четыре, меня, едва задремавшего, растолкал через ткань палатки Юрий.

— Александр, у тебя топорик где?

— Не понял.

— Отыщи быстрее, те балбесы-браконьеры едут.

Я быстренько взял рюкзак, который лежал в ногах, и вылез.

«В Переволоцком нас будили перепелки, а здесь — браконьеры. Дела!»

Юрий сидел около моей палатки. В руках у него был топор, за поясом — газовый пистолет. Выражение лица вполне решительное.

— Если что, мотню тому мордастому в упор отстрелю, слово даю...

— Да ладно, кому мы нужны-то, они ночью явились бы. Вон с другой стороны машина тоже подъехала. Рыбаки кругом. — Мне верилось в разумное.

Вылез из своей лодки и заспанный Константин.

УАЗ и «шестерка» двигались на скорости прямо на нас. Мы оставались на своих местах, не двигаясь. Они были совсем рядом...

Метрах в пяти машины сделали резкий вираж вдоль палаток и рванули по бездорожью в степь.

— Ребята мирные оказались. Спокойные такие. Как наш Борис, — сказал Константин и бросил на траву осиновый кол.

— Разбуди его, — попросил Юрий.

— А зачем?

— Готовиться будем.

— Стоит ли плыть? Смотри, какая волна. Надо около пяти километров одолеть.

Действительно, ветер дул еще сильнее, чем вчера. И под обрывом рокотали совсем по-морскому волны.

— Тогда пусть отсыпается, — согласился Юрий.

## **Глава 11. Затянувшийся привал**

И ночью был сильный ветер. Легко представить, что здесь творится зимой или осенью в непогоду.

Молоко в бутылках прокисло. Консервы и черный кофе — вот наш завтрак.

Я сижу на высоком берегу у палатки, а Константин, взяв на себя ответственность за обед, не теряя времени, приступил к его приготовлению. По-моему, Юра — повар все-таки не очень. Его фирменная шурпа?.. Я в ней ничего не понял... Посмотрим, что накухарит Решительный.

Плыть нельзя. Рыбачить нельзя.

— Надо же, так раскачало калужину, — удивляется Константин, поглядывая на волны.

Ветер и палящее солнце. На нашем высоком берегу мы, как на сковородке, Юра сказал — «как на бархане».

Увы, у меня на правой руке мозоль. Одну перчатку потерял, вот и поплатился. Вчера в горячке борьбы с волнами по-

чувствовал, что на обеих ладонях кожа сильно затвердела и, опасаясь, что будут мозоли, стал держать весла не в кулаке, а кистями. Ладони уберег, а у основания безымянного пальца заработал мозоль.

За спиной «степь да степь кругом», перед глазами огромное пространство водохранилища. Волны пенящимся валом обрушиваются на песчаный берег и, грозно откатываясь, урча, тащат за собой темно-коричневый песок.

Когда стоишь на высоком берегу, над тяжелой водной равниной, чувствуешь себя необычайно легким. Понимаешь, почему человек издревле мечтал оттолкнуться от земли и взлететь.

Эти первые дни похода дали столько впечатлений, что невольно начинаешь говорить сам с собой. И сейчас шепчу то ли строку стихотворения, то ли заклинание:

Самарский край, поля мои, леса и речка –

Мой с детства радостный пейзаж!

Потом кричу громко, будто это для меня самое главное сейчас:

– Я – ваш! Я – ваш! Я – ваш!

Над головой величаво плывут огромные белокипенные облака.

Голос пропадает в бездонной сини неба и огромного водного пространства. Эхо не отзывается мне. Слишком мал я и голос мой не в счет в сравнении с этой водной пустыней. То ли было два дня назад на берегу речки. Там эхо, как добрая подружка.

Замолкаю. Равнодушие простора меня не огорчает.

Сижу тихо, вспомнив слова Жан-Жака Руссо:

«Может быть, вам неважно услышать то, что я скажу, но мне важно вам это сказать».

Невольно возник вопрос, который в последнее время и дома часто преследовал меня: кто я? Не поздно ли задавать такой вопрос, когда тебе уже за пятьдесят?

Кто я – человек, стоящий на высоком берегу этого рукотворного чуда?

Я поднялся на некую вершину, став генеральным директором завода и, оглядевшись вокруг, почувствовал узость рамок, в которых оказался. Вновь начал заниматься с усердием наукой, которую, было, забросил уже совсем, – хотя внешние атрибуты есть: ученые степени, изобретения. И науки через не-

которое время стало недостаточно. Запас сил таков, что требуется неизмеримо больший простор для них...

И вот теперь приоткрываю двери туда, где все так сомнительно и зыбко — в литературу.

Чего я хочу?

Славы? Нет. Это я точно знаю: уже не хочу.

Более того, начинаю понимать прелесть жизни незаметной, безвестной — в этом есть что-то древнее и цельное.

Хочу денег? Каких и зачем? Дети взрослые, у них свои семьи. Зарабатывают сами. А с собой туда, где мы когда-нибудь встретимся все, этого не возьмешь.

Чего же я хочу?

Деятельной жизни хочу. Но на каком поприще?..

Перед смертью в 1831 году, больной холерой, Гегель произнес: «Умирает единственный человек, который понимал меня, и то не всегда и не полностью».

Под этой фразой, очевидно, могут подписаться многие думающие и искренние люди.

...Если бы сейчас мне было дано выбрать заново профессию, я бы избрал ту, которая связана с путешествиями или выращиванием деревьев. Мне кажется, что это самые удивительные на земле занятия.

\* \* \*

...Осматривая свою лодку, я обнаружил в середине днища сдир, грозящий вот-вот превратиться в большое, с кулак, отверстие.

Вчера в темноте, когда плыли от понтона к берегу, я два раза «садился» на коряги. Лодка вертелась от волн, как на приколе.

Пришлось заняться ремонтом.

Когда прикатывал заплату концом весла, подошел Юрий. Уставшее и опухшее лицо его пасмурно. Спросил:

— Александр, ты помнил, что лодка твоя без перегородок, когда кувыркался вчера на воде?

— Помнил, — ответил я.

— Перекрестился поди?

Я вспомнил одно мое наблюдение и сам задал вопрос:

— Когда Борис купается или умывается, он крестится и что-то говорит, верно?

Юрий внимательно взглянул на меня и спросил:

— Помнишь, что говорила мать, когда купала тебя или твоих братьев и сестер?

Я призадумался.

— Кажется, «как с гуся вода...

— ...так с Сашеньки худоба», то есть хвороба? Так?

— Да, — подтвердил я.

— Вот видишь, мать знала, а ты забыл.

— А что я забыл?

— Не ты один, большинство забыли, что человечество с самого рождения окружают волшебные свойства четырех стихий: Земли, Воздуха, Огня и Воды. Вода смывает с человека не только грязь. У воды своя память и своя сила. Она смывает чужеродную информацию, усталость, твою и чужую энергию. Она выравнивает ее течение в энергетических каналах тела и помогает сбалансировать биополе. Борис обязательно шепчет воде благодарность и молится, помогая воде в ее чудесном действии. И дома, когда занимается уборкой, стиркой или чисткой одежды, тоже приговаривает благодарности. У меня дома жена периодически моет зеркало в прихожей. Оно может долго «помнить» плохое настроение смотревшего в него человека, и вредить здоровью жильцов. Но самая сильная помощница человека — это проточная вода, такая, как в Самаре. Если тебе приснился дурной сон, подойди к реке и расскажи ей, вода унесет дурное.

— А в городе? Куда податься?

— Многие неосознанно вырываются к реке... А можно просто открыть кран в душевой, на кухне и поведать свои беды льющейся струе.

Я невольно поискал глазами Бориса. Он стоял неподвижно внизу у самой воды. Было что-то неуловимое, что отделяло его от нас.

— Откуда у него это?

— Он ближе к природе. Ему это дано и он чувствует.

— А сейчас что делает?

— А кто его знает. Может, говорит с умершими родственниками или друзьями.

— Ты шутишь?

— Нет.

— Он — что?.. — Я терялся. — Он может общаться с параллельным миром?

— Да, он говорит, что спиритизм — это не шарлатанство. Я ему верю, ибо даже Менделеев утверждал, что в этом что-то есть...

— Юра, ты какой институт закончил? — спросил я.

— Я закончил три института, а живу дураком.

— Почему так?

— Как — почему? Сейчас работаю сторожем на турбазе. Таков мой итог. Сейчас многие стали сильными мира сего. Только не такие, как мы...

— И все-таки?

— Электротехнический факультет политехнического института в шестьдесят пятом году. — Он потряс бородкой и поморщился. Юрий часто так морщится и не поймешь, то ли мается язвой желудка, то ли донимает неуспокоенное тщеславие. — Был красавцем когда-то. Первый разряд по гимнастике имел. На последнем курсе стал лауреатом Всесоюзного конкурса художественной самодеятельности. Пробовал себя в качестве конферансье, в разговорном жанре, драме. Голова закружилась. — Юрий говорил неторопливо, глядя куда-то за мою спину, на воду. — Три года проработал по специальности, потом закончил Самарский институт культуры. После — ГИТИС, двухгодичные заочные курсы. Я ведь специалист по культмассовым мероприятиям.

Он сидел около меня так же, как я, теребя травинку в руках.

— Я вот пришел к мысли... — Он пристально посмотрел на меня. — Знаешь, к какой? — спросил он без перехода.

— Нет, — отвечал я. — Не знаю, естественно.

Он усмехнулся озорно.

— Мы все букашки, — проговорил он.

— И мы живем под чьим-то колпаком, вернее, микроскопом? — продолжил Константин.

— Верно, — спокойно ответил Юра. — Все под колпаком живем. С самого рождения. Все человечество!

— А как же роль личности в истории, великие политики, завоеватели? — продолжал разговор Константин.

— Ну, это проще: все войны на Земле и революции следуют за солнечной активностью. Человек — существо космическое,

и его деятельность, по большому счету, зависит от Солнца. Когда телескопы фиксируют мощные вспышки на Солнце, люди начинают «сходить с ума». Они легко поддаются разным лозунгам, отсюда — социальные катаклизмы.

— Нам, всем россиянам, грозит не социальная, а национальная катастрофа, — сумрачно глянув на меня, обронил Константин.

— Это как эпидемия. Только психическая, а центры ее распространения, носители — люди с динамичной психикой. Такими были многие вожди: Ленин, Наполеон, Гитлер... — продолжал Юрий.

— Тебе надо преподавать в институте, столько знаешь. Позавидует любой, — подивился я.

— Чего преподавать-то, такие вот «страшилки»? Это всерьез никто не воспринимает. Маркс обосновал экономическое развитие истории и увел всех в сторону. Но есть энергетическое обоснование: человеком движет не только его воля, но и неведомые ему силы. Они рождаются в Космосе. Ученые считали, что смена периодов у небесного светила происходит раз в восемь-четыренадцать лет. Ну, в среднем это где-то одиннадцать и одна десятая года. Такой отрезок разделяет первую русскую революцию 1905 года — и революцию в 1917 году. Добавим к этому еще одиннадцать-двенадцать лет — получим «великий перелом» и начало коллективизации в СССР и Великую депрессию в США. А через одиннадцать лет Европа въехала в мировую войну. Точка!

Он всплеснул руками, как ребенок.

Все, о чем он говорил, было настолько неохватно!

Константин — человек конкретный.

— Ну, а дальше что? — вопрошает он.

— Если о цикличности, то все найдешь: там и ГКЧП, и демократическая революция. Правда, человечество в силу своей инерции раскачивается долго. Есть некоторые сдвиги в событиях, но...

— Нет, я вообще: дальше — что?

— А-а, ты вот о чем, — миролюбиво произнес Юрий. — Отвечу. Человечество только еще приближается к пику социальных потрясений. Все еще впереди. Как у нас сейчас с тобой: и водохранилище — надо переплыть, и дамба — впереди. Мало

будут открыты сливы — будем целый день грести, хорошо бы встречного ветра не было, а то и течение не поможет. Пошире откроют — будет по-другому.

— Ты, Юра, колдун.

— Нет, Костя, колдун у нас Борис, пойди спроси у него про погоду, сколько нам еще загорать здесь...

— Я действительно пойду, чуть подогрею — и давайте на обед, пора.

Он встал и направился к затухающему костру, поодаль от которого внизу занимался своей лодкой Борис. Оттуда уже, от костра, с расстановкой Константин проговорил:

— Юрий, ты не прав: у человечества впереди самое светлое. Оно прошло первую ступень развития самосознания, когда удовлетворяются лишь физиологические потребности. Сейчас заканчивает свое пребывание во второй ступени, когда к тем же потребностям добавилась жажда самоутверждения. И впереди у него: Богочеловеческая цивилизация, когда служение Богу, миру и людям станет главной потребностью. Это — светоносная эпоха. Мы будем ее добровольными пленниками...

— Я думаю, — отозвался Юрий, — индустриализация, в той форме, которую она приняла сейчас, вредна для человечества. Оно должно понять, что огромные города не нужны. Но для этого понадобятся века.

— Я согласен, грядет эпоха разума, понимаешь, будет господство интеллекта. Наука и культура приведут человека к природе, а через нее — к Богу. Когда человек станет патриотом всей Земли нашей — тогда прекратятся войны и распри! — уверенно произнес Константин.

— Да, — согласился Юрий. — Может, так мир и будет развиваться. Какие-то глобальные закономерности и законы к этому приведут, но через тысячелетия.

— Почему? — спросил Константин.

— Потому что глобализация, к которой мы никак не готовы, все равно наступает. Человечеству предстоит пережить ее. Но при ней не будет равенства, а значит, не каждый человек будет одинаково чувствовать себя патриотом Земли. Вот и все!

— Ты, Юрий, считаешь, что человечество движется к своему тупику? Зря! Этого никак не должно быть! — возразил Константин.



Юрий не ответил. Легонько оттолкнувшись руками, поднялся, словно вспорхнул с земли. И пошел, молча, к воде. Лицо его было сосредоточенно, будто он боялся сделать неверное движение, от которого очень многое зависело для всех нас.

«Странные люди окружают меня, — думал я. - Или они такие, какими и должны быть? Такими, какие они сейчас есть, делает их степь, вода, небо. По-другому, видимо, не может быть».

На реке многое воспринимается по-особому.

Вчера, когда в сумерках плыли под бездонным густым небом, показалось, что мерцающая серебристая дорожка реки — это магнитофонная лента и кто-то, кому подвластна река, нас всех слышит и фиксирует не только каждый разговор, но вздох, взгляд, мысль каждого из нас. Где этот магнитофон? Река — часть космического атрибута, и она служит таинственной цели? И оттуда, из Космоса, таких рек разбросано было когда-то много. Они охватили своими чуткими дорожками всю планету. И неизвестный мне собрат-землянин на далекой Миссисипи, и знаменитый артист со своей яхтой-домом, которого я встретил на Сене в Париже, все, кого я знаю из землян, все — дети Космоса, все подвластны небу? Кажется, кто-то иронично там, наверху, в Космосе, улыбается: какой же русский не попадет в плен раздумий и воспоминаний на степной дороге или когда долго плывет по реке. Да и только ли русский подвластен этой душевной истоме?

Все уже было, было. Все было и прошло... Русский человек чувствует пронзительность этого чувства в пути. И какое сердце не тронет судьба русского человека на русских дорогах!

Но отчего такая щемящая грусть? Только ли от того, что все пройдет и тебя не будет? Будет такое же, но уже без тебя, с кем-то другим, который лучше тебя, полезнее, не только людям, но всему, что есть на Земле доброго. Только ли от этого? Отчего еще? Ведь еще отчего-то?

Почему светло на душе и так грустно?!

Слишком мало отпущено человеку жить? Не успевает он, суетливый, совершить задуманное? Не успевает понять самого себя?

Наконец-то что-то, кажется, понял, а на другое — времени уже нет. И близких, и современников, с кем некогда получил в награду этот мир, все меньше.

Или оттого, что человек мал и не в силах влиять на вселенский расклад?..

Россия и ее дорога? Ее будущее? Все это тоже зависит от этого бездонного неба? Непостижимой для человеческого ума бесконечности? Или только мы, плывущие сейчас по реке, идущие в тайге по бездорожью, мы, уставшие в июльской духоте от работы, удрученные безработицей, мы, сидящие в прохладных новеньких офисах, можем свершить спасительное дело для России, для Земли, где русскому человеку было дано так много. И так щедро!

Сколько нас, русских, на своей дороге, полегло, так и не поняв, что же уготовано нам. Полегло, не остудив душу, не лишившись жгучего томного чувства дороги и себя на ней. А небо! Оно так же величаво и спокойно молчит, как и прежде... Или только так кажется? Может, где-то высоко в его глубине зреет нечто до времени, до своего космического срока? Ответ на все сразу.

\* \* \*

В тот день на крутом берегу мы говорили с Юрием о многом. ...Уже после обеда, сидя у воды, он продолжал рассказывать о себе непринужденно и с какой-то даже легкостью:

— Павел Васильевич, отчим мой, был когда-то светлая, говорили, голова. Учился на физмате МГУ. Но сказанул что-то «не то», и их пятерых, не дав доучиться, в тридцать седьмом отправили в Сибирь. Началась и кончилась война, а он там отбыл десять годков. Такой добряк был, а во хмелю буйствовал. Советскую власть называл сокрушителем всего человечества. «Обязательно вступай в партию, иначе пропадешь, — это его слова. — Власть такая все равно рухнет. Но когда еще, жизни твоей не хватит». Маленько не угадал отчим мой: дожил. Рухнула, но чтой-то тоже от этого невесело. Отчим спился и умер. Успел один раз только напоследок в Москву съездить. Там у него семья была: жена и сын. Приехал, мама рассказывала, черный весь — не захотел сын его признать.

— А мама, — спрашиваю, — она-то пожила?

— Она жила до восьмидесяти лет. У нас ведь в роду все крепкие были. Дед Егор — полный георгиевский кавалер. Дед Андрей был похож на него — под два метра ростом. Мама моя

целительницей была. Ходили к ней женщины со своими болезнями. Она травницей была и меня научила сбору трав. Два раза на моих глазах чуть не погибла.

— В Сибири? — спрашиваю, — в тайге?

— Нет. Была у нас еще в Бугуруслане коровенка Манюшка. Мама просила у директора мукомольного завода лошадь, чтобы привезти сено, а он не дал. Сено мама погрузила и повезла сама. Запряглась в рыдванку. Это было в сорок шестом году. Мне было-то всего с гулькин нос. Помогать всерьез не мог. На Кирюшинской горке рыдванка пошла враскат. Мама меня отшвырнула в сторону, сама бросила оглобли, но ее переехало. Раздробило обе ноги. Три месяца пролежала в больнице, выжила. Работала потом. Еще разок было такое, что вспоминать не хочется... Когда директором дворца культуры работал, вошло мне в голову, что детей надо воспитывать через этику и театр. Захотел и начал создавать «театрально-этические классы». Свободное обучение детей, понимаешь?

— Не очень, — признался я.

— Поверь, цель и способ были замечательными. Я потом узнал: оказывается, такая система была в Германии. Начали парткомы, профкомы меня заслушивать. Ринулись искать причину, по которой можно выгнать. Я и сейчас ершистый, а тогда был — не удержать! Написал Брежневу, Ильичу нашему дорогому. Прислали инспектора, долго ковырялись в чужом белье. По результатам проверки вывели: аморальное поведение. Вылетел с работы и уже больше культурой нигде не заведовал...

\* \* \*

Когда день начинается общением с рекой, солнцем, землей, огнем, небом, на все начинаешь смотреть другими глазами.

Невольно становишься их пленником. И, конечно же, во главе всего — вода!

Ведь и по космогоническим преданиям, Земля возникла первоначально из воды в виде острова, известного под именем Буяна, на котором живут буйные, вечно деятельные силы, отцы и матери всего живущего.

В восточнославянской мифологии природы земля — женское существо. Мать-сыра земля, хлеборобица.

Любое деяние, связанное с оскорблением земли и материнства, с покушением на животворящую силу, было великим грехом; расплатой за святотатство могли быть болезни, природные бедствия, смерть.

Женскому образу Матери-земли соответствовал образ Неба-отца. Признак отцовства также надежно сохранен в славянских языках, фольклоре. Мать-земля и Небо-отец в славянском сознании — носители силы животворения. Дохристианское понятие святости, раздваиваясь в признаках мужского и женского, ведет к понятию священного брака.

Славяне придавали земле останки человека, рассматривая обряд погребения как возвращение в первородную стихию.

Наши предки считали Солнце всевидящим оком, которое строго присматривает за нравственностью людей, за соблюдением законов. А священным знаком Солнца с незапамятных времен был... крест! Прищурьтесь, глядя на Солнце, — и вы его увидите. Именно поэтому христианский крест, так похожий на древнейший языческий символ, и прижился столь быстро на Руси.

Вода была для славянских язычников исконно доброй, дружелюбной стихией. Но, как и все стихии, требовала обращения с нею на «вы». Могла ведь и утопить, погубить. Могла потребовать жертв. Могла смыть деревню, поставленную «без спросу» у Водяного, поэтому Водяной часто и выступает в легендах существом враждебным человеку. Видимо, славяне, как опытные жители леса, заблудиться боялись все-таки меньше, чем утонуть, отчего и Водяной в сказаниях выглядит опаснее Лешего.

Душа истинно русского — христианка.

А вот такое еще есть: вчера, когда обедали, Костя, спохватившись, стал искать свой складной нож.

— Я же им только что хлеб резал, он должен здесь где-то быть.

Этот ножичек его я давно отметил: крепенький в ручке, толстенный такой, с двумя лезвиями и со всякими там приспособлениями — мечта любого мальчишки.

— Потерпи, поиграет и отдаст.

— Кто? — спрашивает Константин.

— А кто взял, — спокойно ответил Анатолий. — Он все время нас сопровождает... Он таких ножичков, наверное, еще не видел.

— Леший, что ли?! — восклицает Константин и озирается вокруг.

Анатолий в ответ только пожал плечами.

Через некоторое время свой ножичек Константин обнаружил под мешковиной, на которой была разложена наша провизия.

— Странно, — недоумевал Константин, — я же несколько раз там смотрел — ничего не было. И точно помню, что я его не складывал. А теперь он лежит смирно, свернувшись маленьким зверьком, поджался.

— То-то и оно, — веско и неопределенно высказывается Юрий, сам похожий на Лешего.

...Я вспомнил: в моем детстве, когда что-то пропадало, дед всегда посмеивался:

— Отдаст, погоди...

...А двумя днями раньше, когда Юрий стоял с удочкой у воды, я заметил, что он временами совсем не смотрит на поплавок. Я сказал ему об этом.

— А я нарочно не смотрю: стоит только отвернуться — рыба клюет. А так — нет.

## **Глава 12. Сорочинский переполох**

Наконец-то волны попритухли, и мы решили отправиться через водохранилище к дамбе.

Было около семи часов вечера. Я накачал резиновый матрац и расстелил его на дне лодки. Когда только отчаливали, волна захлестнула через борт. С полведра воды оказалось в моей лодке. Начало не очень удачное.

Порой не плыли, а делали все возможное, чтобы нас не сносило назад.

Несмотря на то, что было пасмурно, жажда одолевала нестерпимо. Часто пили. Болели руки. Вторую перчатку мне дал из своего «нз» Константин. Не только ладони горели, болели фаланги пальцев. Часто приходилось на ходу их массировать, иначе они становились непослушными.

Наконец-то на левом берегу на фоне бордово-красного неба вначале появились мутные очертания города Сорочинска, а потом прямо по курсу — и угрюмая дамба.

Солнце, пока шли по водохранилищу, не показывалось. Рваный ветер и тучи, вот-вот готовые разразиться грозой либо сильным дождем, преследовали нас.

Но одно преимущество все же было: глубина и отсутствие коряг.

На всем протяжении нашего перехода никого на водохранилище не было. До берега в любой конец — не менее двух-трех километров.

Мы пробыли на воде пять часов. Крепыши Константин и Борис меня не беспокоили. Но как выдержит Юрий? Низкорослый и худенький, его порой не видно из-за ярко-красного рюкзака в лодке.

Потом на берегу я узнал, что у него есть маленькие хитрости, которыми он продуманно пользуется. Он дозаправляется, так сказать, на ходу и постоянно. На рюкзаке, который лежит на носу лодки, он укрепляет мешочек со смесью очищенных семечек, сухариков, урюка, кураги и другой разной съедобной мелочи. А рядомшком — термос с чаем из набора трав.

— Поклюю на ходу и не жу-жу, — пояснил он на следующее утро, когда мы были уже по ту сторону дамбы.

Я перенял этот опыт, и стало намного легче. Юрий выделил каждому из нас часть своего запаса. У него оказался увесистый мешочек с этим «кормом».

...Со стороны большой воды подходящей площадки для ночлега не было. Кругом бетон. Решили перебраться на другую сторону дамбы и там переночевать.

Ночь была темная, сырая и малозвездная. Дамба освещалась тускло. Как гусеница, она растянулась от берега до берега.

Слив воды, хотя и небольшой, но был. Непривычный глухой шум стоял окрест. Споткнувшаяся об эту огромную бетонно-металлическую гусеницу, своевольная, степная, вечно юная Самара изменилась; исчезло очарование, которое исходило от нее. Став огромной, потеряв на время свое имя и обретя непривычное, птичье — Сорочинское водохранилище, она стала похожа на старуху. Крепкую, устоявшуюся в своих капризах и нраве.

Машинный запах, тусклый свет, однообразный и нудный шум потока воды через слив, похожий на старческий голос, определенность и размеренность взятой в рамки жизни — все

было уже не то. Где-то там, на дне водохранилища, была река Самара. От нее шел свет. Русло ее, казалось, просвечивало из глубины, как солнечный лучик из детства в жизни старого человека.

...Откуда-то из тьмы появился Анатолий. Будто мы и не расставались, спросил:

— Вы еще не перенесли вещи?

— Вот собираемся, — отвечал Константин.

— А я две заплаты наложил днем, лодка моя теперь надежна.

Все, кроме Юрия, пошли за его снаряжением. Туда, где причалил немного левее нас Командор.

Костя не выдержал:

— Командор, все нормально было?

— Конечно. А что может быть ненормального? Лодка, правда, сдувалась. Раз пять подкачивал, а так — все в порядке. — Он говорил буднично и спокойно, наш Командор.

...Ночевали недалеко от дамбы, метрах в пятидесяти от слива — на песчаном берегу.

Ночью было холодно. Надел на себя все, что было с собой. Все равно не помогало. Сказывалось то, что многие вещи были мокрыми. И стоянка случилась в низине, где большая влажность. Мы это почувствовали еще вчера, но сил перетаскивать вещи дальше уже не было.

Около четырех часов утра стало невмоготу. Так промерз, что стучали зубы. Встал, нашарил в рюкзаке бутылку водки, с необычной поспешностью сделал два глотка и быстро нырнул в спальный мешок.

Через некоторое время согрелся. Но спать уже не хотелось.

...Надоело лежать, и я вывалился из палатки. Было половина шестого. Самое любимое мною время на реке.

Туманная пелена покрывала воду. Река нехотя, разнеженно освобождалась ото сна.

Пройдя с десятков шагов, обнаружил чистый, прозрачный ручеек, выбивающийся из песчаной толщи в метре от воды. Тихо журча по мелким гольшам и крупному речному песку, сокрытый от посторонних глаз камышом, течет мальш в большую реку умиротворенно и потаенно. Он словно иллюстрация к старинной мудрости: «проживи незаметно». Сколько таких родников-ручейков питают Самару на ее пути к величавой

Волге! Тысячи? Наверное. И редко кому из них выпадает имя. Так вот живут они безымянными... в согласии с собой и своим предназначением.

...Я потрудился всего-то минут пять, сооружая на пути родничка углубление величиной с большую чашу, оставив выход к реке. В чаше тут же собралась таинственная, пришедшая неведомо откуда, из близко-далека ли, влага. Вначале она была мутновата, но песчинки вскоре улеглись либо унеслись в большую воду. И вот уже родничок ясным своим оком глядит на меня. Глядит так, что я чувствую на себе взгляд всей притихшей, затуманенной округи. Все окрест будто решает: кто я и какой? Зачем я на этих берегах?

Пью прохладную воду из светлого бочажка. Ломит зубы. Из водицы, когда нагибаюсь напиться, смотрит на меня, словно уже и не я, а другой, незнакомый мне человек.

...Когда вернулся к палатке, в котелке уже что-то булькало.

Я поторопился на дамбу. Хотелось посмотреть на Самару сверху при дневном освещении.

...С пеной и бурунами вырывается река из бетонного плена. Утробные звуки исчезают только метрах в пятидесяти ниже по течению от слива, превращаясь в синюю спокойную гладь. Вновь мне показалась степнячка-река ящерицей, ускользящей из случайного плена. Стало радостно и свободно на душе: то ли от высоты дамбы, позволившей увидеть шире и дальше окрест, то ли от моего наивного сравнения реки с ящерицей, которое понравилось мне...

Я смотрел на реку, облокотившись на синенькую металлическую оградочку. За спиной шипела широкими волнами, лизавшими серый бетон, водная гладь. И она вновь показалась мне древней гневливой старухой, к которой все давно потеряли интерес. Так, очевидно, во мне протестовало мое «я» после того, как пришлось почти сутки ждать спокойной воды на высоком степном берегу.

...Я подошел к будке сторожа. Она оказалась заперта. Дежурного обнаружил у притопленной лодки за дамбой. Вычерпывая воду из лодки, он жаловался:

— Такая волна была эти дни, нахлестало... Редко так бывает...

Я постоял недолго и вскоре ушел.



Спускаясь по дамбе, спугнул невольно стайку голубей. Все разлетелись, а две пары, которые были чуть в сторонке, остались на месте. Им до меня не было дела — голуби целовались.

Одна голубка все отходила в сторону, но не улетала, и ее любовник клювиком настойчиво прорывался в ее изящный ротик. У другой пары было полное согласие: и он, и она самозабвенно целовали друг друга. Ветерок сносил их с наклонной части дамбы, но они согласованно так, вместе, не разъединяя клювиков, карабкались наверх. Целовались страстно и продолжительно.

Этих целующихся на утренней заре голубей я долго потом помнил...

\* \* \*

...В воскресный день на воделюдно. Кто купается, кто рыбачит. Несколько раз спрашивал, что ловится. Показывали сожужку, подлещиков.

Течение реки плавное.

Миновали три моста: один низкий, понтонный, два автомобильных, высоких.

Чтобы избежать сумятицы в строю, которая была, когда подходили к Сорочинскому водохранилищу, договорились впредь держать на воде порядок: первым идет Юрий, он и не новичок в походе, и зрячий, вторым — Константин, третьим плыву я, а затем уж — Борис. Замыкает строй Командор. Условились — необходимые сведения по цепочке передавать ему. Последнее слово — за ним. Казалось бы, это разумно: рвущегося постоянно вперед Константина, у которого силенок и выносливости хватало постоянно рыскать взад-вперед, ставили в один ряд с нами. Желаящему лидировать Юрию мы определили место первого. Но управление движением оставляли за Анатолием, делая его более «зрячим» нашей информацией. Все наконец-то становилось по своим местам. Появилась слаженность в движении и некая стройность.

Так мы подошли к четвертому в тот день на нашем пути мосту. Место красивое: большой железобетонный мост, по обе стороны песчаные берега. Много ребяташек. Кто ловит раков, кто балуется около воды. Течение под мостом стремительное и неровное.

Я ткнул нос лодки в камыши, метрах в тридцати от моста, намереваясь заменить пленку в фотоаппарате и запечатлеть момент прохождения под ним. То, что случилось в следующие минуты, ошеломило. Приблизившись к опоре метров на пять, Юрий остановился. Было видно, как он с трудом удерживает лодку в сторонке от рвущейся под мост стремнины.

В это время туда прямым ходом устремился Константин. И произошло странное: лодка вырвалась из-под него и в потоке ушла вниз по течению. Константин с фотоаппаратом на шее пропал в бурунах.

В следующее мгновение тоже самое произошло и с Юрием, с той лишь разницей, что лодка его, после того, как он оказался в воде, перевернулась.

Ничего не понимая, вижу, как под мост, захваченная быстрым течением, несется и лодка Бориса. Кричать бесполезно. Поток неудержимо влечет лодку.

Борис, очевидно, крепче всех сидел в суденьшке: лодка на миг приостановилась на самом гребне потока. И тут же взмыла вверх, встав на «дыбки», как необъезженный или очень резвый жеребец. Седок выпал. А лодка, словно дельфин, вертикально, свечкой, зависла в воздухе.

Среди ребятни звучали непонятные крики. Бабий истошный голос панически и громко спросил:

— Что же вы делаете, ироды?

Мы подплыли с Анатолием ближе, и все стало ясно: между опорами моста в полуметре над водой ребяташки натянули толстую проволоку. Балуюсь, преодолевали по ней бурный поток.

Спокойно проплыв под соседним пролетом, где не было такого течения, мы причалили сразу же после моста.

Постепенно все, что можно было, выловили и сложили на берегу.

Константин недоумевал:

— Поток оказался очень сильным. Когда увидел в последний момент проволоку, схватился обеими руками за нее, стараюсь приподнять над головой и поднырнуть под нее, но не получилось.

— А я и схватиться не смог, только лицо успел закрыть руками, — досадовал Юрий.

— Зачем же поплыл?

— Да удержать лодку не мог, утянуло течением.

Больше всех перепало Борису. Разумеется, он вообще не видел проволоки, которая пришлась ему поперек груди, и у него возникла сильная боль в ребрах, чуть ниже левого соска. Ему было трудно дышать, но пойти в город к врачу он не захотел.

— Ладно, — наконец соглашается и Анатолий. — Не надо ему ко врачу.

Я протестую: Сорочинск рядом, почему бы не сделать этого? Вопросительно смотрю на Командора.

Тот поясняет:

— На нем, как на собаке, все заживает.

Что оставалось делать? Я замолчал. Довод какой!..

— Я выньрнул, — нервно усмехаясь, говорил Юрий, — а они оба, котелки-то, плывут рядышком. Я хватя их — и на берег. Не пропадем теперь, есть в чем варить.

Он лихо забарабанил по дну котелка.

— А рюкзак, — спрашиваю, — как он цел остался?

— Привязан был к сиденью. У меня все привязано, кроме котелков этих. Все мокрое, но цело. Фотоаппарат жалко вот..

Намок цифровой аппарат и у Константина. Уплыла панاما, которую я ему подарил перед походом.

У Юрия обнаруживаются на левой ноге два ушиба и кровоточащая ранка чуть выше щиколотки.

— Не помню, откуда они взялись, — сказал он, — в суматохе не почувствовал.

— Топорик! — вдруг восклицает Борис. — Топорик утопился! На дне лодки в тряпке лежал завернутый!

— Утопился? — повторил Юрий и начал хохотать. — Хорошо, что ты топориком ко дну не ушел! — И вновь залился смехом.

Вслед за ним все смеются. Кроме Бориса, ему непонятно, что с нами.

— Тут не достанешь топорик, — деловито сказал белобрысый пацан, один из подошедших поглазеть на нас. — Тута семь метров глубины, мы с Димкой зимой измеряли. Ямина такая...

Пока потерпевшие сушили вещи, мы с Анатолием пошли за хлебом в Сорочинск. Не спеша поднялись от речки на пологий берег и оказались на уютных затравевших улочках городка.

Не сразу нашли здание главпочтамта. Попробовал позвонить домашним. Ни жены, ни дочери дома не оказалось, при-

шлось звонить в диспетчерскую одного из заводов, на котором я когда-то работал. Узнавший меня по голосу диспетчер пообещал передать домашним, что дела мои идут нормально. Это была вторая, после Гамалеевки, попытка сообщить о себе.

Нашли мы и хлебный магазинчик. Купили пять булок белого, а рядышком в колонке набрали три пятилитровых канистры воды. Струя била упруго.

— Радоваться надо: впервые такая вода! — говорил Анатолий, вытирая подолом длинной майки мокрое от пота лицо. И эта длинная майка на щупленькой фигурке, кепка с огромным козырьком, и остроносое лицо делали его похожим на маленькую бодренькую птичку. Скорее всего, на трясогузку.

Заслышав неожиданно напористый, часто с непререкаемыми интонациями голос, прохожие невольно поворачивались в его сторону.

Мы возвращались, и я жалел, что, находясь в этом новом для меня городе, так мало знаю о нем. И с этим ничего не поделаешь! Не просить же первого встречного рассказать о городе на улице в сорокаградусную жару.

«Прости нас, Сорочинск! Мы обязательно вернемся к тебе, не на «резинке», а посуху. И познакомимся ближе», — пообещал я мысленно. Невольно вспомнились похожие малые города, в которых бывал. Их я насчитал больше десятка. Восемь — в Самарской области: Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Сызрань, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Похвистнево, Чапаевск. Россия теперь одна из наиболее урбанизированных стран мира. Горожан у нас к концу XX века стало около семидесяти процентов. И половина живет в малых и средних городах. Эти города должны выжить и быть экономически самодостаточны. Если таковыми не станут, какое будущее ожидает Россию?

Если все роднички, питающие реку, начнут пересыхать, что станет с рекой? Ответ очевиден.

### **Глава 13. Волчья падь**

Мы отплыли километра два вниз по течению от злополучного моста и остановились на правом берегу на ночлег. Расстелили и развесили непросохшие вещи. Живописная это была картинка.

Наскоро поев картошки с рыбными консервами, стали укладываться. Поглядывали невольно на шумливую группу разбитых молодых ребят, приехавших на двух ЗИЛах на реку купаться. Перспектива остаться без вещей и лодок не устраивала.

Где-то около двух часов ночи шумной компании не стало, а под утро начался сильный дождь. Все, что до того высохло, к рассвету оказалось вновь мокрым.

Меня удивило спокойствие спутников, с которым было принято это обстоятельство. Решили: пока все не высохнет, с места не трогаться. Сушиться так сушиться! Но ведь наше-то с Анатолием имущество все сухое. Цельный день сидеть на якоре?

Я подошел к Юрию, и мы начали поочередно выжимать вещи. Расстилали их тут же у лодки. У него оказалось с собой несколько записных книжек и тетрадей. Некоторые, несмотря на то, что были в полиэтиленовых мешочках, промокли, и написанное покрылось чернильными разводами.

— Что это? — спросил я, взяв толстую тетрадь.

— Мои стихи. Я ими изваракал три таких тетрадки.

— Можно почитать? — спросил я.

— Читай, раз взял, — как мне показалось, нарочито небрежно обронил Юрий.

Я отошел под развесистую ветлу и в тени ее раскрыл тетрадь.

Странно. Живой и изобретательный в жизни, Юрий в стихах оказался скован и однообразен. Большею частью в них — о том, как было худо до перестройки и как стало еще хуже после нее. Природы нет вообще. Лиризма нет. Зачастую и рифм не было. Но все написано аккуратными столбцами. Как бы выпестовано на бумаге красивым, уверенным почерком.

Нашел я две живые строки на всю тетрадь:

*А для меня мое Кукушкино,  
Как когда-то Болдино для Пушкина.*

Мне стало скучновато с толстой тетрадью наедине. И тут в разложенной подмоченной «библиотеке» я увидел крохотную книжечку, величиной не более чем в четыре спичечных коробка. На супер-обложке ее зрела высокая рожь и разнеженная от полуденного марева дорога, делаая крутой изгиб, ныряла в золотое море.

— Бунин?! — удивленно и радостно прочел я вслух.

— Да, Бунин, — ответил Юрий. — И нисколючко не намок!  
Я взял сборничек, и с первой же страницы пахло волшебством:

*И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?».  
И забуду я все — вспомню только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленям припав.*

Я посмотрел на дату под стихотворением — 14 июля 1918 года.

Боже мой, более восьмидесяти лет назад, в лихие для Отечества дни, оглушившие Россию и надолго вперед, поэту дано было так слышать живую душу природы.

Я подошел к реке. Она тотчас приняла мою тень и вода ее, приветливая и светлая, поманила ступить босыми ногами на мягкое дно. Тут же почувствовал чьи-то легкие прикосновения к ногам. Пошевелил пальцами песок и прикосновений стало больше. Нагнувшись, легко различил стайку бойких пескарей, промышлявших на мели. Река купалась в утреннем свете. Вокруг была бездна света. Сияние чистых и светлых красок.

«Любовь, способная преобразить человека и приблизить его к Богу, спасет мир», — эта мысль всплыла во мне неожиданно, казалось, безо всякой связи с чем-либо.

— Любовь спасет, — вслух сказал я и непроизвольно оглянулся.

Юрий копался в своих мокрых бумагах, а Константин стоял вполоборота ко мне и просветленно смотрел на реку. Показалось, что он меня услышал. Иначе почему так улыбнулся?

Я вспомнил, как убежденно говорил он в прошлый раз о том, что скоро человечество подойдет к такому этапу своего развития, когда любовь к Богу осветит и дела, и жизнь человека особым светом. И этот светоносная эпоха изменит планету. Он тоже думал об этом. Он постоянно думал, поэтому и услышал меня. Мне было радостно за него...

Я вернулся в тень могучей ветлы. От крупной, растрескавшейся ее коры шло тепло.

В отличие от Юрия, постоянно готового пофилософствовать, Анатолий в своих рассказах чаще всего поучает. Говорит только о том, что сам испытал.

— В прошлом году во время ночевки около Волчьей пади под Николаевкой к нам на огонек заглянули волки, колонизировавшие тутошний лесок, — проговорил Командор. — Бывальшый Боря, наплевав на такое соседство, выдавал в палатке храпака. Юра, беспокожно наблюдая за мечущимися темными силуэтами, выкладывал крут из пылающих головней.

Я смотрю на Юру. Он, кажется, не слушает Командора.

— Будучи уверенным в миролюбии серых лохмачей, достал из сумки горбушку хлеба и протянул им. Парочка непрошенных гостей, прохаживаясь рядом, усиленно пыхтела носами. Я подогревал их уговорами: «Волчок, не робей».

Я вновь смотрю на Юру вопросительно. Похоже, Командор привирает. Но тот молчит.

— А Юра, — спрашиваю, — что делал в это время?

— Дрожал, убежденный, что хищники предпочтут хлебу сырое мясо, — последовал ответ. — Наконец-то любопытство туземцев пересилило недоверие, — продолжал Командор. — Подношение было принято, и в кустах зачавкали...

— А где же эта Волчья падь? — поинтересовался я.

— Скоро будет, недалеко от Николаевки.

Мне хотелось увидеть волков.

...Позже у костра Юрий рассказывал нам свои «бывальщины».

— Волк — зверь особый, а вот медведь — глупейшее животное. Добывать его легко. Многим охотникам, которых знал в детстве в Сибири, это даже было неинтересно. Волка добыть — совсем другое дело.

— Потому-то ты головешками и обкладывался, чтоб подалее от интереса быть? — сказал Константин.

— Просто знаю, что с голоду волки могут напасть и на человека, а если зверь бешеный, тем более, — спокойно возразил Юрий. — Я знал одного волчатника, который не стрелял волков, а душил их.

— Да ладно, — Константин удивленно смотрит на Юрия. — Ведь волки бывают иногда до шестидесяти килограммов, а в

среднем около пятидесяти. Если такой зверь бьет передними лапами в прыжке — человек не устоит на ногах.

— Во всяком деле есть тонкость. Авдей бил палкой волка по самому кончику носа, где у серого больное место, и пока тот был в болевом шоке, бросался на него и душил своими лапцами. Шкура такого зверя совершенно целехонька! Охота на волка — дело иногда изнурительное. Большие клыки и мощные челюсти позволяют ему умертвить даже таких крупных животных, как взрослый лось или лошадь. За сутки зверь перемещается на десятки километров. И он может оставаться по нескольку дней без пищи. Умный. Я видел проволоку у капканов, раскрученную волками. Когда волк отравится, отпрыгивает пищу и промывает желудок в речке.

Слушая Юрия, я вспомнил о своём.

Однажды в березовом лесу мы с дедом видели волка. Я удивился: он был похож на обычную собаку. Хвост у него был большой и почти прямой. Я видел, как он смотрел на нас. После этого взгляда ни с какой собакой волка я уже спутать не могу.

Дня через три тогда, после встречи с волком, дед и мама уехали в село. Меня оставили на сенокосном стане одного. Всего на один день. Мама должна была остаться дома, а дед — вернуться.

Дед накануне, когда ложились спать под рыдванкой, сказал:

— Мы уедем рано утречком на Сером, а тебе в охрану оставим Карего. Ружье под сеном в рыдванке. Там в ружье два патрона, один можешь в сороку пальнуть. Спи, не волнуйся. Всем ехать на двух подводах или одну оставлять без присмотра не резон.

«А как же с волком?» — хотелось спросить мне. Но я так и не решился, подумают, что трус. Ведь и так все сказано: ружье и мерин Карий будут со мной. Чего еще?

...Я проснулся, когда было уже светло.

К утру прошел небольшой дождь. Я лежал под рыдваном с сеном, укрытый огромным тулупом. Дождь мне был не страшен.

«Все уже кругом проснулось, — подумал я. Тут же кольнула мысль: — И волк, наверное, где-то здесь рядом».

Редкие капли дождя падали на мой тулуп, из-под которого не хотелось выбираться. Казалось, он — неприступная защита. Наружу торчала только моя голова.



Синичка спорхнула с ветки краснотала и села на мокрый тулуп. Я перестал моргать, руки мои были под тулупом. Синичка с любопытством посмотрела на меня и затенькала свое.

«Пусть она подумает, что я какое-нибудь дерево, а то расстрезвонит, что тут живой мальчишка. Волк услышит, — подумал я. Они тут в лесу заодно все. И птицы, и звери. Не дам себя объеменить!»

Синичка прыгала-прыгала и припрыгала почти к самому моему носу, мне даже плохо стало видеть все остальное.

«А вдруг в это время волк крадется? — мелькнула мысль. — А что, если клюнет птичка в глаз, да еще в правый? — заволновался я. — Стрелять как потом буду?»

Я незаметно набрал в легкие воздуха и сильно дунул на синицу — она испуганно метнулась в сторону.

— Так-то вас, лазутчиков, учить надо, — сказал я вслух, сам уже поверив, что птичка может быть разведчицей. Мои десять лет заставляли меня быть проникательным. Не маленький.

Я вылез из-под тулупа, достал нож, отрезал кусок соленого желтого сала и водрузил его на горбушку хлеба. Дождя уже не было. Природа ликовала. Омытые дождем посвежевшие таловые кусты, осиновые и березовые колки вокруг и остроконечная гряда темного сосняка вдали — все было обласкано утренним солнцем. Радоваться бы...

Но мешало присутствие волка где-то в лесу...

А тут еще начал кричать неугомонный дергач. Однообразие дергачьих звуков в уреме подтолкнуло меня к действиям.

Хотя я и знал, что это кричит маленькая, серая, безобидная птица, становилось не по себе. Почему она так по-особенному сейчас кричит? Долго и нервно.

Я нашарил приклад и достал из рыдвана двустволку.

«Дед, наверное, не знает, что я еще ни разу не стрелял. Он думает, мне дядька Сергей или Алексей давали...»

С большим трудом, налегая ладонью, взвел правый курок.

«Пусть сунется зверюга, попробует...»

И тут возник вопрос: на какой спусковой крючок нажимать? Ведь можно потерять время. Нажмешь на один, а взведен другой. Не долго думая, я взвел и второй курок.

Послышался топот. Это явился стреноженный Карий.

«Странно, он хочет что-то сказать?»

Мерин мотал головой, будто соглашаясь с моими мыслями.

Я подошел, глаза его были облеплены мошкаррой, а на лбу сидели три большущих слепня.

...Полведра воды, которое я ему дал, он выпил в один миг и, кажется, успокоился.

Стало скучно и захотелось стрельнуть, тем более, в осиннике стрекотали сороки. Я пошел к леску.

Но птицы оказывались проворнее, они не подпускали близко. Перелетали с одного дерева на другое. Я обошел три колка и не мог выстрелить. Наконец, смекнув, как надо действовать, оборудовал лежанку недалеко от двух высоких осинок и стал, схоронившись, ждать.

...Пока жал на тугой спусковой крючок, сорока вспорхнула. Я дернулся, приподняв ружье с кочки, и сорока удалилась невредимой. Промач не обескуражил. Чуть побаливало плечо от дернувшегося приклада при выстреле, но разве это — главное?

Второй патрон решил беречь, так ведь определил и мой дед. Снова захотелось есть, и я пошел к стану. В котелке должна была быть картошка «в мундире».

Когда прибыл дед, я спал.

— А я был у Янина в гостях в Крепости. Они передали тебе творог и молоко. Прямо из погреба, все еще холодное. Будешь? — говорил он. Осмотрев ружье, спокойно спустил курок.

— Буду, — обрадовался я.

— Ты в миску положи творог, налей молока и накроши хлеба, с моченками веселей хлебать будет..

— Знаю, — отозвался я, — это не сало резиновое есть.

— Вот-вот, — согласился дед. — А волк-то, чать, не приходил? — спросил дед то ли в шутку, то ли всерьез. — Пальнул-то в кого?

— Нет, не приходил, — подтвердил я, гремя бидончиком и кастрюлей у фургона, — в сороку промазал.

— Сорока — не волк, в нее трудно попасть, — определил дед. — А волк правильно сделал, что не приходил, ему бы не поздоровилось, — сказал он уже из-за кустов, куда он повел Серого. Было непонятно: всерьез он говорит или так...

— Известное дело, — согласился я.

Было слышно, как дед засмеялся.

Мне тоже стало весело. У кого еще есть такой дед?!

## Глава 14. Под Николаевкой

...Место, которое Анатолий назвал Волчьей падью, — большая низина, окаймленная рекой и лесом. Под косогором большие и ухоженные огороды. Недалеко село.

Пошли туда за водой. Напротив колонки возводят дом. Газ уже подведен. Все делается добротнo, с размахом. И туалет, и ванная уже готовы. Люди строятся! Значит, верят в будущую жизнь.

После приветствия спрашиваю:

— Кто сейчас в селе живет?

— Приезжие, — отвечает чернявый. — Местные все повымерли давно.

— А где вы работаете?

— Нигде, где здесь работать? Огороды, скотина — вот вся работа.

— Значит, все-таки есть, чем жить?

— Летом еще можно, а зимой кормить скотину нечем, — это говорит, не поднимая головы, тот, который внизу, широкоплечий здоровяк.

— Как так? — удивляюсь я.

— Так вот, — неопределенно отвечает чернявый.

— А молодежь-то есть? — все еще недоуменно глядя на собеседников, продолжаю спрашивать я.

— Молодежь есть, — отвечает чернявый, — вечером появляются, а днем больше пьют.

— Кругом такая травища, — говорит вполголоса Анатолий, — а им нечем скотину кормить, чудно! — Помолчал и добавил: — Приезжие. Не умеют жить крестьянской жизнью. Не обучены с детства. Цены не знают тому, что вокруг.

Появился Константин с пучком лука. Оказывается, он уже и молока в соседях попил, и поговорил, с кем мог.

Мы забрали канистры с водой и пошли вниз к реке.

«Деда бы моего сюда, — думал я. — Он бы развернулся».

...Светлей на душе стало, когда у самой воды встретили деловитого пацана. Одет в синенькую маечку и короткие штаны, одна из штанин порвана по шву.

— Приезжий? — спросил я с ходу.

— Какой приезжий? — не понял рыбачок.

— Ну, ты откуда?

— Живу тута.

— В школе учишься? — поинтересовался Константин.

— В первом классе.

— Звать-то как? — спросил Командор, удивленно глядя, как мальчишка ловко вынул из воды небольшой экранчик из сетки, в котором трепыхались сорожка и рак.

— Митя, — подозрительно поглядывая снизу вверх, отвечал тот.

— Ты не бойся, мы у тебя ничего не отберем, — поторопился я его успокоить.

— А я и не боюсь. Много вас тут туристов всяких...

— В классе-то твоём сколько ребят?

Он посмотрел на меня в упор большими синими глазами, и я поймал себя на том, что будто разговариваю не с мальчишкой, а сразу со всем меня окружающим здешним миром. В этих глазах отразилось и соединилось, кажется, все живущее окрест. И он — маленький, но полномочный представитель всего. И никак нельзя обидеть его.

— С девчонками вместе одиннадцать.

Не обращая внимания на наши удивленные лица, поднял проворно из травы второй экранчик с крупным карасем-сивачом и зашагал независимо по тропинке вверх.

— Ничего себе, — удивился Константин. — Мы бреднем ночью бродили — три сорожки поймали, а он, как в магазине...

...Митька, Митька! Такое чувство, будто мы не так говорили с тобой? Или совсем не о том говорили...

\* \* \*

Ночью мы с Константином рыбачили бреднем под Николаевкой на хорошем таком, облюбованном с вечера песчаном мыске. Поймали всего ничего: одного рака, окуня и трех сорожек. Уже сидя у костра, много позже, слышали, как шумел на отмели быстрый стайный подуст. Но лезть вновь в воду не хотелось.

Добычу я использовал в качестве живцов, и пять донок на том берегу простояли всю ночь.

Когда рыбачили, было холодно до дрожи. Даже голова мерзла. Потому, очевидно, и не выспались. Результат: утром Кон-

стантин оступился в лодке и упал в воду, уронив туда второй свой фотоаппарат.

Такие мы имели обретения и потери у Волчьей пади.

Утром проверил донки — выпала удача: на рака взял голавль. Небольшой, около килограмма весом, но так радостно было на него смотреть. Все донки были поставлены в одном месте, у обрывистого берега, с расчетом поймать сома. Но попался голавль. На какую только наживку ни ловили мы голавля в детстве! Но чаще всего — на рака и майского жука, лягушат, рыбку и навозных червей. Теперь я знаю: он берет и на хлеб, зерна пшеницы, риса, гороха, на вареный картофель, кузнечиков, пиявок, мучного червя, сыр. Я слышал, ловят голавля даже на вишню.

Обычно голавль, став добычей, неистовствует, мечется на удочке в разные стороны. На поверхности воды он, как молния.

Но «мой» голавль, очевидно, попался давно и уже притомился. Леска была толстая, так что я удачно вытащил добычу.

Правда, в самый последний момент он показал норов. Голавль упорно и долго держался на дне, я же не спеша, но настойчиво понуждал его выплывать. И вдруг он ходко пошел со дна прямо на лодку и через секунды оказался у самого борта так близко, что мне еле удалось вовремя задействовать сачок.

...До чего же красив голавль! Он пружинисто бьется рядом на мокром песке, и мои спутники смотрят на рыбу. Спина у него темно-зеленого цвета, почти черная. Его бока с серебристым и желтоватым оттенками в детстве нас, мальчишек, гипнотизировали. Мы часто наблюдали за стайками с крутого берега, либо с моста.

— Смотрите, у этого красавца края чешуек оттенены мерцающей темной каймой из черных точек. Грудные плавники — оранжевые, а брюшные — красноватые. Франт!

Юрий водит пальцем по притихшей рыбине. Рыба смотрит на нас большим, блестящим, с буровато-зеленым пятном сверху глазом.

Юрий уже выстраивает свою аналогию исторического свойства. Просто так ему скучно:

— Знаете, — говорит он, постукивая осторожненько ноготком указательного пальца по широкому лбу голавля, — когда-

то, кажется, в шестнадцатом веке, жил один император. Он так восторгался природой! Так любил ловить рыбу удочками, что при первой возможности убегал из роскошных хором и ночевал в шалаше на берегу реки. Я его, ой как, понимаю!

— Конечно, — соглашается Константин. — Чего там сидеть во дворце среди сундуков с добром? Одной моли и пыли — не прочихаешься.

— Да подожди ты, — продолжает Юрий. — Дай самое главное сказать.

Голавль, резво толкнувшись, видимо, из последних сил, подпрыгнул и упал Анатолию в самые ноги. Тот ласково, ладошкой, стал поглаживать его.

— Вот этот император, как только ему попадалась рыба, легонько снимал ее с крючка, вешал на грудные плавники жемчужное ожерелье и отпускал обратно в воду. Ни разу не обошел дорогим подарком ни одной рыбы, — продолжал Юрий.

— Мамаша с папашкой у этого императора не было, но жена-то была? — спросил Константин.

— Ты о чем? — поинтересовался рассказчик.

— Как — о чем? Деньги на ветер, вернее, в воду бросал правитель твой. А у него дети, подданные... Он — разоритель империи.

— Да у него богатство было немеренное. В сундуках жемчуга было больше, чем зерна в закромах.

— А-а, так бы и сказал...

— Я тебе, голова, о чем толкую? О том, что император не заврался, не загордился, что он такой всемогущий. Он считал, что самая магическая сила на земле — красота озер, рек, морей. Рыба — олицетворение совершенства и гармонии.

— Давай, Юра, — ласково начал Константин, — давай твои часики с браслетом пристроим голавлику нашему на туловище и пустим в водичку-то. Пусть потикают. Они водонепроницаемые?

— Костя, ну что ты, ей-Богу? Ну, нету же у Юры такого, чтобы сундуки дома были набиты часиками и браслетами. Ты его с кем-то путаешь, — возразил Анатолий.

...В это утро собирались долго. В десятом часу наконец-то отчалили... Встреча с волками не состоялась. Не было волков.

— Значит, в следующий раз, — пообещал Командор.

Прошли металлический мост. Очень низкий. С трудом протиснулись под железным настилом. Миновали по правую руку приток Самары — Малый Уран. Где-то у села Тоцкое должна впадать речушка Сорочка. Мы ее ждали, но проскочили, не заметив...

\* \* \*

...Кроме волка, мне давно хотелось увидеть дрофу и стрепета. Дрофу я один раз видел в детстве: мой старший дядька Алексей добывал ее. Однажды я пришел из школы и увидел огромную птицу, лежавшую посреди комнаты на полу. Меня поразили ее размеры и, помню, большие желтые зрачки. Странные были у этой птицы ноги: толстые, со светло-серыми чешуйками и на каждой ноге — всего по три пальца.

А стрепета я никогда не видел, хотя много слышал об этой птице.

На нашей улице напротив дома деда, «на том порядке», жила многочисленная семья рыбаков, мужчин в ней всех звали «стрепетками». Настолько они были шустрые, быстрые на подъем, проворные, своеобразные и заразительные во всех делах, что я заочно полюбил эту птицу. Когда у нас на селе говорили, «как стрепеток», эта характеристика была самой исчерпывающей. Уже поумирали все из того старого поколения «стрепетков». Кроме одного, самого бойкого и неудержимого — Сашки-«Стрепетка». А я все никак не увижу птицу, от которой пошло прозвище этой семьи.

## **Глава 15. Такая дорога — река**

— Вечером я еще от усталости засыпаю, а под утро сон отлетает, не могу лежать в своей лодке, — жалуется Константин.

Он стоит посередине нашего стана. Озираясь, смотрит на поляну, покрытую белесым плотным туманом.

— Я тоже плохо сплю. В прежних походах было нормально, — отзывается Юрий, снимая полиэтиленовое покрывало, которое растяжками каждый вечер громоздит над своей лодкой перед сном.

— Со мной впервые такое, понимаешь? Здесь, у речки, большая влажность. Все разморено. Под утро туман, истома. Я чув-

ствую, как все вокруг шевелится. Вокруг меня, под моей лодкой, вообще везде в земле миллиарды всяких растений рвутся на свет Божий. Я лежу на беременной земле! Земля постоянно беременна, каждый час и миг! Мне ночью вчера показалось, что растения, как бамбук, через меня пройдут и вырастут над головой. У Земли неудержимая сила! Она все может. Сегодня приснилось, будто через меня проросли огромные подсолнухи. И, наклонив надо мной конопатые лица, смотрят: как я? А я распят на земле в своей лодке и не могу пошевелиться. Сказать слово не могу. Вылез из лодки. В глазах — мерцание. То ли от голов подсолнечных, то ли от вчерашнего солнца. Напекло. Земля дает жизнь всему! А я, человек, будто ей стал помехой. У меня с головой что-то не то, а?

Константин замолкает.

— Не у тебя одного, — тихо и спокойно отзывается Юрий. — У нас у всех с головой что-то не то. Земля и Небо не знают, что с нами делать. И давно уже не знают. Я часто думаю о нас, русских... и вообще о человеке...

— Ты поэт, Юра, — отозвался Константин. — Порой эпически недосыгаемо мыслишь. С моей-то теперешней головой не понять.

— Как раз сейчас поэт — ты, а я — утрюмый, увы, свидетель.

— Что же ты свидетельствуешь?

— Не о нас одних речь. Человечеству давно пора одуматься. Оно может распять самого себя. Давно знаки подаются!

Я выглядываю в сетчатое оконце палатки и смотрю на говорящих. Странно слышать такой диалог утром на затерянном, вытоптанном пяточке у безмятежно журчащей под боком речки.

— Мне кажется, что я сплю на костях покойников. — Юрий сел на дно лодки, опустил руки, и его распухшее лицо дернулось. — Вообрази: сколько их, когда-то живших на земле, лежат теперь в ней! Кто-нибудь скажет? Вся земля скоро станет единым человеческим прахом. Может, от этого из нее и прет так все, что она удобрена нами?

Константин, диковато скосив на него взгляд, прохрипел:

— Что ты говоришь?

— А то, что ты ворочаешься на ростках и побегах Земли, а я — на черепах. Мне они спать не дают. А иногда они начинают шевелиться подо мной, лодка тогда скрипы издает...



— Все, хватит! — Командор поднял край пленки и выглянул на свет. — Дальше некуда! Юрий, шагай за дровами, Константин — за водой! Будем ставить нашу любимую гречневую кашу. — Он вылез из лодки, олицетворяя полное воплощение самой деловитости, и направился к моей палатке. — Подъем, ребята! Подъем! Юрий объявил всемирный потоп! Спасаться надо...

\* \* \*

Полдень. Жара нестерпимая. На воде еще сносно. Но как только выходишь на берег, тем более, если отправляешься за водой или за хлебом — невыносимо. Рыбаки на берегу сказали, что на солнце днем плюс сорок пять.

Помню, в детстве, сколько бы работы ни было, родители в полдень стремились пережить жару в доме, в своей саманной избе, с занавешенными темными полушалками и одеялами окнами. Толстенные саманные стены держали прохладу отменно. Обычно спали на полу. Так делали многие в селе.

Было у древних славян особое мифическое существо, которое строго присматривало, чтобы в полдень никто не работал. Это Полудица. Ее представляли девушкой в длинной белой рубашке. Или наоборот — косматой страшной старухой. Полудицы побаивались: ведь за несоблюдение обычая она могла наказать жестоко. Теперь это называется солнечным ударом.

Мы же в самую жаркую пору дня нередко в темных костюмах, белых рубашках и галстуках паримся на совещаниях, маемся в автомобилях на раскаленном асфальте бесконечных дорог... Трудовые будни наши нескончаемы. И никакая Полудица нас не пугает. А большинство из нас о ней, Полудице, не знает. И она махнула на нас рукой. Не наказывать же всех солнечным ударом.

\* \* \*

Сегодня впервые за весь поход мы видели Юрия крайне растерянным. Даже в шторм на Сорочинском водохранилище он не был таким. Правда, это длилось очень недолго.

Вздумалось Юрию, пока мы возились с обедом, опробовать новый спиннинг. Он нацепил небольшую, сантиметров пять длиной, желтую блесну и выехал на «резинке» на середину Самары.

Место действительно попало хорошее: и немелкое, и течение приличное. Но ведь коряжины торчали, хотя и нечасто, но внушительные. Да и на жаре, какое блеснение?

Вдруг мы услышали шум и увидели редкую картину: Юрий, привстав в лодке, с трудом удерживал спиннинг. Очевидно, большая рыбина, не поднимаясь на поверхность, ходила вокруг лодки. Течение, коряги — все против Юрия. Мгновение, и борьба может кончиться плачевно, добычу из-под коряги уже не достанешь.

— Греби на мель, к нашему берегу! — кричит Константин. — Упустишь!

— Да как я ее? Не осиливаю. И ничего не могу делать — руки заняты.

Поведение рыбы было странным: она не шла прямо на лодку, не выпрыгивала из воды, пытаясь освободиться от тройника. Она делала круги. Будто хотела раскрутить лодку и пустить по течению юлой.

— Я не знаю, что с ней делать. Она не подходит! — взмолился Юрий. — Ее не стянешь с орбиты!

Константин бросился к своей лодке, а мы застыли на берегу в ожидании развязки.

Лодка с Юрием была уже значительно ниже по течению, когда Константин на буксире потащил ее на отмель.

Когда мы подошли, все стало понятным. Юрий поймал на блесну судачка, в общем-то и небольшого для такого переполоха. Но блесна зацепила рыбину за спинной плавник. Потому-то судак и тащил по кругу. И оттого его невозможно было заставить идти к лодке.

— Этот килограмма на два. А если бы за плавник зацепился раза в три крупнее? — рассуждал Юрий.

Он был доволен рыбалкой. Случай-то какой редкий! О нем теперь можно так рассказать! И, главное, есть свидетели. Для рыбака это весьма важно.

\* \* \*

На привале, глядя на стайку бегающих по мокрому песчаному мыску куличиков и трясогузку, Константин спохватился:

— Ребята, а где воробьи?

Вопрос застал врасплох.

— Зачем тебе они? — откликнулся Анатолий.

— Ну, как — зачем? Непривычно же. В городе они все время рядом. Привык. У меня жена на балконе цветы разводит, так они постоянно там. Я чирикаю, они отзываются. В городах — воробей домовый. Здесь, я полагал, будет полевой. Слышал о таком, но не видел.

— Полевой воробей — франтоватая птица, — отозвался Юрий. — Наряд куда изящней, оперенье более нежных оттенков. Но ни тот, ни другой долго в неволе не живут. Домовый воробей сильнее, чем какая-либо иная птица, дичится людей. Это одна из самых осторожных птиц, и поймать ее очень трудно.

— Воробьи, особенно домовые, — вступил в разговор Анатолий, — по воле человека оказались под угрозой исчезновения. Это случилось, когда появился автомобиль, а воробьи очень зависели от лошадей.

— Как это? Я не очень понимаю, — спросил Константин.

— Очень просто. Если точнее, то не от лошадей зависели, а от конского навоза. Лошадей ведь чаще всего кормили овсом, который полностью никогда не усваивался. Вот его-то и использовали воробьи в пищу по всем городам России и весям. Не стало гужевого транспорта — не стало привычного корма для птахи нашей. Но воробьи пережили-таки нашествие автомобиля. Стали питаться другим кормом.

## **Глава 16. Косуля под Тоцком**

Переночевав метрах в трехстах от моста у поселка Тоцкое, мы проснулись рано. Собирались вяло. Наконец-то поплыли.

Течение очень медленное. По берегам — нависшие деревья, в основном ольха, ветла. Местами деревья так закрывают реку, что на воде нет солнечных лучей. Почти смыкающиеся ветки образуют сверху живую галерею. Командор называет это место «Зеленые гrotы».

В этой своеобразной трубе, состоящей из воды, берегов и деревьев, когда идет встречный ветер, если прекращаешь работать веслами, начинаешь плыть в обратную сторону. Чувствуешь себя пыжом в стволе какого-то огромного воздушного ружья. Руки устали, а вода кажется тяжелой, будто добавлен в нее жидкий свинец.

Собравшись в лодочный круг, стали обсуждать, как лучше поступить. Получалось, что я опаздываю на завод дня на три. Единственный выход — налечь на весла, что мы и сделали. Решили: с целью экономии времени без особой надобности на берег не выходить.

После военного городка Тоцкое-2 по берегам частенько сидят рыбаки. Река стала здесь намного шире, зеленые гроты исчезли. Вода легкая и ласковая.

Моего отчима и многих его сверстников, наших односельчан, на фронт забирали из Тоцких лагерей. Там они проходили подготовку.

Две части человечества, противоборствуя меж собой, мимоходом калечили планету Земля и мою светлую родину.

Столько уже лет прошло с того дня, 14 сентября 1954 года, когда здесь испытывали атомную бомбу. Повинится ли человек перед природой-матушкой? Ведь он большой ее должник.

Не случится ли так, что Земля когда-нибудь не выдержит присутствия на ней человека?..

...Напротив зашумели, и на берег из кустов вышли солдаты и два офицера. У одного в руках была развернутая карта. Видимо, шли какие-то учения.

Солдаты гурьбой подошли к самому краю обрыва и стали смотреть на спящую от солнца реку.

— Помочь чем? — крикнул один из них, обращаясь к Анатолию, возившемуся у воды со своим снаряжением.

— Нет, спасибо, — ответил тот.

— А откуда плывете?

— От Оренбурга почти.

Его ответ привлек всеобщее внимание. Молодые загорелые лица повернулись и с любопытством стали нас рассматривать. Один из солдат бесцеремонно начал наводить на нас бинокль.

Вскоре они как-то быстро растворились в густой лесной зелени.

Чуть позже, метров пятьдесят ниже по реке, поднявшись на берег, я наткнулся на косулю. Ее не испугали ни военные, ни мы. Она стояла за черемуховыми зарослями. Какой-то миг это трогательное грациозное создание удивленно смотрело на меня, не пугаясь.

Здесь, под Тоцком, особенно остро чувствуешь незащищенность всего живого. И глаз отмечает живые подробности каждого существа.

...Тонкие и длинные ноги, высокая шея, небольшая изящная голова — все в этом животном завораживает взгляд.

Косуля любит тепло. Очевидно, здесь, в заветрии, у нее была лежка.

Я пошевелился, и косуля — это была самка — бесшумно скрылась в кустах. У самок рогов нет, поэтому их легко отличить от самцов. Летом косули, как правило, держатся поодиночке, поэтому, не рассчитывая встретить другую, я подошел к тому месту, где она стояла. Лежанки не было.

Видимо, косуля здесь кормилась. Косули намного охотнее потребляют в корм почки, цветочные сережки и веточки упавших или срубленных деревьев и кустов, чем растущих. Пастбищами служат обычно лесные вырубки.

Так оно и было. За островком черемухи лежал завалившийся небольшой тополь. Несколько веточек были обкусаны.

Мне рассказывали знакомые охотоведы, что у косули есть три железы, выделяющие специальные пахучие вещества.

Между пальцами задних ног расположен мешочек, содержащий сальные и пахучие органы. Железа хорошо развита у молодых косуль. Ее назначение — оставлять пахучие выделения в следах. По запаху животные находят друг друга. На передних ногах железы отсутствуют. Они имеются у ланей, лосей, соболей и других животных. У оленей их нет.

Железы на внешней стороне задних ног косули, сразу под коленами, выделяют пахучие и сальные вещества. Двигаясь, животные оставляют на растениях их выделения.

Третья железа — только у самцов. Она расположена между выростами лобных костей. Ее выделения остаются на тонких деревьях. Обычно это происходит в период гона. Цель таких «меток» — обозначение «своего района» и предостережение для другого самца.

\* \* \*

Терпкий настой запахов каленого желтого самарского пещочка, развесистых лопухов, ивняка, ольхи, осинника по берегам у воды. Особое марево, исходящее из зарослей черемухи,

таволги и чилиги, когда поднимаешься на крутой песчаный съезжий берег. Едва уловимый трепет осинового листа, шевелящегося даже, кажется, в совсем безветренный, жаркий, томящий своим тягучим зноем полдень — все это нельзя спутать ни с чем. Это все родное!

## Глава 17. Светочи

...То, что Пушкин бывал в Оренбурге и проезжал через Борский реликтовый бор, я слышал еще с детства, а вот то, что Владимир Даль жил и работал в Оренбурге, я узнал, признаюсь, совсем недавно.

Два светоча русской словесности встречались в Оренбурге.

\* \* \*

...Отрезок пути от Волги на юго-восток Пушкину показался «прескучным». Поднялось настроение, когда на подъезде к Бузулуку его ненадолго принял в свои объятия широкошумный сосновый бор...

Тихий и совсем маленький в те времена городишко Бузулук, приотившийся у слияния рек Самары и Бузулука, Пушкин проехал утром.

В этом незаметном городишке был когда-то центр пугачевских событий. Здесь буйствовала, хозяйничала, побеждала и терпела поражения разудалая казацкая и крестьянская вольница...

...Важнейшими источниками при описании событий пугачевской осады Оренбурга послужила для Пушкина «Летопись» П. И. Рычкова, опубликованная им в приложениях к «Истории Пугачева» и журнал Оренбургской губернской канцелярии («Журнал Рейнсдорпа»), обнаруженный поэтом в делах Секретной экспедиции Военной коллегии. Выполненный Пушкиным конспект этого журнала хранится в составе его заготовок. Почерпнутые из этих источников сведения о «пугачевском» прошлом Оренбурга Пушкин пополнил при посещении города, где он провел около двух суток — с 18 до 20 сентября 1833 года. Поэт был принят оренбургским военным губернатором генерал-адъютантом В. А. Перовским. Они были знакомы еще по Петербургу, были дружны и говорили друг другу «ты».

Поэт остановился в загородном доме на так называемой даче губернатора.

Здесь-то, на этой даче, Пушкин и встретился со своим приятелем, известным уже тогда литератором Владимиром Далем, служившим чиновником по особым поручениям у Перовского. Даль был проводником Пушкина по «пугачевским» местам и постоянным собеседником. Он рассказывал поэту о примечательных обстоятельствах пугачевской осады Оренбурга, о штурме города 2 ноября 1773 года, о многих других подробностях грозных событий...

...Так и слышатся мне слова Даля: «Вы еще полюбите эту степь: нигде более в России природа не красуется так, как здесь, в степях оренбургских...».

Перовский и Даль познакомили Пушкина с крупным землевладельцем, предводителем оренбургского дворянства Е. Н. Тимашевым, дед которого коллежский советник И. Л. Тимашев оборонял Оренбург в дни пугачевской осады, потом командовал карательным отрядом, подавлявшем пугачевское восстание в Исетской и Уфимской провинциях.

Пушкину удалось встретиться со старой казачкой Ириной Афанасьевной Бунтовой — хранительницей народной памяти о Пугачеве и его времени. От нее он услышал невеселую историю о женитьбе Пугачева на семнадцатилетней казачке Устинье Кузнецовой. Позже поэт изложил ее в «Истории Пугачева».

Пребывание Пушкина в Оренбурге и станице Бердской отображено в его письмах к жене Наталье Пушкиной от 19 сентября и 2 октября 1833 года из Оренбурга и Болдино. Ценные сведения содержатся в воспоминаниях Даля.

...В Уральск А.С. Пушкин прибыл 21 сентября поздно вечером.

С 16 по 23 сентября 1833 года поэт проехал по маршруту Самара — Бузулук — Оренбург — Уральск — Сызрань. Три года спустя в статье, опубликованной в журнале «Современник», Пушкин с удовлетворением отмечал: «Я посетил те места, где произошли главные события эпохи, мною описанной». Поездка дала ему возможность встретиться с участниками и очевидцами событий 1773-1775 годов. Услышанные и записанные с их слов воспоминания, предания и песни позволили прикоснуться к народной памяти о Пугачеве и его времени. Говоря

о свидетельствах современников трагических потрясений тех лет, отмечая, что они «драгоценны и незаменимы», Пушкин в то же время считал возможным использовать их лишь после «строгой проверки», «проверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев, и вновь проверяя их дряхлеющую память историческою критикою».

\* \* \*

При упоминании имени Даля в памяти сразу возникает «Толковый словарь живого великорусского языка», содержащий более тридцати тысяч пословиц, поговорок, метких речений — неисчерпаемое богатство великого нашего языка.

Но Даль был еще и морским офицером, врачом, писателем, выступавшим под псевдонимом «Казак Луганский». Правдивость его сочинений поразительна.

...После окончания пятилетнего курса в Морском корпусе, куда в 1814 году отец отвез его вместе с братом, Даль — на Черноморском флоте.

Будущий бытописатель недолго служил там. В 1826 году он поступает в Дерпский университет. И оканчивает курс, рассчитанный на пять лет, за четыре года. Новоиспеченного лекаря направляют в район военных действий с Турцией.

Великий хирург Пирогов писал про своего друга: «Это был замечательный человек. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить».

А вскоре появляются на свет «Русские сказки» Казака Луганского.

...«Не сказки были для меня важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода», — замечает Даль.

Впервые Пушкин и Даль встретились до того еще, как Даль оказался в Оренбурге.

...Со сборником сказок Даль отправляется в Петербурге знакомиться с любимым поэтом.

Пушкин увлеченно читал сказки, восторгаясь емкостью и меткостью русского слова. «Сказка сказкой, — передавал слова Пушкина Даль, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-



русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

...Даль мечтает о перемене рода деятельности, о такой службе, которая позволила бы ему развиваться творчески.

И такое случилось. При покровительстве Жуковского он получает должность чиновника особых поручений при только что назначенном генерал-губернаторе Оренбурга Василии Алексеевиче Перовском.

Но, и вступив в новую должность, Даль не прекратил врачевания.

В Оренбурге раскрылась всеохватность личности Даля. Он здесь этнограф и археолог, историк и статистик, ученый-естественник, автор учебников по зоологии, ботанике. Именно Владимир Иванович явился организатором и руководителем Зоологического музея в столице Оренбургского края. Даль неустанно занимался пополнением коллекций Академии наук экспонатами, показывающими природные богатства Оренбуржья. В 1838 году Академия избрала его своим членом-корреспондентом за труды в области истории и этнографии, написанные на оренбургских материалах.

...После этих двух встреч с Пушкиным, в Петербурге и Оренбурге, Даль утвердился в намерении собирать сокровища русского языка.

...И на смертном одре Пушкина Даль находился возле него...

Во время нашего путешествия все мне казалось, что в спину мне пристально смотрят две пары глаз.

\* \* \*

Не могу смотреть без душевного трепета на самарские песчаные берега!

Часто они крутые. Поднявшись, попадаешь на равнину с непременно огромными, сказочно-дремучими с густой листвой ветлами. Величавость и былинность придают они таким берегам.

Стоит только приложить ладонь к теплой с глубокими морщинами и рубцами плотной коре, как враз почувствуешь древний дух и... ответный гул в крови своей...

Так и кажется, что место это служит для сборов сказочных русичей-богатырей в доспехах и на конях. Их здесь не хватает.

Будто они должны вот-вот появиться из какой-то своей важной отлучки...

...А иные берега труднодоступны, по ним разве что ухватившись за оголенные темно-коричневые корни деревьев, как за канаты, можно подняться наверх. Но там — непролазная чащоба из черемухи, вяза, молодого ветельника, осинника и непременно шиповника. Попробуй-ка продерись. И духота стоит в этих зарослях невероятная.

...А то вдруг выйдешь туда, где муравится огромная равнина, и раскинулась на ней широкошумная дубрава. И сердце зайдется от волнения...

...Красивые быстрые щурки и серенькие стрижи полюбили самарские крутые берега. И местами янтарные отвесные склоны от их гнезд-норок сделались похожими на золотистые звонкие соты. Юркие птицы, влетая-вылетая, будто нажимают на невидимые кнопки и разносят радостную мелодию; голоса их четкие и звонкие.

И окружающий синий воздух, принимая звуки, роняет их частью в отзывчивую воду, и там они становятся еще чище. И, отразившись, поднимаются вновь в приветливую синь над водой. И это согласованное действие воды и воздуха делает русло реки, саму реку сказочным инструментом, сработанным волшебным мастером из сине-голубого и золотисто-песчаного...

Звуки этого инструмента состоят не только из птичьих голосов. Сколько здесь звуков от шорохов, всплесков, дуновения ветра, чьего-то близкого дыхания, таинственного до дрожи... И все это образует единое дыхание реки. И так порой это дыхание чарует, что становится трудно молчать.

Еще труднее высказать все, что чувствуешь...

Человек — вершина природы, а не дано ему...

## **Глава 18. Безгрешные ходят босыми**

— Я знаю одного человека, — начал Юра, помешивая ложкой в котелке.

— Императора? — подхватил Костя.

— Нет, — возразил Юрий. — Совсем наоборот — босяка. Так вот он, чтобы замолить накопленные грехи, ходит почти круглый год босиком. Уверен, что матушка-земля очистит его.

— Нет, не очистит, — возразил тут же Константин.

— Почему так? — поинтересовался кашевар.

— Переполнилась уже Земля. Магма у нее в сердцевине перенапряглась от человеческих греховных дел, сам же говорил. Вот-вот выплеснет наши грехи — и начнется гибель всего. Может, он этот человек последнюю каплю добавит. И никто не узнает, что это он сгубил нас. Не наполеоны, тутанхамоны, а твой босой знакомый.

Я смотрю на Константина: всерьез ли это говорит?

— Вот птички, они все ходят босыми, — сказал вполне спокойно Анатолий и, сам не ведая, подтолкнул Юрия к новой теме.

К философии часто склонны люди мало знающие. Может быть. Но это не про Юру.

— А знаете ли вы, что птицы вообще у древних были священные и безгрешны? — произносит он и его голубые детские глаза смотрят на всех сразу. Будто заранее знает, какой мы темный народишко и жалеет нас.

— Расскажи, Юра, про птичек, ну их, людей, — попросил Константин и подсел к костру, отложив в сторону топор.

Кучка дров, как изрубленные скелеты когда-то живых деревьев, жутковато белела рядом.

— В мировом древе или древе жизни место птиц на его вершине... — начал Юрий.

— Нам бы попроще, — попросил Константин.

— Можно, — согласился Юрий. — Вот перепелка, которая с утра нас в первый день разбудила, она ведь исстари оберегалась. При жатве крестьянин не только обходил стороной ее гнездо, но и не срезал вокруг колосьев, чтобы птица могла прятаться. Украинцы считали, что мир создали два голубя, которые сели на два дуба. У кого плодятся домашние голуби, у того не будет пожара. Клест при распятии Христа пытался вытащить гвозди, поэтому и скривил свой клюв. За это получил награду — он не подвержен тлению. Когда снегирь ломал иглы тернового венца с головы Спасителя, одна капля крови попала ему на грудь. Поэтому снегирь — охраняемая птица. Его даже кошки не едят. Феникс — птица мифов. Древние греки считали, что раз в пятьсот лет она прилетает в Аравию, где питается бальзамом и смолой. Когда Феникс чувствует, что приходит

смерть, то строит гнездо из пахучих веток на самой макушке пальмы. Там его поджигает солнце. Потом птица Феникс возрождается из пепла, воскресая молодой.

— Как ты это все помнишь? — удивился Константин.

— Так вот, помню, — согласился Юрий. Замолчал, потом спросил: — Вот ты читал «Капитал» Карла Маркса, а?

— Что ты вдруг? — опешил его собеседник. — Ну, когда-то читал, вроде. В руках держал.

— Что же и кому автор написал в посвящении?

— Там разве есть посвящение? — переспросил Константин.

— Цитирую: слушай, пока жив. Великий Карл писал: «Посвящается моему незабвенному другу, смелому, верному, благородному, передовому борцу пролетариата Вильгельму Вольфу».

— И-и-ех! — выдохнул Константин, глядя сразу на всех сидящих у костра, словно ожидая, не повалимся ли мы наземь от хохота. — А проверить как?

— Сходишь в библиотеку, проверишь.

— И многих авторов так вот запомнил?

— Есть кое-что в черепушке, — ответил Юрий.

— Юрий, ты постоянно недосаливаешь, я уже говорил много раз, — вмешался в разговор Командор. — Сейчас как?

Картинно отставив ногу, большой деревянной ложкой он черпанул из котелка. Ему важно и здесь оставить за собой последнее слово. Но и Юрий не из простаков. Невинным, безразличным, вроде бы, голосом спрашивает:

— А знаете, как умирает дятел? — И, не дождавшись ответа, говорит: — От своей долбежки умирает, получив сотрясение мозга.

— Слишком много знаешь, — отзывается Командор, держа ровный тон.

— Да уж... — неопределенно тянет Юрий. — Не обижайся. Вот когда-нибудь подкарауль, посиди около его гнезда и услышишь, как он стонет. А стонет оттого, что болит голова.

Константин решил заступиться за Командора.

— Дятел — священная птица. Это известно давно, — сказал он авторитетно. — И при том, дятел — лекарь леса.

— Во! — удивился почти натурально Юрий. — И этот долбит в макушку...

## Глава 19. Светлая моя родина

В Тоцке, миновав по дороге к магазину нескольких строящихся больших кирпичных домов, мы с Константином закупили хлеба, взяли пива и большие бутерброды с колбасой.

— После нашей походной кухни так вкусно! Пиво кажется сверхароматным и необычным напитком! Вот вам и кусок цивилизации, господа! Все ж-таки хороша она, цивилизация-то! — Он явно ждал от меня реакции, высказав отношение к пиву и колбасе.

...На обратном пути к лодкам вспомнил я Германию, ухоженную и прирученную реку Изар, веселых музыкантов, перерывы в сплаве, проводимые в уютных кафе прямо на берегу, и задумался: хочу ли, чтобы так же было и на нашей Самаре? Хочу ли, чтоб негде было душе спрятаться, хотя бы на некоторое время? Мне кажется, река Самара, какая она есть, ближе и дороже. Она — своя.

...Самара, Самарочка...

Само таинство происхождения этого имени придает рекестепнячке особую прелесть.

Сколько звенело на ее берегах голосов и сколько песен спето! Сколько лиц — и смуглых, и бледных, сколько глаз — и светлых, и жгуче-темных, смотрело в ее воды за тысячелетия?! Но ведь не сглазили и не навели порчу! Не в силах, значит! Эта река имеет, знать, особую тайную силу, коль не поддалась человеку. Не иссохла! Не превратилась в спокойную, сонную гладь под рукотворным вмешательством и натиском. Помогли в этом и многочисленные притоки ее, ручейки и родники, и буйный нрав в водополье.

Хвала Самаре за нрав и судьбу. Она сохранила себя. Человек на ее берегах крепко изменился в быстротекущей жизни, рождаясь и умирая в вечной суете. Порой не зная, не думая ни о своих истоках, ни о том, куда несет его стремительное течение жизни. А Самара знает. И истоки свои, и пределы свои знает! Вливаясь в древнюю могучую реку Ра, дала название целому городу. И, изящно оставив его в месте слияния, ушла, соединившись с великой сестрой своей в Каспий.

...Под журчание светлых струй реки, сблизившей меня за яркие, светлые дни похода со всем родным с детства, я начи-

нал верить, что, кажется, и не жил никогда иначе, а всегда вот так — слитно с рекой.

\* \* \*

Впереди у поворота бесшумно взлетела цапля.

То, что я, взглянув мельком, принял за светлую речную ко-ряжину, оказалось большой птицей, которую мне всегда хоте-лось рассмотреть поближе.

Это уже пятая цапля, которую мы встретили на реке. Каж-дый раз я пытался определить: видел я белую цаплю или се-рую, ее сестру.

Цапля имеет большую родню: тут и желтая, и белокрылая ца-пля, и конечно, та, которая прекраснее всех — большая белая, которую уже давно назвал про себя «Леди». Она еще не так давно была на грани полного уничтожения и в Европе, и в Америке.

Когда-то за цаплями охотился каждый, кто мог. Судьба бе-лой цапли — плата за ее красоту. Природа наградила эту пти-цу необычайно красивым и оригинальным оперением. На ее спине вырастают на время высиживания потомства пучки перьев попеременно с шелковидными белыми волосами. Это и влечет охотников. В брачный период с плеч белой цапли сви-сают «эгретки» — особые перья, где бородки не скрепляются и далеко отстоят друг от друга. Эти перья при малейшем движе-нии колеблются, бородки развеваются, создавая впечатление белой вуали или кружева.

По высоким ценам купцы продавали эти перья во всем мире. Модницы украшали ими прически и шляпки. Это счи-талось самым модным украшением до начала двадцатого века. В 1919 году был создан Астраханский заповедник. Уцелевшие гнездовья птиц были взяты под охрану. На заповедных участ-ках цапли, каравайки, колпицы вновь образовали колонии, стали спокойно размножаться. В конце восьмидесятых годов их было более пяти тысяч. Цапли широко расселились за пре-делами заповедника. Однако сохранили величайшую осторож-ность и, едва завидев человека, стремятся улететь прочь.

Цапли в нашем детстве были достаточно редки. К ним мы относились благоговейно: притаившись, изумленно глядели на диковинное. Чаще всего эти большие и таинственные птицы укрывались в куртинах рогоза и тростника. Когда они стояли

у края воды на Самаре-реке либо в пойменных озерах, то похожи были на изваяния. Обычно, чуть наклонив голову, цапля следит за живностью в воде. Молниеносное движение длинной изящной шеи — и в клюве трепещет живое серебро. Тут же рыбачка подбрасывает рыбешку вверх и заглатывает — обязательно головой вперед. Ловко так и уверенно!

А потом вновь застывает на месте или вышагивает неслышно по мелководью, высматривая новую добычу. До тех пор, пока либо не хрустнет под тобой сухая ветка, либо не появится на досаду из кустов неожиданно рыбак или охотник.

\* \* \*

Ниже Сорочинского водохранилища рыбаков на нашем пути стало больше. И все чаще с донными удочками на подлещика и язя.

Рыбалка на язя завораживала меня с ранних лет, но я так и не стал бывальым язятником. Много терпения требует эта рыбалка. Она больше, очевидно, для взрослых.

Начало хода язя совпадает с той замечательной порой, когда начинает интенсивно двигаться сок в березе и набухают на ней почки. Стосковавшаяся по солнцу земля все более прогревается, приближается водополье.

Когда большая вода спадает и наступает потепление, язь штурмует лесные завалы на реке. Инстинкт толкает его к верховьям, туда, где он даст жизнь новому поколению.

Наиболее «уловистое» время у язя — с рассвета и часов до десяти-одиннадцати. Днем берет вяло, и активно его клев возобновляется к вечеру.

Язь для меня таинственная, осторожная, солидная рыба. Таковы и язятники, как правило, люди степенные и немногословные. Сидят они обычно там, где на речке ровное, но несильное течение, в сторонке от основного русла, часто под ветвями деревьев и кустарника.

«С кем поведешься — от того и наберешься» — это, очевидно, сказано и о них...

\* \* \*

Увы, оградить себя от неприняемого не удастся. Такое есть и в моей жизни, и в жизни моей реки.

Самара и Волга-Ра не сразу соединились. Предание гласит: текла Ра и встретила с другой рекой. «Посторонись, — говорит она, — разве ты не знаешь, что я Ра?»

«Велика штука, — отвечает река, — я сама Ра!». И с тех пор стала называться Самара.

...Не хотела объединяться с Волгой, терять себя и далекая от Самары, но близкая ей по духу Кама. Вот что рассказывает старинная легенда про Волгу и Каму.

Не хотела Кама течь в Волгу. Сначала попыталась ее воду отбить, до половины реки отбила, а дальше не смогла. Тогда подалась Кама на хитрости, уговорила с коршуном:

— Я под Волгу подруюсь, а ты, коршун, крикни, когда на той стороне буду, чтобы слышала, я и выйду в другом месте.

— Ладно.

Вот начала Кама рыться под Волгу. Рылась, рылась, а тем временем коршуна беркут приметил и погнался за ним. Тот испугался и закричал как раз над серединой Волги. Кама подумала, что уж она на том берегу, выскочила из-под земли и прямо в Волгу попала...

\* \* \*

Под Бузулуком, после Сорочинского водохранилища, Самара-река несколько иная.

Она уже не похожа на девочку-подростка, убегающую куда-то вдаль, где больше простора, или на юркую ящерицу, ускользающую в траву и прибрежные кустарники, как это казалось в верховье у Общего Сырта. Река, найдя надежное русло, утвердившись в нем, не шумная и не кичливая, но уверенная в себе, течет плавно и раздумчиво, будто вспоминает, всё, что миновала, сколько родничков помогало ей в пути, сколько ручейков и притоков питало ее в оренбургских степях. Будто хранит лики тех, которые видели ее и которых привечала она. Пушкин, Даль, Лев Толстой, Татищев, Аксаков... Не всякая река видела таких людей. А сколько тех, кто не оставил о себе письменного свидетельства. Они жили здесь, рыбачили, приходили на песчаный бережок посидеть, помолчать... Их миллионы было...

Она и молчание таких людей хранит.

...Так и кажется, когда плывешь: раздвинутся кусты на берегу и появится автор незабываемой с детства книжки про



степь, охоту, про русскую нашу природу, про жизнь нашу, давнюю и ускользящую уже из народной памяти...

Поразившее в детстве, не отпускает от себя и во взрослой жизни... События и наблюдения, которые описывал Сергей Аксаков в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», случались там, где я плыву, где и сама река Самара, и самые крупные ее притоки в Оренбуржье, Боровка, Бузулук, Ток, Малый Уран, Большой Уран, Сорочка причудливо извиваясь, как кровеносные сосуды, и подпитываясь десятками малых и безымянных ручейков-притоков, несут свой особый свет.

В этом крае охотился Сергей Аксаков. Его сын, тайный советник Григорий Сергеевич Аксаков, чуть позже, с 1865 по 1875 год, был губернатором Самары.

Здесь река Самара течет по-иному. Будто призадумалась она о своей судьбе. Как и я, опускавший натруженные руки свои в ее воду... Здесь уходит холод простуженной моей большой Родины.

Врачует меня светлая и тихая моя родина.

«Почтенные берега», — так и хочется повторить эти слова Языкова, сказанные им про Оку.

...Так куда же я плыву по реке?

Воспоминания делают жизнь длиннее. То же моя память вершит и с рекой. Моя Самара обширнее и глубже на самом деле, чем о ней принято думать.

На реке я становлюсь то моложе с каждым ее поворотом, а то вдруг — до такой степени древним, что название мне одно — пращур. Река осязает мое все напоминает душе о Космосе...

\* \* \*

...Но минуешь поворот и зайдется сердце от земного: Левитановская «Золотая осень» и «Во ржи» Маковского, и «Заросший пруд» Поленова, и васнецовская «Аленушка», и «Среди долины ровныя» Шишкина могли быть написаны с натуры здесь, на Самаре, на ее берегах.

Верится: родится когда-нибудь свой, истинно самарский, русский художник...

## Глава 20. Кругом вода

Так что же такое вода?

Сплываясь по реке, сидя на берегу, купаясь, я думал о воде. Думал и поражался: как мало знаю о ней. И мои спутники знали о воде не больше.

...Окружающие не очень понимали моего интереса. «Вода и есть вода». А для меня, вернувшегося из ее светоносного плена, она имела особое значение.

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты — сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились» (Антуан де Сент-Экзюпери).

Воду раньше звали в народе не иначе как «матушка», «царица». Еще на заре человеческой истории люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждают и мифы всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы. Как без огня нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни.

Предки наши чтили дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с непокрытыми головами, становились под благодатные небесные потоки первого весеннего дождя. Пригоршнями набирали воду, чтобы вымыть лицо три раза. Собирали целебную влагу и в крепко закупоренных бутылках сохраняли круглый год. До нового такого же дождя. Свято чтит народ и речную воду; едва пройдет весною лед, как все, млад и стар, бежали к реке: зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки.

«Воду и огню Бог волю дал», — говорили в народе в утешение и успокоение в тех случаях, когда нарушалось в природе равновесие, и вода, в меру питавшая землю, из явной благодетельницы временно превращалась в лютого врага, наводящего страх и отчаяние.

Так что же такое вода? Что знает о ней современный человек? Как появилась вода и сколько ее на нашей планете? Ответы я решил искать в библиотеке.

«...Вода была еще до появления человека: есть все основания полагать, что жизнь возникла в водной среде.

Миллиарды лет назад в холодном газопылевом облаке, со временем сгустившемся, уплотнившемся и ставшем Землей, уже содержалась вода. Скорее всего, она была в виде ледяной пыли. Это подтверждают исследования Вселенной. Установлено, что исходные элементы для образования воды — водород и кислород — в нашей Галактике принадлежат к шести самым распространенным веществам космоса.

Академик АН Украины Н.П. Семененко установил, что именно вода и составляющие ее элементы играли определяющую роль во всей геологической истории Земли. В образовании протоземли участвовали громадные количества воды. Помимо этого, ее элементы входили в состав основных компонентов исходного облака: водород — в состав гидридов металлов, кислород — в состав оксидов.

Согласно теории академика А.П. Виноградова, протоземное облако постепенно уплотнялось и саморазогревалось. Источником необходимой энергии служили процессы радиоактивного распада и уплотнения первичного вещества планеты. В результате образуются паро- и газообразные соединения, причем большинство их фотодиссоциировало на водород и кислород.

Остальная масса воды, очевидно, постепенно составила гидросферу. Появившись на поверхности планеты таким сложным путем, вода не стала инертной, пассивной средой. Вместе с парами воды выделялись не только оксиды углерода, но и соединения азота, фосфора, серы, которые вместе с кислородом, углеродом и водородом составляют химическую основу жизни.

Гидросфера — океаны, моря, реки, озера, болота, атмосферная влага — измеряется внушительной величиной. Три четверти поверхности планеты покрыто водой.

Из всей воды 97,75% — это соленые воды океанов и морей.

Остальные 2,25% — пресные воды, однако половина их — «законсервирована» в виде ледяных гигантских шапок Антарктиды, Арктики, Гренландии, высоких гор в различных районах Земли. Примерно столько же воды скрыто от людских глаз в толще земной коры. Это подземные воды.

Так ли проста вода?

Но простейшее в химии — это далеко не простое.

Лишь в 1805 году Александр Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люссак установили, что вода состоит из молекул, каждая из которых содержит два атома водорода и один кислорода.

В 1932 году мир облетела сенсация: кроме воды обычной, в природе существует еще и тяжелая вода. В молекулах такой воды место водорода занимает его тяжелый изотоп — дейтерий.

Тяжелую воду открыли американские физики Гаральд Юри и Эльберт Осборн. В 1933 году американец Герберт Льюис совместно с Ричардом Макдональдом впервые выделили ее в чистом виде.

В молекулу тяжелой воды входят атомы не легкого водорода — протия, а его изотопа — дейтерия, атом которого на единицу тяжелее протиевого. Молекулярный вес тяжелой воды на 2 единицы больше. Она кипит при 101,42 °С, а замерзает при +3,8 °С.

По сравнению с обычной водой она испаряется менее интенсивно. Поэтому тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом.

Тяжелая вода действует отрицательно на жизненные функции организмов.

А вскоре была обнаружена сверхтяжелая вода. В ее составе место водорода занимает его природный изотоп, еще более тяжелый, чем дейтерий. Это тритий, он радиоактивен, атомная масса его равна 3. Сверхтяжелую воду применяют в термоядерных реакциях».

...Мне стало скучно. Я захлопнул книгу.

«Они не так ищут, — думал я. — Ученые ничего пока серьезного не нашли... Они разложили воду на составляющие и... не увидели самое тайное, сокровенное. Душу ее не поняли! Ученые, словно врачи на операционном столе, вскрыли тело воды, как тело человека. Поковырялись, поизучали. Кое-что увидели. А тайна — душа ее? Суть самая? Осталась нетронутой. Скорее всего, человеку она недоступна».

Я невольно огляделся вокруг. Читальный зал был густо заполнен читателями.

«Что они читают и изучают? — думал я. — Что можно понять здесь, в этой большой, красивой, но отстраненной от жизни коробке, которая называется библиотекой? Надо постичь жизнь такой, какая она есть! А какая она есть? — выскочила на первый план поперек всего мысль. — А какая была там, в моем походе, на воде, у огня, на берегу реки. Да нет же, ты путаешь все, — воз-

разил я сам себе. — Здесь спрессовано то, что кто-то когда-то видел, исследовал, понял — ты и впрямь стал язычником? Тебе важнее чувства, чем знания? Посмотри, они сидят за книгой, как ты сидел около своей речки. Только здесь своя река. Река знаний. К ней на бережок они и приходят. А как по-другому?»

Диалог во мне не прорывался.

«Конечно, я не прав. Но почему мне скучно здесь? Почему хочется на простор? — Наверное, оттого, что я все же не ученый. Хотя и работал в науке... Я больше доверяю чувствам, ощущениям, догадкам. Это далеко от науки. Это пещерный век? — Не за наукой я пришел сюда, за истиной! — За истиной? — Да, я всегда желал знать истину! — Эка, брат! Есть истины, знать которые человеку не положено».

Я как бы продолжал находиться на своей реке, и блики костра отражались и на моем обветренном жестком лице, и на тихой глади реки. Вода и огонь продолжали разговаривать меж собой.

«А я — между ними! Они вечно в диалоге. А тут возник я, слабый человек. Я беспомощен перед их величием».

Попросив сделать ксерокопию статьи о воде, я вышел из библиотеки.

Сначала направился, было, в сторону Волги, домой. Но, не сознавая того, повернул влево. Вспомнилось, что через каких-то два квартала от библиотеки работает выставочный зал, где размещены компьютерные копии картин Рерихов, Рембрандта, Рафаэля, Моне, Пикассо, Ван Гога...

Перед глазами всплыла водная стихия Айвазовского. Его картины занимали целый большой зал. И в центре светилась одна из самых загадочных — «Хаос».

Там вода была не водородом, кислородом, дейтерием, тритием. Вода была всемирной стихией, была великой и нерасчлняемой. Она была тайной...

\* \* \*

Из моего дневника:

«...Вчера Константин назвал Юрия юродивым и тот, я видел, совсем не обиделся.

Если вспоминать, что юродивых на Руси церковь причисляла к людям «сознательно отрешившимся от обычного употребления разума», то ничего обидного для него нет.

Прежде, в городской жизни, я его не наблюдал, а жаль... Какой Юрий там? Такой ли, как здесь, на воде?

Он крестится и часто шепчет молитву.

Шептать молитву начал и я. Правда, на свой лад. Когда купаюсь в реке или умываюсь, я обращаюсь теперь к воде, прося, чтобы миновала меня хвороба, хотя бы на то время, пока длится поход».

## **Глава 21. На озере Балабанном**

На левом берегу Волги, чуть ниже города Самары, напротив деревеньки Винновка, приткнувшейся в междугорье, есть Винновский затон. Там я ловил на отвесную блесну судачков. А неподалеку — большое озеро Балабанное. Начиная с сентября, приезжал туда и всегда добывал на блесну щуку и, как правило, не одну.

Бесшумно передвигаясь вдоль камышей, бросал блесну обычно не далее, чем метров на пятнадцать. Выуживать щуку — одно удовольствие.

На этом озере я постигал азы этой азартной охоты.

В моем детстве на блесну не рыбачили. Мы, ребята, ловили щук на удочки-донки, насаживая на большой крючок в качестве живца плотичку, голавлика или пескаря. В этом качестве шла любая мелкая рыбешка. Если ее не было, часто насаживали лягушку. Но в этом случае грузило должно быть потяжелее, ибо иногда крупная лягушка выбиралась на берег и спокойно сидела на песочке.

Как искусно тело щуки приспособлено для быстрых движений! Мощный и широкий хвостовой плавник вместе со спинным и предхвостовым дают ей возможность при волнообразных движениях задней части туловища и при ударах хвостом совершать мгновенные и сильные броски вперед. Быстрому рассеканию воды способствует и мелкая чешуя с множеством слизи.

Сильный и ловкий противник!

Озерная щука обычно короче и толще речных. Я ловил эту хищницу около зарослей камыша. Там она прогонистая, ярко окрашенная, со светлым, золотистым оттенком.

У щуки прекрасно развиты глаза. Хрусталик имеет большую выпуклость и выдается вперед. Угол зрения в связи с этим

таков, что хищница, даже не двигаясь, способна к большому обзору. Попробуй незаметно подойти к этой даме.

Если учесть, что отраженный световой луч, переходя из воды в воздух, преломляется, и даже крутой берег не заслоняет от рыбы предметов, находящихся на некотором расстоянии от воды, то понятно, с кем имеем дело.

Щука своими клыками и щетками в пасти при мощных челюстях легко может порвать снасть. В детстве пойманная в бредень на реке Самаре щука сильно ранила мне голень. И рана была очень болезненной.

Иногда щука, схватив тройник, выскакивает из воды и становится торчком на хвост. Она дергает головой с раскрытой зубастой пастью, стараясь освободиться от тройника. В таких случаях обычно блесна вылетает в воду, а вслед за ней исчезает и щука. Чтобы вернуть себе свободу, она иногда выпрыгивает из воды, совершает полет в воздухе и тем самым либо обрывает леску, либо избавляется от крючков.

Крупные щуки ловятся лучше весной и осенью. Мне всегда было интереснее ловить осенью, когда щука, отъевшись и значительно прибавив в весе, становится энергичной и интересной в борьбе. Да и само время великолепно: можно, отдыхая на берегу, собирать калину, шиповник — это всегда удовольствие.

\* \* \*

С озером Балабанным я как бы уже сроднился. Все было привычным и понятным. Но вот название его — Балабанное? Что это? Откуда? Я пробовал узнать в селе Винновке, когда заезжал за молоком и хлебом, — не ведают.

А в голове уже давно выстроились названия: Окунево, Бобровое, Лещевое... Во всем есть первооснова...

Я взял в руки словарь Даля, и все открылось: «Балабан — вид большого сокола, употребляемого для травли зайцев. Балабаново перо, балабанье гнездо...»

Какое же это бесценное сокровище — словарь Даля. Он меня выручил в очередной раз.

Позже я прочитал в статье ученых из Союза охраны животных Урала, что уже десятки лет ведутся экспедиционные исследования и поиски гнездовой балабана по всей стране. И найдено всего несколько семей.

В Бузулукском бору, мимо которого мы проплывали, было обнаружено учеными одно гнездо балабанов.

Увы, соколиков разыскиваем по словарям и в труднейших экспедициях по всей стране. И остались их считанные единицы... Такова судьба соколиков русской земли.

\* \* \*

Город с его гамом, суетой, запахами железа и газов напоминал о себе шумом проходивших вдоль реки поездов. Этот неудержимый гул колес будто говорил: вы не принадлежите себе, не принадлежите и этой реке. Вы дети города: время придет, и он заберет вас к себе, как это делает замордованный заботами отец, прибыв в избу деда, чтобы вернуть домой собравшихся заночевать ребятишек. Там, куда тебя приведут, ты вновь будешь все делать, как положено, а не как позволено в сосновом дедовом пятистеннике. А если не заберут в этот вечер, то все равно в свой срок вырастешь и неизбежно, как по руслу реки, по неотвратимому течению приплывешь в ту жизнь, где другие запахи и другие облака, и ночи, и весны. Все — другое.

И эта новая жизнь заманит своими скоростями, неизведанной далью и просторами на два-три десятка стремительных лет. А потом? Потом тебе начнет сниться по ночам река детства. Все, что происходило на ней, будешь по крупицам вспоминать, собирать и дожидаться того дня, когда придешь к ее водиче...

## **Глава 22. Там, где в Самару впадает Боровка...**

Как пройти-проплыть мимо этого имени, если сама река моя несет его мне...

12 мая 1862 года Лев Николаевич Толстой с учениками Василием Морозовым, Егором Черновым и слугой Ореховым выехали из Ясной Поляны на лошадях в Москву. А 20 мая из Твери на пароходе поплыли в Самару.

27 мая они уже ехали из Самары на лечение кумысом в башкирское кочевье Каралык — 130 верст на лошадях.

Из записок Василия Морозова:

«...Это была степь, ни одной деревни не было видно, ни лесочков, ни кусточков, только видны неустроенные какие-то кибитки войлочные. Здесь нам была квартира-ночевка...



Кибитка наша была не тесная, четверым нам было вполне просторно... Она стояла в числе многих других кибиток, расположенных в два ряда, друг против друга...».

И далее:

«...Башкиры с ним (Л. Н. Толстым) все вскоре так сблизились, что всякий, встречаясь с ним, с радостью улыбался и кланялся ему. Даже 4-5-летние башкиренки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбались и обзывали его:

— Князь Тул (Это значило: «Тульский князь»...)

...Еще, бывало, Лев Николаевич боролся с башкирами. Бороться он был большой охотник. Он был сильный богатырь, и ему не находилось противников. Только один башкир был ему равный по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить. Запыхавшись, Лев Николаевич сказал ему:

— Нет, я с тобой не могу, ты сильнее меня...».

...Срочный отъезд из Каралыка был реакцией на погром, учиненный в Ясной Поляне.

Обыск там продолжался два дня. Были взломаны полы в колючине, закидывали невода в пруд. Обыскали и толстовские школы в селах Колпне и Кривцове. Проверяли переписку Толстого.

Ничего «подозрительного» найдено не было...

9 июня 1871 года Толстой пишет Фету об упадке сил, ожидании смерти, отсутствии душевного спокойствия... 15 июня писатель вновь приезжает в село Каралык и сообщает жене Софье Андреевне: «Башкиры мои все меня узнали и приняли радостно».

В это время Толстой читает греческих авторов, ходит и ездит по окрестным деревням, охотится, пьет кумыс, беседует с кумысниками, играет в шашки с башкирами...

Чуть позже Л.Н. Толстой напишет жене:

«Тоска и равнодушие прошли, чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново... Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревня...».

Он делится с Софьей Андреевной планами приобретения земли в Самарской губернии.

«Для покупки здесь именья особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа...»

28, 29 июня Толстой со своим шурином С.А. Берсом совершили поездку за 90 верст в город Бузулук на ярмарку, увидел представителей больше чем десяти различных народов и табуны лошадей уральских, сибирских, киргизских...

«В этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал», — отмечает С.А. Берс.

Толстой приобрел имение на приветливо встретившей его земле в Бузулукском уезде Самарской губернии (ныне Алексеевский район Самарской области) с хутором на реке Тананыке (пересыхающим притоком Боровки). Это та Боровка, по которой совсем недавно Анатолий и Борис вдвоем не без приключений проплыли от истока до устья на резиновых лодках.

Приехав в Ясную Поляну, Толстой пишет Н. Н. Страхову: «Я вернулся здоровый и свежий, но начинаю слишком много работать и хочу удержаться и не могу. Как будто погоняет неведомая сила...»

Известно, что в 1870-х годах крестьянские хозяйства постигли губительные неурожаи, вызвавшие разрушительный голод. В июле 1873 году писатель, чтобы определить его размеры, сам провел опись каждого десятого двора в селе Гавриловка по показателям: количество едоков и работников, наличие скотины, размеры посевных площадей, количество прошлогоднего хлеба, сумма долгов...

Собранные данные со своим письмом о бедственном положении крестьян он опубликовал в газете «Московские ведомости», которая распространялась по всей России.

«Письмо к издателям» о самарском голоде помогло собрать немалые средства — до 1867000 рублей деньгами и до 21000 пудов хлеба. И этим обязана самарская земля Льву Николаевичу Толстому.

Кто знает, может, и мои недалекие предки, прабабка и прадед, были спасены Толстым...

...И потом, в начале двадцатого века, мой дед и бабка вместе со многими самарцами спасались от голода вперемежку с другими бедами, косившими русский народ. И спас их благословенный сибирский край, куда они уехали от страшного мора. Все их дети, кроме моей матушки, умерли тогда, а уж новые двое — мои дядья — родились в Сибири.

Не было уже в ту пору Толстого. А другого такого человецища и не появилось более...

Я иногда, не боясь быть наивным, думаю: «Если бы жил Толстой? Было бы все так, как случилось: революции, гражданская война, голод, изгнание лучших умов России из страны? Ведь всего-то лет семь-десять не хватило ему! Или России? Или через все это надо было пройти российскому народу? Это его Крест?».

...С дополнительной покупкой земель самарское имение писателя заметно расширилось. Центр его переместился на новое место — «хутор на Моче».

Толстой с увлечением занимался конезаводством, в табуне было свыше 150 лошадей.

Из воспоминаний С.Л. Толстого:

«...В самарском имении, по замыслу моего отца, должен был быть большой конский завод. От слияния культурных кровей английских и русских рысистых со степными — башкирскими, киргизскими и калмыцкими — должны были произойти крепкие, выносливые лошади, особенно годные для кавалерии. Условия для такого завода в самарской степи были вполне благоприятны... Во исполнение этого замысла отец купил несколько прекрасных породистых жеребцов и большое число степных кобыл...».

Примерно годом раньше Толстой писал А. А. Фету:

«...К чему занесла меня туда (в Самару) судьба — не знаю: но знаю, что я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень важным) и мне скучно и ничтожно было, но что там — мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я с непременным уважением, страхом проглядеть, вслушиваюсь, вглядываюсь и чувствую, что все это очень важно...».

С 1872 по 1883 год великий писатель восемь раз приезжал в свое самарское имение на один-два месяца.

В конце семидесятых годов во взглядах писателя свершился перелом. Отношения между людьми и нравственные основы становились для него сомнительны. Тяготило положение помещика, барина. Он испытывал чувство вины за то, что крестьянство живет в нужде, возникает мысль о свертывании самарского имения...

Толстой отмечает в письмах: «...Много бедности по деревням. И бедность робкая, сама себя не знающая...».

Огромный человек с великой совестью не уместился в рамках богатого землевладельца. Не помещался в рамках установившегося уклада и миропорядка. Думал о нас всех, как спасти нас.

И попытался сказать об этом так, чтобы мы поняли, для чего живет человек. Его «Воззвание» обжигает душу.

Мы многое натворили за истекшие годы. И все усугубили и обострили. И скоро ли поймем то, что дано было осмыслить Толстому:

«...Не мне одному, но всем людям ясно и понятно, что жизнь людская идет не так, как она должна идти, что люди мучают себя и других. Всякий человек знает, что для его блага, для блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя, и если не можешь делать ему того, что себе хочешь, не делать ему, чего себе не хочешь; и учение веры всех народов, и разум, и совесть говорят то же всякому человеку.

...«Одумайтесь, Одумайтесь, Одумайтесь!» — кричал еще Иоанн Креститель; «одумайтесь», провозглашал Христос; «одумайтесь», провозглашает голос Бога, голос совести и разума. Прежде всего остановимся каждый в своей работе или своей забаве, остановимся и подумаем о том, что мы делаем. Делаем ли то, что должно, или так, даром, ни за что прожигаем ту жизнь, которая среди двух вечностей дана нам...».

Не одумались: мир не стал добрее, чем во времена Льва Толстого. И нас, кажется, скоро уже призовут к ответу. Мы не такими стали, какими могли бы быть... И Новый Свет, и Европу, и многих остальных трясет давно. Случайно ли это?

И не в том ли беда, что наша жизнь проходит в бездумьи?

\* \* \*

Мы миновали поселок Колтубановский, оставшийся по правую сторону Самары на берегу ее притока Боровки, и вскоре оказались в Самарской области. Впереди было село Борское.

Ближе к Борскому району река Самара, словно добрая хозяйка, раскрыла перед нами свои просторы, она стала шире и глубже. Реже стали появляться крутые песчаные берега. Исчезли завалы.

Впереди был славный своим разнообразием и самобытностью край.

Самара несла нас к Волге, протекающей через Самарскую область с севера на юг и разделяющей ее на две неравные части.

Большая, по которой мы плыли, — Заволжье, меньшая — Предволжье с возвышенностью и знаменитой Самарской Лукой, северную часть которой украшают Жигулевские горы, поднимающиеся над уровнем моря на триста семьдесят метров. А там, напротив Жигулевских гор, Соколы горы и Кинельские яры. Как и Жигули, со своими легендами и сказаниями...

Природа тут характерна едва ли не для всех уголков России, кроме Крайнего Севера и Южного Приморья.

Что же это за край такой?!

И природой он люб! И духом близок каждому русскому человеку! А по-другому и не может быть, если переселенцы в свое время пришли сюда почти со всей России. Как в капле, в «малой» моей родине отразилась вся Отчизна!

### **Глава 23. «Во поле березонька стояла...»**

Бузулукский бор — островной массив по большей части соснового леса среди степей Заволжья и Предуралья. Жемчужина самарского края.

Примерно в полутора десятков километров от города Бузулука, в бассейне притока Самары реки Боровки, на границе Самарской и Оренбургской областей простирается это чудо. Площадь бора более ста тысяч гектаров. Здесь еще в 1903 году было создано опытное лесничество.

С 1948 года на весь бор распространен режим заповедности и организовано управление лесного хозяйства «Бузулукский бор».

К Борской земле у меня особое, благоговейное отношение. Здесь еще в детские годы, впервые попав в древний большой сосновый лес, ощутил я меж высоких золотисто-медных, облитых летним солнцем деревьев янтарную прелесть старины. И потом уже ничто не могло стереть из моей памяти этого смолисто-хвойного, духовитого настоя, магнетического излучения, идущего от статных красавиц-сосен.

У меня оставалось мало времени до возвращения на работу. И режим плавания, который мы вынужденно установили, не позволял пешеходную вылазку в этот благословенный уголок земли.

...Миная Борское, мы оставили за спиной и Борский район, расположенный в юго-восточной части Самарской области, в бассейне пересекающей его реки Самары. По северной части района течет приток Кинеля — Кутулук, а по середине и южнее — притоки Самары Таволжанка и Безымянка. Отсюда до города Самары около двухсот километров по воде.

...На протяжении всего нашего речного пути глаза мои жадно высматривали среди чернолесья березу. Но всего несколько раз отметил я красавиц на крутом правом берегу. А вот сосенки часто появлялись — и более всего по правому берегу. И не поодиночке — стайками тонких, теснящихся у обрыва подружек. Попадались места, где под песчаными кручами лежали они вповалку, вырванные буйной весенней водой. Лежали они зеленые, но уже без будущего. Следующей весной их точно унесет и поломают водоворот...

Ель, сосна и береза в детстве были у нас в большой любви. На «нашем боку» Самары, где село Утевка, берез было всего несколько. Никто нас не наставлял, мы, сами ребятишки, почитали это дерево. И ни разу ни одну из них на моей памяти никто не сгубил.

Все наши березовые удочки были срезаны «на том берегу» Самары, где березки были сплошь и рядом. И срезали мы их не от основного ствола.

...А если на зиму заготавливались на дальнем лесном кордоне в Моховом березовые дрова, то это было всегда для нас, ребятишек, и смятием (березами топить?!), и чудом... Дрова, да еще березовые, это не кизяк... Около печки от березовых полешек всегда стояли особые дух и свет. А в печке, вернее, напротив загнетки, в которой обычно «доходили» лапшатник либо блинцы, сложенные на сковородке аккуратненькими треугольничками, на шестке справа светилась светло-золотистая береста, служившая для розжига дров.

Шесток мама мела большим гусиным крылом. Оно тоже было белым. И печка всегда была белой, а сковородник от железного горбатого носа до середины деревянной прогнувшейся ручки побычно был черен от жары и копоти... и походил на вечного нашего пастуха Кольку Цыгана... Стоял этот огарьш, как чужак, почти у самого порога, сбочь от печки... И труженик ухват, расставив кривые ноги, располагался рядом...

...Потом, когда мы подросли, появились лесопитомник и лесополосы. Зашумели тополя и карагачи вперемешку с березами. В этом присутствовало рукотворное начало... Все было красиво. Но вот те, дикие в лесу сестрички-березки... они были особенные такие... Таинственные и прекрасные.

Сосняки на нашей реке, у села, появились где-то в шестидесятых годах. Их высаживал местный лесхоз. Теперь они образовали в чернолесье красивые островки вечной зелени.

Мы никогда не решались брать у берез сок, даже далеко от дома, где их росло много...

...Это потом, во взрослой жизни, я узнал, что на Руси главным культовым деревом была береза. А в детстве мы уже и так видели и чувствовали: с березами в лесу светлей...

Известно, что береза до конца XVIII века была в России и символом начала весны. Ею украшали жилища.

Государь Петр I Указом своим от 20 декабря 1699 года объявил «по примеру всех христианских народов день «Новолетья», до этого отмечавшийся 1 сентября, перенести на 1 января». Этот день объявлялся праздничным, и повелевалось на домах вешать «украшения от деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». И ель с сосной потеснили березу.

Немало противился новшеству и люд простой, и знатный. Но постепенно новые порядки прижились.

Первая публичная елка в России была установлена только полтора века спустя — в 1852 году в Петербурге, в большом зале Екатерининского вокзала. При советской власти первую общественную елку устроили в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде 31 декабря 1917 года.

И что делается в начале XXI века?

Народы всей Европы, половины Азии, Северной Америки губят ради забавы миллионы елок. Ель и в России, и за рубежом стала главной жертвой браконьерских рубок.

Не помогают восстановительные лесопосадки. Во всем мире площадь ельников сокращается.

Обошла эта участь нашу березу!

...В 1903 году перед Рождеством учительница Раиса Кудашева напечатала в журнале «Малютка» стихотворение «Елка», которое начинается словами «В лесу родилась елочка...», а в 1905 году кандидат естественных наук, агроном Леонид Бекман

для своей маленькой дочки Верочки сочинил музыку на эти стихи.

Может, они еще тогда, давно, таким образом неосознанно за всех нас повинились и пожалели елочку?

\* \* \*

Село Гвардейцы мы проплывали в полдень. Здесь у меня случилась маленькая неприятность.

«Заело» резьбовое соединение у клапана при подкачке лодки. В спешке я, видно, переусердствовал, пытаюсь все-таки повернуть его. Посыпалась мелкая алюминиевая стружка, и резьбу заклинило.

Высадились на берег. Но и на «земной тверди» не смогли отсоединить «лягушку» от лодки — пришлось ножом вырезать из «тела» лодки карман, а потом заделывать отверстие. Так появилась у моей лодки на правой «колбасине» большая зеленая заплата.

...В селе Гвардейцы 29 марта 1931 года родился космонавт Алексей Александрович Губарев. Он один из нас, русских, совершивших выход в космос и подтвердивший высочайшую метафизичность России. Устремленность в иные дали так характерно для порывистой русской души.

...Мальчишка, родившийся в крестьянской семье в Самарском крае, стал дважды Героем Советского Союза.

...И вновь вспомнился мне светловолосый и ясноглазый рыбак Митя, которого мы встретили у села Николаевка. Как-то сложится судьба у этого степняка? Что готовит ему лихое время? Мог ведь и он стать соколиком русской земли.

## **Глава 24. Животоки**

Часто, если села были далеко, мы отыскивали роднички на берегу Самары. Углубляли их и набирали воду.

И сердечно благодарили этих светлых помощников.

Мы уплывали, а роднички оставались...

Такие роднички — недалеко от села Гамалеевка, под Тоцком, под Сорочинском около дамбы водохранилища, под Покровкой, Утевкой. По всей Самаре. И я их все помню. «Без памяти родник пересыхает...»



Когда, намаевшись день без воды, вдруг отыщешь источник и, нагнувшись, припадешь губами, раздувая травинки, к прохладной и таинственной влаге, тогда поймешь, почему наши предки молились роднику.

Владимир Даль отмечал, что родник — ключ, бьющая из земли водяная жила, криница, родничок, место рождения ключа.

Ключ — это источник, опирающийся недра земли.

И река Самара начинается с родничка.

...Осенью побывал я и у главного для меня родника: у истока реки Самара. В трех-четыре километрах от села Кариновка, что под Оренбургом, в степном раздолье пробивается на свет меж камней, бьется, как жилочка на виске, маленькая струйка водицы.

Выйдя из-под камней и из бетонного, в метр диаметром, кольца ручеек этот тут же образует небольшое озерцо.

И уже в шаге от истока, в углублении, вода эта голубовато светится, ясным оком глядит бочажок на небушко. И бездонная небесная синь отражается в нем.

И не мешают этому чудесному обмену взглядами ни ветла, раскутившаяся рядом над причудливой земляной запрудой, искусно выстроенной бобрами, ни молоденькая поросль ольхи... А чуть повыше родничка стоит желтеющая крепенькая березка и небольшая голубая беседка.

И они не теснят ручеек. Наоборот: будто зная, какой путь предстоит ему. Посторонились и, прислушавшись, молчат светло... Как долго я шел к своему истоку! Получается, что почти всю жизнь...

Все, что видел в походе по реке, все есть у истока ее. И ветла с ольхой и березкой, и куга с осокой... и песчаные берега, отмеченные отрогами древнего Общего Сырта.

«Только ли к истоку своей реки я вернулся?..» — думал я.

Вспомнились слова лесника, о котором когда-то рассказывал Паустовский: «...Вы глядите, как это складно выходит, — родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой...».

Так мог сказать и мой дед Иван Дмитриевич Рябцев.

...Тот день стоял как хрустальный. Свет и тишина царили вокруг! Так была отмечена наша долгожданная встреча.

Самарский край — то духовное и физическое место, где произошло и чудо моего рождения. И пусть я мал. Я — микро-

скопичен под этим небом, но мое появление неслучайно... как неслучайно оно у каждого из нас!..

И жизнь наша — величайшая тайна бытия. И только, может быть, в отчем крае удастся приблизиться к пониманию этой тайны...

\* \* \*

Наши предки 9 декабря, на день Юрия Холодного, слушали воду в колодце. Если водица тихая, не волнуется — то и зима будет тихая. Коли слышатся звуки — жди сильных ветров и морозов.

Святили колодцы в России на Первый Спас.

А где копать колодец? Народная примета подсказывает: там, где по зорям первый пар ложится.

Самые трудные болезни, считалось, лечатся только «непочатой» водой. По старинным поверьям набирать ее надо до восхода солнца при полном молчании из того колодца, где еще с ночи никто воду не брал. Лучше, если воду эту взять с трех криниц. Несущий «непочатую воду» ни с кем из встречных не должен был разговаривать, иначе целебная сила могла уйти.

Предки современных украинцев считали, что количество колодцев взаимосвязано с числом звезд на небе. Выроют колодец или расчистят родник — зажигается новая звезда. А если колодец засохнет или засыпят родник — погаснет и звезда.

Есть в благословенном Самарском крае вырытый мной вместе с мамой колодец. Может, и звезда наша на небе светит.

Немало мы расчистили родничков по берегам Самары, пока сплавлялись...

Звезд над головой было множество и небо было чаще всего ясным...

\* \* \*

Тихая самарская утренняя водица, подсвеченная желтыми песчаными берегами и неглубоким на плесах золотистым дном, свет, сотканный из легкого, таинственного, таящего в себе ночные призраки тумана, ласкали мои глаза и душу.

Перечитывая свои дневниковые записи, вновь переживаю незабываемые ощущения:

«Уходя за поворот реки, туман становится все гуще и гуще. От ясно очерченного и обласканного утренним солнцем противоположного берега, от изумрудной зелени осинника, боярышника и ольхи веет то древним и призрачным, то до бесконечности близким и родным. От этого становится не по себе. К этому надо привыкнуть.

...Я сижу у прохладной древней воды на краю своей лодки. У ног моих всхлипывает ручеек, а вокруг на сотни метров влево и вправо ровный берег. Песчаная янтарная равнина покрыта кулижками большущих лопухов. Лопухи, все в крупных каплях росы, кажутся на коричневом поле изысканным украшением. Сказочный мир окружает меня на реке.

Меж лопухов виднеются следы. Вчера, собирая для костра мелкий сушняк, принесенный еще полой водой, нарушили мы девственность этой равнины. До нас будто здесь никто не был. Очевидно, ветер здесь ровняет песок с завидной прилежностью, готовя приют для редких гостей...

Все на реке тонет в утренней тиши, в царстве бархатного воздуха и света».

\* \* \*

...На Самаре я часто вспоминал деда. Река и мой дед для меня едины. Часто думал о смерти. Спокойно думал и уравновешенно. Этому меня научили дед и река.

У деда было уже совсем плохо с сердцем. Мне говорили, что его может не стать в любой день. А я не решался появляться. Ибо при встречах с ним плакал от безысходности навзрыд.

...В тот раз пересилил себя. Выплакавшись, выдавив из себя, казалось бы, все слезы, вошел во двор.

Дед Иван сидел на крыльчке в шубе, греясь на апрельском солнышке.

— Ну вот и хорошо, Шура, что ты приехал, а то помру я, не повидав тебя...

Он сказал эти слова, и я в один миг лишился способности говорить. Лицо дрогнуло. Горло перехватило. Я начал шмыгать носом. Потекли слезы. Еле-еле что-то произнес протестующее и замолчал.

— Ну что ты, Шура, это же со всеми происходит. Теперь мой черед.

Я не принимал такой логики. Не был готов к этому. Всего разговора на крыльчке не помню теперь. Тогда я только слушал и изредка кивал головой. Чувствовал себя виноватым: он умрет, а я останусь жить...

Лицо его, всегда казавшееся мне красивым, теперь худое и небритое, с ввалившимися глазами и щеками, пугало спокойствием. Оно осветилось почти детской улыбкой. И он сказал легко и удивленно:

— Вот ведь как! И войны прошел, и голодные годы. Чего только в жизни ни происходило. А закрою глаза, будто ничего и не было. Вижу только себя плывущим по Самарке в лодке! И такая красота, и радость от этого! Почему так?

Он говорил это, не думая, что я дам ответ. Он знал: есть нечто такое, что нельзя объяснить, остается только удивляться.

...Я уехал сдавать свои «сопроматы». Он умер через неделю. Так просто.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное...», — это пришло из Библии много позже.

И принял я спокойную мудрость моего деда.

## **Глава 25. У села Богатое**

У села Богатое мы высадились на правом высоком берегу сразу после моста.

Я решил позвонить домой. Но почтамт оказался так далеко, что пожалел о своей затее. Да и новые кроссовки, которые надел впервые за весь поход, были маловаты. Попробовал снять и идти босиком, но израненные в преодолении завалов ступни ног давали о себе знать. Да еще пыльные улицы все сплошь в камушках, а узенькие тротуарчики вдоль домов из мелкого щебня. Пришлось крепиться.

Некоторой компенсацией за мое терпение были удачный звонок жене и в магазинчике — черный хлеб, по которому я сильно соскучился. Дозвонился я и до своего заместителя на заводе. Дела шли там терпимо. Вот только заграничные коллеги — немцы упорно торопили с приездом моим в Мюнхен.

Желая сократить путь, пошел к реке дворами. Миновав школу, вышел на большой откос с извилистой тропинкой. Ког-

да направился вдоль забора, попал в удивительный уголок, где над головой свисали отяжелевшие ветки с налитой спелой вишней. Да в таком неожиданном изобилии! Шла вторая половина июля...

Я потом и записал в своем походном дневнике: «Село Богатое подарило богато мне самый вишневый день в моей жизни и мозоль на мизинце правой ноги».

У самого села, где мы сделали остановку, и ниже по реке — песчаные пляжи. Днем много купающихся, а вечером берега обсиживают рыбаки.

Около огромной речной косы, будто искусственно намытой из крупного красно-коричневого песка, нас настиг с шумом окатный дождь. Быстро высадились. Но отвесные, сильные потоки воды и резкие порывы ветра сделали свое дело. Вещи успели укрыть, а сами, пока возились под проливным дождем, промокли. Водяные струи метались под дном палатки, а на реке от ливня стоял звон...

Когда все стихло, вечер был уж больно хорош. Легли спать поздно — сидели у костра.

Спалось спокойно, пока где-то около трех часов ночи не начался вновь дождь, а потом и гроза. На мои уговоры порыбачить бреднем в грозу никто не согласился...

Встали в восьмом часу. Гроза затихла. Глаза слепили лучи солнца. Песчаное пространство вокруг, обрамленное с одной стороны речкой, а с другой — осинником, поднимающимся террасами вдаль от реки, благоухало. Песок был прибит дождем, залит и упитан влагой. Крупные и ядреные, словно крепко взявшаяся разреженная рассада гигантской капусты, стояли большие лопухи.

...Борис еще спал. Анатолий гремел посудой. Константин вынимал у Юры из пятки занозу. Делал он это в походе уже не в первый раз. Юру полюбили не только комары, но и занозы. А Константин ходит босиком. Как птица. И все у него нормально.

После завтрака не спеша стали готовить лодки. Борис заявил, что дальше не поплывет. Его не устраивал ритм нашего похода.

Последние дни, если не было препятствий, мы гребли с утра до вечера, делая небольшие перерывы и один, более длительный, на обед.

— Куда, говорит, вы бздырите? — пояснил Анатолий. — Он хочет отдохнуть, не спеша плыть тридцать дней, а тут поставлена задача за восемнадцать. Он не согласен. Борис не хочет к людям. Твердит, что ему среди людей одиноко, а здесь — хорошо.

— Так он ведь не слышит и не видит людей? — Константин смотрит на Бориса.

Тот стоит изваянием чуть поодаль. Как обычно, он монументален. Похож на вождя древнего племени, властное желание которого переводит доверенное лицо — Анатолий:

— Он говорит, что остался бы жить на этом красивом песчаном плато, так оно ему понравилось, если бы не зима. Он здесь более, чем где-либо, ощущает близость неба.

Я невольно вздрогнул: сколько было мест на Самаре, которые не хотел покидать, но ведь надо...

— Он, правда, туземец, твой Пятница, — удивился Константин. — Так закорячился.

То Юрий убеждал меня, что ему нечего делать за границей: «На фига мне сдалось их такое рыночное счастье? Мы хоть в космос вышли первыми, а они животы только свои набивают, они там не так думают, чему у них учиться?». Ничего себе: «думают не так», но умеют-то многое?!

А теперь Пятница к людям отказывается плыть!

Мы на реке снова становимся детьми?

Константин смотрит в упор.

Я молчу в ответ.

Наш Решительный не только нас фотографирует, но и разглядывает... понять хочет... непросто ему...

Обращаясь сразу ко всем, Борис произносит спокойно и буднично:

— Я привык ходить чаще один. Я остаюсь. Поживу невторопь. Зачем мне рваться туда, где околевает совесть?

Сказал и пошел к воде.

Я запротестовал, обращаясь к оставшимся:

— У него ушиб грудной клетки, а может, и перелом ребра — нельзя оставаться одному. Мало ли что может быть? Надо его уговорить плыть с нами. Если не устраивает компания, то доплывем до Утевки, а там машиной доставим его до Самары.

Анатолий отправился на переговоры, но вскоре вернулся.

— Борис — неуступа. Бесполезно.

Посоветовавшись, решили: раз опаздывать на работу мне нельзя, надо делиться. Мы с Константином в прежнем ритме плывем вдвоем, а остальные втроем стартуют чуть позже, не торопясь. Дней через восемь доберутся до города Самары.

На двоих с Константином мы взяли десять картофелин, пять литров воды, две банки тушенки, полбуханки хлеба и, прощавшись, отчалили.

Обернувшись, я посмотрел на Бориса. Он деловито возился около своей палатки. «Читал ли он толстовское «Воззвание» и читал ли Толстого вообще? — думал я. — Толстого бы в наше время! Что бы он сказал?»

...Первые четыре часа мы гребли почти без перерыва. Ветер часто дул в лицо, скорость была небольшая.

Река здесь широкая. На берегах попадаются сосновые островки, но чаще всего осинник, тополь, песчаные косы с лопухами. На воде не жарко, хотя работали веслами без останова.

Из записей в моей тетрадке:

«...Пишу, а у самого пальцы рук словно деревянные, никак не отходят после гребли. Задали мы ритм!

Сейчас утро, восемь часов. Небо без единого облачка. Ветер верховой, сильный. И на воде ветер есть.

— Опять ты нас нашел? — сокрушается Константин.

Он с ветром на «ты».

На этом участке, у Максимовки, берега часто крутые, а если отлогие, то вязкие — для остановок неудобны».

\* \* \*

Когда мы остались вдвоем с Константином, дела у нас пошли слаженнее. Но как-то однообразно. Непривычно было без наших таких разных спутников.

— Вчера Юрий спросил меня, — вдруг произносит Константин, — куда мы идем?

Я не сразу врубился, а он постоянно думает о своем, ищет ответ.

— Если, говорит, мы, русские, не сохраним себя, не останемся самими собой, если пойдем за Западом, то придем к катастрофе. Зачем мы за ними поплелась, они же сами не знают, куда идут? Западная цивилизация не может победить, ибо она — зло. Наше сознание определяет все-таки не бытие. Дух и сознание

во главе всего. Зло все равно потерпит поражение. Оно самопожираемо — так и сказал. Каков наш Юрий! Он меня перевернул! Жалко, кончился наш сплав, не договорили мы с ним...

— Но ведь он высказался куда уж яснее. — Мне интересно, что ответит Константин. — И ты, по-моему, во многом согласен с ним?

— Понимаешь, он высекает мысли, этот колдунчик. Думать начинаешь при нем самостоятельно...

\* \* \*

...Роднички да кулички стали теперь нашими постоянными спутниками. Попадались и чайки малые, но редко. А кулички всю водную дорогу были с нами. Они создавали особый уют. В отличие от своего собрата кулика-сороки.

Эта неловкая на вид и крикливая птица, будоражила речную тишину при нашем появлении резким криком. Очевидно, гнезятся эти кулики где-то по берегам и криком своим выдают это обстоятельство. Ни разу не было, чтобы их взлетало более двух пар. Похоже, что река поделена на участки, которые принадлежат отдельным семьям этих пернатых. Кулики-сороки стали нам попадаться только после села Тоцкое. И мы видели всего не более двух десятков пар.

Этот кулик — крупная птица, размером с голубя. Имеет контрастную черно-белую раскраску. В полете напоминает обыкновенную сороку, потому, вероятно, так и называется. У кулика-сороки ноги и прямой длинный клюв окрашены в красный цвет. Голова, шея, спина, крылья и кончик короткого хвоста темного цвета с сизоватым отливом.

Я заметил, что пропитание кулики-сороки разыскивают на ближайших к гнездам речных участках.

Эта птица, на которую природа не пожалела сочных красок, но не придала статности, ходит по песку, долго что-то высматривает и медленно засовывает клюв в песок. Или заходит в тихие тенистые заводи по брюшко и опускает клюв в воду. Часто кулики-сороки бродят по мелким ванночкам, оставшимся на берегах, бороздят их. Очевидно, кормятся моллюсками и беспозвоночными, а также, возможно, и насекомыми.

Один только раз видел, как кулик-сорока садился на воду и плавал. Скорее всего, это у них не в обычае.



Видимо, вороны разоряют их гнезда. Я наблюдал, как пара куликов-сорок переполошилась при появлении этих умных разбойниц.

Каждый раз, оставляя позади крикливых куликов-сорок, мы облегченно вздыхали. Уж больно надоедливая и шумная птица. Всегда казалось, что она на реке случайна. Река устала и ждет, когда освободится от нее...

## Глава 26. Возвращение

Миновав Покровку, мы вышли на ровный участок, и впереди обозначился силуэт моста у поселка Красная Самарка. Поселок раньше назывался Крепостью, а мост, соответственно, крепостным. До него мы в своем походе уже миновали полтора десятка разных мостов...

Поездив по миру, много видел я мостов. Но «Крепостной» — особенный. Он — первый. В детстве лучше всего брали голавли именно около его свай. И самый крупный подуст ловился здесь: с лодки на перекате. И еще около этого моста, справа под горой, бьют незамерзающие холодные ключи. Два из них особо сильные и напористые.

Деревянный мост ежегодно сносила большая вода, но его терпеливо восстанавливали.

По его скрипучим, широченным и толстым доскам множество раз проехали мы с дедом в сенокосную пору в Моховое или с дядьями на охоту. Но уже давно этот деревянный мост заброшен. Нефтяники наводят понтонный. Каждый год река Самара теперь по весне фатально зависит от уровня воды в Волге, а Волга — от регулирования стока на Куйбышевском водохранилище.

...Увы, внука моего у «Крепостного моста» не оказалось. Пока я был в плавании, что-то повлияло на наши планы. Завершающий участок пути проплыть вместе, как нам хотелось, не пришлось.

«Ничего, — думал я, — был бы здоров, мы еще сплавимся с ним по этому маршруту! И не раз».

...После моста у Крепости начинался участок реки, на котором я, можно сказать, вырос.

Открывались места, названия которых меня завораживают и до сих пор. Самое первое по ходу от моста — Кунаев ключ,

здесь всегда была самая удачная рыбалка. Место получило название от небольшого притока по правому берегу реки, оживающему только в водополье. Этот ключ — прорва. Появляясь из леса, он рвет крутой, нависший над водой, заросший ветлой и черемухой берег реки. Здесь всегда коряжистая яма, где постоянно чмокают сомята. На них-то мы и охотились, используя для насадки личинки майского жука, лягушек или пучок дождевых червей. Но чаще всего — шейку рака. Рыбалка всегда тут была таинственной и особенно вдохновенной. Сомята на удочку брали обычно где-то после одиннадцати вечера и до двух часов ночи.

По склонам ключа-оврага, затененным могучими ветлами, всегда росла ежевика и черная смородина. И хотя жутковато спускаться в самую низину его, ягода манила к себе. Мы ватажками наведывались туда...

Если отважиться и пойти дальше от реки по этому таинственному руслу, то попадешь в непролазную топь, закоряженную и заросшую кугой. В таком только необычном месте, казалось, и водятся русалки с лешими. Едмище — так мой дед Иван называл его.

А я именовал по другому — урема. Не помню, откуда это слово ко мне пришло. Но оно было почему-то как бы своим, хотя и страшноватым немного. «Уре-мма», — повторял я вслух, и мне становилось будто даже радостно оттого, что есть такое у нас в лесу: и угрюмое, и заманчивое. «Урема — это так дремуче и велико! Как в Сибири!» — думал я.

Когда мы с ребятами нашли в уреме зеленую черепаху, дед добродушно принял мое название. Усмехнувшись в усы, он согласился:

— Чему ж дивоваться-то, одно слово — «урема»! Чего только в ней нет...

Так и прилепилось мое название — Кунаева урема.

...А напротив Кунаева ключа, на левом берегу реки, — милые сердцу Пески, как брошенная кем-то косынка — огромная золотая песчаная отмель, поросшая изредка, поодаль от воды, мелким осинничком да красноталом.

Этот берег — полная противоположность правому мрачному, темному берегу. Тут царство света, мелководья и трепетного осинника с лопухами. Здесь мы устраивали всегда рыбацкие ночевки. На перекатах днем стояли на лодках и ловили поду-

ста. Ночами, кто не сомятники, гоняли шумливые стаи подуста недотками на мели.

Пески на левом берегу кончаются, и тут же сразу — большой, сумрачный Полоузный ключ.

Вся окрестность Утевки со стороны Крепости, Покровки и Ветлянки в весеннюю большую и малую воду питает через Курьни, Ильмень, Прыгалку и старицу реку Самару. Часть этого бурного потока врывается в реку через Полоузный ключ. Но это в водополье. А летом журчит, бормочет себе под нос веселый ручеек, образуя у самого входа в реку небольшое углубление, которое мы, ребята, звали «ванной».

...И ворохнулась в памяти, ожила когда-то яркая, а теперь уже полуистертая картинка: старые могучие, кряжистые ветлы, котрые росли здесь вдоль небольшого ручья и были свидетелями наших ребячьих забав, в одно бурное половодье повыврывало с корнями и унесло мутной картавой водой...

Образовался сырой и глубокий овраг: крутые песчаные берега да тина появились взамен красоты и величья...

Это одна из многих утрат, случившихся в детстве на моих глазах...

Почти напротив Полоузного ключа на крутом склоне, заросшем теперь осинничком, был раньше крутой съезд к броду и выезд на поляну. И часто фыркали тут лошади и скрипели повозки.

А на поляне среди клубники и разнотравья стояла памятная мне кривая ветла. Через поляну дорога вела в село Мало-Мальшевку.

Здесь, в этом лесу, мы когда-то с отцом по заданию лесника в чернолесье ставили межевые столбы. Лесник разрешал нам за это между кустами косить сено.

В лесной духотище, вооружившись лопатой, пилой и топором, под нестерпимым солнцем тесали мы лесины, рыли ямки, ставили столбы, а уж потом кто-то из лесничества краской метил номерами лесные участки.

Помню, спасались мы тогда от несносной жары тем, что пили айран — кислое молоко, разведенное водой.

Немало таких столбиков стоит в нашем лесу.

Мы причаляли к берегу. Поднявшись в лес, обнаружил один такой межевой столб и опознал: точно «мой» — я тесал верхинку его. Стоит на земле — несет свою службу...

...Чуть правее есть еще поляна среди мелколесья. На ней растет большими кулигами чилига.

Здесь обычно бойкие Стрепетки с нашей улицы режут ее серпами. Вяжут веники, потом берут их на предприятия. Это их промысел, переходящий из поколения в поколение.

В леске, вокруг поляны, мы с моей бабушкой Груней часто собирали хмель. Бабушка варила «дрожди», как она говорила, на всю нашу улицу. Все лучшие закваски были всегда у нее.

А еще она собирала шиповник и черемуху, сушила ягоды на зиму и ухитрялась продавать в степных селах, там они шли за диковинку.

Помогала река жить...

...Ниже Полоузного ключа — Ледянка, Угол, Искровская купалка, Платово, Шум... И с ним тоже связаны целые куски моей детской жизни. Да и только ли моей!..

...Много раз я по просьбе дядьки либо деда перегонял вверх по реке с Платово до Крепости лодку-плоскодонку на расстояние около трёх километров и более. В двенадцать лет — это целое путешествие... Я до сих пор помню эти перегоны...

...И ямины на реке, перекаты тех лет не забыл. Помню корни и коряги, с помощью которых преодолевал местами сильный речной поток...

А наверху, на берегах, где потоки в водополье слабее, есть и сейчас деревья, с которыми не теряю личную связь. Среди них и дуб, и осина, и осокорь, и ветла, и березка...

Где бы я ни был, вернувшись, по возможности прихожу к ним.

Так у меня сложилось...

Мои друзья-деревья свидетели тех лет, дней, когда живы были мои родители, мои дед и бабка...

...И вдруг я спохватился, вспоминая эти давние годы: на всем водном пути мы не видели ни одной плоскодонки, ни одной ватажки пацанов-рыбачков с лодкой.

В наше время каждую весну во многих дворах готовили разошедшиеся плоскодонки к плаванию. Конопатили щели ветошью, накладывали и прибивали мелкими гвоздями жестяные полоски по ним. Затем смолили. Дно промазывали смолой обычно целиком. И хотя от этого лодка становилась тяжелее на ходу, зато надежней.

Первое свое стихотворение я написал под впечатлением такой вот подготовки лодки к летней ее жизни. Помню теперь только две строчки:

*И выгибает спину лодка кошкой  
Под дедовым размашистым мазком.*

Помню еще, как мои дядьки и дед делали новую лодку. Это было для меня тогда ни с чем не сравнимое событие. Из досок, которые несколько лет пылились в селянице, томились в забвении,росло на моих глазах сверкающее, пахнущее сосновой смолой удивительно ловкое суденышко. Оно еще во дворе, на весеннем солнце, окруженное сосновыми пенящимися стружками, как речными волнами, подталкивало и манило к себе. Хотелось сесть на широкую корму и почувствовать его норы.

Сходное чувство испытывал я, когда вскакивал на удобную спину мерина Карего и обхватывал его, упираясь босыми пятками в крутые бока...

\* \* \*

...Чаще всего в нашем походе попадались на реке взрослые. И часто не с удочками, а с «пауками» — большими кругами на концах длинных шестов с блоками. Такая механизированная снасть. И видно было, что в большинстве рыбачили люди чужие, приехавшие на машинах. Своего, «оседлого» населения река лишилась. Перестав быть частью деревенского быта, она стала забавой, пригодной только для досуга. Приехал — уехал: вот и все общение с рекой.

...И ни разу не услышал я песни на реке.

Зато видели мы умельцев, добывающих цветной металл. Сидит себе такой мужичок у костра, рядом гора выгоревшего кабеля и он, весь чумазый и пропахший гарью, выбирает краденое из углей.

— Разные специалисты бывают, — утрюмо произнес при последней такой встрече Константин и неожиданно крепко выругался.

Рассказал нам местный рыбак из села Богатое и о добытках иного рода — с электроудочками. Их он наблюдал накануне на реке.

Удивительное дело! Как только человек ни изощрается, чтобы покорить природу. А вернее, ее искалечить. Если раньше

путь рыбе, идущей на нерест, преграждали сети браконьеров, величественные наши гидроэлектростанции, ядовитые стоки, то теперь человек придумал еще и электрошок и назвал это, вроде бы, прилично — «электроудочка». Каково? Электрошок для природы? Нашлись изобретатели. Теперь производители-кустари широко продают такую снасть. Эту с виду невинную «электроудочку» я бы назвал орудием массового уничтожения, не иначе. Своеобразная мини-атомная бомба для рыб. Небольшая коробка, которая свободно помещается в обычную сумку или рюкзак, на самом деле мощный трансформатор, преобразующий ток аккумулятора до тысячи и более вольт. Такой ток через сачок попадают в воду и «глушит» рыбу. Эта адская техника может воздействовать на десятки метров.

Специалисты так описывают действие «электроудочки»: холоднокровные (рыбы, лягушки), попадая в поле постоянного тока, стремятся быстро из него выйти. Когда электрическое поле слабое, они выходят (пугаются). Когда же сильное, погибают, получая электрошок. Промежуточный вариант: когда ток «не маленький и не большой». Тогда проявляется «анодная реакция» — рыба активно устремляется, как по туннелю к аноду, то есть, к обручу сачка. А когда крупная добыча переключивается в рюкзак, ненужной рыбаку-браконьеру молодью усыпано все дно.

Сом, попав под ток, всплывает на поверхность воды с широко раскрытым ртом. Быстрый красавец голавль уныло лежит на поверхности воды кверху брюхом. На щуку действует даже самый слабый ток

Все очарование рыбалки, все таинство ее с появлением «электроудочки» исчезает напрочь. И уж это не рыбалка вовсе, а убийство... Какое это удовольствие, когда всю находящуюся в округе рыбу ты сажаешь на «электрический стул»? Живодерня, да и только!

Есть свидетельства того, что в этот момент гибнут сотни и тысячи личинок насекомых, уничтожается рыбий корм.

Основоположником электролова считается немец Альфред Шенфельдер, который опубликовал в 1925 году в журнале «Рыболов-спортсмен» статью «Лов рыбы при помощи электричества». Чуть позже, в 1940 году, другие немцы Шименц и Гумбург предложили этот способ для промышленного рыболовства. И пошло-поехало...

...Мы с Константином покинули стоянку у села Богатое накануне в четырнадцать часов, в разгар светозарного дня. А приплыли к Утевке на Ледянку, туда, где год назад впервые встретились и познакомились с Анатолием, вечером следующего дня.

Торопясь, почти без отдыха работали веслами. В первый — день около пяти часов. Второй день — семь часов. Первую ночь провели напротив села Максимовка.

Вторую ночь коротали с Константином под Утевкой на высоком берегу реки, у Ледянки.

...Солнце скрылось за горизонт и взошла вечерняя заря. Прощальная для нас на реке.

В разливе красок тонули глаза, а слух был в плену у томного молчания реки. Мы, кажется, растворились в этом червонном, бирюзовом, малиновом, туманном и древнем мире...

Не верилось, что сможем завтра добровольно уехать с берегов нашей реки...

...Проснувшись под утро от холода, я достал байковое одеяло, куртку и водрузил их поверх спального мешка. Только стал засыпать, звякнула посуда у тлеющего еще костра. Быстро вылез из мешка и раскрыл лаз в палатку. Все затихло. Едва задремал, вновь позвякивание в горке вещей. Снова пришлось покинуть спальный мешок. Осторожно, как мог, приблизился: из-под посуды выпорхнула мелкая серая птичка. Возможно, это была летучая мышь.

Ложиться больше не стал. Захотелось пройтись по берегу. Он был совсем уже другим, нежели в далеком детстве.

Голое когда-то пространство от Ледянки и ниже метров на пятьсот заросло кустарником и осинником. Стало уютнее от этого, но непривычно.

Чуть поодаль от палатки в низинке наткнулся на огромные неохватные для одного человека пни: все, что осталось от двух старинных могучих осокорей, стоявших, как великаны-часовые, на крутом берегу. Да и сам берег теперь уже не такой крутой, как раньше. И огромного омута на Ледянке не стало. Берега выровнялись за годы, которые отделяли меня от детства. И течение установилось ровное и спокойное...

\* \* \*

...Я доплыл до своего родного села Утевка и остановился.

Два места на Земле, где мне особенно щемяще-грустно и светло: могилка моих родителей и моя река Самара...

В последнее утро нашего похода Константин сказал, по-детски улыбаясь:

— Знаешь, приснилось сегодня ночью, что я птица. И пролетел я над Самарой-рекой, как чайка. Оттого-то непривычно теперь болят руки. От предплечья до пальцев. Будто намахался вдоволь, до устали. Непривычно...

— А может, так оно и есть, — отвечал я. — Мы прилетели с тобой, а не приплыли?..

...Я присел напоследок на высоком песчаном берегу, как это мы когда-то делали с дедом Иваном, и задумался: «Счастлив ли я, встретившись со своей рекой? Конечно, счастлив! Но только ли счастья мне надо? И только ли этого я жду?».

Мысли шли спокойными волнами: «Ведь смысл не в счастье, а в правде», — всплыло вековечное, кажется, независимо от моего сознания. И стало легче и радостней, будто я преодолел что-то ранее недоступное и стал чище и зорче душой. И это было ей дано в моем благословенном крае...

«И познаем мы свой край и Родину свою настолько, насколько любим», — другой голос говорил мне, и я соглашался.

\* \* \*

Едва успели попить чаю, как приехал мой приятель на машине. Мы стали собираться в сухопутную дорогу.

Здесь, на обрывистом берегу, среди дремлющего в июльской истоме редкого тальника, собрал я душистый букет из пижмы, медуницы, Иван-чая, дикой мальвы. Приложил и две веточки цветущей чилиги. С высокого берега помахал Самаре на прощанье рукой. Потом постоял в раздумье. Вот уж действительно: в одну реку дважды не войдешь...

Мы поехали в город Самару, намереваясь по пути, на выезде из села, заехать на кладбище.

С кем я прощался? С рекой, с тем временем, которое я провёл на реке? С тем временем, в которое река меня вернула? С нами, какими мы были? Теперь-то мы как бы уже и не «мы».



Возвращались мимо озер: Лопушного, Подстепного, Таловой ямы, Лещевого, Осинового, Латинского и Бобрового. Я не удержался от соблазна, и мы сделали ради этого круг: поочередно объехали их по песчаному проселку, выскочив после Бобрового на прямой большак с ровными, стройными тополями по обеим сторонам.

Совсем рядышком, справа, остался необычный лагерь «Дружба», своеобразный филиал здешней средней школы.

Привлеченную природой ребятню со всей области здесь ждет много интересного. Вдобавок — новый жилой корпус на пятьдесят мест.

Можно и позавидовать: в наше время такого не было. Сюда съезжаются ребята, чтобы изучать природу и историю края. В программе — насекомые леса, поля и луга, экология и уход за яблонево-вишневым садом. Дай-то Бог им удачи, этим ребяташкам.

Они изучают природу. А мы жили в этой природе! И под кручей, на которой сейчас стоит лагерь, на мясо ракушки и обыкновенную нитку, привязанную к пальцу, ловили большущих раков. Теперь уж их столько в озере не водится...

\* \* \*

...Вот он — выезд из села, а слева — широкое кладбище.

Разделив букет на три части, положил я цветы на три могилки: маме и отцу, деду с бабушкой и дядьке Алексею. Они все любили полевые цветы. Особенно бабушка Груня. Полуденный зной, густой аромат трав, покрывающих все кладбище, вечность, осевшая на крестах и неказистых памятниках, — все было знакомо и таинственно...

Два венчика цветущей чилиги оказались на могилке моих деда и бабушки.

Странно: стояло безветрие, а легонькие лепесточки у чилиги еле заметно шевелились. Словно трогало их чье-то тихое и близкое дыхание...

И снова слышался мне голос моего деда Ивана Дмитриевича и его слова, сказанные когда-то тихо и просветленно:

— Чего только в жизни ни происходило! А закрою глаза, будто ничего и не было. Вижу себя, плывущего по Самарке на лодке! И такая красота! И радость от того, что плыву!

...Я уж, было, пошел от могилок, но что-то остановило: «Ведь не о реке одной он говорил тогда. Он говорил о нас всех. О том, что нас объединяет, движет нами. О любви он говорил. И о наших истоках...».

Я еще раз обернулся: легонькие лепесточки продолжали шелестеть...

Укор ли какой шел от них или что-то иное? Как мне было понять...

...Все входило в свое обычное русло. Широкая лента автострады рвалась вдаль. Скорость, шуршание сильных и быстрых колес после нашего медленного сплава... Чуть более часа — и мы будем в областном центре.

...Через четыре дня позвонил Анатолий и сказал, что они с Юрием приплыли без Пятницы.

Борис настоял, чтобы оставили его на реке одного, как он сказал, «пустынничать».

— И надолго? — спросил я.

— А пока река не отпустит...

## **Вместо эпилога**

...В первые дни, после того, как я узнал, что Борис остался, мне не было покоя. Переживал за него. Как он там, совсем один? И опытен, и неприхотлив. Но один: мало ли что может быть...

...Немцы, с которыми мы сотрудничали, настаивали на встрече, и я вылетел через Москву в Мюнхен.

...Едва самолет поднялся в воздух, я прилип к круглому окошечку и глаза мои отыскивали Волгу, а затем и Самару.

Волга темно-синей широченной лентой лежала внизу величаво. Самара была светлее, легче и серебристей.

Меня, в отличие от Бориса, нес другой поток.

Я скользил взглядом по реке, гадая, где может сейчас находиться наш Пятница. Время еще не позднее. Сидит ли он сейчас у костра или плывет по реке, не спеша, не зрением, не слухом — они отсутствуют — всем нутром своим чувствуя речной поток, несущий его в город? Или стоит около воды задумчиво и безмолвно?

«Нельзя же так упорно отвергать город и нас всех! От этого никуда не уйти! Все: самолеты, поезда, метро, людская судо-

лока на улицах, наши переговоры, фуршетты — это все плоды цивилизации?» — думал я. И вспомнил, что уже говорил ему в походе нечто подобное.

— А какой ценой? — угрюмо и упрямо отозвался тогда он. И я замолчал.

...Самолет быстро набирал высоту. И реки моей под крылом не стало. Все скрылось под облаками. Казалось, что больше вокруг ничего и нет, кроме этой белой пены. Потом, когда наш Ту-154 попал в турбулентный поток, и его стало трясти, как телегу, я суеверно подумал, что и мой поток не так уж надежен. Не зря после приземления все пассажиры захлопали в ладоши. Как дети.

...Борис через месяц появился живым и невредимым. Речное течение благополучно прибило его к городу. Время, проведенное в одиночестве, кажется, пошло на пользу. Я порадовался за него: он стал прилепляться к людям.

«Очевидно, Борис пересилил свое застарелое недоверие — не река ли помогла?» — думал я.

Он подружился со своими новыми соседями по лестничной площадке в доме — многодетной шумной семьей. И они начали готовиться к сплаву по маршруту «Жигулевской кругосветки».

Но случилась беда. О ней я узнал, вернувшись из очередной заграничной поездки.

В один из вечеров недалеко от дома пошел наш Пятница погреть душу у костерка близ водицы. Развел на песочке огонек, и все бы хорошо было, да объявились трое бомжей. Случайно или подкараулили?..

Им приглянулись его самодельный походный примус и котелок. Борис воспротивился наглому напору. Но силы были неравные. К тому же у Бориса — полностью отсутствовала способность ударить человека.

Бомжи стали его убивать.

Как мог, оборонялся он суковатой палкой. Налетчики, забрав нехитрый походный скарб, оттеснили его от костра и погнали в воду. С хохотом. Похоже было, что они вымещают свою злобу. И подвернулся им Борис.

Все это случайно видела девочка, спрятавшаяся от страха поблизости под опрокинутой старой лодкой. Когда бомжи

скрылись, она помогла Борису выбраться на берег. Не дала утонуть.

У него была сломана левая рука ниже плеча и пробита голова.

Умер Борис позже, на больничной койке. Остановилось сердце. Видно, не мог пережить людской жестокости или своей ошибки — не вовремя вернулся к людям.

Что думал он о нас всех тогда?

Я всегда чувствовал, что Борис знает людей больше, чем я.

Странно, его убили те, которым мы подаем милостыню...

...Мой брат Петр, первым увидевший в начале прошлого лета необычных путешественников на реке, умер в конце зимы. Не помогли операции.

Да, ушел мой брат, младший и любимый. И такое мне выпало.

Это по его желанию мы приехали тогда на самарский бережок. Если бы не брат — путешествия по реке не случилось бы...

«Я всех простил, — сказал он с удивившим меня спокойствием в последний свой день. — Живите с Богом».

Простил ли Борис город? Нас всех? Не знаю. Та девочка, которая, надрываясь, вытащила его из воды, вначале долго не могла говорить. И никого к себе не подпускала. Только угрюмо мотала головой. Девочка-подросток показалась очень похожей на совсем молоденькую мою маму. И мама моя, и отец мой, и брат Петро, и дед, и бабка, и светлая река Самара — соединились теперь во мне в светлый общий Лик, перед которым все мои успехи, заморские поездки, всё показалось ничтожным. И предательским, что ли?

Снится мне после смерти Бориса синеглазый мальчишка-рыбачок Митя из села Николаевки, которого мы встретили у реки.

Будто он хочет спросить о чем-то, но не решается...

А я догадываюсь о его вопросе, хочу ответить... и не могу...

*Октябрь 2003 г. — март 2004 г.  
г. Самара*



**О творчестве  
Александра  
Малиновского**

## КНИГА-ПУТЕШЕСТВИЕ

Многие, кто прикасался к творчеству Александра Малиновского, отмечают его, по точному определению самарского литературоведа Владимира Молько, «высокую амплитуду переживаний, экстремальное напряжение во время создания произведения».

Эпоха порой как бы сама «сочиняет» жизненный путь художника, со-размерный и созвучный его таланту. И, на мой взгляд, более важным является именно то, каким человек был, как жил, как воспринимал жизнь и окружающих людей, как ладил с самим собой, с близкими и обществом, нежели то, что ему удалось сделать. И чем больше мы знаем о жизни того или иного писателя, о стоящей за ним культуре, тем яснее и понятнее нам его произведение, тем ярче его образ.

По этому поводу писатель советской поры Сергей Залыгин в своей книге «Литературные заботы» вопрошает: «Что важно? Чтобы предшествующая жизнь научила человека всю эту жизнь видеть художнически, чтобы она научила его работать. Вот это — капитал...» И далее признаётся: «Для меня в писательской работе особенно привлекателен процесс узнавания, и оно... очень свободное, не диктуется внешними условиями».

На протяжении 30 лет своего творчества А. Малиновский остаётся верным своему главному художественному принципу — ничего не придумывать, рассказывать только об увиденном и пережитом, а если прибегать к вымыслу, фантазии, то в том случае, когда правда становится ещё более пронзительной. Перечитывая его повести «Степной чай», «Радостная встреча», «Чёрный ящик», «Зелёный чемодан», «Отклонение», как и после «В плену светоносном», хочется узнать, как и что отбирал Александр Станиславович в кладовой своей памяти, каким образом его тот или иной литературный герой выполняет функцию авторского отчёта о себе самом.

Малиновский через опыт нынешнего дня заглядывает в день завтрашний и не столько хочет объяснить другим, сколько попытаться понять сам: куда в наше время движется общество, каким образом «покорённая» человеком природа выражает свой протест? Способны ли мы спасти маленький исток, родничок, реку, питающую великую Волгу, а значит, спасти и себя?

Каким предстаёт передо мной сам автор в его документальной повести «В плену светоносном». Во-первых, надо прежде сказать, о чём это произведение? И кто такой Малиновский лично для меня. Имя этого человека вошло в мою память с его первых коротких рассказов: «Степной чай», особенно запомнившихся «Шуркина дорога», «Любка», «Бабка Мариша», «Кривая ветла». Впечатления послевоенного детства, студенческой юности, советских трудовых пятилеток, послеперестроечных реформ легли в основу многих его произведений, в которых, по определению секретаря Союза писателей России Николая Дорошенко, «вымысел лишь обнажает и художественно обобщает правду о жизни его поколения, полной великих надежд и великих разочарований».

В каждом произведении писателя живёт вместе с образом автора светоносный образ природы Самарского края, с её собственным характером, неповторимой красотой, мудростью, в которой отражена мудрость и красота души народной.

Каким жанром «вооружился» Малиновский, когда после путешествия к истокам реки его детства Самарки засел за свои записи, сделанные в пути, порой второпях и не раз окропленные крутой речной волной? Это, скорее всего, большой лирико-путевой очерк, в котором автор проявляется и как художник, и как географ, и как краевед, и как историк. «Но именно за вот это соединение художественной выразительности текста с содержанием чисто исследовательского характера, — замечает издатель Николай Дорошенко в предисловии к этой книге, — читатель и будет особенно благодарен писателю».

Не на далёкий и туманный берег турецкий и не на Канары отправляется герой повести, а в свои целительные просторы. Большим и хлопотным сборам предшествовал разговор с братом Петром и другом Анатолием на берегу реки. Здесь они увидели две резиновые лодки, плывущие по течению.

Неторопливо, просто ведёт автор своё повествование. «Подавая руку, чтобы помочь подняться незнакомцу на кручу, я спросил:

— Что же приятель ваш не остановился?

— А он глухой напрочь.

...Мы с удивлением смотрели на нечаянного гостя... Он не отказался от уха. Ел стоя, держа миску странно близко к лицу.

— Откуда же вы плывёте и куда? — спросил я.

Он ответил буднично:

— От посёлка Переволоцкого до Самары.

— А где этот Переволоцкий? — спросил Пётр.



— Это село в Оренбургской области, расположено недалеко от родника, с которого начинается река Самара.

Мы были ошеломлены.

— Это же сколько вы проплыли? От самого родника ведь почти, — удивился Плаксин.

— Поболее четырёхсот километров.

— Да как же вы решились?

— Я уже более десятка раз плывал этим маршрутом, привычное дело.

«Что же это такое? — думал я. — С детства об этом мечтал и до сих пор не сумел сделать этого, а он уже сплавал более десятка раз! Наша река дала название огромному, теперь миллионному городу! Сколько раз в день мы, жители этого города, так или иначе, повторяем светлое имя «Самара». А много ли знаем о ней?»

Не было бы ничего этого, если бы не её истоки...

В незамысловатом по сюжету отрывке проявляется, как лакмусовая бумажка, тема не столько самого путешествия, итогом которого могло стать составление весёлого путеводителя, сколько жёсткое осознание, что детская мечта нашего героя может никогда и не сбыться. И ещё одно, самое тревожное: много ли мы знаем о своих истоках, если не интересуемся, откуда течёт-бежит твоя река?

...Открываю один из самых ранних рассказов Малиновского из сборника «Степной чай» и нахожу пронзительные строки: «...Истоки... Они и сейчас мнят неодолимо, неся в себе намного больше смысла, чем в детстве».

И вот, ошеломлённый своим открытием — два инвалида по зрению сумели одолеть такой непростой и дальний путь от истоков Самарки, — Малиновский загорается желанием совершить такое же путешествие, причём вместе с этими ребятами. Засев за карты и словари, он составляет маршрут, изучает историю водного бассейна Заволжья и Оренбуржья, находит интереснейшие факты колонизации этой обширнейшей и богатейшей территории.

Погружаясь в седую старину, автор работает основательно и как следопыт, и как историк, и как географ. Нетрудно представить склонившуюся над книгами и атласами, словарями и фотографиями седую голову моего героя, чем-то похожего в эти минуты исследования на героев Дж. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».

Автор побывал во многих странах мира, не раз любовался заморскими красотами, уважительно рассказывал о достижениях западной культуры, но всегда, во все времена оставался и остаётся преданным сыном своей малой родины. Вот почему с таким горячим желанием собирается

он в дорогу, стойко переносит во время путешествия все неприятности. Заторы, завалы на водном пути, непредвиденное купание в холодных водах омутов... Но ещё есть и другое: чувство товарищеского локтя, ощущение родства и единения с неброской красотой прибрежных окрестностей. Узнавание деревенского быта в его первоисточнике, без прикрас, как есть... И западают в сердце и ум горькие мысли:

«Мы забыли, кто мы, — размышляет путешественник. — Нам помогают забыть, кто мы. Мы оторвались от природы. Человека зомбируют, скоро будут, пожалуй, и клонировать... В человеке разжигаются страсти, — думал я, путаясь в мыслях. — А где страсть — там разрыв. Страсти не соединяют людей. Где страсть — там нет свободы. Сейчас в стране разгул именно страстей, разгул тёмной силы, дьявольски срежиссированный кем-то. Ведь и раньше, в моём детстве, тёмные силы были, да ещё какие! Только мы в детстве не знали это так, как знаем сейчас. И жили себе, как могли, радуясь жизни... Жили радостней, жили коллективней, а теперь начинаем не понимать самих себя...»

Следует отметить актуальность выбранной автором темы. К ней Малиновский шёл давно, начиная с первых стихов, рассказов, повести «Радостная встреча». Экология души и экология среды обитания просматриваются в тревожных размышлениях о незавидной судьбе реки, когда-то могучей, богатой рыбными запасами и красивыми пейзажами. Самарка обмелела, берега её захламлины, и народ, живущий окрест, причём в основном бедно, уже не испытывает трепета перед образом Реки, дающей Жизнь... Возвращаясь к разработке такой острой темы, как экология и сохранение своих истоков, необходимо определить, насколько всесторонне рассматривает автор события, факты, явления, как показывает их в движении и развитии, во взаимных переходах. Образ автора выстраивается на протяжении всего повествования и как интересного рассказчика, и как умного собеседника, а также надёжного товарища в дорожных приключениях. Знатока старины и ещё как философа...

Мысль автора работает интенсивно. Как поток реки на стремнине, уносящий всё дальше и дальше и сулящий не только новые повороты, но и неожиданные открытия. Автор активно использует фактический материал об истории заселения заволжских и оренбургских степей, проводит как бы урок географии, пытливно вникает в труды известных исследователей этого края.

Голос, интонация автора — это тоже образ. Рассуждения, размышления — это система доказательств, индикатор его культуры мышления. Наиболее философскими, личностными получились главы «У истоков», «Характеры», «Светлая моя родина», «Такая дорога — река».

Вообще названия главок, на которые поделена повесть «В плену светоносном», как и само её название, буквально притягивают к себе читателя. И в этом тоже угадывается образ автора, человека-романтика, близкого по духу к простым людям, хорошо знающего проблемы русской деревни, поднявшегося высоко в своём глубинном осмыслении жизни. Простота, точность, конкретность, ясность, яркость и художественная выразительность — все эти качества присущи книгам этого признанного в России писателя-гуманиста.

Несколько слов о языке. Читаешь и слышишь, что с тобой говорит человек, не обременённый речевыми штампами и клише, у него своя особенная в диалогах, лиричность в описаниях картин уходящего дня, зарождающегося восхода. По мысли Б. Мучника, знатока культуры и письменной речи, «каждое слово, каждая фраза должны иметь точный и ясный читателю смысл». Сочно, ярко выписаны картины реки в главах «Под Гамалеевкой», «Сорочинский переполох», «Там, где в Самару впадает Боровка». Автор соблюдает главное условие повествования, в основе которого лежит хронологический принцип, отражая временную последовательность событий. Малиновский тяготеет и к конкретике, и к обобщению.

Группа путешественников, день за днём, преодолевает водные преграды, возвращается по реке назад, в Утёвку. Час за часом проследивает автор этот нелёгкий двадцатидвухдневный, захватывающий маршрут длиной более пятисот километров, «вызывая» в самых памятных эпизодах основную канву повествования.

Наиболее яркие и порой драматичные моменты нахожу в главах «Завалы, завалы», «На Сорочинском водохранилище», «У села Богатое». Элементы описания практически присутствуют с первой и до последней страницы произведения. Многое увиденное автор пропускает через себя, и тогда ясно и негромко, но проникновенно звучит его усталый голос. Образ автора проявляется чаще всего в его возвращении к своему прошлому, размышлениях о настоящем и будущем России. Самарский писатель и критик Эдуард Анашкин пишет: «Основа всех произведений А. Малиновского — любовь к красоте и лепоте родного края».

Посудите сами, вот какими глазами смотрит наш земляк, проплывая по Самарке:

«...Красивые быстрые щурки и серенькие стрижи полюбили самарские крутые берега. И местами янтарные отвесные склоны от их гнёзднорок сделались похожими на золотистые звонкие соты. Юркие птицы, влетая-вылетая, будто нажимают на невидимые кнопки и разносят радостную мелодию: голоса их чёткие и звонкие.

И окружающий лёгкий воздух, принимая звуки, роняет их частью в отзывчивую воду, и там они становятся ещё чище, а отразившись, поднимаются вновь в приветливую синь над водой.

И это согласованное действие воды и воздуха делает русло реки, саму реку сказочным инструментом, сработанным волшебным мастером из сине-голубого и золотисто-песчаного...»

Другой критик и исследователь творчества Малиновского В. Молько, анализируя его произведения, пишет: «Красоту родного и близкого автор находит не только в том, что открывается взору в настоящем, но и в том, что существует лишь в сердце — в эпизодах детства. Поэтому наряду с пейзажами, написанными как бы с натуры, у Малиновского возникает и абрис сияющего идеального мира детских впечатлений. И некоторые главы его повести можно назвать путешествиями в прошлое, в поисках «утраченного времени» времени, лучшей поры жизни, с её безмятежностью и незамутнённой радостью бытия».

«О Малиновском можно сказать, что он думает сердцем, — так образно характеризует его творчество ещё один самарский писатель, секретарь Самарского отделения Союза писателей Александр Громов. — И потому его глубокие жизненные раздумья пропитаны сильными переживаниями. Тёплая и живая мысль рождается и существует в его тексте как органическое проявление внутреннего «Я» и особенности стиля. И поэтому во многих главах повести проступают и захватывают читателя достоверные приметы быта и бытия, зоркое видение большого в малом».

И это так! Автор прежде всего самому себе задаёт самые трудные вопросы, нередко мучительные, пытаясь выработать убедительную мировоззренческую позицию. Вот как об этом сам он говорит: «Когда сажусь писать, то не думаю ни о какой стилистике, я настраиваюсь на её величество художественность. В конце концов все писатели — что бы они ни говорили — олицетворяют своим творчеством именно вечный поиск истины в художественной форме».

**Антонида Бердникова,**  
*журналист*

## САМАРСКИЕ РОДНИКИ АЛЕКСАНДРА МАЛИНОВСКОГО

В 1879 году в статье «Лучше поздно, чем никогда» (журнал «Русская речь») Иван Александрович Гончаров твёрдо и убеждённо заявил о своей приверженности принципу жизненной правды: «То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, свои друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало». В принципе, это высказывание можно трактовать как апофеоз реализма. И классик всем своим творчеством подтвердил верность этой методологии. Книга, которую вы держите в руках, тоже соответствует этому принципу.

Если внимательнее присмотреться к романам Гончарова, то легко убедиться, что характеры, изображённые им (Обломов, Штольц, Райский, Волохов, Вера, Марфинька...), появлялись в его воображении раньше, чем подобные типы выходили на реальную общественную сцену. Особенно это становится ясно, если учесть, что свои замыслы этот симбирский «обломов» не спешил доводить до конечного литературного воплощения.

Спустя много лет американский писатель Эрнест Хемингуэй обмолвился следующими показательными словами: «Настоящее творчество — это когда сочиняешь, придумываешь». Казалось бы, между двумя этими высказываниями пролегает глубоко пропаханная демаркационная борозда, разделяющая два принципиально противоположных подхода к литературе. Но на самом деле всё гораздо сложнее.

С другой стороны, «сочинитель» Хемингуэй всю жизнь черпал материал, сюжеты и энергетику из собственной судьбы. Таким образом, соотношение между правдой жизни и вымыслом всегда находится в сложной пропорции и подвижном состоянии: в один период автор более склонен к прямому изображению действительности, в другой — к фантазии, а то и фантазмагории. Но проблема в том, что сама жизнь порой оказывается невероятнее любой фантазмагоричной выдумки.

Эти теоретические рассуждения показались мне необходимыми, прежде чем начать разговор о творчестве современного русского писателя Александра Станиславовича Малиновского. В его прозе, казалось бы, нет места никакому вымыслу, но это представляется только на первый взгляд, да и вполне реалистически написанные эпизоды порой выглядят как чудеса, небесные знамения и сказочные превращения.

\* \* \*

20 февраля сурового 1944 года в поволжском селе Утёвка близ Самары в крестьянской семье Рябцевых-Шадриных на свет появился младенец. Вскорости он был наречён и крещён под именем Александр. Но вот записан был маленький Саша под фамилией Малиновский. Её происхождение ни для кого не было тайной: отцом ребёнка был поляк Станислав Малиновский, с начала войны интернированный в СССР из Польши. Матерью — утёвская крестьянка Шадрина Екатерина Ивановна. На четвёртом месяце беременности Екатерины Станислав был призван в Войско Польское и сгинул на полях Второй мировой войны. Однако, зная о предстоящем рождении и имея твёрдое намерение вернуться в заволжское село Утёвка, он наказал, что если будет мальчик, то его непременно нужно назвать Александром. Екатерина и её будущий муж Василий не ослушались этого наказа без вести пропавшего Станислава и, помимо обещанного имени, дали ребёнку фамилию отца. Спустя много лет Александр Малиновский напишет безыскусные, но искренние строки:

*Два светлых имени, два моих отца —  
Войною соединённых два кольца.  
Отечеству по-своему служили  
И мне в безвременье оплотом были.  
А матушка, в любви своей святая,  
Неугомонная и молодая,  
С руками жёсткими, как два весла,  
Она мне родину мою дала.*

Эта особенность происхождения (своеобразное наличие двух отцов) и непривычная для заволжских лугов и заливов фамилия многократно отзовется как в перипетиях судьбы будущего писателя, так и на страницах его литературных произведений. И будет он искать своего польского отца более сорока лет. А найдёт могилу капрала Малиновского в Варшаве только в двухтысячном году. А пока сын крестьянки, шляхтича и шорника растёт отчаянным сорванцом: пропадает сутками на рыбалке, носится по крутым склонам Самарки на лыжах, метко бьёт из ружья диких

уток, помогает по хозяйству матери, бабушке с дедом, играет в «лапту», ходит на репетиции в клуб, временами — ленится и шалит, но главное — читает. Читает захлёб.

Поразителен круг читательских интересов деревенского подростка. Тут и «Дерсу Узала» Арсеньева, и Максим Горький, и Александр Дюма, и Элиза Ожешко, и Майн Рид, и Михаил Шолохов, и... А случайно попадётся под руку том трудов по плодоводству Ивана Мичурина, так и его проштудирует от корки до корки! Чтение происходит порой в уединении, а то и в компании с соседями, зашедшими на огонёк в приветливую избу деда Ивана Дмитриевича и устроившими что-то вроде читательской конференции. Вроде бы после такого увлечения книгочейством и успехами в школе при написании сочинений на уроках литературы вопрос о будущей профессии был предreshён: филология. А коли обнаружится дарование, то и писательство. Но не тут-то было! Как уже было сказано, судьбе утёвского книгочея, подобно петляющей речке, угодно было проделать немало неожиданных поворотов и загадочных перипетий.

А поступает Александр в Куйбышевский политехнический институт, по окончании которого проходит по всем профессиональным и должностным ступеням нефтехимического производства — не зря в родных краях его была разведана нефть — вплоть до руководства крупнейшими заводами отрасли. Приходят степени и звания, регалии и награды, а вместе с ними и зависть коллег, интриги, потери и разочарования. Стихи, конечно, слагаются, но печатать их титулованный учёный не спешит. Так вышло, что первая серьёзная публикация — очерк «Утёвские находки» — состоялась на страницах газеты «Волжская коммуна» только в 1992 году, когда автору было уже под пятьдесят! Поздний старт? Но вспомним, что Сергей Тимофеевич Аксаков (имя здесь тоже отнюдь не случайное) как серьёзный прозаик («Записки об уженье рыбы») выступил в 56 лет!

В литинститутском курсе по теории художественной прозы есть пункт: «Изучение жизни писателем-прозаиком». Для столичного студента такой опыт, пожалуй, необходим. А вот Малиновскому заботиться об этом не было нужды: и утёвское детство, и драматические рассказы стариков о гражданской войне (главка «День рождения моей мамы» из повести «Колки мои и перелесья»), и голод в Поволжье 1920-1922 годов («Дожить до весны»), и изломанные во Второй мировой войне судьбы земляков, и самарское студенчество, и бурные рабочие будни на заводских площадках, и напряжённая кабинетная работа вначале на производстве, потом в науке — всё это было перед ним, как на ладони. Богатый

жизненный материал изначально оказался в его распоряжении. И когда закончился период накопления, года, вполне по Пушкину, склонили его к суровой прозе.

Магистральной темой Малиновского-прозаика стала судьба нашего соотечественника во второй половине XX столетия и за чертой миллениума. Она базировалась на материале эмпирического опыта и была промодулирована энергией личного эмоционального восприятия. В качестве эпиграфа к одной из повестей писатель избрал характерные слова Льва Толстого, перекликающиеся с цитатой из Гончарова, приведённой в начале нашей статьи: «...Мои доводы строятся не на том, чтобы мне желательно было, а на том, что есть и всегда было... Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть...» Но верность жизненной правде вовсе не означает механического перенесения частных подробностей на лист бумаги. Требуется кропотливый труд отбора, осмысления и проведения объективной реальности через призму собственного духовного мира.

Последовательность повестей, рассказов и очерков представила читателю не равнодушного наблюдателя, а деятельного участника многих драматичных, а порой и трагических событий полувека. Вот как сам автор отзывался о предмете своего писательского внимания: «Сказать, что это всё родное, мало. Это — частица меня. Нет, скорее, я частица этого солнечного летнего дня, реки, серебряной подковой сверкающей слева и справа от меня. Теперь на поляне, вернее в её тенистых зарослях, не найти колокольчиков. И не оттого, что прячутся они, не выделяясь сильно фиолетовой окраской меж зарослей чилиги, таволги и краснотала. Просто их время уже ушло. Колокольчики — весенние цветы! Теперь бы сказал, они цветы нашего детства. Нашей весны. Трогательные звоночки из далёкого далека! Помню, как бабушка мне однажды здесь мимоходом сказала, что звон на колокольчиковых полянах отгоняет всякую нечисть... И ничего дурного не может случиться...»

Все мы, что ни говори, родом из детства. Мои детские годы тоже протекли недалеко от мест, где родился и рос Александр Малиновский. Многое мне знакомо не понаслышке. Но прозаику раз за разом удаётся находить особенно точные и сочные детали, потому что это — его личный опыт, его индивидуальный зоркий взгляд: «Другой Шуркин дом — без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится золотистым, а изба нарядной». У нас же в селе многое было по-другому. И суть тут не только в быте разных местностей. Возрастная разница между нами — полтора



десятка лет. Вроде бы немного: с годами она нивелируется. Но дело всё в том, что в послевоенные годы уклад жизни стремительно и кардинально менялся. Я не застал, к примеру, карточек, никто у нас в селе не голодал, разве что перед отставкой Хрущёва довелось постоять в очередях за хлебом, но это — совсем другой коленкор.

На рубеже 50-60-х годов поменялись и отношения в крестьянских семьях. А. Малиновский цепко ухватывает систему субординации: «Он положил свою ложку на край миски, уперев её черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

— Убери, — сказал дед.

— Она так интересно стоит!

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

— Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

— Таскайте, — как обычно, будто между прочим, сказал дед».

Мне тоже с детства доводилось слышать подобное. В прежние времена старший в семье, после того как все наедятся хлёбова — ели-то из общего котла — чугунка или большой миски, — должен был постучать деревянной ложкой по краю посуды, давая разрешение приступить к мясу. Ну а торопливый ослушник, не дождавшийся этого сигнала, получал в лоб той же дедовой ложкой. Но одно дело слышать о чём-то и другое — участвовать в этом житейском ритуале!

Что касается стилистических особенностей прозы Малиновского, можно сказать, что его творческий инструментарий весьма разнообразен. Открывающая сборник повесть о детстве Шурки Ковальского (альтер-эго автора пройдёт по страницам многих его книг) «Под открытым небом» может настроить нас на то, что мы встретились с традиционной деревенской автобиографической прозой. Читающий невольно предполагает, что перед нами писатель типа Фолкнера, который весь материал черпает из жизни округа Йокнапатофа размером «с почтовую марку».

И ошибается! Потому что Малиновский от повести к повести расширяет как свой тематический диапазон, так и стилистические средства самовыражения. В писательский кругозор попадает молодость и студенчество героя, его профессиональное становление, прохождение по карьерным степеням, когда взлёты порой чередуются с досадными падениями. Освоение нефтехимических производств и отраслевой науки соседствуют с вхождением в мир литературы, знакомством с представи-

телями писательского бомонда. Структура настоящей книги складывалась непросто и неслучайно. Чувствуется, что автору необходимо провести читателя по главным ступеням своего «сборника», крепкого, как деревенский дом-пятистенник. Но биографические моменты — это только внешняя канва.

Малиновский и его персонажи зорко всматриваются в жизнь и внимательно слушают голоса других людей. Повесть «Дом над Волгой» и «Голоса на обочине» (к сожалению, не вошедшая в этот сборник) во многом базируются на подобных рассказах. Один из таких голосов повествует о нравах времён коллективизации: «...Папа ушёл в ночь на станцию Грачёвка. С одной котомкой за плечами (в Сибирь не высылали, если глава дома отсутствовал — прим. автора). А нас утром раскулачивали. Всё подчистую отобрали. И нас всех вытряхнули из дома, как из кошёлки цыплят. Помню почему-то, как мама моя не отдавала горшок с большим цветком. Упёрлась! Паршивец Матвей Сидоркин рвал его из рук мамы моей, матерился до потолка, горшок-то и грохнулся мне на ногу. Пальцы отбил сильно. Я орать, а мама схватила Матвея за бородёнку да как звезданёт правой-то рукой ему в урыльник. Что началось тут! Пыль столбом! ...Папа в Самаре сначала конюхом работал, потом сторожем где-то, ещё кем-то. Жил скрытно, опасаясь попасть на глаза односельчанам в городе. Вернулся домой. Сидоркина уже не было в живых. Допился. Пришёл папа, а его и не трогают! Схлынуло вроде всё. Забыли про него или как?.. Нет, потом вспомнили. Вызывали. Проверяли. А что с нас возьмёшь? Всё, что можно, уже отобрали тогда, живём в землянке».

Этот эпизод напоминает смысл и направленность прозы другой самарской (куйбышевско-сызранской) писательницы — Веры Галактионовой, которая в повести «Большой крест» тоже рассказала горькую эпопею о том, как «большуха», старая хозяйка крестьянской семьи, сожгла огромный дом с подворьем и тем самым спасла семейство от высылки за можай.

Но трагедией жизнь не ограничивается. Наш народ наделён удивительной способностью преодолевать трудности. Вот выстроенная в совершенно иной, фольклорной тональности речь пожилой крестьянки Марьи Петровны («Дом над Волгой»): «Тётя Паня работала в магазине. Выдавала по карточкам продукты. Так-то она была Прасковья Самарина. Но все её: «Паня» да «Паня». Мы, малые-то, конечно, «тётя Паня». Когда она в магазине отпускала по карточкам чего, то отрезала те, по которым отоваривала, ножницами. Дома наклеивала их для отчёта на картонки всякие, обложки от книг. Мы ей помогали это делать. Их же вон сколько,

этих карточек. Возимся с ними, а она нам сказки рассказывает. Страсть сколько знала. То про село Подгоры, то про Выползово, а то про Каменное озеро. Все наши места, волжские. Мы допытывались: не сама ли она их сочиняет. Она не признаётся.

Один раз рассказала, как явился воздушный город. Мы не поверили, думали, она опять сказку придумала. Город на небесах! Мыслимо ли? А когда приехал из Жигулёвска Илюшка Юрьев, подгорянский родом, и рассказал, как он тоже видел такое, мы и не знали, что думать...»

Писатель обращается и к более древней истории родных краёв, чья красота вызывает у него неизбывный душевный трепет. Малиновский не боится вплетать в свою прозу элементы исторического исследования, стихотворные фрагменты и цитаты, публицистические рассуждения, литературно-критические дискуссии. Кому-то литературный метод такого рода может показаться рискованным, грозящим обернуться разнотильностью текста. Но дело в том, что Александр Малиновский идёт на это совершенно сознательно. И в этом смысле его поэтику можно с полной уверенностью назвать синтетической.

В художественном творчестве одним из важнейших вопросов является проблема преемственности. Разумеется, в литературном плане прозаик базируется на прочном фундаменте русской реалистической литературы. Возникают невольные ассоциации с наследием Льва Толстого, Сергея Аксакова, Ивана Гончарова, Ивана Бунина, Константина Паустовского, Михаила Пришвина, Василия Белова, Михаила Алексева... Всё это так, и было бы нелепо оспаривать это мнение. Но здесь в каждом случае можно вести речь не о подражательности, а о тематическом и стилистическом сближении с творчеством того или иного классика.

В этом ряду особняком стоит вопрос об отношении к Шолохову. Про это родство и критика писала не раз, и сам автор в главке «На линии противостояния» (повесть «Колки мои и перелесья») упоминает в беседе с писателем и издателем Николаем Дорошенко. Вот перед нами как раз пример того, как в прозу Малиновского органично встраивается литературно-критический дискурс.

Вроде бы вопрос внутреннего и внешнего родства с нобелевским лауреатом можно считать решённым. На первый взгляд, так оно и есть: тот же общий интерес к трагедии коллективизации свидетельствует об аналогиях. Но если присмотреться внимательнее, то можно убедиться, что перед нами писатели совершенно разного типа!

Творческому методу и стилю Шолохова свойственно более размеренное и ровное дыхание. Тот большее внимание уделяет языку, ху-

дожественным средствам, кучерявым, как дымок его папиросы. Его интонации (за исключением «Донских рассказов») присущи намного сильнее проявленные размеренность и остойчивость, что не мешало впрочем время от времени сдобривать повествование знаменитой шолоховской хитринкой и балагурством, экстравагантными выкрутасами деда Шукаря.

Что касается прозы Малиновского, то невозможно не заметить, что перу его близка бóльшая порывистость, мягкость. Он стремится перейти к новым темам, отразить иные смыслы, ухватить как можно больше разнопланового материала. Прозаик не боится включать в свои повести стихотворные фрагменты, чего практически нет у Шолохова. Наконец, проза Малиновского содержит немалый словарь поволжского говора, что не характерно для Шолохова. И тут позволю себе высказать суждение, которое может показаться неожиданным. Мне кажется, что хорошо начитанный писатель — сознательно или нет — в какой-то степени пережил влияние... американских классиков. Уже упомянутые здесь имена Хемингуэя и Фолкнера возникают отнюдь не случайно. В содержании и форме их книг немало элементов, которым не чужда проза их русского коллеги. Насыщенный автобиографизм книг первого и непреходящий интерес к жизни простых американцев у второго во многом роднят их с книгами Александра Малиновского. Ну а велосипедное путешествие деда и внука («Красносамарские родники») вдоль реки Самарки может и вовсе вызвать в памяти героев-бродяг Марка Твена и Джека Лондона!

Кроме того, хочется отметить любопытную особенность авторской манеры Малиновского, проявляющуюся в том, что его персонажи, подобно героям Пруста, постоянно «проваливаются» в бездну воспоминаний для того, чтобы по волне памяти выплыть в настоящее. У Шолохова такого рода реминисценции довольно редки, разве что рассказ Андрея Соколова в «Судьбе человека».

Разумеется, всё это лишь версии, которые требуют более детального рассмотрения.

Может показаться, что проблема веры в прозе А. Малиновского несколько купирована. Но это только на внешний взгляд. Им написана широко теперь известная документальная повесть «Радостная встреча» об иконописце без рук и ног Григории Журавлёве. Материал для этой повести автор кропотливо собирал, преодолевая многочисленные барьеры, более сорока лет. И открыл читателю историю стоической жизни и творчества на самарской земле одного из подвижников православной веры. Книги Александра Малиновского никогда не были атеи-

стическими. Просто к вере он подходит с несколько иной, чем обычно, стороны.

В своё время русский поэт Виктор Верстаков поставил перед нами принципиальный вопрос. Вспомнив сестёр Марию и Марфу, принимавших в своём доме Иисуса Христа, он обращает внимание на несходство их позиций:

*...вернее Марфа хлопотала,  
Мария же у ног Христа  
Сидела и ему внимала.  
Чья совесть более чиста?*

В самом деле, кто более свят: сестра-труженица или же ушедшая от нужд практической жизни и всецело растворившаяся в религии Мария?

*Марии ж дела было мало,  
Устала Марфа или нет.  
Она её не понимала  
И не поймёт сто тысяч лет.*

Мне кажется, в этой альтернативной ситуации сам Малиновский и его герои решительно принимают сторону Марфы. Сказано же: в уборщице, моющей на коленях пол, больше святости, чем в епископе, облачённом в золотые ризы. И, думается, на этом пути от писателя можно ожидать новых откровений.

Но сам интерес к расширению тематики для прозаика весьма характерен. Ему довелось немало поехать по миру, и к жизни за кордоном он приглядывался столь же пристально, как к бытию на родине. Вот, скажем, нестандартное, ломающее стереотипы описание Швейцарии (главка «Утренний свет» из «Колков моих и перелесев»). С чем у нас обычно ассоциируется эта страна? Банки, часы, сыр, шоколад. Пряничные домики. А вот Швейцария, как её увидел Александр Малиновский: «...озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-чёрной, враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то всё куда-то враз девалось, оставалась сплошная тёмная завеса. Триста метров глубины озера и около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от мощи, великости происходящего». Это уже не привычная деревенская проза, а нечто совсем иное, вызывающее в памяти стилистику не чуждого Швейцарии Владимира Набокова! И вот прогулка к Женевскому озеру, с которым связана часть жизни Байрона и супругов Шелли, оборачивается для за-

езжих гостей фантазмагорическими впечатлениями. Энергично написанная, насыщенная психологическая проза свидетельствует о том, что потенциал писателя значителен.

Разумеется, один этот сборник не исчерпывает всех творческих граней Александра Малиновского. За его рамками остаётся целый ряд как разноплановых вещей, так и объединённых в единый художественный ряд повестей, эпический цикл с общим названием «Под открытым небом», в котором показана судьба наших соотечественников второй половины XX столетия и начала XXI века. Но эта книга — «Дом над Волгой» — даёт общее представление о его человеческом и литературном пути, служит своеобразной дверью в его художественный мир. А за нею читателя ожидает множество открытий, впечатлений и переживаний.

**Сергей Казначеев,**  
*член Союза писателей России,*  
*доцент Литературного института им. Горького*

## Содержание

КОЛКИ МОИ И ПЕРЕЛЕСЬЯ. <i>Повесть</i> .....	5
КРАСНОСАМАРСКИЕ РОДНИКИ. <i>Повесть</i> .....	193
В ПЛЕНУ СВЕТОНОСНОМ. <i>Повесть</i> .....	355
<i>Антонида Бердникова</i> . Книга-путешествие .....	494
<i>Сергей Казначеев</i> . Самарские родники Александра Малиновского .....	500

*Проект «Издание Собрания сочинений  
Александра Малиновского в 7-ми томах»  
реализован при грантовой поддержке  
Правительства Самарской области  
и грантовой поддержке Администрации г. Самара.*

*Финансовую поддержку изданию оказали  
Администрация муниципального района Нефтегорский  
(глава муниципального района  
Александр Викторович Баландин),  
ООО ГК «ИНФОПРО» (генеральный директор  
Павел Владимирович Сергиенко),  
Сергей Анатольевич Тишин, Леонид Иванович Пешков,  
Дмитрий Владимирович Сергиенко,  
Василий Владиславович Никонов,  
Евгения Сергеевна Попова, Владимир Иванович Петрушин,  
Алла Николаевна Горборукова, Борис Фёдорович Ремезенцев,  
Юрий Михайлович Тулупников, Юрий Минович Ример,  
Дмитрий Сергеевич Колмыков, Андрей Евгеньевич Дорфман,  
Дмитрий Владимирович Кошаев,  
Владимир Александрович Тыщенко.*

*Подписались на один экземпляр издания:  
Виктор Алексеевич Бесперстов, Татьяна Николаевна Иоффе,  
Галина Васильевна Плотникова, Людмила Петровна Горюхина,  
Василий Алексеевич Серебряков, Ольга Кузьминична Говорухина,  
Владимир Дмитриевич Самсонов, Людмила Васильевна Чернецова,  
Дмитрий Александрович Кузнецов и другие.*



**Малиновский  
Александр Станиславович**

**Собрание сочинений в 7-ми томах  
том 5**

Вёрстка — *А.В. Громов*  
Дизайн обложки — *В.А. Лисина*  
Автор фото на обложке — *К.М. Байгузин*

Издание подготовлено  
Издательским домом «Российский писатель» (г. Москва),  
Центром поддержки и развития творческих инициатив  
им. А.С. Малиновского Самарского государственного  
технического университета  
и творческим объединением «РУССКОЕ ЭХО» (г. Самара)  
443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,  
телефон: (846) 333-48-01  
[www.litsamara.com](http://www.litsamara.com)  
e-mail: [litsamara@yandex.ru](mailto:litsamara@yandex.ru)

Подписано в печать 10.06.2019 г. Формат 60x90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Гарнитура Exselsior.  
Печать офсетная. Печ. л. 32,0.  
Тираж 350 экз. Цена договорная.

Отпечатано в типографии ООО «Слово»  
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1;  
тел.: (846) 267-36-82  
e-mail: [izdatkniga@yandex.ru](mailto:izdatkniga@yandex.ru)